



Журнал

Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

6 / 2014

Журнал
«Семь искусств»

Июнь 2014

Главный редактор
Евгений Беркович

Редакционная коллегия:
Лев Бердников, Борис Болотовский, Эдуард Бормашенко,
Юлий Брук, Элла Грайфер, Лорина Дымова, Борис Дынин,
Игорь Ефимов, Александр Журбин, Виктор Каган,
Борис Кушнер, Александр Ласкин, Мина Полянская
Борис Тененбаум, Артур Штильман

Ответственный секретарь Изабелла Победина

ISBN 978-1-291-93905-7

Семь искусств
Ганновер 2014

Журнал

«Семь искусств»

Июнь 2014

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

Компьютерная вёрстка и техническое
редактирование Изабеллы Побединой

Семь искусств
Ганновер 2014

Содержание

Мир науки

Яков Зельдович	
Автобиографическое послесловие	5
Яков Галл	
Н.К.Кольцов о прогрессивной эволюции и эволюции человека	24

Культура

Павел Нерлер	
«Дар тайнослышанья тяжелый...» Владислав Ходасевич ...	37
Игорь Мандель	
Незабываемое как статистическая проблема	51
Эдуард Гетманский	
Еврейский книжный знак Российской империи	57
Светлана Арро	
Два Михаила.....	78

Музыка

Ольга Янович	
Москва – не товарная, музыкальная, любимая... ..	90

История и современность

Вениамин Левин	
История рождения нации	116
Борис Тененбаум	
Протокол одного заседания	131
Ефим Курганов	
Шпион Его Величества, или 1812 год.....	143

Галерея

Александр Левинтов	
Детская Надежда.....	208

Философия

Александр Мелихов	
Наука против жизни	216

Психологические тетради

Наталья Олифирович	
Семья в зеркале психотерапии	232
Андрей Масевич	
De natura humana... Я тоже знал Кона	255

Мемуары

Александр Боровой 2003 и другие годы	294
Дмитрий Бобышев Я в нетях. Человекотекст, книга 3	341

Люди

Тамара Майская и другие Памяти С.С. Белокриницкой Составление и публикация А. Раскиной.....	359
Борис Гасс Встречи с Александром Межировым.....	394
Семен Резник Против течения	401

Поэзия

Валерий Скобло Жить, чтобы жить	439
Валерий Черешня Прозрачное время	451
Леонид Латынин «Ничего не надо ждать»	460
Лорина Дымова К чему притворяться.....	468
Борис Кушнер Песни дороги	478

Проза

Петр Межирицкий Концерт	503
Александр Матлин В гости к Собачниковым.....	519

Переводы

Альберто Моравиа Маменькин сынок Перевод с итальянского: Моисей Борода	525
--	-----

Читальный зал

Елена Брызгалова О шпионах и не только	532
Об авторах.....	538

Яков Зельдович

Автобиографическое послесловие*



Перевернута последняя страница последней статьи и, естественно, возникает вопрос об итоге семидесяти лет жизни и пятидесяти трех лет работы и об уроках на будущее, которые можно извлечь из этого итога.

Первый вопрос – об итоге – является предметом вступительной статьи – Введения, составленной редакционной коллегией и помещенной в начале первой книги, но охватывающей содержание обеих книг. На мой взгляд, Введение содержит завышенную оценку моих результатов и влияния их на современную науку.

Было бы неуместно, однако, спорить – больше или меньше значение той или иной работы. Интересным может быть качественное различие между оценками моих работ, а также общего состояния физики с разных сторон: извне специалистами, даже самыми благожелательными, и изнутри – мною самим. Таким образом, данное послесловие написано с сугубо субъективных позиций, без каких-либо претензий на объективность.

Хорошо помню первый, еще детский (12 лет) выбор области знаний, разговор с отцом. Для математики нужны исключительные способности, которых я не ощущал. Физика казалась законченной наукой; сказывалось влияние почтенного школьного учителя физики, торжественно читавшего незыблемые законы Ньютона сперва по-латыни, затем на русском. Мятельный дух новой физики еще не проник в среднюю школу в 1926 году. Между тем курс химии изобилует загадками: что такое валентность? катализ? И химики не скрывали отсутствия фундаментальной теории. Большое впечатление произвела на меня книга Я.И. Френкеля «Строение материи», особенно – первая ее часть, посвященная, главным образом, атомистике и кинетической

* Впервые опубликовано в книге: Избранные труды. Частицы, ядра, Вселенная. М.: Наука, 1985. С. 435-446.

теории газов, определению числа Авогадро и броуновскому движению. Но атомистика, как термодинамика, в равной степени относится и к физике, и химии. Потом судьба определила меня в Институт химической физики (ИХФ).



Родители: Анна Петровна (1890-1975) и Борис Наумович (1889-1943)

В 1930 г. я был лаборантом в Институте механической обработки полезных ископаемых (Механобра), рассматривал шлифы горных пород. Навсегда запомнились богатства Кольского полуострова, запечатлелось уважение к академику А.Е. Ферсману. В марте 1931 г. с экскурсией сотрудников Механобра я посетил отдел химической физики Ленинградского физико-технического института. В лаборатории С.З. Рогинского меня заинтересовала кристаллизация нитроглицерина в двух модификациях. Об этом рассказывал Л.А. Сена (Рогинский был за границей).

После дискуссии (в которой ни я, ни Сена еще не знали истину) мне предложили в свободное время работать в лаборатории. Вскоре встал вопрос об официальном переходе. Ко времени зачисления (15 мая 1931 года) отдел превратился в самостоятельный Институт химической физики. В промежутке помню свой реферативный доклад о кинетике превращение пароводорода. в ортоводород. Не вполне понимая, что это такое, я все же твердо и горячо отстаивал принцип детального равновесия. Присутствовали Н.Н. Семенов, С.З. Рогинский и многие другие мои будущие коллеги.

Много лет спустя я услышал три легенды. Первая: Механобр отдал меня Химфизике в обмен на масляный насос. Вторая: академик А.Ф. Иоффе написал в Механобр, что для решения практических задач я никогда не буду полезен. Третья: Иоффе терпеть не мог вундеркиндов и потому отдал меня в Химфизику.



С родителями

До сих пор не знаю, сколько истины в каждом из них. Могу только засвидетельствовать, что Иоффе я не видел до 1932 г., а увидел я его в примечательных обстоятельствах: был созван общий семинар Физтеха и его дочерних институтов. Иоффе огласил телеграмму от Дж. Чедвика об открытии нейтрона, прокомментировал ее, а в заключение была принята резолюция и послана ответная телеграмма о том, что и мы (все?!) включаемся в нейтронную физику. Для меня – не сразу – резолюция оказалась пророческой.

В интересе к химии большую роль играло чисто зрительное восприятие ярких цветов и форм, начинающееся с «превращения воды в кровь» при взаимодействии солей железа и роданистого калия, с образования осадков и кристаллизации. За

этим следовал интерес к резкости перехода окраски индикатора и далее к резкости фазовых переходов.

В соседних лабораториях изучались атомные спектры. Отчетливо помню, что по сравнению с многообразием цветов и форм макроскопических явлений детальная теория атома казалась скучной. Сегодня я пишу об этом, свидетельствуя о своем тогдашнем глубоком непонимании физической теории.

Вместе с тем было правильное и естественное чувство, что за случайностью форм и чередованием плавных и резких зависимостей кроются общие закономерности. Сегодня они получили название теории катастроф и синергетики.

В 30-х годах, развивая теорию горения, мы, по существу, занимались конкретными примерами этих новых наук, не зная их названия. Вспомните мольеровского мещанина во дворянстве, в преклонном возрасте узнающего, что он всю жизнь говорил прозой.

Огромной непреходящей заслугой Абрама Федоровича Иоффе и Николая Николаевича Семенова является создание институтов, отовсюду привлекавших способную молодежь. Возникла «сверхкритическая» ситуация быстрого роста людей и большой их отдачи. Для меня огромную роль сыграла возможность учиться у молодых (но старше меня!) теоретиков. Я глубоко признателен моим тогдашним учителям и нынешним друзьям – Л.Э. Гуревичу, В.С. Сорокину, О.М. Тодесу, С.В. Измайлову. Около двух лет я учился (но не закончил) на заочном факультете университета. Посещал замечательные лекции по электродинамике покойного М.П. Бронштейна. Вспоминаю сейчас слова «градиентная инвариантность», которые тогда не воспринял...

Большим счастьем было сочетание экспериментальной и теоретической работы над одним и тем же вопросом. Изотерму адсорбции Фрейндлиха я сперва наблюдал экспериментально, исследуя систему $MnO_2-CO-O_2-CO_2$. Только после этого была разработана соответствующая теория (см. статью I в моей книге «Химическая физика и гидродинамика»). Не откладывая, я проверил на опыте зависимость от температуры показателя n в формуле $q = cP^n$. В эксперименте не было ничего принципиально нового, изотерму Фрейндлиха, как показывает само название, открыл Фрейндлих, а не я. Однако собственный эксперимент необычайно активизировал желание понять явление и дать его теорию. Думаю, что это общее явление. Теоретикам, работающим в области макроскопической физики, настоятельно советую принимать участие в эксперименте!

Определенный цикл работ по адсорбции и катализу составил кандидатскую диссертацию. Благословенные времена, когда ВАК давал разрешение на защиту лицам, не имеющим высшего образования! Защита состоялась в сентябре 1936 г.

Еще раньше я пустился в самостоятельное плавание и решил заняться топливным элементом. Интерес к электрохимии подогревался уважением к академику А.Н. Фрумкину, благожелательно относившемуся к моим работам по адсорбции, в значительной мере параллельным его и М.И. Темкина. Размышления о путях преобразования энергии топлива в электричество естественно возникали под влиянием А.Ф. Иоффе. Однако практически в Ленинграде в ИХФ с вопросом о топливном элементе я оказался в одиночестве. Работа шла очень медленно.

В 1935 г. в институт приехал, лучше сказать ворвался, необычайно энергичный и пробивной одессит А.А. Рудой. Его вдохновила цепная теория химических реакций. Что мешает найти способ превращения энергии горения в энергию активных центров и использовать ее для эндотермической реакции окисления азота? Почему бы не получить несколько литров азотной кислоты из одного килограмма топлива и бесплатного воздуха? За туманной дымкой рисовались картины совсем идиллические: трактор, вспахивая поле, одновременно снабжает его азотными удобрениями, а классические установки для синтеза аммиака лежат в запустении. Семенов взял Рудого в институт, но одновременно создал и серьезную группу для исследования вопроса. В нее вошли покойные П.Я. Садовников, Д.А. Франк-Каменецкий, А.А. Ковальский. Вошел также и я. Оказалось, что образование окислов азота при горении водорода в воздухе наблюдал еще Кавендиш, раньше, чем был установлен состав воздуха.

Не буду здесь описывать результаты большой коллективной работы – они изложены в материалах, помещенных в упомянутой моей книге «Химическая физика и гидродинамика».

Я снова работал и как экспериментатор, и как теоретик. Работа заставила изучить и применить теорию размерности, подобия и автомодельности, расширила кругозор, ввела меня в проблемы турбулентности, конвекции и теплотехники. Книга А.А. Гухмана «Теория подобия» вдохновляла. Завязалась крепкая и плодотворная дружба с Давидом Альбертовичем Франк-Каменецким. Инженер по образованию, он прислал в ИХФ письмо, за которым Н.Н. Семенов разглядел талант. Он вызвал Давида Альбертовича из Сибири в Ленинград и вскоре привлек его к работе по окислению азота. От Франк-Каменецкого с его

инженерным образованием я узнал о числе Рейнольдса, сверхзвуковом потоке, сопле Лавала и многом другом.

Значительно позже, также в связи с окислением азота, я встретился с Рамзиным, получившим к тому времени Государственную премию, еще активным, но уже безнадежно больным. Работая дома по вечерам, он за две недели выполнил работу, которую иной научно-проектный институт растянул бы на годы. Но качественно ответ был выяснен раньше. В лучшем случае, с подогревом воздуха и топлива и даже с добавлением кислорода получают сравнительно низкие концентрации окиси азота. Лимитирующим оказался процесс превращения NO в NO₂ по классической тримолекулярной реакции $2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2$. Только NO₂ можно поглотить и использовать, но технологические объемы, необходимые для его образования, непомерно велики. Мечта не сбылась, и только в последние десятилетия теория окисления азота приобрела новое, экологическое значение. Теория окисления азота была темой моей докторской диссертации, защищенной в конце 1939 г. Мне приятно отметить, что в числе оппонентов был Александр Наумович Фрумкин. Естественным продолжением работы, в которой горение было источником высокой температуры, явилось исследование самого процесса горения.

Горение выступает во многих обликах: горение взрывчатых смесей, горение неперемешанных газов, детонация и т. д. Все эти процессы изучались ранее, но без проникновения в химическую кинетику реакций. Предыдущее поколение исследователей шло от теплотехники и газодинамики. Блестящим исключением был француз Таффанель, опубликовавший в 1913-1914 гг. работы, предвосхитившие многое. В 1914 г. он умолк. Только в апреле 1985 г. я узнал, Таффанель дожил до 1946 г., успешно занимаясь инженерными вопросами.

Перед нами было широкое поле деятельности, и период 1938-1941 гг. был плодотворным. Сказывался живой интерес Н.Н.Семенова. Как правило, через 10 минут после моего возвращения вечером домой Николай Николаевич звал к телефону, и ужин откладывался на час. Шло обсуждение отдельных частей известной обзорной статьи Семенова в «Успехах физических наук» (1940, т. 23, с. 251; т. 24, с. 433).

В институте была организована лаборатория горения, где мы планомерно исследовали кинетику реакций $2\text{CO} + \text{O}_2 = 2\text{CO}_2$ вплоть до самых высоких температур. Может быть, важнее было то, что в институте рядом уже давно существовала лаборатория двигателей внутреннего сгорания, где К.И. Щелкин исследовал

детонацию. Наибольшее влияние на меня оказывало соседство с лабораторией взрывчатых веществ. Там были мои сверстники А.Ф. Беляев и А.А. Аппен. Организовал эту лабораторию и руководил ею Юлий Борисович Харитон. Это мой друг и учитель до настоящего времени. О современных работах с Юлием Борисовичем многое будет сказано еще дальше.

Как физик-теоретик я считаю себя учеником Льва Давидовича Ландау. Здесь нет необходимости объяснять роль Ландау в создании и развитии теоретической физики. Вместе с тем, не умаляя этой роли, хочу отметить, что с годами взрослея, – старея, увы! – я лучше стал понимать и больше стал ценить роль других школ и лиц. Это прежде всего Я. И. Френкель с его огромной интуицией, оптимизмом и широтой. Это В.А. Фок с глубокой и блестящей математической техникой. Это И.Е. Тамм и его ученики и идущая от Л.И. Мандельштама школа теории колебаний. Наконец, это многие, в том числе ныне здравствующие математики, успешно работающие в теоретической физике.

Очень прошу не читать вышестоящий абзац злонамеренным образом. Если я пишу, что Френкель имел интуицию, а Фок был хорошим математиком, то не делайте вывода, что у Ландау не было ни интуиции, ни знания математики – этого я не имел в виду! Талант Ландау был гармоничен, суд его строг, но почти всегда справедлив. Сказанное о школах теоретической физики можно применить и к физическим школам в целом.

В молодости мой кругозор ограничивался Химфизикой и Физтехом. Нет сомнения, Физтех дал блестящую плеяду физиков, вырастил Игоря Васильевича Курчатова и его соратников, выполнивших важнейшее государственное дело. Об этом прекрасно написано во многих статьях и книгах. Но в довоенные годы, да и в первые послевоенные годы мне казалось, например, что оптика – это наука, в которой исчерпаны принципиальные вопросы. Сегодня достаточно назвать черенковское излучение и лазеры, чтобы опровергнуть это неправильное поверхностное мое суждение. Линия, идущая от Лебедева через Рождественского и Вавилова, Мандельштама и Тамма, Черенкова, Франка, Гинзбурга, Прохорова и Басова, оказалась бесконечно более плодотворной, чем мне это казалось в 30-е годы.

Сейчас мне трудно установить, было ли это лично моим дальтонизмом или в какой-то мере недооценку другой школы (других школ) разделяли мои коллеги. Во всяком случае, из очень открытых воспоминаний Гамова и некоторых реплик Скобельщина теперь я могу уверенно судить о взглядах

представителей другого направления. Школа Лебедева очень определенно ощущала свое существование, отдельное от школы Иоффе. Но предоставим эту тему историкам науки. В настоящее время такого противопоставления, к счастью, нет, произошло достаточно тесное перемешивание тех школ, которые можно было различать в давние времена.

Возвращаясь к своей работе конца 30-х годов, вижу один существенный дефект: недостаточное внимание к пропаганде своих результатов за рубежом. Я хорошо знал иностранные работы, печатал некоторые работы в советских журналах на английском языке. Однако мне и в голову не приходило разослать свои оттиски иностранным ученым. Не было и речи о командировке за границу. Виновато было время, но виноваты в этом были, может быть, в какой-то мере и старшие товарищи, которые должны были больше заботиться о живых связях.

Пойдем дальше. Открытие деления урана и принципиальной возможности цепной реакции деления предопределило судьбу века – и мою. Соответствующие работы Ю. Б. Харитона и мои опубликованы в начале данной книги, и мне нечего (и незачем) добавить к комментариям по научному существу. Хочу только отметить ведущую роль моего учителя – Харитона – в понимании общечеловеческого значения задачи. Меня, пожалуй, больше интересовали специфические вопросы методов расчета и т. п. Не случайно именно Юлий Борисович стал в 1940 г. членом Урановой комиссии (см. «УФН» за март 1983 г.). Дальнейшее развитие работы хорошо известно по многим воспоминаниям участников.

Любопытную деталь отмечает Юлий Борисович: работу по теории деления урана мы считали внеплановой и занимались ею по вечерам, иногда очень допоздна... Впрочем, и администрация института, по-видимому, придерживалась той же точки зрения – способный, но более практичный сотрудник просил 500 рублей за обзор по теории разделения изотопов, но суммы этой не нашлось...

Говоря о дальнейшей работе, хочу подчеркнуть роль теории детонации и взрывов.

Известно удивление ученых США, когда пробы воздуха показали, что в августе 1949 г. их ядерная монополия кончилась. Август 1949 – испытание советского атомного оружия – был закономерным итогом огромного целеустремленного усилия всего народа, сыграл роль и научный потенциал страны, накопленный еще в предвоенные годы. Удивление в США было бы меньше, если бы они читали наши работы предвоенных лет,

опубликованные на русском языке. Речь идет при этом не только о работах по цепному делению урана. Наука о взрыве и теория детонации также являются необходимой частью тех знаний, без которых нельзя решить проблему. Напомним, что Харитон сформулировал условие предела детонации еще в 1938 г. Законченная одномерная теория детонации была сформулирована мною в 1940 г. в США та же задача была решена Джоном фон Нейманом – крупнейшим математиком – только в 1943 г. Заметим, что задачей детонации фон Нейман занялся именно в связи с проблемой 1).



В Казани. 1942 г.

Вскоре после начала войны Институт был эвакуирован в Казань. Возникла задача детального анализа процессов, связанных с ракетным оружием – «катюшами». Теория горения пороха, достаточная для внутренней баллистики ствольной артиллерии, нуждалась в корректировке. Для камеры горения реактивного

снаряда характерен деликатный баланс между приходом пороховых газов при горении и уходом их через сопло. Новые представления о горении пороха, явление раздувания, открытое в нашей лаборатории О.И. Лейпунским, роль прогретого слоя пороха – все это было непривычно для артиллеристов и получило различные оценки у пороховиков и специалистов по внутренней баллистике.

Хочу отметить интерес и поддержку в работе со стороны генерала профессора И.П. Граве, известного конструктора ракет Ю.А. Победоносцева (обоих их нет...) и ныне здравствующего Г.К. Клименко. Но такую поддержку мы встречали не всегда, были и острые споры, попытки административного воздействия, замены аргументов окриком.

В связи с работами по горению пороха наша группа перебазировалась в Москву. Мы оказались передовым отрядом, вслед за которым в Москву (а не обратно в Ленинград) направился весь Институт химической физики в конце войны. Работы по горению и детонации, как и работы по горению порохов, продолжаются в ИХФ и после перехода группы теоретиков (вместе со мной) на новую тематику. Хочу здесь выразить глубокую благодарность за это А.Г. Мержанову и его группе, Б.В. Новожилову, Г.Б. Манелису, А.И. Дремину и многим другим (Институт химической физики АН СССР). В ходе своих работ они не забывают мои работы – и не дают забыть другим. Без этой преемственности, несомненно, очень многое было бы заново открыто за рубежом. Нет задачи более неблагодарной, чем запоздалая борьба за приоритет...

Первая любовь не забывается – и вот в 1977 г. был организован научный совет по теоретическим основам процессов горения. До настоящего времени я продолжаю работать в области проблем горения, хотя и не в полную силу. В связи с проблемами горения, в тесном взаимодействии с Г.И. Баренблаттом в пятидесятых годах сформулировано понятие «промежуточная асимптотика», имеющее общее значение для математической физики. Также вместе с ним в теории возмущений автоволновых процессов (например, распространения пламени) найдено очень общее решение, соответствующее сдвигу и имеющее тождественно нулевой инкремент. Физики, занимающиеся теорией поля, увидят здесь аналогию с так называемой гольдстоуновской частицей.

Исследован переход (вместе с А.П. Алдушиным и С. И. Худяевым (ИХФ)) от теории Колмогорова, Петровского, Пискунова и англичанина Фишера к теории Франк-Каменецкого и

моей. В самом общем случае кинетики реакции и произвольных начальных условий правильный подход к задаче о распространении снова оказался связанным с идеей промежуточной асимптотики.

Очень не простым оказался вопрос об открытой Л.Д. Ландау гидродинамической неустойчивости пламени: здесь после очень принципиальной работы А.Г. Истратова и В.Б. Либровича только в 80-е годы удалось продвинуться вместе с В.Б. Либровичем и Н.И. Кидиным.

Идеи, заимствованные из теории поля, позволяют новому подойти к нелинейной теории спинового горения. В последнее время, в рамках Совета большое внимание приходится уделять организационной работе, связанной с большой энергетикой сжигания угля.

Вернемся к атомной проблеме к сороковым и пятидесятым годам. Огромный коллектив возглавил Игорь Васильевич Курчатов. Важнейшим участком работы руководил Юлий Борисович Харитон. Вскоре эта проблема целиком захватила и меня.

В очень трудные годы страна ничего не жалела для создания наилучших условий работы.

Для меня это были счастливые годы. Большая новая техника создавалась в лучших традициях большой науки. Внимание к новым предложениям и к критике совершенно независимо от чинов и званий авторов, отсутствие утаивания и подозрительности – таков был стиль нашей работы.

Страна переживала трудные послевоенные годы. Однако огромный авторитет Курчатова создавал здоровую атмосферу. Более того, наша работа оказывала благотворное влияние на советскую физику в целом. Однажды, когда я находился в кабинете Курчатова, раздался звонок из Москвы: «Так что же, печатать в «Правде» статью философа, опровергающую теорию относительности?» Игорь Васильевич, ни на минуту не задумываясь, ответил: «Тогда можете закрывать все наше дело». Статья не была напечатана.

К середине 50-х годов некоторые первоочередные задачи были уже решены. Появились и новые вехи, вершинами стали Женевская конференция по мирному использованию атомной энергии и знаменитый доклад Курчатова в Харуэлле (Англия) о термоядерных реакциях. Часть работ, связанных с прикладной тематикой, представляла общенаучный интерес и была опубликована.

Сюда относятся работы по сильным ударным волнам, их структуре и их оптическим свойствам.

Интерес к явлениям, происходящим при высокой температуре, привел также к принципиальной постановке вопроса об установлении термодинамического равновесия между фотонами и электронами. Специфика заключалась в том, что при достаточно высокой температуре рассеяние становится преобладающим над излучением и поглощением. Блестящую работу на эту тему выполнил А.С. Компанец. Она была опубликована в 1965 г. и оказалась необычайно важной для космологии и астрофизики, для плазмы горячей Вселенной и для излучения вещества, падающего в поле тяготения черной дыры.

Работа в области теории взрыва психологически подготавливала к исследованию взрывов звезд и самого большого взрыва – Вселенной как целого.

Одновременно производственная работа стимулировала интерес к ядерной физике и физике нейтронов. В 50-е годы отсюда было рукой подать до физики элементарных частиц. Огромное стимулирующее впечатление на меня оказала тонкая книга Энрико Ферми «Теория элементарных частиц». В английском издании, которым я пользовался, но не в русском переводе, на суперобложке издатель (не Ферми) дал следующее предуведомление:

«Книга издается на средства некоей богатой дамы, завещанные для доказательства бытия Божия. Раскрытие законов природы и их гармонии доказывает существование Бога лучше, чем теологические трактаты».

Если под бытием Божиим подразумевать объективность законов природы, существующих независимо от наших познаний и желаний, то под этим тезисом может подписаться любой философ-марксист.

В порядке самообразования я проработал самое лучшее изложение общей теории относительности – вторую часть «Теории поля», 2-го тома курса теоретической физики Ландау и Лифшица.

Хочу еще раз подчеркнуть огромную роль, которую сыграло для меня общение с Львом Давидовичем Ландау. В Казани, а потом в Москве мы жили рядом, тесно соприкасаясь по работе. Возможность прийти к нему, посоветоваться, принести на его суд свои предположения, замыслы, работы – все это ощущалось как огромное благо. О трагедии января 1962 г., когда Ландау перестал быть физиком-теоретиком (хотя он и оставался в живых), я узнал находясь далеко от Москвы. Незабываемы

тревожные дни, недели, месяцы борьбы за спасение его жизни, сплоченность физиков, перешагнувшая государственные границы. Школа, созданная Ландау, сохранилась! Она живет в лице тех, кто продолжает монументальный «курс теоретической физики» – Е.М. Лифшица, Л.П. Питаевского. Она живет в Институте теоретической физики им. Л.Д. Ландау АН СССР. Его организация, подбор людей, поддержание высочайшего профессионального уровня теоретиков – это огромная заслуга И.М. Халатникова и его сотрудников. К школе Ландау в узком смысле можно отнести и теоретический отдел Института теоретической и экспериментальной физики АН СССР – детище И.Я. Померанчука, возглавляемое в настоящее время Л. Б. Окунем. В широком же смысле идеи и методы Ландау вместе с идеями и методами других выдающихся советских теоретиков (кратко я перечислил их выше) органически вошли во всю советскую теоретическую физику.

Возвращаясь к мемуарному жанру, хочу сказать, что работа с Курчатовым и Харитоновым дала мне очень много. Главным было и остается внутреннее ощущение того, что выполнен долг перед страной и народом. Это дало мне определенное моральное право заниматься в последующий период такими вопросами, как частицы и астрономия, без оглядки на практическую ценность их. Выше я писал о том, как вызревал научный интерес к этим вопросам. Надо вместе с тем самокритично сказать о моих слабостях и трудностях, с которыми я столкнулся при новом повороте своей научной деятельности. Напомню, что в 1964 г. я официально перешел в Институт прикладной математики АН СССР (ИПМ), организованный М.В. Келдышем еще в 1953 г. После его смерти руководит этим институтом А.Н. Тихонов. В этом институте я проработал 19 лет (до перехода в Институт физических проблем в начале 1983 г.).

До перехода в ИПМ работы мои по частицам и астрономии были внеслужебными, в какой-то мере необязательными – и сейчас я вижу, что это отразилось на их качестве. До недавнего времени я гордился тем, что получал максимум физических результатов при определенном, довольно элементарном запасе математических знаний, но сейчас, и особенно в связи с теорией элементарных частиц, передо мной встает обратная сторона этого утверждения. А почему, собственно, надо ограничиваться определенным, скромным объемом математических знаний? Однако об этом я думаю сейчас применительно к физико-теоретику профессионалу.

Есть совершенно другой вопрос о том, как начиналось обучение математике в средней школе. Когда подрастали мои дети,

я просмотрел школьные учебники и решил написать новый. Так возникла книга «Высшая математика для начинающих физиков и техников».



С Ю.Б. Харитонов на общем 150-летнем юбилее
(80 лет Ю.Б. Харитону и 70 лет Я.Б. Зельдовичу)

Привожу часть моего письма, опубликованного в американском журнале «Физика сегодня» (сент., с. 95), в связи с дискуссией в этом журнале о причинах снижения уровня преподавания физики в США.

«В связи с обсуждением того, как учить молодое поколение физике, я хотел бы упомянуть одну общую трудность.

Законы физики сформулированы в виде дифференциальных уравнений: таковы, например, законы Ньютона движения материальной точки, твердого тела или же гироскопа. Законы Максвелла для электромагнитного поля – это уравнения в частных производных, так же записываются и законы газодинамики. Школьники способны понять весь этот материал.

Однако точнее будет утверждать, что они не способны глубоко понимать и любить физику, если нужный для этого запас математических терминов отсутствует. Вот мое главное замечание: в большинстве случаев обучение математическому анализу начинается с опозданием и включает затруднительные элементы теории множеств и пределов.

Так называемые «строгие» доказательства и теоремы существования гораздо сложнее, нежели интуитивный подход к производным и интегралам. В результате нужные для понимания физики математические идеи достигают школьников слишком поздно. Так же можно подавать соль и перец не на обед, а чуть позже – к пятичасовому чаю. Но вернемся к той математике,

которая используется, работает в современной теоретической физике.

Теория частиц в огромной степени развивается под влиянием опережающих математических идей и по направлениям, которые указывает математическое изящество. Не буду вспоминать хрестоматийный пример дираковской теории релятивистского электрона, приводящий к понятию античастиц. Обратимся к изотопической инвариантности. Экспериментально наблюдалась дискретная симметрия: замена протона на нейтрон (или обратная замена) в одинаковом квантовом состоянии не меняет энергии ядра. Однако Гейзенберг счел необходимым ввести непрерывную группу вращения в изотопическом пространстве, плавно переводящую нейтрон в протон при повороте на 180° через мистические промежуточные состояния! Не самая простая, а более сложная и более изящная формулировка оказалась более плодотворной. Глубина формулировки Гейзенберга проявилась при переходе от ядер к мезонам. Особенно ярко заиграли понятия, построенные по аналогии с изотопическим вращением в связи с теорией цвета кварков, градиентной инвариантностью, теорией Янга–Миллса.

Не буду подробно описывать свои работы по частицам – они приведены в этой книге и весьма квалифицированно прокомментированы. Из комментариев, отмывая их от юбилейной вежливости, видно, сколько ошибок я делал. Ошибок еще больше в работах опубликованных, но не помещенных в данном собрании трудов.

Выше в предлагаемой книге помещены мои работы в области астрофизики и комментарии к ним. Оспаривать эти комментарии нецелесообразно. Сегодня наиболее значимой отдельной работой мне представляется нелинейная теория образования структуры Вселенной, или, как сейчас кратко ее называют, теория «блинов». Структура Вселенной, ее эволюция и свойства того вещества, которое образует скрытую массу, до сих пор не установлены окончательно. Большую роль в этой работе сыграли А.Г. Дорошкевич, Р.А. Сюняев, С.Ф. Шандарин и Я.Э. Эйнасто. Работа продолжается. Однако теория «блинов» красива сама по себе; если выполнены исходные предположения, то теория дает правильный и нетривиальный ответ. Теория «блинов» является вкладом в синергетику. Мне особенно приятно было узнать, что эта работа в какой-то мере инициировала математические исследования В.И. Арнольда и других. Большой объем работ по спектру реликтового излучения при наличии

возмущений «повис в воздухе» – Вселенная оказалась очень гладкой, возмущения слишком малы.

Выжила и представляет большой интерес предложенная мной вместе с Р.А. Сюняевым диагностика горячей плазмы по рассеянию реликтового излучения с искажением спектра. В значительной мере моя работа (вместе с ближайшими моими сотрудниками, прежде всего Р.А. Сюняевым, А.Г. Дорошкевичем, С.Ф. Шандариным и – до 1978 г. – И.Д. Новиковым) в области астрофизики оказалась пропагандистской, популяризаторской и педагогической. Все это нужно и полезно, однако расценивается по другим категориям по сравнению с получением оригинальных результатов.

В начале астрофизической деятельности мне мешали навыки, приобретенные в ходе практической деятельности. Астрофизик должен ставить вопросы: как устроена природа, какие наблюдения дадут возможность выяснить это?

Между тем, я ставил задачу скорее так: как лучше устроить Вселенную, или как устроить пульсар, чтобы удовлетворить данным техническим условиям – простите, я хотел сказать: первым наблюдениям. Так появилась идея холодной Вселенной, так появилась идея пульсара – белого карлика в состоянии сильных радиальных колебаний. В оправдание свое могу только сказать, что я не упорствовал в своих заблуждениях. По-видимому, все же, в целом, деятельность моя – научная и пропагандистская – была полезна. Астрономы приняли меня в свои ряды. С астрономическими работами связано избрание меня в Национальную академию США и в Королевское общество, золотые медали Общества астрономов Тихоокеанского побережья и Королевского астрономического общества. Большой честью для меня было поручение прочесть доклад о современной космологии на XIII Генеральной ассамблее Международного Астрономического Союза. Греция, колоннада древнего театра, надо мной черное звездное небо, слушатели на мраморных скамьях, мое волнение перед докладом и во время доклада и счастливое завершение. Жизнь продолжается, и космология углубляется в область, где физика далеко оторвалась от экспериментальной проверки. Новое поколение теоретиков говорит не о первых трех минутах или секундах, не о ядерных реакциях и плазме. Обсуждаются процессы на «планковской» длине 10^{-33} см, за «планковское» время 10^{-43} с «планковской» энергией 10^{19} ГэВ. Лидируют С. Хокинг, А.Д. Линде, А.А. Старобинский, А. Гус и другие. В теории поля рассматриваются 5-, 11-, 26-мерные пространства. В лабораторных

условиях они обязательно будут имитировать наше привычное (3+1) пространство-время, лишние измерения спрячутся, свернутся, оставляя следы лишь в систематике частиц и полей. Приходят 20-летние ребята, сразу, без груза предыдущих работ и традиций, берущиеся за новую тематику. Не выгляжу ли я среди них мастодонтом или археоптериксом?



Меня утешает перестройка психики с возрастом. В настоящее время (за несколько дней до 70-летия) меня уже меньше интересуют соревновательные мотивы, скажу ли именно я то «ээ», из-за которого спорили Бобчинский и Добчинский. Конечный результат, физическая истина меня интересует почти независимо от того, кто ее найдет первым. Хватило бы мне сил понять ее!

Человечество находится на пороге замечательных открытий. Все ярче выступает идея всеобъемлющей физической теории, все большую роль играет геометрия. Может быть, в высшем смысле, не буквально, окажется прав Эйнштейн, а его теория, сводящая силы тяготения к геометрии, окажется моделью всеобъемлющей теории.

Возможно, что именно космология окажется пробным камнем для проверки новых теорий. Тогда я вспоминаю работы

С.С. Герштейна, В.Ф. Шварцмана, С.Б. Пикельнера, Л.Б. Окуня, И.Ю. Кобзарева, М.Ю. Хлопова и мои как первые робкие применения космологических аргументов для решения недоступных сегодняшнему эксперименту вопросов теории частиц. Вместе с Л.П. Гришуком и А.А. Старобинским мы пытаемся продвинуться в анализе рождения Вселенной. В середине 80-х годов в тугой узел сплетаются самые трудные и самые принципиальные вопросы естествознания. Нет у меня желания более сильного, чем желание дожидаться ответа и понять его.

Москва, 3 марта 1984 г.

* Впервые опубликовано в книге: Избранные труды. Частицы, ядра, Вселенная. М.: Наука, 1985. С. 435-446.

СПИСОК МОНОГРАФИЙ И УЧЕБНИКОВ Я.Б. ЗЕЛЬДОВИЧА

1. Теория горения и детонации. М.: Изд-во АН СССР, 1944. 71 с.
2. Теория ударных волн и введение в газодинамику. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1946.
3. Окисление азота при горении. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1947. 145 с. (Совм. с П. Я. Садовниковым и Д. А. Франк-Каменецким.)
4. Расчеты тепловых процессов при высокой температуре. М.–Л., 1947. 68 с. (Совм. с А. И. Полярным.)
5. Тепловой взрыв и распространение пламени в газах. М.: Моск. мех. ин-т, 1987. 294 с. (Совм. с В. В. Воеводским.)
6. Турбулентное и гетерогенное горение. М.: Моск. мех. ин-т, 1947. 251 с. Совм. с Д.А.Франк-Каменецким.)
7. Теория детонации. 2-е изд., испр. и доп. М.: Гостехиздат, 1955. 268 с. (Совм. с А.С. Компанейцем.)
8. The theory of detonation. N.-Y.: Acad. press, 1960. 330 p. (In coll. with A. S. Kompaneetz.)
9. Импульс реактивной силы пороховых ракет. 2-е изд., испр. и доп. М.: Оборонгиз, 1963. 186 с. (Совм. с М.А. Ривиным и Д.А. Франк-Каменецким.)
10. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1966. 686 с. (Совм. с Ю.П. Райзером.)
11. Physics of shock waves and high-temperature hydrodynamics phenomena. N.-Y.: Acad. press, 1966, V. 1. 464 p.; V. 2. 451 p. (In coll. with Yu. P. Raiser.)
12. The reactive power impulse of powder rocket. Springfield (Va): CFSTI, 1966. 194 p. (In coll. with M. A. Rivin and D. A. Frank-Kamenetsky.)
13. Elements of gasdynamics and the classical theory of shock waves. N.-Y., L: Acad. press, 1968. 111 p. (In coll. with Yu. P. Raiser.)
14. Теория нестационарного горения пороха. М.: Наука, 1975. 132 с. (Совм. с О. И. Лейпунским и В. Б. Либровичем.)

1 Полный список публикаций Я.Б. Зельдовича (490 работ) опубликован в сборниках «Избранные труды».

15. Математическая теория горения и взрыва. М.: Наука, 1980. 487 с. (Совм. с Г. И. Баренблаттом, В. Б. Либровичем и Г. М. Махвиладзе.)
 16. The mathematical theory of combustion and explosions. N.-Y.: Plenum, 1985. 597 p. (with G. I. Barenblatt, V. B. Librovich and G. M. Makhviladze.)
 17. Высшая математика для начинающих и ее приложения к физике. М.: Наука, 1960, 576 с. ¹⁾
 18. Высшая математика для начинающих физиков и техников. М.: Наука, 1982. 512 с. (Совм. с И. М. Ягломом.)
 19. Элементы прикладной математики. М.: Наука, 1967. (Совм. с А. Д. Мышкисом.) ²⁾
 20. Элементы математической физики. М.: Наука, 1973. 352с. (Совм. с А. Д. Мышкисом.)
 21. Рассеяние, реакции и распады в нерелятивистской квантовой механике. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1971. 544 с. (Совм. с А. И. Базем и А. М. Переломовым.)
 22. Легкие и промежуточные ядра вблизи границ нуклонной стабильности. М.: Наука, 1972. 172 с. (Совм. с А. И. Базем, В. И. Гольданским и В. З. Гольдбергом.)
 23. Релятивистская астрофизика. М.: Наука, 1967. 656 с. (Совм. с И. Д. Новиковым.)
 24. Теория тяготения и эволюция звезд. М.: Наука, 1971, 484 с. (Совм. с И. Д. Новиковым.)
 25. Строение и эволюция Вселенной. М.: Наука, 1975. 735 с. (Совм. с И. Д. Новиковым.)
 26. Турбулентное динамо в астрофизике. М.: Наука, 1980. 352 с. (Совм. с С. И. Вайнштейном и А. А. Рузмайкиным.)
 27. Magnetic fields in astrophysics. N.-Y., L.: Gordon and Breach Sci. Publ. Inc., 1983. 358 p. (With A.A. Ruzmaikin and D. D. Sokolov.)
 28. Физические основы строения и эволюции звезд. М.: Изд-во МГУ, 1981. 160 с. (Совм. с С. И. Блинниковым и Н. И. Шакурной.)
 29. Драма идей в познании природы. М.: Наука, 1988. 239 с. (Совм. с М.Ю.Хлоповым.)
 30. Моя Вселенная. Таллин: Валгус, 1990. 181 с. (на эстонском языке).
 31. Избранные труды. Химическая физика и гидродинамика. М.: Наука, 1984. 374 с.
 32. Избранные труды. Частицы, ядра, Вселенная. М.: Наука, 1985. 463 с.
- ¹⁾ Книга издавалась пять раз в СССР и в России, была издана в Венгрии, Болгарии, Польше, Японии.
- ²⁾ Книга издавалась три раза в СССР и в России. Издательство «Мир» выпустило книгу на английском, французском и арабском языках. Она была издана в Венгрии и Болгарии.
- ³⁾ Имеются американские и английские издания соответствующих книг.



Яков Галл

Н.К.Кольцов о прогрессивной эволюции и эволюции человека*



Историки науки, философы и биологи различных специальностей проявляют большой интерес к формированию современных концепций макроэволюции. Вопрос о роли генетики индивидуального **развития** в развитии представлений о макроэволюции исследован в гораздо меньшей степени. Не меньший интерес представляет и проблема взаимодействия экологии и генетики при изучении большой эволюции. А именно эти вопросы обсуждал основоположник генетики и экспериментальной зоологии Н.К.Кольцов в 1933 г.

В статье, посвященной проблеме прогрессивной эволюции, он широко использовал материал по генетике развития, зоологии беспозвоночных животных, экологии, и тем самым вышел на новый уровень исследования (Кольцов, 1933)¹. Кольцов стремился не просто обосновать идею о ведущей роли неотении в процессах макроэволюции (прогресс, регресс), но одним из первых начал поиск генетических механизмов и экологических последствий этого сложного явления.

Проблему прогрессивной эволюции он начал рассматривать с анализа критериев, подвергнув критике набиравшую силу идею, что степень приспособленности организмов может стать главным критерием прогрессивной эволюции. Такой модный абстрактно – экологический взгляд просто отвергался. Любой организм, популяция или вид всегда хорошо приспособлен к той среде, где он живет, так как они выживают и оставляют потомство. «В сущности, в каждый данный исторический момент все виды оказываются в равной степени приспособленными к условиям своего существования, и

* Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники им. С.И.Вавилова РАН.

¹ Кольцов Н.К. Проблема прогрессивной эволюции //Биол. Журн. 1933. Т.2. Вып. 4-5. С. 475-500.

плазмодий малярии является не менее приспособленным, чем человек и анофел, между которыми распределяется его существование. Естественный отбор строго выкидывает все неприспособленные формы. Приспособление нельзя оценить отвлеченно, а только по отношению к совершенно определенным условиям, и поскольку о приспособленности заботится естественный отбор, все виды животных и растений, существовавшие в отдаленной эпохе и ныне существующие, оказываются одинаково приспособленными» (там же, с. 486).

При экологической интерпретации макроэволюции Кольцов действительно отвергал всякую отвлеченность и общие рассуждения. Эволюционирующую группу всегда нужно рассматривать в тесном единстве с абиотической и биотической средой обитания или при переходе в новые среды. Более того, Кольцов предлагал изучать эволюцию и вымирание группы как коадаптированный комплекс. «Неуклюжий стегоцефал был без сомнения прекрасно приспособлен к климату, почве, условиям обитания, к защите от хищников, паразитов и современных ему бактерий, от которых может быть быстро вымерли бы многие из его потомков, которые кажутся нам более приспособленными, а на самом деле приспособлены к совершенно иным условиям» (там же). Рассматривая эволюцию рептилий и млекопитающих, Кольцов мастерски обрисовал экологический сценарий макроэволюции, при этом подчеркнув, что естественный отбор обеспечивает лишь некий минимум приспособленности, и помимо адаптивной эволюции широко распространена нейтральная.

Концепцию биологического или экологического прогресса он также ставил под сомнение. «Некоторые биологи пытаются оценить прогресс количественно – увеличение числа особей и расширением площади его расселения; сгущение площади и уменьшение числа особей – признаком регресса. Однако резко бросающиеся в глаза явление биологических “волн жизни”, столь часто наблюдаемое среди всех животных растений и особенно наглядно среди насекомых, которые то появляются в известные годы на огромных пространствах и в несметных количествах, то почти совершенно исчезают, вряд ли имеет прямое отношение к прогрессу или регрессу. И если бы мы захотели оценивать прогресс количеством особей и шириной их распространения, то муравьев и бактерий надо было бы поставить наравне с человеком на одну и ту же самую высшую ступень биологической лестницы. А еще несколько сотен тысяч лет назад в ледниковый период человек, оттесняемый льдами, разбросанный

маленькими группами среди суровой природы, мог бы, пожалуй, быть принят за один из регрессивных видов» (там же, с. 486-487).

А.В.Яблоков (1968) в монографической статье о прогрессивной эволюции, целиком разделяет оценку Н.К. Кольцовым концепции биологического прогресса. Философ науки Ф. Вукетич полагает, что концепция биологического прогресса относится к области мифологии (Wuketits, 1997).

Кольцов обратил внимание, что, анализируя критерии прогрессивной эволюции, исследователь всегда находится в состоянии антропоцентриста, всегда считая человека самым прогрессивным существом. Но для такого взгляда нет ни малейших оснований: «Очевидно требуется немало усилий, чтобы освободиться от этого ненаучного предрассудка» [1]. С. 487).

Кольцов внимательно рассмотрел понятия «высшее» и «низшее» в эволюционной биологии с позиции генетики и молекулярной биологии. Для идеального исследования нужно было бы привлечь сравнительную геномику видов, особенности строения их хромосом или их небольших участков и отдельных молекул. Но генетика, тогда еще молодая наука, не могла решать такие задачи, поэтому Кольцов предложил старый критерий прогресса, выражающий морфофизиологическую сложность фенотипа. Но он не случайно говорит о «фенотипе», а не об «организме», тем самым подчеркивая, что эволюция всегда изучалась лишь на одном уровне, кроме того, есть возможность дополнить исследования новым генотипическим уровнем. Кольцов явно прогнозировал вероятность, даже интуитивно, что генетика может быть вовлечена в познание большой эволюции двумя путями: вскрытием механизмов формирования фенотипических новшеств (генетика развития) и изучением эволюции генотипа (генома) самостоятельно от фенотипических преобразований. Но даже старый критерий однозначно демонстрирует, что не вся эволюция в целом носит прогрессивный характер. В ходе большой эволюции он показывал, что явления регресса имеют место не только как тупиковые линии или короткие фазы в прогрессивной эволюции, на огромном материале по зоологии беспозвоночных. Кольцов уделяет большое внимание анализу взаимосвязи и переходу от прогресса к регрессу и обратно. Второй не менее оригинальный ход его мыслей заключался в том, что явления неотении лежат в основе и прогрессивных, и регрессивных (упрощение организации) событий в эволюции.

Для доказательства широкого распространения регресса в эволюции любое упрощение фенотипа Кольцов трактовал как регрессивное. Неотения, сбрасывая конечные признаки или стадии

развития, чаще всего ведет к упрощению фенотипа. По этой же причине и регресс всегда основан в какой-то степени на неотении. К явлениям регресса Кольцов отнес все формы паразитизма и неотении, даже аксолотля, у которого выпала конечная стадия развития. «Надо заранее слишком твердо уверовать в прогрессивный характер всякой эволюции, чтобы отрицать очевидность регресса у всех этих паразитических, сидячих и неотенических форм, которые как правило являются упрощенными по сравнению с их более сложными предками, результатом потери большого количества генов, не возмещаемой приобретением некоторого числа новых генов» (там же, с. 485).

Кольцов специально остановился на генетических механизмах макроэволюции. Он полагал, что неотения у мексиканского аксолотля появилась как результат нового гена, подавляющего развитие щитовидной железы, и в конечном счете метаморфоза. «Возможно, что первым шагом к закреплению неотении у аксолотля или коловратки явилось возникновение нового гена, например, подавляющего развитие щитовидной железы, в результате чего подавляется и метаморфоз. Но с того момента, когда взрослая стадия исчезла из эмбрионального развития, все гены, определяющие развитие утраченных органов взрослых стадий, становятся не нужными для вида, выходят из-под влияния естественного отбора и с течением времени мало помалу автоматически выкидываются из генотипа» (там же, с. 485).

К моменту появления статьи Кольцова генетические аспекты неотении Е. Форд и Дж. Хаксли исследовали в специальной работе и предложили концепцию скоростей действия генов, контролирующего гормональный статус онтогенеза [2]. Эти британские исследователи отказались от идеи возникновения новых генов, а сосредоточили внимание на «производстве» количества продуктов генов, контролирующего онтогенез. Кольцов же выдвинул идею создания новых генов, но действующих через репрессию базисного гена, ответственного за развитие щитовидной железы. Интерпретации кажутся совершенно разными, но их объединяла общая мысль: в центре стоят активность генов и ее регуляция, т.е. экспрессия гена. По Кольцову, неотения потому и играла такую большую роль в эволюции и так широко распространена, что может легко возникнуть, путем изменения активности одного гена или появления одного гена с множеством взаимодействий и плейотропных эффектов.

Интересно, что неотении Кольцов отнес все случаи и упрощения онтогенеза, и трансформации органов. Сосредоточился

он на анализе отряда Diptera, так как на дрозофиле уже были известны гомеозисные мутации. Происхождение антенн, хоботковых лопастей и гальтеров, объяснялось остановкой в развитии на ранних эмбриональных стадиях и, следовательно, было отнесено к неотении. Но открытые к тому времени гомеозисные мутации (*bithorax*, *aristopedia*, *tetraoptera*) уничтожают результаты действия неотении и возвращают органы в предковое состояние (работы К. Бриджеса, Е.И. Балкашиной, Б.Л. Астаурова). Изучая гомеозисные мутации, можно проследить эволюцию группы, поскольку, по словам Кольцова, именно такие мутации выступают в роли «отпирателей неотенических заповров».

Почему гомеозисные мутации всегда проявляются в виде уродов и страшных монстров? Кольцов полагает, что причину следует искать в эволюции на уровне генома. Все пять известных к тому времени гомеозисных локусов у дрозофилы располагаются рядом в определенной последовательности на очень коротком участке в третьей хромосоме. Этот блок генов имеет очень древнее происхождение: отряд двукрылых обособился в результате образования одного неотеничного гена, остановившего развитие предкового насекомого на начальной стадии дифференцировки задних крыльев, ротовых частей и антенн. В ходе дальнейшей эволюции сам ген неотении распался на ряд локусов, находящихся в одной связке (как теперь говорят, гомеобоксе), контролирующей «недоразвитие» или неотению. В качестве модели дальнейшей дифференцировки одного базисного гена Кольцов использовал исследования А.С.Серебровского по локусу *scute*, которые показали возможность возникновения мутаций в разных участках одного гена [3].

Явление ступенчатого аллеломорфизма Серебровского было использовано при объяснении эволюции генома и фенотипической эволюции больших групп животных. Последовательная связка генов надежнее обеспечивает реализацию нового типа развития, чем один ген. В случае контроля за одним геном обратная мутация может уничтожить онтогенетические и эволюционные новшества. Уроды появляются именно потому, что отдельные, скорее, обратного типа, мутации возникают лишь в одном из гомеозисных локусов и полная необратимость эволюции уже невозможны. «В настоящее время вместо одного гена неотении мы имеем целый отрезок, на котором сосредоточены гены, задерживающие развитие отдельных органов в мухе. Обратные мутации, отмыкающие неотенические заповры, происходят поэтому в отдельных локусах независимо друг от друга. Таким образом, результаты экспериментальных работ по

генетике дрозофилы позволят нам, быть может, вскрыть природу одного мутационного толчка к неотении, который имел место миллионы лет назад и о котором не сохранилось ясных палеонтологических данных» (там же, с. 485).

В этом коротком отрывке Кольцов сумел выразить целую гамму идей, которые сейчас стоят в центре внимания эволюционной и молекулярной биологии развития. Концепция о первоначальном мутационном толчке совсем не противоречила концепции Форда Хаксли. Они как бы лежат в разных временных интервалах эволюционной истории. Кольцов ушел в более древнюю историю происхождения генов-«дизайнеров», конструирующих новые «архетипы», а Форд и Хаксли предложили концепцию действия генов в современном типе онтогенеза и использовали ее при объяснении эволюции. Таким образом, Кольцов и британцы изучали регуляционные механизмы не только в разных временных интервалах эволюционной истории, но и разные классы самих генов, и разные типы генетических сетей. В том же 1933 г. Р.Гольдшмидт, основываясь на работах по гомеозисным мутациям, впервые высказал скандальную идею об обнадеживающих монстрах [4]. Интерпретация Кольцова близка к гольдшмитовской, но выражена более осторожно.

Интересно, что изучение гомеозисных мутаций и генов-регуляторов пошло именно по пути, который очертил Кольцов: За последние 15 лет многочисленные исследования привели к открытию роли гомеозисных генов в реализации общего плана строения животных и растений и в регуляции онтогенеза. Однако Б.Л. Астауров еще в 1925 г. описал мутацию *tetraptera*, вызывающую появление дополнительной пары крыльев за счет трансформации жужелиц (гальтеров). **Этот научный интерес он сохранил на всю жизнь, хотя вскоре перешел работать в область генетики тутового шелкопряда** [5-7]. Молекулярные исследования показали, что гены этого типа состоят из высоко консервативной ДНК, длиной в 180 нуклеотидных пар. Они располагаются всегда в кластерах по шесть генов. Эти короткие последовательности присутствуют во всех животных и растениях и выполняют сходную функцию, – кодируют белок, во многом напоминающий репрессорные белки прокариот. Эта группа генов обнаружена и у дрожжей, которые вовлечены в функцию спаривания и действуют как репрессор, контролирующей общий метаболизм.

Наличие гомеозисных боксов во всех царствах живого дало право современным эволюционистам говорить об их происхождении от общего предка [7]. Правда, сегодня считают,

что боксы появились в результате дупликации первоначального гена и в последующей дивергенции функций в дублированных блоках, на что указал Бабков, интерпретируя концепцию Кольцова [2]. Не исключено, что многие процессы были задействованы в формировании, говоря современным языком, генов-дизайнеров, а их эволюционная консервативность точно такая же, как и самих, ограниченных в числе «архетипов», которые они контролируют. Быстрая эволюция на ранней стадии дупликации связана с усложнением регуляторных сетей у дрожжей. Активность разных дублированных генов меняется «мозаично», с различной скоростью. Роль дублированных генов в эволюции исследуется и на белковом уровне, когда появляются протеины с новыми функциями. В ходе эволюции белков при адаптации к лекарствам могут формироваться белки с новыми функциями и эволюция новых функций, идет путем мутаций, которые слабо воздействуют на старую функцию. Уже на самой ранней стадии эволюции белок может приобретать новую функцию без потери «старых». Произошла дивергенция функций без потери «оригинальной» функции [9].

Сегодня изучение активности регуляторных генов, вызывающих неотению, и генов-«дизайнеров» разведены по темам и исследуются разные классы генов. Помимо гомеозисных мутаций, существуют и другие пути изучения неотенических преобразований, когда во взрослом состоянии сохраняются какие-либо ювенильные черты или резко меняются свои скорости роста у животных и растений. Определение времени перехода вегетативного роста в репродуктивный и формирование цветка у арабидопсиса (*Arabidopsis thaliana*) позволило построить модель регуляции и выявления сети взаимодействующих генов. Обнаружены мутации, прерывающие нормальный ход онтогенеза и приводящие к развитию «плодоносящих» эмбрионов [10, 11]. Хотя роль эпистатических взаимодействий в эволюции широко дискутируется, молекулярные биологи получили конкретную модель для изучения молекулярных основ развития и сетей генов в контексте экологии и теории эволюции [12].

Кольцов же понимал неотению так широко, что практически предсказал все исследовательские пути, которые сейчас реализуются. Более того, вопросы активности генов в онтогенезе и вытекающие отсюда макроэволюционные последствия пронизывают всю статью Кольцова. Он анализировал пути эволюции групп, когда одни гены активируются, а другие как бы уходят в спячку. Все генетические события тесно увязывались с неотенией. «Резкая неотения – например, созревание половых

органов на ранней личиночной стадии, подобной трохофоре аннелид, – ведет за собой сначала сильное упрощение только *фенотипа* (курс. – Я.Г.), в то время как генотип сохраняет всю свою сложность. При этом большие участки хромосом теряют свою активность, так как не имеют возможности проявиться в эмбриональном развитии в силу исчезновения тех стадий, на которых они обычно проявляются» (Кольцов, 1933, с. 485)². И здесь Кольцов через генетический анализ неотении показал пути перехода от регрессивной эволюции к прогрессивной. Неотения играла огромную роль в эволюции насекомых, и это вело к уходу в «спячку» многих генов. Но уже в существующей неотенической форме может произойти мутация в «спящих» генах, что разбудит мутационный процесс, и группа может проявить «расцвет» прогрессивной эволюции. По Кольцову, на таких периодических «вспышках» мутационного процесса эволюционировала большая группа беспозвоночных и позвоночных животных. «У дрозофилы мы устанавливаем действительно довольно большие участки X-хромосомы и почти целиком всю Y-хромосому именно в таком неактивном состоянии. Может быть, такое состояние хромосомного аппарата следует признать доказательством того, что в развитии насекомых большую роль играли неотении. С другой стороны запас не проявляющихся в развитии генов, которые могут мутировать в гены, проявляющиеся в развитии уже неотенической формы, влечет за собой *высокую изменчивость* (курсив. – Я.Г.) последней и позволяет ей иногда обнаружить в дальнейшем пышный расцвет прогрессивной эволюции. Мы наблюдаем такой расцвет у полипов, коловраток и вероятно, у первичных костистых рыб, птиц и млекопитающих» (там же, с. 485-486). В период становления млекопитающих, действительно, в результате вспышки мутационного процесса сформировались большие классы псевдогенов, для некоторых уже обнаружены регуляторные функции [13].

Рассматривая все крупные группы животных, Кольцов продемонстрировал широкое распространение прогрессивных и регрессивных явлений, а также тонкие переходы между ними. Огромный акцент на проблеме регресса позволил Кольцову избавиться от антропоцентризма при интерпретации направлений эволюции и опираться на физические и химические основы жизни. «Огромное значение регрессивных процессов в эволюции

² Идея Н.К. Кольцова, что эволюция путем неотении ведет лишь к упрощению фенотипа, но позволяет сохранить богатство генотипа была поддержана и развита А.Л. Тахтаджяном (1943, 1983).

животного царства не должно удивлять нас, так как это явление вытекает из применения второго закона термодинамики, т. е. общей направленности исторического развития к переходу из сложного в простое» (там же, с. 497). Но концепцию Кольцова нельзя назвать регрессивной. Он вообще отрицал предопределенность эволюции: «Нет никаких теоретических препятствий, к признанию того, что на любой стадии регресса эволюционный процесс может переменить свое направление и стать снова прогрессивным, но уже не по прежнему руслу, а по более или менее измененному. Ведь вероятность точного повторения прежнего пути в обратном порядке ничтожно мала вследствие огромного числа возможных комбинаций. Однако современная генетика вопреки «закону Долло «не исключает возможности, что некоторые органы, исчезнувшие в результате неотении, снова восстановятся в дальнейшем эволюционном процессе, так как задатки их сохраняются еще долгое время в генотипе в форме не проявляющихся вследствие торможения генов» (там же, с. 497).

Рассмотрев трудно интерпретируемые явления эволюционного застоя и «живых ископаемых», Кольцов, вероятно, впервые использовал генетический критерий прогрессивной эволюции: формирование устойчивых генотипов с широкой фенотипической лабильностью. Эта тенденция прослеживается и в эволюции неживой природы, так как там, как правило, сохраняются неопределенно долго лишь устойчивые соединения. Но проблема формирования «стойкого генотипа» остается открытой, так как существуют и стойкие, и легко мутирующие гены. Лучше всего данная тематика, по Кольцову, может быть исследована на «живых ископаемых» (*Nautilus*, *Ligula*) и человеке. Теперь хорошо известно, что гены, кодирующие белки, и морфогены, действительно, высоко консервативны, и это, как правило, связано с летальностью их мутаций характер (гистоны, гены-«архетипы»). «Следов» мутирования таких структурных и регуляторных генов, просто не остается в эволюционном процессе.

При изучении макроэволюции Кольцов отдельно выделяет взаимодействие экологии и палеонтологии. Синэкологический характер большой эволюции особенно нагляден при анализе эволюции рептилий и млекопитающих. Для этих групп характерна острая конкуренция между травоядными и хищниками, и прогрессивная эволюция шла в них даже в рамках одного типа питания. Травоядные наряду с увеличением размеров приобретали специальные орудия защиты, быстроту бега и стадные инстинкты. Хищники в ответ развивали силу и ловкость

движения, могучие зубы и вооруженные лапы. Каков же предел такой прогрессивной эволюции? По Кольцову, его следует искать в пределах специализаций, которые понизили эволюционную пластичность. Но экологический подход к эволюции и на этот раз позволил Кольцову показать, что вымирание любой специализированной линии или группы животных всегда связано с преобразованиями сообществ растений, животных и бактерий. «Травоядные гиганты вымирали, унося с собой всю богатую флору и фауну паразитов и нахлебников, которые строго на них специализировались, пройдя также прогрессивную эволюцию» (там же, с. 498). Линия рассуждений, совмещающая экологический и палеонтологический подходы часто присутствует в работе Кольцова при рассмотрении макроэволюции, и в этом смысле можно сказать, что он стоял у истоков современной палеоэкологии.

Проблема прогрессивной эволюции включает в себя и **эволюционное становление** человека, и эта тенденция существует и по сей день. Труд Кольцова лишен малейшего антропоцентризма. Уже предки млекопитающих, скорее всего были неотениками, так как уступали в размерах огромным рептилиям. Геном предков млекопитающих был перегружен «не активными «генами, и в то же время обладал высокой мутабельностью и нестабильностью. Человек никак не может избавиться от беспристрастного познания своей истории. Единственный признак, дающий право человеку возвеличивать себя, – непомерно большой мозг, способствовавший образованию бесконечного числа условных рефлексов. Но это повело к резкому упрощению огромного мира, **безусловных рефлексов** и инстинктов. Общая характеристика человека у Кольцова выглядит так: «Все-таки человек – большеголовый урод, лишенный шерсти, с очень посредственными органами чувств, не могущий использовать передних конечностей при передвижении и потому передвигающийся относительно медленно, лишенный когтей для обороны, со слабыми зубами без хвоста» (там же, с. 496).

Кольцов специально остановился на эволюции человека в аспекте неотении. «Сравнительно – анатомической точки зрения человека приходится сравнивать с детенышами человекообразных обезьян. Как и в других случаях, неотения повлекла за собой упрощение – по крайней мере частичное – генотипа и вместе с тем перевела в запас большое количество инактивированных генотипов, обеспечивающих высокую мутабельность человеческого типа» (Там же, с. 497). У Кольцова нет точной характеристики эволюции человека с позиции прогресса или регресса, но по тону его исследования следует, что человек далек

от прогресса, характерного для биологического мира. Кольцов не анализировал геологическую роль человека, но сейчас становится очевидным: появление человека стало настоящей катастрофой, поставившей под угрозу само существование биосферы. Правда, возвеличивание человека в трудах антропологов, эволюционистов и обществоведов, по Кольцову, не есть результат научных исследований, а скорее наследство полученное Наукой от Библии. Кольцов, как бы призывает вернуться к мыслям Дарвина о том, что человек должен быть изучен всеми доступными научными методами, которые используются при изучении животных.

Такой «приземленный» анализ становления человека Кольцовым имеет под собой веские основания. Человечество совершенно не дает себе отчет в том, что оно стоит на краю пропасти, без всяких естественных глобальных катастроф и ядерных войн. Своей бурной «деятельностью» и без контроля за рождаемостью, человечество четко проложило себе путь к вымиранию [14] или к уничтожению биосферы. Вместо ожидаемой ноосферы, человечество создает самую настоящую какосферу [15].

О таком «будущем» человечества вполне определенно высказался еще Ж.Б.Ламарк в начале XIX в. «Человек, ослепленный эгоизмом, становится недостаточно предусмотрительным даже в том, что касается его собственных интересов: вследствие своей склонности извлекать наслаждение из всего, что находится в его распоряжении, одним словом – вследствие своего беззаботного отношения к будущему и равнодушия к себе подобным, он сам как бы способствует уничтожению средств к самосохранению и тем самым – истреблению своего вида. Ради минутной прихоти он уничтожает полезные растения, защищающие почву, что влечет за собой ее бесплодие и высыхание источников, вытесняет обитавших вблизи них животных, находивших здесь средства к существованию, так что обширные пространства земли, некогда очень плодородные и густо населенные разного рода живыми существами, превращаются в обнаженные, бесплодные и необитаемые пустыни. Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав Земной шар непригодным для обитания» [16]. Такие пророческие слова мог высказать лишь тот, кто действительно понимал, что представляет собой биосфера и что ее ожидает в недалеком будущем, благодаря появлению всего лишь одного вида, – вышедшего за границы нормального экологического контроля, и резко нарушившего баланс и экономию природы [17].

Таким образом, Кольцов весьма удачно описал многие экологические аспекты эволюции от видов, сообществ и до самых актуальных проблем биосферы, на которые в его время мало кто обращал внимание. И все это было сделано в период господства веры в неограниченные возможности человека, в том числе и в управлении всеми естественными процессами, протекающими на Земле. Но даже в наши дни познание глобальных процессов, столь скудное, что крупнейшие экологи мира призывают объединить усилия ученых всех стран и многих специальностей для создания настоящей исследовательской программы по изучению полных круговоротов элементов и соединений в биосфере [18].

Труд Кольцова, основанный на генетике развития и экологии, хорошо дополнял классическую статью С.С.Четверикова 1926 г. по генетике природных популяций и эволюции популяций и видов. Если мысленно объединить статьи классиков отечественной генетики, то эволюционный процесс во всем разнообразии от уровня популяций и видов и до происхождения высших таксонов предстает в едином теоретическом ключе, на основе синтеза естественной истории и генетики в двух «ипостасях» (генетика популяций и генетика развития).

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Проект 12-06-00119а.

Литература

1. Кольцов Н.К. Проблема прогрессивной эволюции // Биол. журн. 1933. Т. 2. Вып.4-5. С.475-500.
2. Ford E., Huxley J. Mendelian genes and rates of development in *Gammarus chevreuxi* // Brit. Journ. Exp. Biol. 1927. V.5. P.112 –134
3. Гайсинович А.Е. Зарождение и развитие генетики. М., 1988.
4. Голубовский М.Д., Галл Я. М.Р.Гольдшмидт и Дж.Хаксли: творческие параллели // Журн. общ. биол. 2003. Т.64. №6. С.510–518.
5. Инге-Вечтомов С.Г., Бочков Н.П. Выдающийся генетик и гражданин. К 100-летию со дня рождения Б.Л.Астаурова // Вестник РАН. 2004. Т.74. №9. С.837-843.
6. Корочкин Л.И. Мудрость и такт // Природа. 2004. №10. С.76-79.
7. Niklas K. The evolutionary biology of plants. Chicago, 1997.
8. Бабков В.В. Московская школа эволюционной генетики. М., 1985.
9. Aharomi A., Gaidukov L., Khersonsky O. et al. The «evolability» of promiscuous protein functions // Nature (genetics). 2005. V.37. №1. P.73-76.
10. Yang G., Chen J., Sung Z. Genetic regulation of shoot development in *Arabidopsis*: role of the EMF genes // Develop. Biol. 1995. V.169. P.421-435.
11. Haughn G, Schultz E, Martinetz-Zapater R. The regulation of flowering in *Arabidopsis*: meristems, morphogenesis, mutants // Can. Journ. Bot. 1995. V.73. P.959-981.

12. Caicedo A., Stinchcombe J., Olsen K. et al. Epistatic interaction between *Arabidopsis FRI* and *FLC* flowering time genes generates a latitudinal cline in life history trait // PNAS (USA). 2004. V.101. №44. P.15670-15675.
13. Lee J. Complicity of gene and pseudogene // Nature. 2003. V.423. P.175-177.
14. Моррис Д. Голая обезьяна. Человек с точки зрения зоолога. СПб., 2001.
15. Заварзин Г.А. Антипод ноосферы // Вестник РАН. 2003. Т.73. №7. С.627-637.
16. Ламарк Ж.Б. Аналитическая система положительных знаний человека, полученных прямо или косвенно из наблюдений (1820) // Избранные произведения (1955-1959). В 2 т. М., 1959. Т.2. С.347-572.
17. Серавин Л.Н. Похвальное слово Жану Батисту Ламарку // Вестник СПб ун-та. 1994. Сер.3. Вып.4. С.3-17.
18. May R. Unanswered questions in ecology // Philos. Trans. Royal Soc. Biol. Sci. 1999. V.354. №90. P.1951-1959.



Павел Нерлер
«Дар тайнослышанья
тяжелый...»
Владислав Ходасевич¹

1



уровой и прекрасной зимой 1920-1921 гг. чуть не все оставшиеся в Петербурге поэты, художники и ученые стянулись в одно место, поближе друг к другу – в «убогую роскошь» Дома Искусств, целого артистического квартала на углу Невского и набережной Мойки. Это было не просто общежитие полуголодных интеллигентов – это был целый культурный мир, а те несколько лет, что он просуществовал, обернулись целой эпохой – эпохой революционного напряжения и творческого подъема. «Дом искусств» издавал свою газету, журналы, каждый из его постояльцев запечатлел этот мир в своих произведениях, и просто удивительно, что весь этот богатейший материал, без проникновения в который многое непонятно в истоках сегодняшнего искусства, – до сих пор не собран. Какая замечательная могла бы получиться книга!

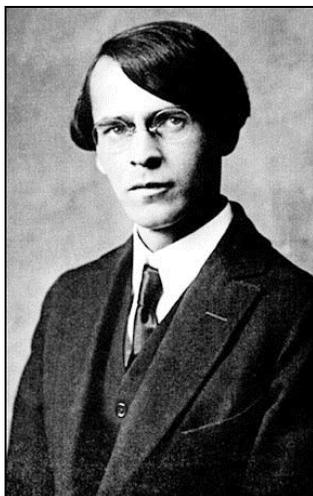
Главу о Ходасевиче в ней я бы открыл цитатой из мандельштамовского очерка:

«Вспоминаю я моего соседа по Камчатке бывших меблированных комнат, куда спланировали нас за неимением места в хоромы Дома Искусств, – поэта Владислава Ходасевича, автора "Счастливого Домика", чей негромкий, старческий, серебряный голос за двадцатилетие его поэтического труда подарил нам всего несколько стихотворений, пленительных, как цоканье соловья, неожиданных и звонких, как девичий смех в морозную ночь» («Шуба»).

Действительно, 191 стихотворение, составившее пять его прижизненных книг, – сколь это «ничтожная» цифра на фоне Мережковского, Брюсова, Бальмонта, даже Блока с их собраниями сочинений. Трудно подыскать поэта более «скупого» на стихи!..

¹ Глава из книги П. Нерлера «Con Amore. Этюды о Мандельштаме» (М.: НЛО, 2014).

Владислав Ходасевич родился в Москве, в Гостиной Слободе, 16 (28) мая 1886 года. Его отец и мать были родом из Литвы: Фелициан Иванович Ходасевич сомнительной карьеры художника (он занимался в Академии Художеств у Ф. Бруни) предпочел фотографическое ремесло, открыв магазин сначала в Туле, потом в Москве. Владислав, шестой ребенок в семье, обожал свою мать, Софью Яковлевну (урожденную Брафман). Семья была католической, но происхождение родителей позволило Ходасевичу с горечью откликнуться в ноябре 1914 г. – в одном из писем к Борису Садовскому – на газетные сообщения о погромах в Польше так: *«мы, поляки, кажется, уже немножко режем нас, евреев».*



Владислав Ходасевич

Сам Ходасевич, хотя и был похоронен в Париже по католическому обряду, никогда не вызывал папистской ревности. Не забудем и того, что –

Не матерью, но тульской крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Свивальники мне грела под лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна...

Она же была и няней Влади. Читать он выучился в три года, первые стихи, обращенные к младшей из своих двух сестер (*«Кого я больше всех люблю, / Уж всякий знает – Женичку»*), сочинил в шесть или семь лет. В раннем детстве он упал со

второго этажа, в девять лет переболел черной оспой – и то, и другое обошлось без последствий.

В 1896-1904 гг. учился в 3-й Московской гимназии (в одном классе с братом Валерия Брюсова Александром), твердый «четверочник». В автобиографической канве, сделанной в 1922 году по просьбе Н.Н. Берберовой, обращает на себя внимание ремарка, относящаяся к 1903 году: «Стихи навсегда». В 1904 году поступил в Московский университет на юридический; спустя год – перевелся на историко-филологический, где проучился два года, после чего был отчислен за неуплату взноса за обучение.

Выход «Молодости» – первой книги Владислава Ходасевича – позволил ему снова приступить к занятиям осенью 1908 года. На сей раз на три полных семестра, после чего он снова увольняется, и снова по безденежью – с тем, чтобы осенью 1910 г. сделать третью и последнюю безуспешную попытку (на сей раз вновь на юридическом факультете). В мае 1911 года он распростился с Alma mater навсегда.

2

К этому времени Ходасевич уже хорошо известен в московских литературных кругах. С 1902 года он участник Московского литературно-художественного кружка (занятия проходили по вторникам), страстный поклонник Бальмонта, Брюсова, Андрея Белого, с последним он близко и горячо сдружился. В 1905-1907 гг. Ходасевич дебютирует в периодике, причем скорее как критик, а не поэт (соотношение публикаций 4:1). В. Гофман и В. Брюсов, два рецензента его книги «Молодость», оба сравнили ее с «Романтическими цветами» – первой книгой Н. Гумилева, ровесника Ходасевича.

«Молодость» была посвящена М.Э. Рындиной, первой жене Ходасевича, и вышла спустя несколько недель после их развода. Два с половиной года брака с этой, по отзывам современников, столь же красивой, сколь и эксцентричной богачкой, личного счастья Ходасевичу не принесли (немудрено, что слова «карты» и «пьянство» чаще других мелькают в автобиографической канве за эти годы: здесь же разгадка истории с неуплатой за университетскую учебу).

Вторая книга Ходасевича – «Счастливый домик» (1914) – объединила стихи 1908-1913 гг. Разрыв отношений с женщиной, не относившейся всерьез к чувствам полюбившего ее поэта, нелепая смерть матери, а затем и отца – этих трех событий, произошедших в 1911 году, было более чем достаточно, чтобы поставить Ходасевича на грань самоубийства: его спас Муни –

Самуил Викторович Киссин, ближайший друг. Это описывает сам Ходасевич в «Некрополе»:

«Однажды, осенью 1911 года, в дурную полосу жизни, я зашел к своему брату. Дома никого не было. Доставая коробочку с перьями, я выдвинул ящик письменного стола, и первое, что попало на глаза, был револьвер. Искушение было велико. Я, не отходя от стола, позвонил к Муни по телефону:

– Приезжай сейчас же. Буду ждать двадцать минут, больше не смогу.

Муни приехал.

В одном из писем с войны он писал мне: "Я слишком часто чувствую себя так, как – помнишь? – ты, в пустой квартире у Михаила".

Тот случай, конечно, он вспомнил и умирая: "наше" не забывалось. Муни находился у сослуживца. Сослуживца вызвали по какому-то делу. Оставшись один, Муни взял из чужого письменного стола револьвер и выстрелили себе в висок. Через сорок минут он умер».

Это произошло на рассвете 28 марта 1916 года в Минске, где он служил по санитарному военному ведомству: находившийся в Москве Ходасевич, увы, не смог вернуть долг своему спасителю. И на всю жизнь сохранил ощущение личной вины перед спасенным другом (1922):

Леди долго руки мыла,
Леди крепко руки терла.
Эта леди не забыла
Перерезанного горла.

Леди, леди! Вы, как птица,
Бьетесь на бессонном ложе.
Триста лет уж вам не спится –
Мне лет шесть не спится тоже.

Весной того же 1916 года у Ходасевича открылся туберкулез позвоночника, или спондилит, – следствие неудачного падения на именинах у поэтессы Любови Столицы, после чего позвоночник сместился. Гипсовый корсет, разумеется, не повышал настроения.

Ходасевич принял обе российские революции. 15 декабря 1917 года он писал Б. Садовскому: *«Верю и знаю, что нынешняя лихорадка России только на пользу. Но не России Рябушинских и Гучковых, а России Садовского и ...того Сидора, который является обладателем легендарной козы. Будет у нас честная*

трудовая страна, страна умных людей, ибо умен только тот, кто трудится. <...> К черту буржуев, говорю я»².

И спустя полтора года, 3 апреля 1919 года, он пишет тому же адресату, что от «диктатуры бельэтажа» его «тошнит и рвет желчью»: «Я понимаю рабочего, я по какому-то, может быть, пойму дворянина, бездельника милостью Божьей, но рябушинскую сволочь, бездельника милостью собственного хамства, понять не смогу никогда.

<...> Поймите и Вы меня, в конце концов, приверженного к Совдепии. Я не пойду в коммунисты сейчас, ибо это выгодно и потому подло, но не ручаюсь, что не пойду, если это станет рискованно»³.

«В России новой, но великой...» – скажет Ходасевич в своем «Памятнике», а пока, в 1923 году, напишет в стихотворении «Сквозь облака фабричной гари...»

...Но на растущую всечасно
Лавину небывалых бед
Невозмутимо и бесстрашно
Глядит историк и поэт.

Людские войны и союзы,
Бывало, славили они;
Разочарованные музы
Припомнили им эти дни

И ныне, гордые, составить
Два правила велели впредь:
Раз: победителей не славить
Два: побежденных не жалеть.

После революции, чуть ли не впервые в жизни, Ходасевич определился на службу. Сначала секретарем третейского судьи, разбиравшего тяжбы между рабочими и предпринимателями (комиссар труда В.П. Ногин даже предлагал ему заняться новой кодификацией законов о труде, но недоучившийся юрист-второкурсник, разумеется, не счел себя достаточно для этого компетентным), затем в Театрально-музыкальной секции Моссовета и в Театральном отделе переведенного в Москву Наркомпроса.

² Ходасевич, 1996. С. 359-360.

³ Там же, С. 359-360.

Летом 1918 года Ходасевич, вместе с П. Муратовым и другими, организовал первую «Книжную лавку писателей» в Москве, где, в свою очередь с другими, дежурил за прилавком, а Анна Ивановна Ходасевич, на которой он фактически женился в 1911 году, сидела за кассой (книга «Счастливый домик» посвящена ей). Одновременно он читал лекции о Пушкине в московском Пролеткульте. Зимой 1919-1920 гг. и он, и жена некоторое время служили в Книжной Палате: он – заведующим, она – секретарем.

Недоедание, зимний холод (не выше пяти градусов!), переутомление – не прошли даром: весной 1920 года Ходасевич заболел тяжелой формой фурункулеза.

Тогда же появилась третья книга стихов – «Путем зерна». Ходасевич посвятил ее памяти Муни.

...Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет – и оживет она.

И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, –

Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.
(1917)

В этой книге впервые встречается одна из излюбленных форм Ходасевича – длинные фрагменты, написанные нерифмованным разностопным ямбом («Обезьяна», «Полдень» и др.).

В них, возможно, сказалось такое переводческое достижение Ходасевича, как его переложение русским дактилическим гекзаметром написанных на иврите поэм Саула Черняховского. Вот начало одной из них – идиллии «Вареники»:

Редкое видалось утро, каких выдается немного
Даже весной, а весна – прекрасна в полях Украины,
В вольных, как море степях! – Но кто же первый увидел
Прелесть прохладного утра, омытого ранней росой,
В час, как заря в небесах, розовея, воздушно сияет?
Жаворонок первый увидел...

В ноябре 1920 года Ходасевич с женой и ее сыном переезжает в Петроград, где поселяется в «Доме Искусств» («хорошие две комнаты, чисто, градусов 10-12 тепла...») и

устраивается на службу в знаменитую горьковскую «Всемирную литературу». Его избирают в комитет Дома Литераторов, в правление Петроградского отдела Всероссийского Союза писателей, в суд чести при этой организации, в Высший совет Дома Искусств. В этой, несколько искусственной и карнавальная, атмосфере литературного Петербурга, с удивительной быстротой – за два с небольшим года – сложилась четвертая книга Ходасевича «Тяжелая лира» (в ее первое, госиздатовское, издание 1922 года вошло 43 стихотворения, во второе, берлинское, 47 стихотворений, из них около 30 датированы 1921 годом).

С выходом «Путем зерна» Ходасевич окончательно утвердился в ряду первых поэтов Серебряного века. Не отрекаясь от предыдущих книг, тем не менее с нее он повел отсчет своим лучшим стихам, составляя свое последнее прижизненное избранное – парижский том «Стихотворения» (1927). Вторая часть этой книги и есть «Тяжелая лира», а третья – книга «Европейская ночь»: стихи, написанные Ходасевичем уже за границей.

3

Необходимо внести ясность в вопрос об отъезде В. Ходасевича за границу в июне 1922 года и его невозвращении на родину. Вот его собственная позиция: *«...Но с февраля <1922 г.> кое-какие события личной жизни выбили из рабочей колеи, а потом привели сюда, в Берлин. У меня заграничный паспорт сроком на 6 месяцев. Боюсь, что придется просить отсрочку, хотя больше всего мечтаю снова увидеть Петербург и тамошних друзей моих и вообще – Россию, изнурительную, убийственную, омерзительную, но чудесную и сейчас, как во все времена»*⁴

«Кое-какие события личной жизни...» – это разрыв с женой, А.И. Гренцион, и любовь к юной Нине Берберовой, согласившейся уехать с Ходасевичем в Берлин и ставшей впоследствии его третьей женой. Стихи Ходасевича продолжали выходить в петербургских и московских изданиях вплоть до 1925 года (в журналах «Москва», «Творчество», «Россия», «Петроград», «Ленинград», в знаменитой антологии И. Ежова и Е. Шамурина). Все свои российские гонорары и значительную часть литературного заработка за границей (он в качестве критика сотрудничал в ряде газет, стихи, а также статьи печатал в «Современных записках», в «Беседе» – журнале, основанном им совместно с М. Горьким, и других изданиях) он пересылал Анне Ивановне Гренцион. Письма Ходасевича к ней этих лет

⁴ Новая русская книга. Берлин, 1922. № 7. С. 36-37.

свидетельствуют не только об их личной драме, но и об удивительном достоинстве и дружеской заботливости поэта.

Из них также ясно, что «кое-какие события личной жизни» оказались и главным тормозом на пути Ходасевича обратно в Россию. Вот выдержка из письма от 1 августа 1923 г.:

«...С радостью вижу, что последние твои письма писаны разумным и духовно здоровым человеком. Может быть, я преувеличиваю – но мне кажется, что теперь можно поговорить с тобой на серьезную тему, – которая, кстати, явится ответом на твой вопрос: когда я вернусь в Россию?»

Слушай: Дело обстоит так. Во-первых – сторона политическая. Могу ли я вернуться? Думаю, что могу. Никаких грехов за мной, кроме нескольких стихотворений, напечатанных в эмигрантской прессе, нет. Самые же стихи совершенно лояльны и благополучно (те же самые) печатаются в советских изданиях. В Кремле знают, что я – не враг.

Хуже – второе. Здесь я кое-что зарабатываю. Жизнь здесь дешевле. Есть люди, которые мне помогают. А вот где я буду печататься в России – не вижу. Вряд ли я смогу там печатать больше, чем ты сейчас продаешь моих вещей. А сейчас я печатаюсь. То же самое два раза: там и здесь. Здесь легче находить издателей на книги. Здесь «Беседа», которая мне дает фунта 2 в месяц и в которой у меня есть верный кредит!! Но предположим, что я рискую – и все же решаюсь ехать в Россию, куда мне, конечно, очень хочется. Тут настает третья затруднение.

Кроме визы советской, мне нужна твоя виза на въезд в Россию. Боюсь, что ее получить – труднее. Подумай хорошенько и просто, спокойно, по-человечески, ответь мне: сможем ли мы ужиться в Питере? (В Москву я ехать не хочу. Терпеть ее не могу). Пойми, что именно при условии той прямой и открытой дружбы, того хорошего, что есть у нас обоих нас друг к другу – мы могли бы ужиться. Поверь, что всегда и во всем я сумею (и гарантирую это) – сделать так, чтобы между нами был мир и покой. Но можешь ли ты гарантировать, что наши встречи будут происходить в таком тоне, чтобы им не делаться предметом всеобщего поганенького любопытства и злорадства? Без покоя я не смогу работать. Не работая, я существовать не могу. Очень прошу тебя ответить, думаешь ли ты, что мы уживемся в Питере? (...) Твое согласие я буду рассматривать,

как обязательство, которое сдержишь. Твое несогласие – как принуждение меня сидеть здесь»⁵.

Ходасевич остался, не вернулся в Россию. Вся родина сгустилась, вобралась в пушкинском восьмитомнике, – едва ли не единственным, что прихватил он с тобой из России:

...Но восемь томиков, не больше, –
И в них вся родина моя.

Вам под ярмо подставить выю
И жить в изгнании, в тоске,
А я с собой мою Россию
В дорожном уношу мешке.

Жизнь на чужбине складывать не просто. В одном из писем он пытается пересчитать, сколько раз в жизни ему пришлось менять кров, жилище – и сбивается со счета. Ходасевич жил в Германии, Чехословакии, Италии, даже Ирландии, пока, наконец, в 1925 году окончательно не обосновался в Париже. Стихи писались с каждым годом все трудней и все реже: начиная с 1925 года – не более четырех за год! Книга «Стихотворения» (Париж, 1927) как бы подвела черту под периодом поэтического по преимуществу горения и мировосприятия.

Зарабатывая на хлеб текущей критикой, Ходасевич выпустил в 1930-х гг. три книги блистательной прозы: «Державин» (1931), сборник статей «О Пушкине» (1937) и мемуарную книгу «Некрополь» (1939). В 1954 году, уже в Нью-Йорке, Н.Н. Берберова собрала и выпустила еще один замечательный сборник Ходасевича – «Литературные статьи и воспоминания».

Особенно трудными для Ходасевича были последние его годы. Жизнь – в долг, карточные проигрыши, старые и новые болезни. В 1932 году его оставляет Н.Н. Берберова. Страшась одиночества, Ходасевич женится в 1933 года в четвертый раз – на Ольге Борисовне Марголиной, племяннице писателя М.А. Алданова.

14 июля 1939 года, пятидесяти трех лет от роду, Владислав Фелицианович Ходасевич умер в частной клинике на улице Университэ, прожив лишь 13 часов после тяжелой операции. Наиболее вероятная причина смерти – рак поджелудочной железы.

⁵ РГАЛИ. Ф.537. Оп.1. Д.50. Л.18.

16 июля, при большом стечении народа, его похоронили на кладбище Булонь-Бьянкур в предместье Парижа.

4

Человек редкой мужественности и правдивости, он имел достаточно воли сносить все жизненные напасти – и душевные, и физические. Расхожая легенда рисует его человеком злым, желчным, язвительным. Однако едва ли это определяло его характер, его человеческий облик.

...Душа взыграла. Ей не надо
Ни утешенья, ни усад.
...Моя изгнанница вступает
В родное, древнее жильё
И страшным братьям заявляет
Равенство гордое свое.

Это «*равенство гордое*», возможно, и было главным в отношениях Ходасевича с людьми. Он владел искусством дружбы, но был требователен к друзьям не меньше, чем к самому себе, и не все умели этому соответствовать. Одна из близких друзей Ходасевича – Софья Парнок – в стихотворении, датированном 30 ноября 1928 года и посвященном ему, высказалась о нем так:

С детства помню: груши есть такие –
Сморщенные, мелкие, тугие,
И такая терпкость скрыта в них,
Что, едва укусишь – сводит челюсть...
Так вот для меня и эта прелесть
Злых, оскомистых стихов твоих.

Ходасевич любил и ценил шутку и, между прочим, написал сам несколько превосходных шуточных или иронических стихов. Так, после того, как Н. Павлович, читавшая в голодный год его стихи в Бежецке, привезла ему с десятков яиц – дар «благородных слушателей» – он написал свой первый – шуточный – «Памятник»:

Павлович! С посошком бродячею каликой
Пройдем от финских скал вплоть до донских станиц!
Читай мои стихи по всей Руси великой,
И столько мне пришлют яиц,
Что, если гору их на площади Урицкой
Поможет мне сложить поклонников толпа,
То, выглянув в окно, уж не найдет Белицкий

Александрийского столпа!

Творческое одиночество, честность с собой и миром, преданность пушкинским традициям и поразительная духовная наполненность – вот подлинные столпы стихов Ходасевича.

Мне каждый звук терзает слух,
И каждый луч глазам несносен,
Прорезываться начал дух,
Как зуб из-под припухших десен...
(«Из дневника»)

Из этой боли, из этого терзания и родилось его одновременное уменье *«нежно ненавидеть»* и *«язвительно любить»* – ни с чем не сравнимая *тяжесть* его лиры:

Психея! Бедная моя!
Дыхание робко затая,
Внимать не смеет и не хочет:
Заслушаться так жутко ей
Тем, что безмолвие пророчит
В часы мучительных ночей.
Увы! За что, когда все спит,
Ей вдохновение твердит
Свои пифийские глаголы?
Простой душе невыносим
Дар тайнослышанья тяжелый.
Психея падает под ним.

Но куда поэт – поэт, куда его муза, его душа, Психея еще выдерживает этот опасный для него – этот *тяжелый дар*, пока его глаза таковы, что и *«сквозь день увидишь ночь»*.

...пока вся кровь не выступит из пор,
Пока не выплачешь земные очи –
Не станешь духом. Жди, смотря в упор,
Как брызжет свет, не застилая очи.
(«Ласточка»)

Во всем, что касается пресловутой «техники стиха», Ходасевич удивительно традиционен, даже консервативен. Формальные задачи – поиск нового размера или неслыханной рифмы – органически чужды ему. Он верит в старые мехи, в четырехстопный ямб, например, верит в то, что ему по силам вобрать в себя все то историческое напряжение, которое так остро

улавливал его поэтический слух, его тайнослышанье. Главной темой Ходасевича, пожалуй, был все же не «Недоносок» Боратынского, как считал в 1923 году Мандельштам («Буря и натиск»), а скорее лермонтовское: «Люблю отчизну я, но странною любовью...». В стихотворении, посвященном своей тульской кормилице, Ходасевич выразил это особенно грозно:

И вот Россия, «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя...

И когда, на исходе дней, Ходасевич явственно ощутил себя неотъемлемым звеном единой, непрекращающейся цепи русской поэзии, он написал свой второй – серьезный и гордый – «Памятник»:

Во мне конец, во мне начало.
Мной совершенное так мало!
И все ж я прочное звено:
Мне это счастье дано.
В России новой, но великой
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок...

P.S.

Несколько слов под конец об отношениях Мандельштама и Ходасевича. Во-первых, вслед за Л. Видгофом⁶, хочется несколько отодвинуть начало их личного знакомства. Оно произошло не летом 1916 года в Коктебеле, а 30 января в Москве: этим днем датирован автограф стихотворения «Императорский виссон», вписанный Мандельштамом в альбом Анны Ивановны Ходасевич⁷: разве стал бы Мандельштам, по уши влюбленный в Цветаеву, приходить к незнакомой ему женщине в отсутствие ее мужа, рецензия которого на «Камень» 1916 года вышла в этот же самый день в газете «Утро России»? И разве такой визит – возможно, совершенно спонтанный – подразумевает хотя бы тень обиды на слова о «маске петербургского сноба» в тексте рецензии? Мандельштам, чей «Теннис» подвергся в ней

6 Видгоф Л. "Но люблю мою курву-Москву". Осип Мандельштам: поэт и город. М: Астрель, 2012. С. 595.

7 РГАЛИ. Ф.537. Оп.1. Д.127. Л.12.

уничжительной критике, отчасти и сам разделял ее настрой: уж больно хотелось наглядно и в рифму проиллюстрировать постулаты акмеизма. Тем дороже показались ему слова рецензента о холодной и размеренной чеканке строк, о замедленном и спокойном движении стиха, сквозь которое прорывается пафос, который не удалось сдержать.



Осип Мандельштам

Еще был жив Муни, еще далеко было до рокового шага на дачный балкончик у Любви Столицы, и Мандельштам с Ходасевичем, полагаю, с интересом познакомились и с уважением пообщались. Летом же, из Коктебеля, последовали эпистолярные эскапады Ходасевича по поводу якобы непроходимой мандельштамовской «глупости» и «ущемления» его «литературного самолюбьца» и с непричислением его в итоге к лику поэтов. Едва ли в этом было больше концептуальной системности⁸, чем желчного раздражения затянутого в корсет

⁸ См., например, в: *Богомолов Н.А.* Русская литература первой трети XX века. Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999. С. 456-460.

ипохондрика поневоле, с неодолимой брезгливостью и завистью взирающего на дурашливую, глупую непосредственность шалящей у самого берега и хохочущей безо всякого повода молодежи.

А о том, насколько это «комплекс поэтической полноценности» у Ходасевича преходящ, лучше всего свидетельствует другая его рецензия – на «Tristia». Вопрос о том, поэт ли Мандельштам, более не встает, коль скоро его поэзия – «благородный образчик чистого метафоризма. Подобно Адаму поэт ставит главной целью – узнавать и называть вещи. Талант зоркого метафориста позволяет ему тешииться этой игрой... Поэзия Мандельштама – танец вещей, являющийся в самых причудливых сочетаниях. Присоединяя к игре смысловых ассоциаций игру звуковых, – поэт, обладающий редким в наши дни знанием и чутьем языка, часто выводит свои стихи за пределы обычного понимания: стихи Мандельштама начинают волновать какими-то темными тайнами, заключенными, вероятно, в корневой природе им сочетаемых слов... Думаем, что самому Мандельштаму не удалось бы объяснить многое из им написанного...»⁹.

Мандельштаму же и в голову не приходило ставить под сомнение качества поэзии Ходасевича. И Александр Кушнер все же не прав, утверждая, что их жизни проходили в непересекающихся мирах¹⁰. Иначе бы Мандельштам не включил Ходасевича в малый круг своих современников – «русских поэтов не на вчера, не на сегодня, а навсегда» («Выпад»).



9 Дни (Берлин). 1922. 13 ноября. С. 11.

10 Кушнер А. Мандельштам и Ходасевич // Столетие Мандельштама. Материалы Симпозиума. Тенафли, 1994. С. 44.

Игорь Мандель

Незабываемое как статистическая проблема

Анализ процессов забывания прочитанного на примере отдельной личности¹

Несметные знания, как миллионы неразрываемых нитей, опутали меня кругом, все безликие, все непреложные, неизбежные до ужаса. И на что они мне?... В любви и страдании мне их не надо, не ими я в роковых ошибках... постигаю мое назначение, и в смертный час я, конечно, не вспомню о них. Но, как мусор, они засоряют мой ум, они... пыльной завесой стоят между мною и моей радостью, моей болью, каждым моим помыслом.

*В.И.Иванов, М.О. Гершензон,
Переписка из двух углов, письмо М.О. IV*

Введение



несколько идей, случайно совпавших по времени, хотя каждая обдумывалась долгое время ранее, привели к появлению этого очерка.

- Читаю я много и, как мне кажется, избирательно, то есть чтение хорошей литературы составляет существенную часть моей жизни (и, смею предположить, жизни тех, кто заглянет в эти строки). Во мне жива память о том, как в ранние времена вообще людей по книжкам встречали, по ним же и провожали, а ничего другого и знать не надо было.
- Годы идут, и простительным образом хочется чего-то из прошлого закрепить в памяти (то есть сохранить в Word'e).
- Вообще, пора хоть как-то познать самого себя на седьмом десятке; не ты - так кто?
- Занимаюсь я на службе статистикой, а эта дама, в отличие от прочих, не признает иррациональных объяснений, да еще и требует, чтобы они давались на основе надежных данных.

¹ Сокращенный вариант. Полная версия статьи опубликована на сайте журнала «Семь искусств»: <http://7iskusstv.com/2014/Nomer6/Mandell.php>

- Настоящие, проверенные данные - большая редкость и дорого стоят.

Так вот, перемешавшись в одночасье, эти соображения привели к задаче: почему бы не *собрать данные о самом себе*, да еще и по теме, которая меня интересует - *чтение*?

Я сразу понял насколько много возможностей в таком подходе. Он позволяет быть предельно откровенным и достоверным одновременно. Он сочетает личное и общественно значимое. Личное - это понятно, а общественное - как я знаю, еще никто не систематизировал столь детально круг своего чтения; в анализе, возможно, отразится некая закономерность, присущая либо всем читателям, либо, по крайней мере, людям советского задела начала пятидесятых годов рождения.

Возник следующий план эксперимента над своей памятью.

- Я сижу перед экраном и вспоминаю, что и когда я читал. При этом не смотрю ни в какие книги, справочники, энциклопедии и пр. - просто вспоминаю. Такой вид воспоминания применяется часто, например, в маркетинге и называется *un-aided awareness* (осведомленность без намеков), в отличие от *aided awareness*, когда человеку предъявляют лист компаний (товаров) и спрашивают, знает ли он какие-то из них.

- Так как читал я много чего, надо было ограничиться только одним жанром, по крайней мере, для начала. Я решил выбрать *прозу* и не рассматривать мемуары, журналистику, публицистику, поэзию и пр. Иногда это приводило к проблемам. Например, я решил оставить в списке "Архипелаг ГУЛАГ" (там, мне кажется, есть элементы литературы, это не чистая публицистика), но не включил "Крутой маршрут".

Работа по воспоминаниям велась в свободное время в течение трех месяцев, начиная с 5 июня 2013 года. Процесс этот довольно мучительный и непредсказуемый. Например, уже обработав данные, я вспомнил, что не включил в список В. Набокова и И. Бабеля (взял и добавил). Результаты этого анализа, который целиком базировался на *воспоминаниях без подсказки*, описаны в статье [1]. В настоящей заметке они расширены за счет двух источников: дополнительно выплывших из памяти книг за этот период (до 10 Октября 2013 года) и привлечения "подсказочных" материалов. Подсказки, как выяснилось, меняют не так много, но все же добавляют существенную информацию и, возможно, подрывают некоторые стереотипы (когда людям кажется, что "вот если бы мне напомнили, то я бы уж вспомнил!", им надо отвечать "Навряд ли...").

1. Методика самоизучения

Изначальное измерение процесса чтения и забывания велось в "элементарных **единицах чтения**". Ей называется нечто прочитанное, о чем я не могу сказать ничего более определенного, кроме того, что был факт чтения со всеми его атрибутами (см. ниже). Если, например, я помню название рассказа или хотя бы способен сказать, о чем он - единицей будет рассказ. Но если я помню лишь, что читал много рассказов данного автора, но не могу выделить ни один из них ни по наименованию, ни по содержанию - единицей будет "сборник рассказов". Про каждую единицу чтения собиралась некая информация и присваивались соответствующие коды.

1. **Группа:** Зарубежная литература; Русская литература до XIX века включительно; Русская литература XX и XXI веков.

2. **Тип произведения:** Рассказ –1; Повесть (пьеса) – 2; Роман – 3.

3. **Количество страниц** оценивалось приблизительно для каждой вещи отдельно; там где не помнил - принималось значение 10 страниц для рассказа, 100 для повести, 300 для романа.

4. **Год первого/последнего чтения.** Проставлялся балл 1-5 в соответствии с периодизацией: 1957-1965;1966-1973; 1974-1985; 1986-1999; 2000+.

5. **Количество единиц.** Если не помнил имен единиц чтения, давал примерную оценку их количества (например - 20 рассказов).

6. **Имя и фамилия автора:** Не помню совсем - 0; Помню только фамилию – 1; Помню имя и фамилию – 2.

7. **Точное название произведения:** Не помню точно – 0; Помню точно -1. Конечно, это мне только кажется, что помню точно, но дальнейшие проверки не делались.

8. **Оценка качества во время чтения:** давалась во время эксперимента по воспоминанию о том, "как это было" (Отрицательная – 1; Нейтральная – 2; Положительная – 3; Высокая -4; Очень высокая – 5).

9. **Оценка качества в данное время.** Такая же методика, как и во время чтения, только сейчас; если ничего не помнил - ставился пробел (нет оценки).

10. **Степень запоминания:** Совершенно ничего не помню -1; Помню смутно чего-то – 2; Помню некоторые детали -3; Помню сюжет, смысл – 4; Помню подробности – 5.

Воспоминание с подсказкой осуществлялось следующим образом. Я просмотрел примерно 15-20 статей в Википедии под названиями "Английская литература", "Советская литература" и пр., на русском и английском языках, и помечал те фамилии писателей, которых я читал, но не вспомнил без подсказки. При этом названия их книг, как правило, я не смотрел и дальше вообще не углублялся. Далее, я поговорил с двумя-тремя просвещенными друзьями, прося их называть всякие экзотические (и не очень) фамилии тех, кого я, по их мнению, мог бы и прочитать в своей жизни. К их вящему удовольствию, некоторые результаты были вполне ошеломляющими. Выяснилось, что я не включил, например, Германа Мелвилла, Антуана де Сент-Экзюпери, Скотта Фицджеральда и даже, извиняюсь, Салтыкова-Щедрина, не говоря уже о Е. Шварце, С. Моэме и др. Так что много чего добавилось.

В принципе можно было бы заняться еще другой деятельностью: просматривать отобранных авторов и вспоминать их произведения (**подсказка второго уровня**). Но до этого я не дошел, оставив такое занятие другим искателям собственного я. И, наконец, можно было бы просто пересмотреть все перечисленные тексты, потратив пару лет жизни и записывая, что именно вспомнилось по ходу (**третий уровень**) - это я тоже не делал. Но не удержался и перечитал одну вещь: *Героя нашего времени*, которого, по идее, должен был помнить наизусть с седьмого класса, но о котором начисто забыл. Результат был плачевный: еле-еле вспоминались некоторые имена (Бела, Мэри, Грушницкий, Казбич) и факт наличия какой-то дуэли. Все. Как побочный эффект осталось странное чувство - как могли мы такую тонкую вещь "о любви и предательстве" читать в столь свежем возрасте и какие выводы от нас требовались? Не очень уже понимаю.

Как следует из описания методики, ничего из вспомянутого не перепроверялось (за исключением количества страниц в книге). Если, к примеру, я думал, что вспомнил точное название книги (и сделал отметку об этом) - это не значит, что книга действительно так называется. Но особенно сомнительно для меня было давать оценку качества "тогда" (в период чтения), в то время как "сейчас" я вообще не помнил о чем она (то есть ставил оценку 1). То есть мне приходилось "вспоминать свои ощущения" многолетней давности, какое-то смутное состояние души после прочтения - и на этой основе ставить балл. Но ничего более надежного я не смог придумать.

Так что дальнейшее основано на моей собственной оценке достоверности моих же оценок, то есть соответствует не самому высокому научному стандарту. Я надеялся все же, что "Войну и

мир" на самом деле написал "Лев Толстой" и провел статистический анализ исходя из этого смелого предположения.

Подведем краткие итоги.

1. Забывание прочитанного - процесс неизбежный и всеобъемлющий; бороться с ним если и можно, то неизвестно как, разве что перестать читать.

2. Наиболее хороший способ удержать прочитанное в памяти - читать только очень хорошие книги, так, чтобы они поражали. Но где же их взять, чтобы на многие года хватило? И кто же их подскажет?

3. Еще способ, но менее надежный - читать только вчера. Тогда все будет задерживаться в памяти. Но, правда, не до послезавтра.

4. Причины забывания тонко скоординированы; они представляют собой некую систему взаимоподдерживающих параметров. Но дальше по этому пути в данной статье идти никак нельзя: существует несколько современных теорий забывания, равно как и запоминания (А. Aktinson, E. Loftus, etc.), и обсуждать их в свете моих скромных персональных забывательных кривых не представляется здесь уместным. Но сами кривые вполне могут использоваться в теории и даже когда-то, может, ее обогатят.

5. Особо полезно будет, если ко мне присоединятся другие активные забыватели и сделают подобные эксперименты над собой. Очень поучительно, должен заметить, да и внуки через сто лет с интересом заглянут в список забытого в полном недоумении почему хоть что-то вообще запоминалось. Особо полезно знать, что, что **можно сразу пользоваться готовыми списками авторов и прочими подсказками** - как отмечалось, это не влияет принципиально на характер выводов (достаточно сравнить графики и таблицы в данной статье с таковыми в [1] - разница не носит фундаментальный характер). А времени будет сэкономлено много.

6. Несмотря на то, что исследование проводилось на основании данных лишь одного человека, его результаты могут быть приняты "за основу" в случае, если кто-либо исследует процесс в целом. Например, в моделях со многими агентами [3] надо задавать какие-то параметры их поведения. Если не знаешь ничего, поскольку нет массового изучения процессов забывания, можно принять (до лучших времен) оценку отсюда - 38% будет напрочь забыто весьма скоро...

7. Статья не отвечает на следующий вопрос: в какой степени забывание происходит за счет вытеснения содержания прочитанного новыми материалами? Иными словами, что лучше

для удержания в памяти: читать мало (и лучше запомнится), или читать много (но потом больше забудется)? Это требует новых более тонких способов измерения и моделирования.

И последний вопрос: а зачем, собственно, держать прочитанное в памяти? Может, оно и ни к чему? Получил удовольствие от чтения (если получил) - и пошел дальше. Так вполне можно думать и, кажется, так и думают многие миллионы людей, которых я совершенно за это не осуждаю. Но, с другой стороны, все же обидно как-то.

Если я не помню сейчас, скажем, о чем конкретно был рассказ "Усомнившийся Макар" А. Платонова, но помню, что он вызвал гнев Сталина, что Платонов - один из немногих гениев русского языка, помню его стиль в целом и многое другое - то какова роль того факта, что данный рассказ мной действительно забыт? Я не знаю. Повлиял ли он как-то на меня тогда, во время чтения? Я ему ставлю балл 4, веря, что было очень здорово - но ведь наверняка потому, что у Платонова плохо и не бывает...

Я не помню толком ни каких-то ключевых слов сказанных мне родителями, ни имен своих самых близких друзей, ни большинства имен учителей - я много чего не помню. Но ведь они были... Они влияли... Так и книги.

Зачем же тогда это грустное упражнение, если оно не отвечает на главный вопрос - нужно ли было чтение, коли оно так бесславно сгинуло в памяти? Забывание - защитный ли это механизм от бессмысленности многих знаний, о которой с такой тоской сказал М. Гершензон (эпиграф)? Удержание в памяти - для того ли, чтобы заметить, как один герой Г. Газданова в "Вечере у Клэр": "Единственное что дает этой жизни непрекращающуюся радость - это процесс узнавания нового"?.

Литература

1. И. Мандель. Чтение как процесс забывания. Страницы Миллбурнского клуба, 3 (2013) С. Бродский (Ред.). Manhattan Academia, NJ
2. M. Newman (2005). Power laws, Pareto distributions and Zipf's law. *Contemporary Physics* 46 (5): 323-351
3. I. Mandel *SoC iosystemiC s, statistiC s, deC isions Model Assisted StatistiC s and AppliC ations* 6 (2011) 163-217.



Эдуард Гетманский Еврейский книжный знак Российской империи¹



В царской России были очень крупные книжные собрания, принадлежавшие российским библиофилам - евреям. На книгах многих еврейских библиотек можно увидеть книжные знаки (экслибрисы). Экслибрис - часть книжной культуры, охранная грамота книги её вечный спутник. Еврейские книжные знаки формируют историческую память, традиции культуры, помогают установить путь книги, её судьбу. А судьба еврейских библиотек очень интересна и во многом трагична, на некоторых из них следует остановиться отдельно, и в этом нам поможет еврейский книжный знак, который тесно связан с историей российских евреев. Врач и филантроп *Иосиф Аронович Хазанович* (1844-1919) примкнув к движению Ховевей Цион (Любящие Сион), увлекся идеей создания Национальной еврейской библиотеки в Иерусалиме. Он покупал книги по иудаистике на всех доступных ему языках (сам он говорил на 10 языках), отдавая все же предпочтение изданиям на иврите. Кроме того, он публиковал в еврейской периодической печати разных стран обращения с просьбой присылать ему книги или деньги на их покупку для будущей национальной библиотеки в Иерусалиме. Благодаря неутомимой энергии Хазановича, ему удалось отправить в Иерусалим в общей сложности, свыше 63 тысяч книг и документов (из них 20 тысяч на иврите)¹. Личная библиотека И.А.Хазановича насчитывала 8800 книг по иудаике и 500 книг на русском и польском языках, она послужили основой фонда Славянского отдела Национальной библиотеки. И.А.Хазанович имел скромный шрифтовой книжный штампель, на нем написано «Dr. Josef Chazanowicz»².

Горнопромышленник, банкир, востоковед, историк и искусствовед, барон *Давид Горацевич Гинцбург* (1857-1910) был блестящим знатоком многих семитских языков, он унаследовал

¹ Сокращенный вариант. Полная версия статьи на сайте журнала «Семь искусств»: <http://7iskusstv.com/2014/Nomer6/Getmansky1.php>

ценнейшую родовую библиотеку и великолепную коллекцию рукописей и документов. Гинцбург собирал еврейские и арабские рукописи и инкунабулы, обладал редчайшими изданиями и рукописями, многими священными книгами еврейского народа.



Ex libris Шулема Аксера. 1916. Надпись сверху на иврите: «Если я забуду тебя Иерусалим, пусть забудет (меня) десница моя». (Тегилим, 137:5)

Его уникальная библиотека насчитывала около 35 тысяч томов по истории, искусству, философии, многим восточным и классическим языкам, её судьба трагична. В 1917 году её приобрели русские сионисты для Еврейской национальной библиотеки в Иерусалиме, но Первая мировая война и бесконечные русские революции помешали отправке ценнейшей библиотеки в Иерусалим. После Октябрьской революции 1917 года, новая власть решила перевести уникальную библиотеку Гинцбурга в Москву, не отправлять же ее в Иерусалим, непонятно кому и зачем. В итоге часть книг уникальной библиотеки погибла, была разворована, распределена по библиотекам Книжным фондом, а то, что осталось осело в РГБ. Книги библиотеки Д.Г.Гинцбурга украшали экслибрисы, выполненные им же. На первом книжном знаке изображено женское лицо в круглом медальоне, увенчанном растительным орнаментом. На этом художественном экслибрисе приведены слова «Все забывается, все проходит». Второй автоэкслибрис геральдический, на нем изображен баронский герб Гинцбургов с наметом и щитодержателями - оленем и львом, на щите которого изображен пчелиный улей, как символ трудолюбия. На этой графической миниатюре приведены слова из библейской книги любовной лирики «Песнь Песней» (гл. IV, стих 71) на иврите «Вся ты

прекрасна, подруга моя, и нет недостатка в тебе». На ряде книг барона был оттиснут золотом суперэклибрис с монограммой владельца «D.G.» под баронской короной с девизом «Laboremus» («Будем трудиться»)



Ex libris Алтер Друянов (на иврите) 1910

Театровед, искусствовед, художественный критик, переводчик, писатель и поэт *Абрам Маркович Эфрос* (1888-1954) был одной из самых ярких личностей в истории русского искусства XX века. Еврейской культуре, литературе, искусству Эфрос посвятил многие свои работы. Наиболее значимы из них - рецензии на Шолом-Алейхема и Ицхока Лейбуша Переца, статьи о Хаиме-Нахмане Бялике, Натане Альтмане, Марке Шагале, о первом профессиональном театре на иврите «Габима», созданного в Москве Н.Л.Цемахом, еврейском камерном театре, художниках театра А.М.Грановского и его актере С.М.Михозлсе. Эфрос открыл в пушкиноведении новую страницу, он был первым исследователем рисунков Александра Пушкина, издав в 1933 году свой труд «Рисунки поэта». В 1937 году Эфрос был арестован, обвинен в антисоветской агитации, выслан из Москвы на три года в город Ростов Ярославской области. Эфрос был одним из учредителей Российского общества друзей книги (РОДК). Его домашняя библиотека была уникальна по подбору книг, в ней

были редчайшие книги от изданий античных классиков до современности, от XVI века до XX века. Французские и итальянские книги были представлены в лучших изданиях, в роскошных переплетах, с множеством раскрашенных художниками от руки иллюстраций и гравюр. Многие книги на иврите и на идиш были с дарственными надписями авторов, издателей и художников. Особое место в библиотеке Эфроса занимали полные комплекты русских, английских, немецких и французских художественных журналов. После смерти Эфроса советскую власть судьба редчайшего книжного собрания не интересовала, и оно не было сохранено в целостном виде. Для библиотеки А.М.Эфроса в 1907 году нарисовал экслибрис А.А.Койранский с владельческой надписью «Ex libris A.Ephross» и пейзажем с дорогой и одиноким деревом.



Койранский А.А. Ex libris А.Эфрос 1907

Один из лучших в России адвокатов *Максим* (Менахем) *Моисеевич Винавер* (1863-1926) был членом Совета Всемирного еврейского союза, возглавлял Еврейское историко-этнографическое общество и Общество поощрения художеств, активно участвовал в подготовке издания «Русско-еврейский архив». В мае 1919 года, эмигрировал во Францию. В Париже он организовал издание журнала «Еврейская трибуна», активно боровшегося с антисемитизмом и огульным обвинением всех евреев в большевизме. У Винавера была великолепная библиотека, которая после отъезда владельца за границу и долгих мытарств, поступила далеко не в полном составе, как водилось в то время, основательно разграбленной, в Научную библиотеку Московского университета, где бесследно растворилась в ее фондах. Книги

М.М.Винавера украшал красивый цинкографский художественный экслибрис неизвестного художника, датированный концом XIX века, на нем в декоративном обрамлении изображена голова вождя афинской демократии, стратега (главнокомандующего) и законодателя Перикла с греческой подписью. На знаке выполнена также владельческая надпись «Ex libris M.Winawer».

Библиофил и коллекционер станковой и книжной графики *Михаил Яковлевич Ария* (1877 – после 1941) активно занимался коллекционированием книжных знаков. Его замечательное книжное собрание включало книги по искусству, археологии, книговедению, библиографии, масонству, русским иллюстрированным изданиям XVIII века и истории. Судьба библиотеки и коллекций Арии до сих пор остается неизвестной. В конце XIX века для книг домашней библиотеки М.Я.Ария был выполнен штемпельный экслибрис, на нем написано «Из книг Михаила Ария». В 1902 году для его библиотеки были выполнены несколько экслибрисов, в которых были использованы нестандартные «бродячие сюжеты» европейского модерна. Три офортных художественных книжных знака выполнил художник В.И.Быстренин. На первом его экслибрисе в линейной рамке с вензелем художника «В.Б.» изображена женщина и обезьяна, сидящая на капители колонны; на втором книжном знаке показана женщина, рассматривающая свиток, а на третьей графической миниатюре изображена полуобнаженная женская фигура. На всех трех экслибрисах Быстренина выполнена одинаковая владельческая надпись «Ex libris Михаила Ария». На экслибрисе, который нарисовал художник Д.Г.Рясянский для библиотеки Ария, изображена стоящая на коленях обнаженная женщина, она страстно смотрит в глазницы черепа, который держит в руках, надпись на знаке гласит «Ex libris Михаила Ария».

Издатель и художник *Зиновий Исаевич Гржебин* (1877-1929) в конце 1905 года выпустил первый номер антисамодержавного и политико-сатирического журнала «Жупел», после третьего номера он был запрещен из-за резких антиправительственных рисунков мирискусников и злой карикатуры самого Гржебина на царя.

Позже Гржебин затеял новый журнал – «Адская почта», продолживший сатирическую линию своего предшественника, и столь же рано прекративший свое существование. Отсидев в тюрьме, он совместно с С.Ю.Копельманом организовал частное издательство «Шиповник», позже петербургское издательство «Пантеон». Драматическая жизнь Гржебина, полная

превратностей судьбы, закончилась в Париже. Уникальная библиотека З.И.Гржебина осталась в Петрограде и была распродана через книготорговое объединение «Международная книга».



Добужинский М.В. Из книг З. Гржебина 1912

На книгах библиотеки З.И.Гржебина был художественный цинкографский книжный знак, который в 1912 году нарисовал М.В.Добужинский, на нем в декоративной рамке выполнена надпись «Из книг З.Гржебина» и изображен всадник в развевающейся мантии, который пускает с руки сокола. Этот сюжет повторяет марку книгоиздательства «Шиповник».

Пианист, композитор и дирижер *Антон Григорьевич Рубинштейн* (1829-1894) в 1859 году основал Русское музыкальное общество, а в 1862 году - первую в России консерваторию в Петербурге, которую и возглавил. Он автор более десяти опер (в том числе таких шедевров музыки, как оперы «Демон» и «Нерон»), ораторий, балетов, симфонических увертюр, пяти концертов для фортепьяно, концерта для скрипки с оркестром, свыше 200 фортепьянных пьес, хоров, романсов (в том числе цикл «Персидские песни» с использованием еврейских мелодий на стихи М.Ю.Лермонтова). На книгах домашней библиотеки А.Г.Рубинштейна был скромный книжный знак, выполненный во второй половине XIX века, на нем изображен овал в рамке с надписью «Библиотека А.Г.Рубинштейна». Книгопродавец и книгоиздатель из Москвы *Михаил Яковлевич Параделов* (1868-1913) имел библиотеку, состоящую из книг по нумизматике, истории, библиографии и искусству. Кроме того, Параделов собирал книжные знаки, в 1904 году он составил и издал «Адресную книгу русских библиофилов». В том же году

книги Параделова украсил художественный книжный знак, нарисованный художником У.Г.Иваском, на нем изображен мальчик-офеня в русском национальном костюме, торгующий книгами. В графической миниатюре приведена владельческая надпись «Из книг А.Я.Параделова».



Масютин В.Н. Ex libris M.G. (Гинзбурга М.И.) 1917

Московский купец, торговавший золотыми и серебряными изделиями *Абрам Григорьевич Вишняк* (1893-1944) в 1918 году в Москве организовал издательство «Геликон», которое выпускало художественную литературу и книги по искусству. Деятельность «Геликона» делится на два периода - «московский» (1918-1920) и «берлинский» (1921-1923) - это было благословенное время русского книгоиздания в Берлине. В 1922 году в Германии был установлен своеобразный рекорд - русских книг вышло больше чем немецких³. О вкладе евреев в зарубежное русское книгоиздание подробно написал Л.Юниверг⁴. Всего «Геликон» выпустил около 50 книг. В 1927 году А.Г.Вишняк с женой Верой Лазаревной из Берлина переехал в Париж. 22 июня 1941 года Вишняка арестовали и отправили в концентрационный лагерь Гросс Розен в Германии. Три года спустя, работая там в соляных копах, он умер от силикоза. Библиотека А.Г.Вишняка в 1500 томов книг по истории, искусству и поэзии была вывезена в Париж, где и погибла в годы немецкой оккупации. Книги этой библиотеки украшал художественный книжный знак, выполненный в 1911 году художником С.Ю.Судейкиным. На этом экслибрисе изображен мужчина, сидящий перед попитром с книгой, рядом с

ним стоит, облокотившаяся на спинку кресла, молодая женщина в восточном костюме. Владельческая надпись на этой графической миниатюре гласит «Ex libris Abraham Wichniak».

Профессор-протозоолог Московского университета *Герман Вениаминович Эпштейн* (1889-1935) с гимназической скамьи собирал все о своем любимом поэте А.С.Пушкине. В домашней библиотеке Эпштейна было более 20 тысяч томов книг по истории, литературе и биологии. После революции Эпштейну была выдана охранная грамота, что позволило сохранить ценное книжное собрание в целостности. Лучшая часть этой библиотеки хранится ныне в Научной библиотеке Московского университета.

В 1910 году Ф.И.Захаров сделал для эпштейновской пушкинианы книжный знак, ставший первым в ряду пушкинских иконографических экслибрисов. На этой графической миниатюре воспроизведен пушкинский портрет кисти О.А.Кипренского, украшенный гирляндами из лавровых и дубовых листьев. Внизу на картуше написано «Из книг Германа Эпштейна».



В 1912 году В.Н.Масютин, подарил Эпштейну графическую миниатюру, на ней приведена владельческая надпись «Ex libris H.Epstein» и изображено некое доброжелательное существо, рожденное фантазией художника, отдаленно напоминающее крота, с фонарем в лапе. Криминалист *Павел Исаевич Люблинский* (1882-1938) был профессором Петроградского университета, почетным доктором права Оксфордского университета. Он владел значительной библиотекой, в которой имелись и инкунабулы. В 1938 году профессор был уничтожен волной сталинского террора. В 1945 году его домашняя библиотека поступила в Научную библиотеку Ленинградского государственного университета. Книги

библиотеки профессора Люблинского украшал скромный цинкографский экслибрис начала XX века, на нем изображена книга с закладками и лежащая на ней шапочка ученого. Владельческая надпись на графической миниатюре гласила «Ex libris П.И.Люблинского. №...».

Историк, публицист и общественный деятель *Семен Маркович* (Шимон Меерович) *Дубнов* (1860-1941) написал десяти томную «Всемирную историю еврейского народа», он был основателем Еврейской народной партии и Еврейского историко-этнографического общества, председателем Еврейского литературного общества, редактором журнала «Еврейская старина». Как член Общества для распространения просвещения между евреями в России (ОПЕ) боролся за создание еврейских народных школ. Дубнов не принял власти большевиков (он называл ее «хамократией»), 22 апреля 1922 года эмигрировал. Дубнов остро переживал оторванность от российского читателя. В 1928 году он с горечью писал: «Чего же недостает? Одного: нет России, нет того российского еврейства, для которого я почти полвека трудился. Пишу для мирового еврейства, кроме замкнутого в советском царстве, печатаюсь на разных языках, но не на том, на котором больше всего писал...»⁵. После прихода к власти Гитлера, Дубнов, отказавшись от приглашений уехать в Эрец-Исраэль и США, уезжает в Латвию, так как хотел быть ближе к тем русскоязычным евреям, для которых он трудился всю свою жизнь. После оккупации Риги немецкими войсками Дубнов в сентябре 1941 года был арестован, водворен в гетто, а затем расстрелян. В конце XIX века С.М.Дубнов стал обладателем типографского экслибриса, где в фигурной рамке с виньетками на углах, дана владельческая надпись «Simonis Dubnovi. Bibliothecal Volumen. №...». Был и второй вариант этого книжного знака, он отличался от первого экслибриса иным шрифтом владельческой надписи, он хранится в Библиотеке Академии наук⁶.

Врач, присяжный поверенный, политический деятель *Мануил Сергеевич Маргулиес* (1868-1939) редактировал газеты «Радикал» и «Юрист», был членом французской масонской ложи «Великий Восток», главой петербургской ложи «Северная звезда», основателем ложи «Свободная Россия». После провала похода Юденича на Петроград, эмигрировал в Париж, где долгие годы был товарищем председателя Общества русских во Франции. Библиотека Маргулиеса после эмиграции владельца поступила в 1920-х годах в Научную библиотеку Саратовского университета, правда, как тогда водилось, не целиком, а частично, часть книг на пути из Петрограда в Саратов бесследно пропали, подобная

стерилизация была в духе времени. В начале XX века М.С.Маргулиес нарисовал для личной библиотеки автоэксlibрис, на котором изобразил мужчину на парусной лодке в бурном море. На парусе видна надпись «Never yield» («Не поступись»). Владычешская надпись на этой графической миниатюре гласила «Из книг М.С.Маргулиеса».

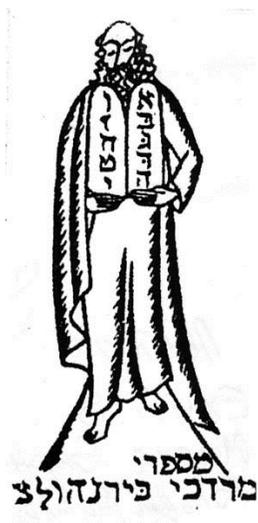


Косман А. Ex libris Marco Birnholz 1917

Книгоиздатель, типограф, книгопродавец *Илья Абрамович Ефрон* (1847-1917) вместе с немецкой издательской фирмой «Брокгауз» основал в Петербурге акционерное издательское общество Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона с целью выпуска универсального «Энциклопедического словаря». Первое издание словаря состояло из 82 основных и 4 дополнительных полутомов и выходило с 1890 года по 1907 год. Издательство выпустило также «Еврейскую энциклопедию» в 16 томах, издала ряд книг, связанных с еврейской историей. Среди них - Э.Ренан «История израильского народа», Г.Ч.Ли «История инквизиции в средние века», С.Г.Лозинский «История инквизиции в Испании», М.М.Марголин «Вавилон, Иерусалим, Александрия». После Октябрьской революции 1917 года издательство существовало при наследниках Ефрона до 1930 года⁷. Около 1900 года И.А.Ефрон стал обладателем штемпельного книжного знака, на котором в декоративной рамке выполнена надпись «Библиотека И.А.Ефрона. №...».

Экономист и общественный деятель *Михаил Яковлевич (Меер-Шовель) Герценштейн* (1859-1906) в 1906 был избран депутатом первой Государственной думы от Москвы. Его резкие выступления против правительства по аграрным и финансовым вопросам вызвали ненависть реакционных кругов. 18 июля 1906

году Герценштейн был убит у себя на даче боевиками черносотенного «Союза русского народа». На книгах домашней библиотеки М.Я.Герценштейна был скромный книжный знак, датированный концом XIX века, на нём в фигурной рамке выполнена владельческая надпись «Из библиотеки М.Я.Герценштейн». Писатель, публицист и общественный деятель *Нахум Соколов* (1859-1936) был президентом Всемирной сионистской организации, постоянным представителем в Лиге наций. Он был одним из самых популярных общественных деятелей среди русского еврейства. Библиотека Нахума Соколова осталась после смерти ее владельца в Лондоне. Ее украшал художественный экслибрис, выполненный художником М.Фингестеном, на нем изображена звезда Давида, увитая цветами, под ней сидит мужчина, читающий книгу, текст дан на иврите.



Пентер С. Ex libris Марка Бирнгольца (на иврите) 1917

Издатель и литератор *Яков Ноевич Блох* (1892-1968) создал в Петрограде 1 января 1918 года книжный кооператив «Petropolis». В 1923 году издательство переехало в Берлин, после прихода фашистов к власти Блох в 1935 году переехал в Брюссель. Во время Второй мировой войны Блох руководил швейцарским отделением «Общества охранения здоровья еврейского населения» (ОЗЕ), принимал участие в создании санаториев для бывших узников концлагерей. После смерти Я.Н.Блоха в 1968 году его вдова передала часть его архива в

ЦГАЛИ⁸. Книжное собрание Блоха начал собирать еще его отец (известный юрист), оно включало в себя книги по русской истории, юриспруденции, истории литературы, искусству и иудаике. В начале XX века для книжного собрания Я.Н.Блоха был выполнен штемпельный экслибрис, на нем читается владельческая надпись «Яков Ноевич Блох. Шкаф... Полка... №...». Присяжный поверенный *Александр Яковлевич Пассовер* (1840-1910) был известным столичным адвокатом. Пассовер имел уникальную библиотеку, в которой насчитывалось более 50 тысяч томов, из которых большая часть были в отличных переплетках, две трети из них были на иностранных языках преимущественно на английском. Большинство книг было по обществоведению, истории, в том числе все сколько-нибудь заметные сочинения по юриспруденции, истории и литературе XIX - начала XX веков. Кроме того, в книжном собрании Пассовера имелось Полное собрание законов Российской империи и коллекция научных журналов. После смерти владельца, его сестры в 1910 году пожертвовали библиотеку Библиотеке Академии наук. В конце XIX века на книгах А.О.Пассовера появился шрифтовой ярлык, где в венке из дубовых ветвей выполнена владельческая надпись «Ex libris A.J.Passover jurisconsulti».

Востоковед-семитолог, гебраист и филолог *Даниил Авраамович Хвольсон* (1819-1911) был одним из основоположников российского востоковедения и семитологии. Всю жизнь Хвольсон собирал еврейские инкунабулы и редкие печатные книги. После смерти владельца это редчайшее собрание поступило в Азиатский музей Петербургской Академии наук. Д.А.Хвольсон имел два книжных знака. Первый из экслибрисов датирован началом XX века, на нём в двойной линейной рамке дана владельческая надпись «Ex libris D.Chwolsoni. Musei Asiatici imp. Acad. Scient. №...». На втором экслибрисе, выполненном в 1917 году, сделана надпись «Ex libris D.Chwolsoni. №... Musei Asiatici Imp. Acad. Scient». Пианист, педагог и композитор *Александр Борисович Гольденвейзер* (1875-1961) - один из основателей московской пианистической школы, он воспитал более 200 музыкантов, в том числе С.Е.Фейнберга, Г.Р.Гинзбурга, Л.И.Ройзмана, А.Л.Каплана, Д.А.Башкирова и Р.В.Тамаркина. У Гольденвейзера учился по классу фортепьяно Д.Б.Кабалевский. Гольденвейзер имел домашнюю библиотеку, в которой было около 10 тысяч томов. Помимо художественной музыкальной литературы на русском, немецком и французском языках, содержавших много редких и старинных изданий, имелись обширные отделы по пушкинской и шахматной темам,

естествознанию, философии и социальным вопросам. Библиотека хранится в музее-квартире знаменитого музыканта - филиале Московского музея музыкальной культуры. Книги домашней библиотеки А.Б.Гольденвейзера украшал экслибрис, выполненный в начале XX века, на нем в фигурной рамке выполнена владельческая надпись «Библиотека А.Б.Гольденвейзера».

Присяжный поверенный *Александр Яковлевич Гальперн* (1879-1956) служил юрисконсультom Британского посольства, он был полиглотом, прекрасно разбирался в театре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, был членом легендарной «Бродячей собаки». В начале Октябрьской революции Гальперн уехал в Лондон. Будучи страстным библиофилом, А.Я.Гальперн собрал ценную и изысканную библиотеку, книги которой украшали два книжных знака. Первый из них был скромный штемпельный книжный знак с надписью «Из книг А.Я.Гальперна», вторая графическая миниатюра была выполнена в 1910 году художницей А.Х.Вестфален, на нем в орнаментальной рамке с сидящей женской фигурой написано «Veniet felicior aetas» («Придет более счастливый век»). Внизу в рамке начертано «Ex libris Alex. J. Halpern».



Schalom-Aleichem (на иврите) около 1900

Художественный критик, литератор, философ и публицист «серебряного века» *Аким Львович Волинский* (наст. имя и фам. Флексер Хаим Лейбович) (1863-1926) кроме книг о Н.С.Лескове, Ф.М.Достоевском, русской критике и истории еврейского театра, в 1900 году написал капитальный труд о Леонардо да Винчи, за который в 1908 году был избран почетным гражданином города Милана. На закате жизни Волинский написал книгу «Четыре евангелия»⁹, где отказался от попыток соединить христианство и иудаизм (эту мысль он излагал в письме Л.Н.Толстому в 1894 году) и провозгласил апологию иудаизма.

Писатель К.А.Федин писал об Акиме Львовиче: «Если бы Волынский жил тремя, пятью веками раньше нашего времени, он оставил бы после себя громадное идейное движение, десятки учеников, тысячи последователей. Он мог бы быть основателем какой-либо секты, мог бы оказаться причисленным к лику святых; какой-нибудь вселенский собор мог бы предать его анафеме»¹⁰. В ценнейшей библиотеке Волынского были тысячи томов по философии, филологии, истории русской и зарубежной литературы, искусствоведению на латинском, итальянском, греческом, французском, немецком и русском языках, встречались и старинные тысячелистные увражи до пуда весом. Многие из книг уникальной библиотеки Волынского попали в Государственную публичную библиотеку имени М.Е.Салтыкова-Щедрина, библиотеку Эрмитажа и другие крупные книгохранилища Москвы и Ленинграда. Книги домашней библиотеки А.Л.Волынского экслибрис, выполненный неизвестным автором в 1907 году, на нем изображен сложный вензель из латинских букв его имени и фамилии с гербом города Милана. На этой графической миниатюре написано «Ex libris A.L.Wolynski. Milano. MCMVII.».

Присяжный поверенный и присяжный стряпчий *Моисей Леонтьевич Гольдштейн* (1868 - после 1929) получил известность своими выступлениями на ряде уголовных процессов, по политическим делам и литературным процессам, а также выступал в качестве гражданского истца в делах о погромах в Кишиневе и Могилеве. Гольдштейн считался «Одним из лучших защитников в Петербурге»¹¹, был членом Центрального комитета Союза для достижения полноправия евреев в России. На книгах домашней библиотеки М.Л.Гольдштейн имел штемпельный книжный знак с владельческой надписью «М.Л.Гольдштейн». Пианист, педагог и общественный деятель *Давид Соломонович Шор* (1867-1942) был инициатором создания и руководителем «Бетховенской студии» в Москве. В 1927 году Шор выехал в Эрец-Исраэль и создал в Тель-Авиве Институт музыкального образования. Д.С.Шор имел домашнюю библиотеку, состоящую в основном из музыкальной литературы и нот, для этого книжного собрания в конце XIX века был выполнен шрифтовой книжный штемпель, на нем приведена надпись «Из книг Д.С.Шор».

Юрист, предприниматель и общественный деятель *Михаил Исаакович Шефтель* (1858-1922) был членом Центрального комитета по оказанию помощи евреям, пострадавшим от погромов, одним из создателей и членом Центрального комитета Союза для достижения полного

равноправия еврейского народа в России. Он был одним из инициаторов создания и председателем Общества для научных еврейских изданий, участвовал в подготовке «Еврейской энциклопедии». Шефтель был членом комитета и казначеем Общества распространения просвещения между евреями в России (ОПЕ), одним из руководителей Еврейского комитета помощи жертвам войны (ЕКОПО), участвовал в создании еженедельного журнала «Еврейская неделя». В начале XX века для книг домашней библиотеки М.И.Шефтеля был выполнен шрифтовой книжный штемпель, на нем в линейной рамке сделана владельческая надпись «Ex libris М.И.Шефтель. №... Отд...». Писатель, драматург и теоретик литературы *Осип Максимович Брик* (1888-1945) имел общую с женой - литератором *Лилей Юрьевной Брик* (урожд. Каган) (1891-1978) домашнюю библиотеку, состоящую в основном из книг по поэзии. Брик и его жена многие годы были дружны с В.В.Маяковским. На книгах семейной библиотеки Брик был художественный книжный знак, выполненный в 1912 году художником К.А.Липскеровым, на нём дано изображение Паоло и Франчески и приведена цитата из Данте Алигьери - «И в этот день мы больше не читали».

Историк искусства и художественный критик *Павел* (Пинхас) *Давидович Эттингер* (1866-1948) служил в Международном банке Москвы. Его современники называли летописцем российской художественной жизни первой половины XX века. Он написал несчетное количество статей, обзоров, заметок и рецензий. Эттингер написал более 500 статей о российских мастерах изобразительного искусства для знаменитого словаря У.Тиме и Ф.Беккера¹². В советское время Эттингер был членом правления РОДК, почетным членом Московского и Ленинградского общества экслибрисистов и секции собирателей книг и экслибрисов Московского отделения Всероссийского общества филателистов. Сейчас основная часть коллекции книжных знаков Эттингера находится в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. На имя П.Д.Эттингера было создано двадцать книжных знаков, в том числе портретный экслибрис, нарисованный в 1902 году его близким другом художником Л.О.Пастернаком, на нём знаковладелец изображен в своем рабочем кабинете, внимательно рассматривающим графические листы удобно расположившись на диване. Внизу выполнена владельческая надпись «Ex libris P.Ettinger». Ценнейшая библиотека Эттингера поступила в Академию художеств, произведения живописи и графики, а их насчитывалось более 11 тысяч единиц хранения и огромный

личный архив, в котором было почти 12 тысяч писем от российских и зарубежных искусствоведов, художников, библиофилов и коллекционеров хранятся ныне в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина.

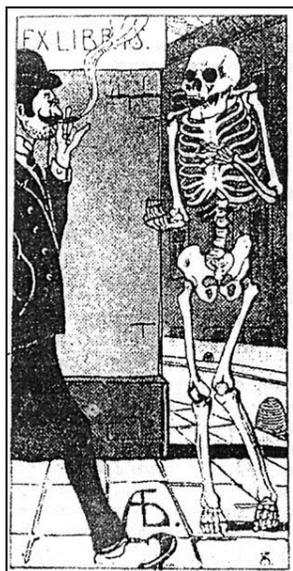
Португальский врач-еврей *Антонио Нуньес Рибейро Саншес* (1699-1783) семнадцать лет проработал в России. Сначала он обучал русских фельдшеров и фармацевтов, служил в войсках, потом был при дворе, его искусство врачевания создало ему большой авторитет. Саншес лечил трех российских самодержцев - Анну Иоанновну, малолетнего Иоанна Антоновича и Елизавету Петровну. Будущую Екатерину II он спас от смерти, когда она тяжело заболела сразу после приезда в Россию в качестве невесты великого князя Петра Федоровича. Екатерина с признательностью упоминает в своих мемуарах о вылечившем ее португальском докторе ¹³. Он был членом Парижской Академии наук и Лиссабонской Академии наук. Работы Саншеса, как изданные, так и не изданные, посвящены не только медицине, но и педагогике, политической экономике, истории и философии. В России дважды в 1791 и 1794 годах издавалась книга Саншеса «О парных российских банях, поелику поспешествуют оне укреплению, сохранению и восстановлению здоровья ...». Саншес в России собрал внушительную библиотеку, незадолго до отъезда, в конце 1747 года, он продал значительную часть своего книжного собрания Библиотеке Академии наук, в фондах которой она ныне и находится. Большинство этих книг снабжены владельческими надписями, чаще всего на них можно увидеть его имя и дату приобретения книги.

Присяжный поверенный *Осип Яковлевич Пергамент* (1868-1909) выступал защитником на политических процессах, в статьях и выступлениях он доказывал, что улучшение внутренней жизни в России «невозможно без одновременного освобождения евреев от тяготеющего над ним бесправия» ¹⁴. Пергамент был одним из первых в России коллекционеров книжных знаков и иностранным членом престижного Базельского клуба экслибрисистов. О.Я.Пергамент собрал уникальную библиотеку, насчитывающую восемь тысяч томов, в которой было большое число книжных редкостей. Среди них целый ряд раритетов из собрания кардинала Джулио Мазарини, книги с автографами Ф.М.Достоевского, И.А.Гончарова, Л.Н.Толстого, И.С.Тургенева, А.П.Чехова, М.Е.Салтыкова-Щедрина. В конце XIX века на книгах О.Я.Пергамента появился скромный шрифтовой ярлык, на нем в декоративной рамке с виньетками в углах выполнена владельческая надпись «Из библиотеки Осипа Яковлевича

Пергамента. Отд....№...». В 1900 году О.Я.Пергамент нарисовал для личной библиотеки экслибрис, где показал большую книгу, на которой стоит бог торговли и покровитель путешественников Меркурий, за ним внимательно наблюдает мудрая сова. На графической миниатюре выполнена владельческая надпись «Ex libris Josephi Pergamenti sectio... №...» и приведены два афоризма римского писателя и ученого Плиния Старшего «Nulla dies sine linea» («Ни дня без строчки») и «Nullus liber est tam malus quin aliqua parte prosit» («Нет такой плохой книги, которая была бы совершенно бесполезной»). В 1901 году немецкий художник Л.М.Ройде выполнил для домашней библиотеки Пергамента книжный знак, на котором изобразил Меркурия с раскрытой книгой с теми же двумя афоризмами Плиния Старшего «Nulla dies sine linea» и «Nullus liber est tam malus quin aliqua parte prosit». В рамке выполнена владельческая надпись «Sectio... №... Josephi Pergamenti jurisconsulti». Ценнейшая библиотека Пергамента не сохранилась, ее судьба неизвестна.

Историк литературы *Николай Осипович Лернер* (1877-1934) был видным пушкинистом и текстологом. Им была составлена первая научная биографии А.С.Пушкина¹⁵. Он текстологически подготовил и опубликовал ранее неизданные пушкинские тексты. Огромная библиотека Лернера, которая насчитывала 20 тысяч томов, и после смерти ученого оставалась в его семье в Ленинграде вплоть до страшного блокадного 1942 года. Тогда она в первую блокадную весну была перевезена с Васильевского острова в Публичную библиотеку, где она и хранится ныне единым неделимым фондом. В 1906 году художник А.М.Арнштам нарисовал книжный знак для библиотеки Н.О.Лернера, на нем изображены два больших старинных фолианта, а в качестве рамки использованы туго перевитые звенья железной цепи, надежно охраняющей книжное собрание. На этом экслибрисе выполнена владельческая надпись «Ex libris N.Lerner. Архитектор *Мирон Ильич Рославлев* (наст. фам. Рабинович) (1888-1948) был серьезным коллекционером книжных знаков. Он основал Институт художественно-научной экспертизы и провел первую в России выставку книжного знака, к которой выпустил каталог. В каталоге выставки был помещен автоэкслибрис Рославлева, датированный 1913 годом, на нём он изобразил камень с барельефом знаковладельца, в окружении чертежных принадлежностей, книг, строительного чертежа и куска античной колонны. Графическую миниатюру венчает владельческая надпись «Из книг архитектора М.И.Рославлева. 1913 г. С-Петербург». После смерти Рославлева, его собрание экслибрисов было куплено

у наследников по частям коллекционерами Б.А.Вилинбаховым, Н.С.Кровяковым и О.С.Домбровской.



Жизневский Г.Р. Ex libris А.Б. (Бачинского А.И.) 1910

Литературный критик и фольклорист *Шмуэль Адальберг* (1868-1939) собрал самую большую в мире коллекцию польских пословиц и поговорок. За эту работу он был удостоен членства в Краковской Академии наук. Адальберг перевел и аннотировал 580 еврейских пословиц из собрания И.Берштейна. Они были опубликованы в польском этнографическом журнале «Висла», а позднее вышли отдельной книгой. С 1918 года Адальберг был советником по еврейским вопросам в польском Министерстве просвещения и религии и делал все возможное для содействия еврейским общинам и учреждениям. Когда фашисты заняли Варшаву, Адальберг покончил жизнь самоубийством. На книгах домашней библиотеки Шмуэля Адальберга был цинкографский художественный экслибрис, на котором изображена раскрытая книга, около которой сидят три птицы. На книге выполнена владельческая надпись «Ex libris Samuelis Adalbergi. Varsaviae». Литератор *Алексей Иосифович Бачинский* (1877-1944) был близок с кругом московских поэтов-символистов, состоял членом РОДКа, писал литературные рецензии. Его книжное собрание украшали два книжных знака, первый из них был штемпельным, он был выполнен в начале XX века, на нем написано «Алексей Осипович

Бачинский». Второй художественный экслибрис был нарисован в 1910 году художником Г.Р.Жизневским, на этой цинкографии изображен усатый мужчина в котелке, курящий сигару, за углом его ждет скелет с протянутой рукой. На графической миниатюре написаны инициалы знаковладельца «А.Б.».

Раввин из Ростова-на-Дону *Вольф Дубнов* имел два штемпельных книжных знака на книгах домашней библиотеки. На первом экслибрисе в двойной рамке написан «№», а по окружности выполнена надпись на иврите, на втором знаке написано прописью «Ростовский Н./Д. раввин». Оба книжных знака находятся в коллекции Российской государственной библиотеки²⁰.



Лилиен Э.М. Ex libris Э.М.Лилиена (на иврите) около 1900

Еврейский график *Эфраим Моше Лилиен* (1874-1925) около 1900 года выполнил цинкографский автоэкслибрис, на нём он изобразил обнаженную женщину с распущенными волосами, которая при лунном свете читает книгу. На графической миниатюре дан владельческая надпись «Ex libris E.M.Lilien. №...» и приведен текст на иврите из послания Апостола Павла к Титу «Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть». Примечательно, что этот афоризм на еврейском языке украшал один из лучших экслибрисов Альбрехта Дюрера для каноника Гектора Помера, выполненный в 1525 году²¹.

В книжных знаках на еврейскую тему можно увидеть еврейскую символику - еврейских народных музыкантов - клезмеров; звезду царя Давида - магендавид; духовой инструмент -

шофар, свод законов, данных Богом евреям - Тору, проповедника - цадика, еврейское местечко - штетл и многое другое, что связано с жизнью и бытом еврейского народа в царской России. Евреи испокон веков были книжным народом.



Лиlien Э.М. Ex libris Рувима Брайнина (на иврите) конец XIX века

Книжность - это семейная еврейская традиция. Альберт Эйнштейн называл эту традицию евреев - «интеллектуальной независимостью». Феноменальная тяга к образованию у евреев выросла исключительно из исторически-еврейской книжности. Прошла длинная череда имен еврейских книголюбов живших в Российской империи, они в той или иной степени оставили свой след в культурной жизни страны. Упомянутые в статье книжные собрания еврейской диаспоры в царской России были разными по своему числу и ценности, многие из них осели в государственных книжных хранилищах и музеях, многие расплылись и навсегда исчезли, но на всех из них был книжный знак, который сохранил память о владельце книги.

Литература

¹ Улановская М. Еврейская национальная библиотека и ее российские корни (Заметки библиотекаря). // Иерусалимский библиофил. Альманах. I. Иерусалим, 1999. С. 88.

² Верникова Б. Эклибрис доктора Хазановича. // Иерусалимский библиофил. Альманах. I. Иерусалим, 1999. С. 95.

- ³ Левитан И. Русские издательства в 1920-х гг. в Берлине. // Книга о русском еврействе 1917-1967. Нью-Йорк, 1968. С. 448.
- ⁴ Юниверг Л. Евреи-издатели и книготорговцы русского зарубежья. // Евреи в культуре русского зарубежья (сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе). Вып. I. 1919-1939 гг. Иерусалим, 1992. С. 129-141.
- ⁵ Дубнов С.М. Книга жизни: Воспоминания и размышления. Материалы для истории моего времени. Т. 3. Рига, 1935. С. 85.
- ⁶ Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918. М., 2004. С. 278.
- ⁷ Иллюстрированный каталог изданий акционерного общества Брокгауз - Ефрон. СПб., 1913; Каталог издательства Брокгауз - Ефрон. Л., 1927; Исторический вестник. № 5-6. 1917. С. 662-663.
- ⁸ Рейтблат А.И. Я.Н.Блох и издательство «Petropolis». // Евреи в культуре русского зарубежья (статьи, публикации, мемуары, эссе). Т. 3. 1939-1960 гг. С. 175.
- ⁹ Волинский А.Л. Четыре евангелия. Пг., 1922.
- ¹⁰ Капит Э. Имена (Евреи в культурной и общественной жизни России). Кн. II. Иерусалим, 1988. С. 32.
- ¹¹ Утевский Б.С. Воспоминания юриста. М., 1989. С. 225; Мандельштам М.Л. 1905 год в политических процессах. Записки защитника. М., 1931. С. 54.
- ¹² Тиме У., Беккер Ф. Всеобщий словарь художников. Т. 1-37. Лейпциг, 1907-1947.
- ¹³ Записки императрицы Екатерины II. М., 1990. С. 9.
- ¹⁴ Российская еврейская энциклопедия. Т. 2. М., 1995. С. 372.
- ¹⁵ Лернер Н.О. Пушкин, труды и дни. СПб., 1903.
- ¹⁶ Лосский Б.Н. К «изгнанию людей мысли в 1922 году». // Евреи в культуре русского зарубежья (Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе). Вып. I. (1919-1939). Иерусалим, 1992. С. 273-287.
- ¹⁷ Гетманский Э.Д. Эклибрисы российско-еврейского этноса (1795-1991). Тула, 2010 в трёх томах. Т.1. С. 284
- ¹⁸ Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918. М., 2004. С. 858.
- ¹⁹ Российская еврейская энциклопедия Т. 1. М., 1994. С. 207.
- ²⁰ Гетманский Э.Д. Эклибрисы российско-еврейского этноса (1795-1991) Тула, 2010 в трёх томах. Т.1. С. 298-299 Богомолов С.И. Российский книжный знак. 1700-1918. М., 2004. С. 278.
- ²¹ Гетманский Э.Д. Российский книжный знак (1917-1991) Тула, 2004-2005 в трёх томах. Т.1. С. 26.



Светлана Арро Два Михаила

Посвящая Михаилу Юрьевичу Лермонтову



небольшой группой гостей мы шли по тихим дорожкам самого старого русского кладбища в Германии. Через два года, в 2016 году, ему стукнет 160. Оно нависло над городом Висбаденом и смотрит на него с горы Нероберг со снисхождением к городской суете. Читать надписи и эпитафии – будто листать неизвестный справочник русской истории. Или литературы. К слову, этот:

Ротмистр Мартынов Михаил Соломонович
1814-1854 – написано на памятнике.

Моя молодая приятельница с восторженной улыбкой воскликнула: Какая прелесть! Ротмистр! Я же её коварно обрезала: Кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали... После моего рассказа бедняга и вовсе скисла.

Прежде всего обращает на себя внимание дата. Что за оказия! Он умер сорока лет за два года до появления кладбища. Значит, это перезахоронение с немецкого кладбища, и оно говорит о необыкновенной важности для русских путешественников такой возможности. Пример этот далеко не единичный.

Чем памятно нам это имя? Мы помним Николая Мартынова, по жёсткому народному приговору, относящемуся и к Дантесу, – убийцу великого поэта.

«Его убийца хладнокровно навёл удар...». Михаил – родной брат Николая. Старший брат. Братья – погодки.

Отметим такой факт, относящийся к нашему, в общем, бесцветному (для истории) персонажу: в родословных и в исторических источниках стоит иной год смерти Михаила: 1860. Ему прибавлено 6 лет жизни. Кладбище, то есть метрическая книга, знает точно.

До 1841 года, года убийства, Мартыновы – это довольно известная в своей среде и, пожалуй, типичная дворянская семья. Стремящаяся выбиться в аристократические, иногда и безрезультатно.

С помощью «Лермонтовской энциклопедии» уточним фактические данные о семействе Мартыновых:

Мартыновы, московская дворянская семья, к которой принадлежал Н.С.Мартынов. (Заметьте, эта первая фраза небольшого текста и она точно определяет значимость и репутацию семейства в истории. Если бы не убийство Лермонтова Николаем Мартыновым, то и незачем бы вспоминать о Мартыновых. Продолжим:

Мартынов Михаил Ильич, полковник, помещик Пензенской губернии. Разбогател на винных откупах. Умер в 1839 г. (Русский помещик, стеснявшийся своего не дворянского занятия, хотел, чтобы сын продолжил дело, несмотря на предосудительность самого дела в глазах знакомых и приятелей, потому и назвал сына довольно оригинально – Соломоном. Этому факту есть доказательства и фантазировать на тему национальности здесь не стоит. Отец повысил сыну цену.). *Мартынов Соломон Михайлович, 1774 – после 1840. Жена Елизавета Михайловна Тарновская, 1783-1851.* В семье 3 сына и 5 дочерей. Некоторые из них: *Елизавета Соломоновна, 1812-1891. С 1834 г. за П.В. Шереметевым.*

Екатерина Соломоновна, 1813-? Муж с 1834 г. Ржевский Михаил Григорьевич. Михаил Соломонович, 1814-1860. (Стоп! Мы опять натываемся на неверную дату смерти. А данные о жене, к сожалению, отсутствуют). *Николай Соломонович, 1815-1875, Наталья Соломоновна, 1819-?, с 1840 г. за де ла Турдонне.*

Имение Мартыновых Знаменское-Иевлево, сообщает энциклопедия, находилось близ Середникова, где, как и в Москве, Лермонтов мог в 1829-32 встречаться с членами этого семейства. Летом 1837 Мартыновы приезжали в Пятигорск, где снова общались с Лермонтовым. (Ссылка на данные лермонтоведа Эммы Герштейн). *О продолжении знакомства свидетельствуют дневники А.И. Тургенева, который пишет о посещении Мартыновых вместе с Лермонтовым в Москве в мае 1840.*

Клубок отношений завязался рано, но Мишель Лермонтов этого не замечал.

Известно о неприязни к Лермонтову матери двух наиболее близких к нему Николая и Михаила в двух письмах к сыну. В первом (1837) выражено подозрение, что поэт скрыл переданный ему пакет с её письмами и письмами дочерей Натальи и Юлии, во втором (1840) мать сообщает сыну, что Лермонтов часто бывает у них, что его визиты ей неприятны, а дочери, напротив, очень с ним милы и любезны. История пропажи пакета всплыла в 1852 году, через 11 лет после гибели Лермонтова, в воспоминаниях литератора Я.К. Грота, который рассказал со слов Екатерины Ржевской, что Лермонтов якобы в 1837 году сватался к Наталье Мартыновой, а та ему отказала. Получив пакет писем, Лермонтов,

дескать, захотел узнать причину отказа и, вскрыв пакет, не вернул его, а выдумал историю его ограбления в Тамани.

Лермонтов, подаривший человечеству жемчужину литературы «Тамань» – и мелкая непорядочность нечистого на руку? И это один и тот же человек? Может быть, всё же нечисты на руку Мартыновы? Мать, которая подогривала мелкую завистливость сына и боялась симпатии дочери к незаурядному человеку, не слишком богатому, да к тому же с опасным остроязычием? Лучше ославить и отодвинуть – в этом мудрая позиция матери. Это ей надо было называться Соломонией.

К тому же Э. Герштейн доказала на фактах, что никоим образом ни история с пакетом писем 1837 года, никогда более нигде не упоминавшаяся вплоть до 1841 года, ни мотивы ненависти Николая Мартынова к Лермонтову из-за защиты чести сестры не могут считаться состоятельными. Они вытаснены только ради оправдания убийства.

А что же сказать о **Михаиле Мартынове**? Он был однокурсником, *однокорытником* Лермонтова по Школе юнкеров. Познакомимся со Школой.

Природному москвичу Лермонтову, приехавшему в сопровождении бабушки (и, конечно, слуг) для поступления в С-Петербургский университет, не понравился ни сам университет с тесным, ещё деревянным зданием, ни новая программа факультета словесности, предполагавшая изучение древних авторов и подражания им. Год терять было нельзя, посоветовались со стольпинской роднёй и решили: юнкерская двухлетняя школа. Точнее, Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

Школа была создана при Александре I и по своим задачам была близка поначалу к Царскосельскому Лицею. Кроме военных дисциплин в ней изучали математику, географию, языки, основы права и теорию изящной словесности. Окончившие её дворяне могли выйти в отставку и найти себе статское дело. В Гвардейскую Школу, находившуюся в центре столицы у Синего моста, поступали наследники достаточных состояний, владельцы сотен и более крепостных.

Особенностью Школы было отсутствие единой формы, разнообразие цвета и покроя, почему её нередко называли «Пёстрым эскадроном». Мундир, естественно, привлекал всех юношей, но, может быть, более всех он пленял Николая Мартынова, чрезвычайно заботившегося о своей внешности. Между гвардейскими полками существовала своя иерархия. Наиболее привилегированными были два: Кавалергардский и

Конный. В них набирались люди очень богатые, обладавшие «громкими именами», видной фигурой, хорошим ростом и привлекательной внешностью. А также дисциплинированные. Эти два полка и выбрали братья Мартыновы.

Ни фатовства, ни позёрства, свойственного младшему на год брату, Михаил не обнаруживал. Потому ни раздражения, ни насмешек не вызывал.

А Лермонтов сразу же взял полк и род службы попроще и помягче в требованиях: лейб-гвардии Гусарский. Гусаром был двоюродный дед Михаила Алексей Григорьевич Столыпин.

Внутренний устав Школы был достаточно либеральным. По выходным и праздникам юнкеров отпускали в увольнительные. К тому же они легко манкировали правилами и обходили их при желании. Излюбленным местом сходов по праздникам у них была знаменитая кондитерская Беранже, куда непрерывно по их просьбам летали сторожа и слуги за пирожками и мороженым.

В другое недалёкое злачное местечко те же сторожа летали за ликёрами и прочими напитками, а на проспект частенько вылетали из окон пустые бутылки.

Будни и быт высокопоставленного военного училища, в котором варились два с лишним года Лермонтов и двое братьев Мартыновых, наверняка были более трудны для Лермонтова, чем для них. К тому же всю зиму 1832 года он пролежал в госпитале после того как его лягнула лошадь. Нога долго не заживала. Юнкерская школа научила поэта властвовать собой, закалила характер, отточила бесстрашие. Изнеженный поместной жизнью, избалованный любящей бабушкой, он сам заставил себя справляться с физическими трудностями и выдержал вскоре после госпиталя тяжёлую бивачную жизнь.

Михаил Мартынов и Михаил Лермонтов в 1834 году были произведены в корнеты. После окончания Школы юнкеров дороги их разошлись, но Лермонтов не раз бывал в их доме. И если одна из сестёр Мартыновых, Наталия, и была прототипом княжны Мэри, то этот факт неглупой девушке скорее льстил, чем оскорблял.

Выпущен Михаил Мартынов был в лейб-гвардейский Кирасирский полк. Лермонтов оказался в Драгунском. Похоже, что в дальнейшем они не сталкивались, данных о встречах нет. Да и в полку Михаил, видимо, недолго задержался. Дали знать себя слабые лёгкие. А затем – заграница, вероятно, отставка. И как панацея – немецкие воды. Городок Эмс, о котором позднее восторженно высказался в письмах Достоевский, что было ему

несвойственно. Но и Эмс не спас запущенную болезнь Михаила Мартынова.

Ещё в Школе Лермонтов стал общепризнанным певцом-стихотворцем этой вольницы, хотя сочинять стишки на темы гусарских подвигов пытались многие. Открытые натуры легко принимали первенство и превосходство поэта, но Николай Мартынов был уязвлён и, смеясь вместе со всеми, начал копить затаённую злобу, выращая ненависть к некрасивому, невысокому, кривоногому Мишелю, который почему-то брал верх над ним – блестящим красавцем! По всем статьям именно он должен был выигрывать призы симпатий, но его легко переигрывал несуразный Лермонтов, не замечавший копившейся в Мартынове ненависти.

Случайности и обстоятельства роковым образом сталкивали этих двоих и после Школы, нередко ставили в отношения вынужденного приятельства. Мартынова знала при этом своя среда, а Лермонтов становился знаменит и известен всей России. Не этот ли факт более всего ущемлял самолюбие Николая Мартынова?

Через 7 лет, в 1841 году судьба опять свела вместе Лермонтова и Николая Мартынова. На горе всей России.

Один из недалёких однополчан Лермонтова откровенно высказал кредо мелких завистников, не понимавших масштаба поэта и его места:

Между нами говоря, я не понимаю, почему о Лермонтове так много говорят. В сущности, он был препустой малый, плохой офицер и поэт неважный. В то время мы все писали такие стихи. Я жил с Лермонтовым в одной квартире и видел не раз, как он писал. Сидит, сидит, изгрызёт множество перьев, наломает карандашей и напишет несколько строк. Ну разве это поэт?!

(А.И.Арнольди)

Н. Мартынов – человек из этой толпы. Господа адвокаты Мартынова любых времён оттуда же. Им важно низвести великого до себя и судить по себе, по собственной мелкости, прикрывая самоуничтожение фразами о равенстве всех со всеми. Но людей не причешешь одной гребёнкой.

Лермонтов раздражал многих окружающих. Характером, поведением, гениальностью. Гениальностью прежде всего. Писать зарифмованные строки для альбомов барышень было модно, и многие из тех недалёких волокит, кто это делал, считали себя поэтами. В полной мере комплекс Сальери владел «поэтом» Николаем Мартыновым. А Лермонтов безобидно над ним

посмеивался. В ответ Николай Мартынов маскировал своё ущемлённое самолюбие, прятал его до поры.

Юный гений, почти мальчик, понимал людей и предвидел свою судьбу. Можно сказать, он её напроорочил. Противостоянием Печорина и Грушницкого в романе «Герой нашего времени» Лермонтов заглянул в собственное будущее. Подтрунивая над Николаем Мартыновым, Мартышкой, по юнкерскому прозвищу, он понимал его завистливое ожесточение. Может быть, каждый из них мог подумать о другом словами из романа: «Я не люблю его; я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнёмся на узкой дороге, и одному из нас несдобровать». И все же на последней узкой дороге Лермонтов не стал Печориным. А Мартынов остался Грушницким – поэром, лжецом и убийцей.

Жизнь уточнила литературу. Лермонтов остался благородным героем, а Мартынов его злобным подражателем, который устами Грушницкого сказал свои последние слова: «Нам на земле вдвоём нет места...».

Через 7 лет, в 1841 году судьба свела вместе Лермонтова и Николая Мартынова.

Они не были двойниками. Мартынову до Лермонтова далеко, как до неба. Выбор противостояния был невелик и Лермонтов его знал:

Злоба ли тайная, зависть открытая, Или друзей клевета ядовитая... А потом естественное: тяготит преступление...

Некоторые литературоведы XX века находили в Лермонтове демонизм, который ему не прощали. Не прощали «...железный стих, / Облитый горечью и злостью». Может быть, потому, что относили XIX век к «золотому», а всю «горечь и злость» к своему XX?

В наше время, особенно в последние годы, интерес исследователей и читателей к Лермонтову усилился, углубился. Появились новые психологические трактовки его творчества, основанного на трагизме биографии. Они делают неизбежными мотивы поэта-жертвы и виновности посягнувшего на его жизнь обывателя, который «не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку подымал».

Появились новые исследования последней дуэли, которые однозначно говорят о светской и родственной круговой поруке «друзей»-однополчан, преступно скрывших неоказание помощи раненому Лермонтову, отсутствие доктора на дуэли. Рядом были только легкомысленные мальчишки-секунданты, аристократы, надеявшиеся, что всё обойдётся без выстрелов и уж точно без смертей, золотая молодёжь, дети вельмож.

О политических заказах, конечно, смешно говорить. Собственно, именно политическим заказом советского времени и были грубые или тонкие намёки на заказы самодержавия. Даже при неприятии Николаем I романа «Герой нашего времени», безусловно, разрушительного сочинения для режима беспрекословного подчинения власти, сегодняшнее понимание роли монархии и конкретных монархов не позволяет примитивно демонизировать царскую власть. Сгущённые намёки на придворную камарилью, к сожалению, умаляют значение серьёзных исследований. Но появляются новые глубокие работы.

Исследователь и биограф Лермонтова Алла Марченко посвятила свою книгу о Михаиле Юрьевиче Лермонтове «тайному ордену лермонтистов». Орден, конечно, метафорический, но как лестно числить себя в кандидатах этого ордена.

К членам ордена надо отнести поэта Беллу Ахмадулину. Она многократно создавала в стихах и прозаических эссе психологический портрет поэта, говоря о своей «тоске по Лермонтову». Она величала поэта «высочайшим юношей вселенной», а Мартынов, по её слову, не умел «отличать самолюбия от чувства чести, отчего площадь его уязвимости была иссушающе огромной». Современная поэтесса ощущала себя преемницей лермонтовских мотивов одиночества в человеческой толпе, мятежности духа среди приспособленцев и лицемеров.

Сегодня мы знаем правду об этой трагедии. Может быть, почти всю. Большую роль сыграло обнаруженное в советское время не известное ранее письмо, касающееся обстоятельств дуэли. Оно хранится в Отделе рукописей ленинградской Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Письмо написано в Пятигорске через 6 дней после гибели Лермонтова.

Автор письма дворянин Пётр Тимофеевич Полеводин. Оно напечатано в одном из томов «Литературного наследства» и теперь повторно опубликовано в интернете автором первой публикации литературоведом А.Н.Михайловой со всем справочным аппаратом. В нём нет сенсационных открытий, оно подтверждает логику отношений, если смотреть на них непредвзято и серьёзно, без ловли фантастических рыбок в мутной воде.

Разночтений, выдумок и версий не нужно. Письмо Полеводина – непосредственный отклик на события. Оно пронизано болью за погибшего поэта, горячим сочувствием к нему и свидетельствует об огромной популярности Лермонтова среди современников, несмотря на уверения в обратном отдельных личностей, близких к кругу Мартынова.

Вот это письмо: (с сокращениями):

Июля 21-го 1841 г. Пятигорск

«...Плачьте, милостивый государь Александр Кононович, плачьте, надевайте глубокий траур,/.../ берите из Вашей библиотеки «Героя нашего времени» и скачите к Лёренцу, велите переплести его в чёрный бархат, читайте и плачьте. Нашего поэта нет, – Лермонтов 15-го числа текущего месяца в 7 часов пополудни убит на дуэли отставным майором Мартыновым.

Неисповедимы судьбы твои, Господи! И этот возрождающийся гений должен погибнуть от руки подлеца: Мартынов – чистейший сколок с Дантеса.

Этот Мартынов служил прежде в кавалергардах, по просьбе переведён в Кавказский корпус капитаном, в феврале месяце отставлен с чином майора, – и жил в Пятигорске, обрил голову, оделся совершенно по-черкесски и тем пленял, или думал пленять, здешнюю публику... Лермонтов, не терпя глупых выходов Мартынова, всегда весьма умно и резко трунил над Мартыновым. <...> Мартынов никогда не умел порядочно отшутиться – сердился, Лермонтов более и более над ним смеялся... Лермонтов, в присутствии девиц, трунил над Мартыновым целый вечер, до того, что Мартынов сделался предметом общего смеха, предлогом к тому был его, Мартынова, костюм....

Когда секунданты узнали о причине ссоры, то употребили все средства помирить их. Лермонтов был согласен оставить, но Мартынов никак не соглашался. Приехав на место, назначенное для дуэли, Лермонтов сказал, что он удовлетворяет желанию Мартынова, но стрелять в него ни в коем случае не будет.

Секунданты отмерили для барьера пять шагов, потом по пяти шагов в сторону, вручили им пистолеты и дали сигнал сходитьсь. Лермонтов весьма спокойно подошёл первый к барьеру, скрестив вниз руки, опустил пистолет и взглядом вызвал Мартынова на выстрел. Мартынов, в душе подлец и трус, зная, что Лермонтов всегда держит своё слово и радуясь, что тот не стреляет, прицелился в Лермонтова. Прицелился – выстрел... Поэта не стало!.. На другой день толпа народа не отходила от его квартиры. Дамы все приходили с цветами и осыпали его оными. Зрелище было восхитительно и трогательно.

17-го числа в час поединка его хоронили. Всё, что было в Пятигорске, участвовало в его похоронах. Гроб его до самого кладбища несли штаб- и обер-офицеры и все без исключения шли пешком до кладбища. Сожаления и ропот публики не умолкали ни на минуту.

Теперь 6-й день после этого печального события и ропот не умолкает, явно требуют предать виновного всей строгости закона, как подлого убийцу.

Пушкин Лев Сергеевич, родной брат нашего бессмертного поэта, весьма убит смертью Лермонтова, он был лучший его приятель, Лермонтов обедал в этот день с ним и не сказал ни слова о дуэли, которая должна была состояться через час. Пушкин уверяет, что эта дуэль никогда бы состояться не могла, если б секунданты были не мальчики, она сделана против всех правил и чести.

Лишь только Лермонтов испустил последний вздох – пошёл проливной дождь. Сама природа плакала об этом человеке. Больно вспомнить...»

В этом бесхитростном и честном письме ясно, каков приговор простой России. Не аристократической и высокопоставленной, а народной. Причём сведения из первых рук. От тех же секундантов.

Лермонтов не выстрелил. Опустил пистолет дулом вниз. А Мартынов в ответ подошёл как можно ближе и, прицелившись, выстрелил в сердце. Потом соврал, что Лермонтов стрелял. Секунданты и любопытствующие приятели, свидетели, сговаривались о том, что говорить на следствии. Все врали. Боялись последствий. Пятигорск назвал эту дуэль убийством.

Тень этого действия, этого слова, как бы мы ни хотели от него отстраниться, легла на репутацию брата Михаила, ни в чём не виновного. Мать, понимая, что на семью легло пятно позора, увезла дочерей за границу, в Германию, надеясь выдать их замуж за иностранцев или за путешествующих русских и, в основном, в этом преуспела. Лечить Михаила тоже надо было на немецких водах. Поездка случилась уже после смерти матери.

Как доказано несколькими исследователями в наше время, семья Мартыновых, оправдывая и защищая Николая, распространяла факты, порочащие Лермонтова и фальсифицирующие условия дуэли. Николай Мартынов женился, и в течение десятилетий его сыновья считали отца жертвой и клеветали на Лермонтова.

Поэтому до сих пор история гибели Лермонтова остаётся предметом споров.

Мне представляется, что именно Михаил заплатил своей ранней смертью и долгой болезнью за грех брата и семейную неприязнь к Лермонтову, за благополучную долгую жизнь брата Николая, в общем, избегшего даже назначенного ему несложного наказания в виде церковного покаяния. Но семья жила

в России, где каждый грамотный человек знал фамилию «Мартынов». И мог укорить, бросить косою взгляд, презрительное слово любому из Мартыновых. Могли ли они жить спокойно и безмятежно? Думаю, что при случае потомки и родственники продолжали запутывать следы, придумывать оправдательные версии, затемнять факты. Не потому ли много знаков вопроса стоит в справках о Мартыновых? Не потому ли дата и место смерти Михаила Мартынова неизвестны в России, хотя пристальный интерес общества к этой семье не утихал.

История расставила свои оценки. Обывательская пошлость не коснулась репутации Лермонтова, несмотря на отдельные попытки снизить понимание его личности якобы автобиографическими трактовками непростых героев его прозы и поэзии. Отрицательное обаяние Печорина и Демона приписывают иногда самому Лермонтову, но в то же время чаще всего не только исследователи, но и читатели, особенно молодые люди, видят в нём своеобразное «очарование зла», странность, притягательный романтизм, байронизм. И как при этом забыть, что прекрасному русскому поэту было всего 26 лет, без нескольких месяцев 27, когда его жизнь закончилась?!

Лев Толстой, не часто ценивший талантливых писателей по самой высокой шкале, о Лермонтове высказался чётко:

Если бы этот мальчик остался жив, не нужны были бы ни я, ни Достоевский.

(А. Марченко. Лермонтов. М., АСТ, 2009, стр. 489)

Конечно, многое в блистательной поэзии и прозе Михаила Лермонтова объясняется его биографией, его кратким и драматическим сиротским опытом жизни, но прямое отождествление его героев с самим автором ошибочно и поверхностно. Пронзительная нота драматизма звучит в его творчестве и находит отзвук в душах совсем других поколений целых два века. Говоря в ключе романтизма, это и есть тоска по мировой гармонии. Этой тоской и объясняется, вероятно, лермонтовская странная любовь не только к отчизне, но к людям, в частности, к женщинам, к природе – к Кавказу со всеми его опасностями, к морю, в котором он видит своё одиночество и свою мятежность, к небу, по которому плывут тучки небесные, опять же, такие, как он сам, изгнанники. Юношеский максимализм и средоточие мира на себе, на своём внутреннем мире, и горестный надлом, свойственный каждому молодому существу с чувствительной душой нашли идеальное воплощение в

гениальной лермонтовской поэтической тонкости и чутье к слову и мелодии слова.

По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел...

Не был ли этим ангелом сам Мишель Лермонтов с его ангельской песней?

И мне не простить Николая Мартынова. Меня возмущают экскурсии во французский городок, где жил «сенатор Дантес». И даже бедного ротмистра Михаила Мартынова, умершего от туберкулёза далеко от родины, мне почти не жаль. Будь он не Мартынов, может, я бы и всплакнула о нём, как одна из моих приятельниц, увидев на кладбище волнующее женскую душу слово Ротмистр. Ведь он мог хотя бы словесно защитить своего товарища и однокашника Лермонтова! Ни слова от Михаила Мартынова о нём не осталось. В Школе кавалерийских юнкеров, где обучались молодые дворяне из аристократических семей, золотая молодёжь, кодекс чести всё-таки был важнее семейной спеси.

...Через 14 лет после трагедии, погубившей Лермонтова и сломавшей жизнь семьи Мартыновых, две женщины средних лет, обе причастные к фамилии Мартынова, присутствовали на освящении Елизаветинского храма в немецком городе Висбадене. Это была Юлия Гагарина, урождённая Мартынова, всегда симпатизировавшая Лермонтову, и Анна, вдова Михаила Мартынова, умершего совсем недавно и похороненного в Висбадене на немецком кладбище. Через год возникнет русское кладбище рядом с церковью и они перезахоронят брата и мужа Михаила.

Они, конечно, вспомнят и о другом Михаиле, погибшем по капризу излишне самолюбивого и мелочно обидчивого Николая Мартынова...

Оборотимся на 173 года назад. Увидим этот день, это место глазами талантливого писателя XX века, которого мы тоже начинаем вспоминать или узнавать, убитого государством Бориса Пильняка. Вот последние строки повести

«Штосс в жизнь», посвящённой гибели Лермонтова:

Синяя тень от Бештау легла далеко в степь. Машук немотствовал. Была тишина и умирал закат. На земле валялась фуражка пехотного офицера, с красным околышем... Лермонтов был убит на дороге. ... Фуражка на земле осталась до утра коротать ночь, – а кровь осталась в земле – навсегда. И всю ночь

рвалось небо молниями, и стонал лес. И метался ветер, и кричали совы.

«Погребение пето не было»...



Ольга Янович Москва – не товарная, музыкальная, любимая...

Воспоминания
(продолжение. Начало в №12/2013)

Училище



а первых порах это было всё равно что променять золото на медяки, свежий сок – на газировку, Москву – на Люберцы. Из Гнесинской спецшколы, этого заботливо охраняемого, ухоженного парника, куда не было доступа злым ветрам и заморозкам, где всё ежедневно пропальвалось, удобрялось и поливалось, я угодила на большой огород, каким тогда было Гнесинское училище. Огород с одинаковой для всех почвой, сорняками, капризами погоды и выживаемостью сообразно свойствам корней и ботвы. Можно зачехнуть или расцвести, можно уйти в корень, а то и загнить вовсе.

1-го сентября я с удовольствием надела свою, не форменную, одежду, вместо ранца повесила сумку через плечо и втихаря вынесла из квартиры косметичку сестры, чтобы, загнав лифт на двенадцатый этаж, через пять минут выйти из подъезда в полной боевой раскраске. То есть, когда поверхность физиономии напоминает не холсты Ван Гога, а скорее пастели Дега. В том, что подобной моде в то время следовали все молодые женщины, иногда вполне порядочные, убедить моих родителей не удавалось и они продолжали проводить весьма нелестные параллели, стоило нам с сестрой накраситься. В глубине души я понимала, что, перейдя из очень привилегированной школы для одаренных детей в техникум, в *музыкальное ПТУ*, я не сдюжила, оплошала и угодила на конвейер, перестав быть штучным музыкальным изделием. И почему-то в то утро мне не хотелось появляться в училище со своим лицом, косметика придавала уверенности.

Наша семья уже три года как распрощалась с Садовой-Самотечной ради Бескудникова и это тоже было досадной заменой: нестандартного кирпичного дома с милыми, образованными соседями на двенадцатиэтажный бетонно-блочный

корпус прямо на развилке двух шумных дорог, населенный самым разным людом.

Ради возможности существовать, не натываясь друг на друга ежеминутно, пришлось сменить аристократический центр на отдаленный район с полуприличным названием. В первый же день в новой трехкомнатной квартире отец отмерил шагами её крайние точки: тридцать три шага от окна в своём, теперь уже настоящем, кабинете через проходную большую комнату (мамина обитель) в коридор и до кухонного окна. По дороге – наша с сестрой комната, в центре которой паркет «ёлочка» вздыбился горой, как Фудзияма, но не дымился, а только тихо вонял подсыхающим черным варом. Фудзияму нам вскоре утоптали, а лифт, сломавшийся прямо в день нашего заселения (на одиннадцатый этаж, между прочим), через пару дней пустили. Надо было проявлять чудеса эквилибристики, пробираясь по узким дощечкам и кромкам из кирпича от подъезда до автобуса – пустырь перед домом был сплошной глинистой кашей, оснащенной строительным мусором. До тех пор, пока один незаметный, но упорный человек не взялся за дело. Много месяцев подряд он ковырял и долбил каменистую глину, втыкая какие-то палочки. Лет через пять это уже был сад, в котором распивали на троих то, что продавалось в магазине в соседнем корпусе, но в садике можно было и посидеть с коляской, и выгулять собаку. Тихий энтузиаст, который виделся нам по утрам черной точкой с балкона, на несколько человеческих жизней перевыполнив норму Чехова по посадке пресловутого дерева, так же тихо уехал в Израиль. Сад пережил революцию и приватизацию, дому тоже ничего не сделалось.

Мы жили мечтой о метро. До любого достойного внимания пункта Москвы ехать надо было самое меньшее час. Существование моё съёжилось почти вполнину – нельзя же всерьез считать прожитыми не зря эти ежедневные два-три часа в транспорте: пятнадцать минут промерзания на автобусных остановках, взятая приступом дверь-гармонь, в самом автобусе полчаса тесного прижатия к твоему телу чужих рёбер, локтей, а то и чего-нибудь похуже, что как бы невзначай уткнётся тебе в бок. И пойдя разбери, чье *оно*, отвернёт красную рожу в сторону, подлец, и не докажешь ничего. Могу с уверенностью сказать, что первые мысли об эмиграции зародились у меня в штурмах автобусов №№ 167, 149 и в особенности, №206. Они следовали до станций метро Белорусская или Новослободская. Автобусы начали ходить от нашего дома не сразу – первые два года был только один, и в него по утрам можно было проникнуть только библейским способом для богачей, стремящихся в рай. То есть, на манер верблюда через

ушко иголки. Мне много раз случалось пропустить первый урок в школе, так и не ввинтившись в плотную людскую массу со скрипкой, ранцем и сменной обувью в мешке.

Перейдя в музыкальное училище, я избавилась от утренней экзекуции в транспорте, лекции (название-то какое взрослое!) начинались позже, ехать иногда удавалось сидя, наспех доделывая какой-нибудь урок. *Сменку* не носили, зато скрипку надо было иметь при себе постоянно, появился квартет, камерный ансамбль и оркестр. А чтобы нам служба мёдом не казалась со всей нашей музыкой, прибавили Военное Дело, что внесло в учебную программу веселый элемент абсурдного полоумия, а также дало материал для анекдотов.

В первые дни занятий произошло братание ветеранов Гнесинской спецшколы, тех, кто или сам захотел легкой жизни, или не удержался на плаву и в результате «чистки рядов» перекочевал из особняка на ул. Фрунзе назад в здание Гнесинского института на ул. Воровского. Объединились мы с большим энтузиазмом, с искренним желанием помочь друг другу приспособиться к новым условиям. К тому же нам, подросткам, надо было не ударить в грязь лицом перед публикой, уже окончившей среднюю школу, перед почти взрослыми, иногородними студентами. Нас было больше, тон – щенячезадиристый – задавали мы и вскоре все освоились на новом месте и принялись вдохновенно проказить, острить и выпендриваться со скрипками в руках, походя небрежно красуясь мастерством – у кого какое было.

Ребята постарше приобщили нас к курению под лестницами, к новоарбатским кафешкам, а также к винному отделу гастронома на Смоленской, который работал допоздна. После репетиций и концертов мы слонялись по Арбату, по бульварам, а поскольку в глухие семидесятые времена попасть в кафе вечером было невозможно, то обходились бутылкой вина (вот где совершеннолетние были незаменимы!), батоном хлеба и шли на Суворовский бульвар, в садик к грустному Гоголю. Самые шальные могли и сыграть что-нибудь прямо там, на свежем воздухе, что, с точки зрения милиции, было *нарушением хуже распятия*. Поэтому концерт Брамса для скрипки и виолончели, складно разыгранный по обе стороны стенки между мужским и женским отделениями общественного туалета у памятника Тимирязеву на бульваре был, безусловно, и отважной авантюрой, и ансамблевым подвигом. До сих пор не пойму, как это мы ни разу не угодили в участок – наверное, в районе Арбата было и без нас полно хлопот.

Новые друзья сразу захватили всё моё время, я старалась только по своей главной специальности, в остальных науках просто удерживалась на плаву. Несколько чудесных педагогов, которые могли бы обогатить мой музыкальный мир, прошли мною почти незамеченными, хоть я и не пропускала их уроков. Пианист Эльперин, ученик легендарного Блуменфельда, альтист Талалян, изумительные музыканты, у которых я училась по камерному и квартетному классам, получали от меня ровно столько, сколько с меня требовали. Желание кого-то осчастливить или хотя бы удивить своей скрипичной игрой меня не посещало. Музыка была ненавязчивым и приятным фоном множества других, казавшихся более важными, переживаний и мыслей.

В неполные шестнадцать лет мою черепную коробку можно было сравнить с чемоданом, наскоро напиханным чем попало. Непонятно по содержимому, кто хозяин и куда собрался, а главное, среди всякого барахла ни за что не отыскать того, что в первую очередь понадобится в пути. Замок разболтан, пихай туда, кто что хочет, а нужное грозит вывалиться при тряске. Трясло у нас дома – в веселой компании, с вином и анекдотами. Мама часто повторяла: «пусть уж лучше у меня на глазах», а отец обреченно терпел, умудряясь *под музыку отнюдь не Вивальди* заниматься научной работой. Но по негласному соглашению вино было некрепким, курение и легкий матерок дозволялись только в пределах моей комнаты, ссор между нами не было, а влюбленные парочки выходили целоваться на балкон.

Случались конфузы: танцевали в темноте, дуря от «Michelle» Пола Маккартни, вошла мама, чтобы позвать меня к телефону. И тут же очутилась в чьих-то объятиях. Так как по стройности фигуры она своим дочерям не уступала, зажгли свет, чтоб уж не осталось сомнений, и долго еще нахал не мог прийти в себя от смущения. В другой раз всей компанией пришлось обшаривать кустарник вокруг дома в поисках нашего кота, в страхе, что он сиганул с одиннадцатого этажа от нашей музыки. Кот был суициден, подобно другим котам проявлял интерес к форточкам, но на этот раз нашелся в чреве пианино «Родина», куда его сунул один умелец по части джаза. Он долго и громко импровизировал, забыв о коте, а потом сам же все кусты облазил. Бедный кот обмякался до одури, а по извлечении из «Родины» обнаружил завидную пушистость хвоста и спины. До утра его не видели.

Сессия наступила неожиданно и поколебала убеждение, что программа в училище легче школьной. Выяснилось также, что некоторые учителя предпочитают знакомиться со студентами до

экзаменов. Особенное желание познакомиться проявил пожилой долговязый физкультурник, который заставил меня отрабатывать лыжные прогулы по весенней распутице. В апреле мне пришлось явиться к Поклонной Горе, но не с ключами от города, а с заданием объехать её по асфальту десять раз, чтобы получить зачет. Два круга я отскребла, а на третий – села в автобус, показала проездной и поехала вдоль лыжни, то есть, воспоминания о ней. Через две остановки я слезла и, надев за кустами лыжи, покатила к физкультурнику. Удивленный моими скоростными данными, он начал засекал время, а на пятом путешествии галантно помог мне сойти со ступенек автобуса.



День Здоровья в училище – нетрудно догадаться,
кто стоит в конце колонны

На следующий день я стала народной героиней, рекордсменкой по физкультурным прогулам, количество которых равнялось суммарным прогулам всего первого курса консерваторского училища. Перед настройкой симфонического оркестра дирижер огласил моё имя и поздравил нас с тем, что хоть в прогулах мы сумели обойти наших вечных соперников – этих снобов из Мерзляковского переулка.

Несмотря на дуракаваляние, к концертам и экзаменам по «спец» отношение было серьёзнейшим. За несколько дней до приезда учителя, если довелось учиться у гастролирующего музыканта, мы начинали пилить без устали, прогуливая лекции, чтобы больше позаниматься, и живот постоянно сводило от волнения. Экзамены по специальности обставлялись по высшему разряду и, пока эмиграция не смела половину музыкальной

Москвы, в комиссии сидел и слушал наши гаммы цвет советского исполнительства. Многие педагоги имели также класс в Гнесинском институте и в консерватории, что давало надежду на продолжение учебы, если стараться.

Мы не пропускали филармонических концертов и выбирали себе кумиров, подражали им, и это даже стало родом искусства и игрой на отгадку. На курсе был скрипач, имитировавший виртуозов от Крейсера до Ойстраха с такой степенью похожести, что из этого могла бы получиться неплохая карьера. Если мимо курилки по коридору проходил педагог, который был ещё и концертирующим солистом, то ему вслед Васька обязательно запускал что-нибудь глумливо-карикатурное, всегда из репертуара и в стиле данной знаменитости. Иногда это имело печальные последствия на экзаменах, знаменитость мстила шуту за нахальство и снижала балл, объясняя это тем, что объект подражания очевиден.

Васька был настоящим «разбойником смычка», играл в безумных темпах леворучное пиццикато и двойные флажолеты на ходу, не прерывая беседы и не выпуская изо рта окурка. Все концерты и пьесы, точнее, самые эффектные куски из них, он осваивал в коридорах, на лестничных пролетах, за кулисами концертного зала в антракте, одновременно мешая и вызывая зависть своими трелями. Часто из дверей класса высывалась голова педагога и поступали просьбы «не прелюдировать в коридоре», за что его в конце концов прозвали «коридорным лауреатом», но он не обижался. Васька был душой нашей компании и мы прорчили ему великое будущее.

Поворот в судьбе

Если бы обучение в Советском Союзе было платным, можно было бы сказать, что первый курс у меня пролетел, что называется, «мимо денег». Я попала в класс к известной скрипачке, профессору консерватории. Почти ничего из того, что мне говорилось в её огромном кабинете на Гоголевском бульваре, я не понимала. На уроках присутствовал громадный эрдельтерьер, который рычал, когда его хозяйка была мной недовольна и время от времени сморкался мне на туфлю под предлогом чихания. Так продолжалось до конца учебного года, а потом на выручку пришел мой замечательный первый учитель, Виктор Николаевич Гвоздецкий. Прослушав мою программу, он долго молчал, а потом озадачил: «а что, если поговорить с *Бусей?*».

В детстве всякий раз, когда к природной лени я добавляла дозу ослиного упрямства, бабушка говорила: «вот не будешь

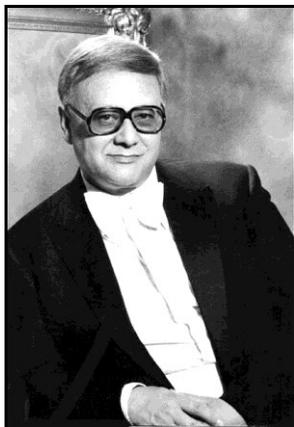
заниматься, не выйдет из тебя Буся Гольдштейн!» Это почему-то действовало, само имя казалось заманчивым, одновременно эстрадным и домашним. Я была уверена, что речь идет о знаменитой маленькой скрипачке, но как-то в разговоре о *Бусе* кто-то из взрослых упомянул *короткие штанишки*. Мне объяснили, что речь шла о чудо-мальчике, гениальном виртуозе, и с тех пор мне очень хотелось попасть на его концерт. Нужно ли говорить, с каким трепетом я ждала, пока Виктор Николаевич хлопотал о моём переводе в другой класс! Было ясно, что наступают перемены.

На этом месте повествования я не без досады обнаружила в себе внутреннего цензора. И принялась приглаживать написанное, пытаюсь придать рассказу более академичный, даже как бы торжественный тон. Совершенно мне не свойственный в жизни и общении, я надеюсь. О больших музыкантах ведь принято писать с пиететом и восторженным придыханием, высоким стилем, особенно когда пишет ученик. Серьезно, обходя юмор и всяческие курьёзы. Но портрета не получится, если не отпустить что-то внутри, не дать волю своей памяти, прослушивая виниловые пластинки, просматривая сероватые, наспех отснятые фотографии, наконец, погружаясь в его письма, написанные разборчивым почерком и ярким, идеально грамотным языком. Если не попытаться понять, почему при мысли о Борисе Эммануиловиче становится теплее на сердце и хочется вспоминать его с радостью, как бы ни была печальна и безвременна эта потеря. И я дала себе добро на более домашнюю, неформальную манеру изложения.

О Борисе Гольдштейне, без преувеличения скрипаче гениальном, написано мало. Имя обросло легендами, некоторые из которых берут своё начало в профессиональной зависти, а то и граничат с клеветой. Истории о нем, часто без указания источника, в большинстве случаев остаются всего лишь анекдотами и ничем больше. Он был одесситом с феерическим чувством юмора, очень непосредственный, внутренне свободный. Будучи абсолютно лишен каких-либо недобрых чувств к окружающим, он не отказывал себе в удовольствии везде подмечать смешное и от души высказываться по поводу увиденного. Нетрудно представить, что многочисленные байки о самом себе он не принимал близко к сердцу. Я не стану опровергать или подтверждать легенды, да это и не нужно. Того, кто слушает записи Гольдштейна, с первых же звуков покоряет волшебство его глубокого нежного звука, выразительность, красота фразы, яркая, рельефная техника смычка. Поделившись тем, что ярче всего запомнилось, я также надеюсь

вызвать интерес к его драгоценным записям, которые наконец-то стали доступны слушателю.

Борис Эммануилович Гольдштейн, а для всех, кто его близко знал, неподражаемый и любимый Буся, на момент моего появления в его классе уже почти пятидесятилетний, приветливый и веселый человек, мне сразу очень понравился. Он слегка походил на Пиквика, только с еврейскими родителями в анамнезе и паричком – нашлёпкой. О последнем факте нам не полагалось знать, но все знали, о паричке тоже ходили предания, в которых немаловажная роль отводилась ветру на сцене, отсутствию в артистической уборной зеркала, а также темпераменту скрипача. Лицо у Буси было открытым, довольно красивым, с обязательным национальным атрибутом в виде огромных, блестящих черносливых глаз и очаровательной, полной нескрываемого удовольствия от общения, улыбки. Смеялся он охотно и постоянно смешил нас, дураков. Шутки были, понятно, «на грани», где же им ещё и быть в среде, в которой куется будущая богема страны.



Он очень скоро стал в моей жизни вторым по важности, после отца, лицом мужского пола. Отец мой был добряк, остроумный и обворожительный эрудит, в общении с которым наш громадный, почти в 60 лет, возрастной карьер не мешал совершенно. Мой новый учитель казался мне как бы совсем без возраста, то мудрец, то дитя, но одно было ясно с первых же звуков, с первой музыкальной фразы, сыгранной на моём уроке: он был бесспорный музыкальный гений.

Годам к десяти он умел играть на скрипке всё. Не знаю, помнил ли он, как его учили в раннем детстве, да и задумывался ли над этим. Я часто слышала, как он занимался, экономя время и

энергию, идя от важного к деталям, не перегружая свой слух и пальцы скрипичной «болтовнёй», продвигаясь от такта к такту, от чего льющаяся из-под смычка музыка делалась всё прекраснее. Именно так, шлифуя мельчайшие подробности нотного текста и не выпуская из виду главной идеи, работают над сочинениями музыканты с высокой способностью к концентрации.

В рассказах коллег-музыкантов он предстаёт таким наивным озорником, которому (будто бы!) прощались неосторожные шутки и полное пренебрежение субординацией на советском музыкальном Олимпе. Но в нашей тринадцатилетней переписке есть много такого, что говорит о его доброй мудрости, интуитивной, но довольно точной оценке людей и событий. Перечитывая его письма, я поняла, что он сознательно принимал на себя эту лёгкую, несерьёзную манеру. Это было его укрытие, его творческая ниша.

В музыкальной судьбе скрипача Гольдштейна ранний, поразительный триумф на двух сложнейших международных конкурсах, восхищение западной прессы, обожание публики постепенно обернулись полужабвением на родине и почти абсолютной невозможностью выступлений за её пределами. Знаменитые музыканты за рубежом недоумевали, не могли понять, почему оборвалась такая блестящая карьера, а дома многие люди, близкие к нему, гадали, кто и как это многолетнее замалчивание организовал. Тут надо заметить, что «невыездными» в советское время побывало огромное количество музыкантов, кто по причине антисемитизма, кто по услужливому доносу коллеги-завистника, а кто и просто из-за каприза чиновника-держиморды. Не знаю, удастся ли когда-нибудь найти виновников этой чудовищной несправедливости, но на протяжении многих лет границы творческой деятельности Бориса Гольдштейна строго соответствовали государственным, он продолжал ездить в самые отдаленные уголки огромной страны и в его жемчужно-бархатном звучании не было усталости, горечи, небрежности великого артиста, низведенного с пьедестала, а была и радость жизни и лирическая глубина, не измеренная, отгаданная.

Есть мнение, что «каждый играет себя», что доброту слышно в теплоте звука, в естественности, искренности музыкальной фразы. Верю в это, а также верю, что в нередких исключениях из этого правила замешано, скорее всего, искусное шарлатанство. Логично выстроенная и безупречно выполненная фразировка может быть следствием работы ума, своего ли, или ума педагога, красивый звук можно «поставить», как ставят голос певцам. С Бусей процедуру постановки звука если и проделали, то

на раннем этапе обучения, а далее работа пошла над механикой игры. А голос, скорее всего, был от рождения, как у райской птицы. Звук его скрипки, теплый, яркий, объемный и на редкость мощный в тех случаях, когда позади него сидел симфонический оркестр, звук этот так же мгновенно узнавался в записи, как голос Шаляпина, разве что услышать по радио его выступления удавалось намного реже.

Доброта его по отношению ко мне до сих пор заставляет меня краснеть.

Мне безумно стыдно моей молодой лени, жалко тех часов, которые я недозанималась, отчего ему приходилось доводить до ума сочинение, вместо того, чтобы делиться музыкальными идеями, вместе что-то искать, учить новое. Приходилось чистить мои фальшивые ноты, тогда как ему их даже слышать не подобало. После таких уроков, на которых на меня кричали не от злости, а от обиды за любимого Чайковского, он в прихожей подавал мне пальто и осведомлялся, не слишком ли холодный у меня шарф и где мои перчатки. С лестницы я скатывалась с комом в горле. А дома – всё сначала. Телефон, друзья, увлечения. Впрочем, вскоре наступил перелом и это случилось не без помощи Баха и его знаменитого концерта для двух скрипок.

На втором курсе меня посадили сразу в два оркестра. Репертуар нашего симфонического оркестра я помню смутно, так как всё моё внимание было приковано к группе медных духовых по причине присутствия там кудрявого голубоглазого трубача. Когда он солировал, его труба марки Selmer отражала огни нашего концертного зала и звук её был чист и нежен. Когда у трубы случались паузы, моя левая щека на подбороднике скрипки чувствовала его пламенные взоры, а душа всю трубила свою первую победу!



В камерном, струнном оркестре дело пошло иначе – когда на репетиции нам было объявлено, что мы в следующем концерте

аккомпанируем Борису Эммануиловичу и его жене Ирине Николаевне, у которой тоже был скрипичный класс в училище, коллектив возликовал и многие из нас даже заглянули в оркестровые партии, что случалось нечасто.

Дирижировал нами Генрих Семенович Талаян – выдающийся альтист и руководитель обоих Гнесинских оркестров. Бытует мнение, что подростки не могут делать в оркестровой музыке две вещи: играть медленно и тихо. Поэтому задача Талаяна на первой репетиции заключалась в укрощении необъезженных мустангов, которые в знаменитой медленной части концерта немилосердно гнали, скучая от собственного однообразного аккомпанемента и, не умея слиться с красотой сольной партии, заглушали солистов. Талаян шикнул на группу скрипок, стало тише и мы услышали, как голоса двух сольных инструментов встречаются, расходятся, первый за вторым неторопливо спускаясь с высоты и то вливаясь в оркестр, то воспаряя над ним. Неожиданно в середине части я потеряла строчку. Сразу поняла, что веду себя непрофессионально, но щекотание в горле и повышенная влажность в глазах, никогда раньше не связанная с музыкой, на некоторое время лишили меня возможности следовать руке. Талаян заметил это, когда подобным образом отключилась ещё пара эмоциональных балбесов в группе и с ухмылкой на пухлых губах энергичным жестом вернул нас в такт. Обе скрипки продолжали мерное движение, пели друг другу как ни в чем не бывало.

В перерыве мы тихо переговаривались в курилке, несколько раз прозвучало слово «гениально», которое мы обычно старались не эксплуатировать и с тех пор обожание студийное вышло за пределы нашего класса и стало общим, курсовым. А со мной произошло чудо. Образовалось время для занятий на скрипке.

Рождение музыканта далеко не всегда совпадает с его физическим появлением на свет. Так называемых вундеркиндов не оторвать от инструмента уже в четыре, пять лет. Другие же дети, начав рано и радостно, вскоре остывают, как только усложняется репертуар и требования, и тогда царица-лень вступает в свои права (мой случай). Таких иногда понукают и привычка заниматься усваивается годам к 10-ти-12-ти. Потом приходит любовь к игре и тут уже всё зависит от её силы и от таланта. Ошибки педагога и плоды лени можно ещё искоренить и годам к 17-ти получится музыкант.

К моменту исполнения супругами знаменитой второй части концерта Баха я была скрипачкой с солидным десятилетним

стажем и отношения у нас со скрипкой были основаны на взаимном ненападении и симпатии, но без особого интереса, не говоря уж о любовном пламени. Как у благожелательных супругов, соединённых родителями по расчету в бессознательной юности, всё шло по поговоркам «стерпится-слюбится», «с белой ручки не страхнёшь» и подобное тому.

Гнесинская спецшкола за девять лет приучила нас к определенным и очень жестким санитарным нормам. Играть надо было чисто, приятным звуком, в строгом соответствии с текстом, ориентируясь на признанных мастеров искусств, ежедневно передаваемых по радио. Умелые педагоги шлифовали нашу технику, элементы которой, часто оторванные от музыкального содержания, не имели для нас смысла. Нам не объясняли, на что именно сгодится весь этот богатый материал, что будем шить из шелка арпеджий, бархата гамм, куда пойдёт доведенный до сверкания пассаж в этюдах ненавистного Крейцера, зачем тянуть длинные ноты, добиваясь гладкости, убирая «швы» между звуками. Так, по крайней мере было у скрипачей, возможно, у пианистов речь о собственно музыке заходила раньше.

В училище горизонты расширились и постепенно становилось ясно, зачем тянулись ноты, бегали пальцы. Появилась камерная музыка, а с ней необходимость самостоятельного толкования музыкального текста, и именно в камерном классе обозначилось, что свобода означает ещё и ответственность за то, что вылетает из-под твоего смычка. И уж эта-то свобода была безраздельно нашей и подлинной, в отличие от той, липовой, которая декларировалась руководством страны в юбилейный год её основателя. Игра в ансамбле, без дирижера, оказалась своего рода школой демократии, где успех дела зависел от понимания каждым своей задачи и ответственности за музыкальные высказывания. В квартете и в фортепианном трио от меня то требовали лидерства, то подчинения другому инструменту, то метрономической точности, то *моего*, но обязательно убедительного экспромта – экспромта тщательно обдуманного и хорошо отрепетированного, каким только он и бывает, скажу я, выдавая профессиональный секрет.

Те из нас, кто учился у солистов-исполнителей, имели возможность иногда сидеть на репетициях учителей, ощутить предконцертную лихорадку, после концерта погреться в лучах чужого успеха за кулисами, где, если повезёт, тебя ещё и представят какому-нибудь знаменитому музыканту. Воображение разыгрывалось, хотелось заниматься, быть на высоте – было стыдно на другой день прийти на урок в разобранном состоянии.

Мои уроки по специальности стали не похожи на те, к которым я привыкла за десять лет. Это было не совсем обычное преподавание. Вместо раздраженных окриков, на которые я ещё в школе перестала реагировать, Борис Эммануилович пускал в ход свой неиссякаемый юмор в духе знаменитого Столярского – своего учителя. Мы часто слышали: «У вас сегодня руки, как ноги, и голова – соответственно!» «Разве это – акцент? Это плевок! Плевок в душу Моцарта!», а когда первокурсник, помогая себе одолевая скачок на высокие ноты в пьесе Венявского, каждый раз приседал, то в конце концов услышал: «пг'и всём пг'еклонении пег'ед Вашим даг'ованием, пг'иседание здесь иг'ает втог'остепенную г'оль!» Буся не всегда выговаривал «р».

Нам не говорилось: «так надо», но стоило Борису Эммануиловичу сыграть то, что не получалось у нас, само собой напрашивалось: «надо вот так!». И мы усердно подражали ему, хотя он сам никогда не настаивал на этом. Похожесть эта была неизбежностью, фамильным сходством, как нос Медичи или подбородок Габсбургов. Смутно сознавая, что когда-нибудь придется преподавать и нам, мы понимали, что копируя, создаем преемственность, школу. И гордились этим сходством. А на экзаменах вновь слышали фразу: «мало самостоятельности, виден объект подражания», но я не помню, чтобы кого-нибудь из нас это огорчало. Вообще я полагаю, что все эти разговоры о зажиме индивидуальности у ленивых пятнадцатилетних олухов надо отменить до тех пор, пока у них получится хоть сколько-нибудь сносная копия, а тот, кто может *по-своему*, всегда в конце концов так и сделает. В порядке творческой дисциплины необходимо учиться копировать мастеров, как это делают художники, часами простаивая в галереях с мольбертом. Кто в это не верит, пусть поработает в квартете вторым скрипачом.

Если попытаться одним словом выразить стиль такого преподавания, я бы назвала его *интуитивным*. Всё происходило по ходу музыкального действия, по течению музыки, которую надо было играть *красиво*. При этом репертуар каждого ученика был обдуман заранее, соизмерялось количество *полезного* материала с таким, в котором можно было показать свои сильные стороны. Но никогда качество пьес не было второсортным, даже если преследовалась техническая цель.

Интересно, что Борис Эммануилович на уроках не прибегал к литературным манкам, к актерству, к демагогии. Никогда меня не спрашивал, что я хочу выразить той или иной фразой, какой тут образ, и т.п. А когда я сама задала подобный вопрос, желая расцветить и без того живописную фразу в

романтическом произведении, я услышала в ответ удивленное: «Какой ещё образ?! Олечка, сыграйте мне *ре бемоль на струне соль третьим пальцем!* Сочным звуком и с трепетной вибрацией!»



Я становлюсь серьезнее

Гудаута

Последнее перед дипломным курсом лето я и моя сестра Аня провели с семьей Гольдштейнов на Черном море. Я заранее настроилась на каторгу ежедневных занятий в раскаленном помещении, комендантский час и сухой закон, но вместо этого мы получили незабываемые каникулы.

Решено было, что мы приедем в Гудауту раньше Гольдштейнов, которые добирались из Москвы на машине.

Это было мое первое знакомство с Кавказом, которое я возобновила уже в качестве гастролера много позже. Абхазия оказалась местом, хоть и по-советски неухоженным, но, к счастью, не вовсе забытым богом в смысле красоты природы и колоритности местного населения. Помню страшную, узкую горную дорогу из Сухумского аэропорта, разбитый рейсовый автобус, водитель которого, смуглый сероглазый красавец, без передышки тархтел с приятелем, отвернув кудрявую голову от дороги, от чего встречным машинам то и дело грозила гибель в пропасти. Помню, как мы, приехав поздно вечером, с трудом нашли снятую заранее дачу в кромешной тьме, на самом краю городка, у моря. Дача, ночью неосвещенная, тихая и страшноватая, утром оказалась местом весьма обитаемым. Было очевидно, что не только мне захотелось отдохнуть в тёплой компании.

Гольдштейны, которых тут давно знали и ждали с нетерпением, порекомендовали этот уголок нескольким знакомым семьям и некоторые уже подъехали, иные – ожидались позже, после закрытия сезона в Большом Театре. Я обрадовалась, предвкушая музыкантские сплетни и не ошиблась – их поток не иссякал весь месяц. Детей тоже навезли полную дачу и засыпали нас вопросами: привезут ли Гольдштейны своих Яшу и Юлечку? Я всех заверила, что, конечно, привезут, а про себя подумала, останется ли у нас, рабов ремесла, время на это море, горы, и вино, которое, как я уже успела подсмотреть, хозяева в изобилии производили из винограда, произраставшего на свободе, где ему вздумается.

Через пару дней, в ленивый послеобеденный час, я корпела над письмом к родителям, описывая впечатления от местной столовки под названием «Бзыбь» и раздумывала, не добавить ли в это название букву «д» для смеха. В кругу семьи у меня второй пласт лексики часто попадал в разговорную речь, что не каралось при условии, если выходило смешно. Сестра, к тому времени уже дипломированный лингвист, считала, что смешнее будет, если название столовой оставить, как есть, а описать зелёные пельмени, сросшиеся, как сиамские близнецы, сероватую шрапнель вместо соли и собак под столами. Надо сказать, что по пляжу тоже свободно разгуливала живность, и не только местные собаки, но и гуси (один из них проглотил у всех на глазах моё кольцо!), а также грязный козёл – холостяк.

Вот от этого-то описания меня позвали встречать замученных дорогой, пыльных и веселых Гольдштейнов. Они ехали от Москвы почти без остановок, сменяя друг друга за рулём и не почувствовали смены климата, так как в Москве в то лето стояла небывалая, 35-градусная жара. Уже через двадцать минут дети зашлёпали в ластах по воде, мы все устремились за ними и так начался первый вечер из целой череды счастливых вечеров последнего лета моей юности.

Борис Эммануилович был незаменим в застольях, неизменно весел безо всякого вина. Но в этот раз вино струилось горной кавказской речкой и направление этого потока – в сторону, подальше от детей – почти незаметно осуществляла Ирина Николаевна. А я впервые почувствовала себя взрослой, впервые при своих учителях отважилась выпить вина и выкурить сигарету, и никто ничего не сказал. Вокруг меня были хорошие, любимые мной люди, все желали мне добра, цель жизни была определена, и ничто не мешало её достижению, а со своими демонами – ленью,

несобранностью, сомнением – я готова была сразиться. Жизнь казалась чистой, легкой и наполнилась смыслом.

На следующий день мы уже всю разбирали концерт Мендельсона, уроки я стала получать чуть ли не через день, а занималась порой даже больше Бориса Эммануиловича, который ездил куда-то всё время, так как всем постоянно было нужно что-то достать, купить, устроить. Например, договориться об обедах в ресторане смог только он, приворожив толстого усатого повара тем, что сфотографировал его и тут же, на месте выдал ему готовый портрет – поляроид был тогда новинкой и редкостью. Так что в «Бзыбь» мы больше не ходили, а ездили с кастрюльками в ресторан. Машина подсказывала на колдобинах и, чтобы заставить проголодавшегося мужа ехать медленно и аккуратно, Ирина Николаевна держала тару с супом над его брюками и всем, включая водителя, было весело.

В тех краях редкое приусадебное хозяйство обходилось без самогонного устройства. Виноградное вино всерьёз никто не принимал, а ежели надо было *принять* в полном смысле этого слова, то агрегат, работавший почти безостановочно и у всех на виду, тут же выдавал кристальную жидкость с ласковым названием *чаха*. Я однажды её попробовала и моментально пожалела об этом: одна чайная ложка дала эффект накаленного на огне и проглоченного кинжала. Перегонный аппарат помещался на каменистой дорожке, ведущей в туалет, на почетном, отовсюду обозреваемом месте. Но, как известно, ночи на юге темные и как-то, в три часа утра нас разбудил оглушительный грохот. Чья именно нога задела агрегат, осталось бы тайной, если бы мой учитель не прокомментировал столкновение от всей души, бодро и весело, на весь сад. Остаток ночи мы рисовали себе эту картину, хохоча в подушку. Но, так как он сам любил повторять: «всё это не предлог, чтобы не играть на скрипке» – наутро опять всю звучала скрипичная музыка.

Вопрос о том, когда купаться в море, а когда пилить гаммы, каждый решал для себя сам. Игра шла непрерывно, то кто-то один, то вдруг на всех нападало усердие, то Яша мучил концерт Шпора, а оба родителя по очереди и вместе инструктировали его из сада. То, услышав, что я разошлась и уже разделяю фугу Баха под орех, Буся останавливался посередине своих пассажей и кричал сверху: «там одно форте, а не пять!». Расписание было только у Юли, рояль в городской школе предоставляли в определенные часы. Из-за свободы выбора – заниматься или валять дурака – срабатывал механизм совести и я впервые побила свой детский трёхчасовой рекорд занятий, установленный ещё в

школе. Мне даже доставляло удовольствие изнемогать от жары со скрипкой в потных руках, пока на пляже колотили по мячу и вопили. Время от времени в окно всовывалась голова, и сестра предлагала *не выпендриваться, прекращать лесопилку и поплавать*. Садовая калитка была почти у самого прибоя и он смывал мои наигранные за целый день фальшивые ноты, а равномерные шлепки волн, их откат с шипением по песку и мелким камешкам успокаивал музыкальную аритмию, которой я грешила в юности. Дипломная программа постепенно выстраивалась, а вечерами за столом, под виноградом строились также планы моего будущего и было оно окрашено в нежнейшие сиренево-розовые тона вечернего гудаутского неба.

Как мало знали мы тогда...

Мне и в голову не приходило, что через два года скрипач Борис Гольдштейн перестанет существовать для официальной советской музыки, что его пластинки исчезнут из продажи, записи его не только перестанут звучать в эфире, но будет дана установка размагнитить то, что находится в фондах радио. Тем счастливым летом разговоров об отъезде не было. Возможно, была ещё надежда на то, что среди хозяев советской музыки найдутся если не тонкие ценители её, то просто практичные люди, понимающие, что сцена пустеет и если не поддержать тех, кто ещё здесь, то скоро вместо слов отъезд, эмиграция, можно будет говорить *исход*. Но ситуация не менялась, гайки, однажды туго закрученные, заржавели и развинтить их было невозможно, не поломав то, что они скрепляли. На наших глазах менялась картина музыкальной Москвы, а поскольку это была единственная картина, которую мы знали и любили, то безнадежно пустел наш мир.

В дипломный год к набирающей силу эмиграции добавилось печальное событие – в день празднования своего пятидесятилетия, после юбилейного концерта, который завершала «Прощальная Симфония» Гайдна, умер Талалян. Оркестр в тот вечер на удивление хорошо играл и даже валторна изумительно чисто провела свою, столь важную в этом сочинении и очень нелегкую партию.

После дипломных экзаменов был прощальный вечер выпускников, который Гольдштейны устроили нам в своей квартире. Было много оптимистических тостов, много смеха в конце, когда все осмелели и уговорили Ваську показать свою главную пародию – гвоздь репертуара. Он всё не решался, пока сам «объект подражания» не начал его упрашивать, охваченный любопытством. Вышло и впрямь очень смешно, тощий Васька, засунув диванную подушку под ремень брюк, стал чуть ли не на

голову короче, солиднее в приемах, склонил голову к инструменту и зазвучал соловьем, как никогда раньше не звучал. Расходились поздно, Борис Эммануилович каким-то чудом упаковал в свой «москвич» пятерых дипломников, одного из которых пришлось уложить на дно машины, чтобы не нарваться на милицейский штраф. Он развозил нас до утра.

Мне удалось закончить училище прежде, чем стало известно намерение семьи Гольдштейнов покинуть страну, взрастившую виртуоза и с легкостью пренебрегшую этим своим достижением. Тот последний сезон был отмечен сольным концертом Бориса Эммануиловича в консерватории, в Большом Зале, с сонатой Франка и с немалым количеством обожающей, благодарной публики.

Проводы

То было время частых проводов в международном аэропорту Шереметьево, время расставаний, как тогда казалось (и часто оказывалось), навсегда. Отвальные по отъезжающим стали регулярным событием, отличаясь от поминок веселостью столь же показной и ненатуральной, как и тот оптимизм, с которым как минимум одна из сторон смотрела на будущее. Но поскольку надежд на встречу как там, так и здесь, на родине, власти нам не оставляли, для большинства из нас прощание было окончательным и на душе было похоронно.

В разгар летних каникул, получив телеграмму, что билеты в *Одессу* (так Гольдштейны называли отъезд в целях конспирации) куплены, я взяла неуклюжий заключительный аккорд в самом начале многообещающего курортного романа и примчалась с Рижского взморья в Москву. Надо было помочь собраться и друзья, ученики, коллеги-музыканты, все, кто не боялся испортить карьеру общением с «изменниками родины», дневали и ночевали в квартире у Киевского вокзала. Я что-то к чему-то пришивала, сортировала ноты, нажимала коленом на пухлые чемоданы, держала двери, когда вывозили рояль. С тоской оглядывала на обоях темные квадраты – следы от фотографий в рамках. Самые преданные ученики обоих классов накануне отъезда остались «ночевать стоя», потому что мебели, кроме кухонной и пары раскладушек, не было. Уложив измученных сборами и проводами супругов, мы всю ночь провели в разговорах, пытаясь представить себе предстоящую им вторую жизнь.

На другой день в аэропорту всё как-то смялось, и к счастью никакого душераздирающего или даже сентиментального прощания не вышло. Помогла сценическая выдержка, которую в нас воспитывали годами, нежелание выказывать эмоции перед

теми, которые, как мы были в том уверены, были за нами приставлены следить. Отъезды, однако, уже приобретали характер массовости и теперь я не уверена, что на всех эмигрирующих хватило бы наблюдателей, а впрочем, кто знает. Если и следили, то не поняли, насколько безнадежной казалась тогда возможность свидеться с Гольдштейнами и как мы старались не выдать своего отчаяния.



Эту фотографию я получила на прощание

Молодому поколению сейчас трудно даже себе это представить, но в те дни мог существовать весьма обширный круг друзей, учителей и инженеров, ученых и врачей, из которых всего три-четыре человека умудрились съездить в Болгарию или в Польшу туристами, а уж на людей, побывавших в Западной Европе, смотрели с явной завистью и слушали их рассказы жадно. Так что надежда оставалась только на общение в письмах.

Прямо из Шереметьева поехали к нам в Бескудниково. В Москве тем летом был только отец и он мне был нужен, как никогда. Его спокойный голос, сухая прохладная рука на моей одуревшей, уткнувшийся ему в плечо голове, запах свежей рубашки (он был удивительно опрятен в любую жару), все это помогло лучше лекарств.

И потянулись долгие годы переписки. Мои письма шли по месяцу, ответы – доходили гораздо скорее. Это озадачивало и наводило на мысль, что, изучив вдоль и поперёк творческий путь

великого скрипача, органы теперь занялись моей скромной персоной. И действительно, вскоре последовал вызов в деканат. У двери меня поджидал еле заметный институтский педагог, который никогда, ни до, ни после этого разговора даже не смотрел в мою сторону, когда мы встречались в коридорах Гнесинки. Он взял меня за локоть и проводил в один из свободных классов, где без предисловий и вопросов посоветовал «переписку прекратить, не бросать тень на свой ВУЗ, на друзей, на свою репутацию. Кто знает, куда в будущем занесет Вас судьба, ведь ни в один приличный оркестр не примут потенциально невыездного скрипача». Я спросила, по каким таким каналам, каким образом моя студенческая жизнь станет известна при приеме на работу в том самом *будущем*. И тут собеседник мой улыбнулся, похлопал меня по плечу, но не ответил на вопрос, помолчал и тихо произнёс: «Надо ещё, чтобы эта студенческая жизнь до конца состоялась. *Не отвечать* на письма – и всё будет благополучно. На *этот раз*».

Когда до меня дошло, что я общалась с работником *первого отдела*, т.е. *органов*, я испытала смешанные эмоции. К неприятному ощущению в плече от похлопывания примешивалась опасливая брезгливость и чуть ли не жалость к человеку, избравшему себе ремесло, подобное сутенерскому на моей шкале постыдности. Вслед за тем посетило меня и то самое «шестое чувство», которое, согласно ходившему тогда анекдоту, появилось у советского народа в связи с великими завоеваниями социализма: *чувство законной гордости*. Я не уступлю и буду переписываться с любимым учителем, несмотря на идиотские угрозы. Испугаться такой ерунды?! «Ви смеётесь», сказали бы в Одессе.

История имела продолжение. По совету Виктора Николаевича письма теперь приходили на имя моего отца – в ту же квартиру, но на другую фамилию!

И чудесным образом это сработало. Отец имел много адресатов в Европе, безупречную репутацию, был накануне пенсии и его *похлопать по плечу* – скорее бы у «них» рука отсохла. Он в изящной эпистолярной форме объяснил Бусе, почему на конверте лучше ставить его имя. Это письмо не увидело почтового ящика, оно пропутешествовало с квартетом имени Бородина, в кармане виолончелиста Валентина Александровича Берлинского, у которого я училась по классу квартета. И в том же кармане пришел ответ – не волноваться, все будет четко. Наши письма опять стали надолго застревать – *там* проверяли нового корреспондента, но больше меня никуда не вызывали. Как мы их!

Так прошло восемь лет.

Встречи

Мои первые гастроли в составе струнного квартета проходили в Восточной Германии осенью 1982-го года. Борис Эммануилович и Ирина Николаевна поселились в Германии и теперь ехали в Берлин на встречу со мной из города Ганновера.

Берлин, а точнее, его восточный сектор, навсегда застыл у меня в памяти картиной пресловутой стены не из-за того, что это было самым ярким архитектурным впечатлением, а потому, что именно там была назначена наша встреча. И у этой самой стены, после четырех часов напрасного ожидания, я изобразила образцовый «плач Ярославны», наверное, немало удивив тех, кто за мной наблюдал. Щель в Берлинской стене, одна из нескольких, ведущих в свободный мир, весьма вооруженно охранялась, в будке часто менялись дежурные солдаты. Пока я бродила туда-сюда, с той, *капстороны*, кто-то не без любопытства меня разглядывал, а уж «наши» немцы, я уверена, меня сфотографировали во всех стадиях отчаяния.



Когда стемнело, я вернулась в гостиницу и прямо в вестибюле угодила в объятия четы Гольдштейнов, которые в качестве новых «бундесбюргеров» имели право войти в социалистический лагерь только через одни ворота – не те, у которых была назначена встреча и где я четыре часа позировала немецким кагебешникам. Гольдштейны сами разыскали меня, позвонив в концертное бюро.

Потом был чешский ресторан со скрипачом, пропилившим наши музыкальные уши насквозь, светлое вино, прозрачная иноземная таблетка, в минуту снявшая разгуляющуюся от слёз и голода мигрень. Они сидели напротив и с нетерпеливым интересом меня разглядывали; радостные, не постаревшие и хорошо одетые.

Из переписки я уже многое знала о внешней стороне их жизни, о том, что первое время было трудно, что им помогало немалое количество людей, в том числе знаменитых музыкантов. Знала, что слухи, распространявшиеся в наших музыкальных кругах о якобы полном отсутствии интереса на западе к скрипачу, чья слава отгремела ещё до войны, были запущены пакостниками и подхвачены дураками. Знала, что концертов было много, что пресса была замечательной, предложения продолжали поступать. Я получала в письмах программки с его концертов, рецензии, которые тут же несла на перевод к отцу и которые все до единой были ошеломляюще восторженными. Кроме того, Борис Гольдштейн выиграл сложнейший конкурс на место профессора в престижной высшей музыкальной школе города Вюрцбурга и теперь имел большой класс.

Их вопросам не было конца, моим – тоже, но был один вопрос, очень личный, который невозможно сформулировать, не проявив бестактности и я его, конечно, не задала. Когда человек слепнет или теряет конечность, его не спрашивают «а как ты обходишься без зрения, без руки, и т.п.» Я не спросила, удалось ли им за восемь лет привыкнуть ко всему чужому – языку, пейзажу, людям, не спросила, как скоро перестала сниться им Москва. Выслушав все новости и рассказав свои, я сидела, молча глядя на них и радуясь. И тогда Ирина Николаевна, от которой скрыть что-либо было невозможно, сказала с улыбкой, как бы отгадывая непрозвучавший вопрос: «Ну, Оля, что Вам ещё рассказать? Знаете, в одном мы теперь можем быть уверены – дети наши там совсем освоились».

Только в собственной эмиграции начинаешь постигать суть недостающего тебе на новом месте порядка вещей, постылого, векового уклада, к которому привыкал с младенчества. Он был создан не тобой и из невесть чего, навязан тебе, но в этом внутреннем сопротивлении ему, в постоянном воображаемом диалоге с «укладчиками жизни» рождалась привычка отмечать спущенное сверху враньё, презирать официальную дешевку взглядов, строить невидимую ограду вокруг себя и тех, кто думает в том же направлении или хотя бы *вообще думает*. Постоянный отсев суетливых конформистов от внутренне свободных, хоть

часто внешне пассивных интеллигентов постепенно образовал то, что мы теперь называем «экологической нишей», имея ввиду узкий и весьма замкнутый круг образованных, порядочных людей, читавших одни и те же книги, слушавших «голоса» и имевших представление о презумпции невиновности. С первого шага на чужой земле ты лишен этого круга общения. Сперва заботы о свивании нового гнезда поглощают тебя целиком. Потом, в один непрекрасный момент ты включаешь слух, и чужой язык, уже вполне понимаемый, а также смысл того, что на нем говорят, вдруг оказывается не только неродным, нежеланным, но и единственным фоном твоих мыслей и дел. Ниши, которую бережно создавал годами с благородной целью сохранения своего достоинства и воспитания его в детях – начинает страшно недоставать. И недостача эта становится отныне «главной несоставляющей» твоего духовного процветания.

Второе свидание с Гольдштейнами было опять в Берлине, через три года. Оно произошло как бы на рубеже между его новой жизнью, недолгой, но активной творческой жизнью и началом тяжелой болезни, о которой тогда ещё никто не догадывался. Моя жизнь тоже стремительно менялась в тот момент. Уже не было на свете моего отца. И, как бы заполняя образовавшуюся от этой потери зияющую пустоту, сложилась сама собой вполне нормальная, небогемная семейная жизнь, всё больше мешавшая моей беспокойной, ревнивой «квартетной семье». Количество концертов и безумная их география (от Мурманска до Владивостока) не давали возможности жить чем-то другим, кроме нотного текста, постоянной ансамблевой «притирки» и семьи по вечерам, свободным от концертов.

Они по-прежнему были рады мне и казалось, были всем довольны – вот только у Бориса Эммануиловича болели ноги, поэтому мы перед походом в ресторан посидели у меня в номере, игнорируя предписание филармонического начальства: за границей контакты с «иностранцами» дозволялись только на людях! Мы начали встречу с обсуждения этого замечательного правила, а потом «проехались» по музыкальной Москве, в которой чего только ни произошло со времени нашей прошлой встречи. На этот раз у меня не было сомнений, что они укоренились в новой стране и что это произошло самым простым и мудрым путем – их дети завели семьи, появились внуки. Дом в Ганновере зажил совсем по-новому и вспоминая, как в их московской квартире студенты в ожидании урока разыгрывались во всех комнатах, на кухне, чуть ли не в ванной и вся квартира гудела звуками, я воображала новый шумовой фон – визг младенцев.

Я радовалась за них, но за кулисами моего сознания что-то мешало. Может быть, это было замечание Ирины Николаевны о том, что она вела машину всю дорогу от Ганновера и поведет назад. Он был хороший водитель – значит, с ногами что-то серьезное. Но мы об этом не говорили, а вспоминали забавный эзопов язык нашей переписки, который, сперва для конспирации, а потом с азартом, всё совершенствуя шифровку, ввели в обращение. Чтобы не подводить музыкантов, упоминая кого-то в письмах, вместо фамилий находили что-нибудь характерное, стиль, внешность, какую-то опознавательную черту. Например, скрипачка Нелли Школьникова была «самый первый лауреат впоследствии прославленного скрипичного класса», квартет им. Бородина шел как «ансамбль имени хлеба», а «бывшим мужем дочери пианиста Башкирова» стал великий виртуоз, скрипач Гидон Кремер. «Уехать в Одессу» означало эмигрировать. Беспечная веселость Бориса Эммануиловича и шутовское подтрунивание вперемишку с безобидными эмигрантскими байками не оставляли места для кошмарных догадок о надвигающемся параличе. Мой собственный «недуг» был для меня очевиден и вполне излечим – выражался в утренней дурноте и тесноте концертного платья. Фотография вышла – всё наоборот: я – усталая от ежедневных переездов и концертов, а он довольный любимой работой, семьей, новой замечательной пластинкой с сонатами Брамса и Франка, концертными планами. Мы расстались с надеждой на скорую встречу. Шел 85-й год, и уже чувствовалось некоторое потепление, пока ещё очень неясное.

Сын, появившись на свет в следующем году, продержал меня на даче до поздней осени. За это время пришло письмо из Германии о предстоящих концертах в Венеции, гастролях в Израиле. Вернувшись в Москву, я вскоре включилась в работу, начались поездки, через какое-то время написала, поблагодарив за поздравления с новорожденным, и буквально через неделю пришел ответ. Тем же ясным почерком, что и всегда, он писал, что тяжело и неизлечимо болен, что шансов на выздоровление почти нет, и если он чудом останется жив, играть не будет, а будет только учить.

Концертная Симфония Моцарта для скрипки и альта стала последним выступлением Бориса Гольдштейна на публике.

Многие годы пианисткой Бориса Эммануиловича и другом семьи была Элла Селькина, замечательный музыкант и человек редкой для артистического мира преданности и доброты. Мы созвонились и я обещала ей ободрить его, насколько это было в моих силах.

На следующий день мы с квартетом улетали в Среднюю Азию. Огромный самолет страшно болтало, пассажиры сидели бледные и вместо того, чтобы, как обычно, впиться ногтями в обшивку кресла, я принялась за самое мучительное послание в моей жизни. Страх разбиться отступил перед тем, *что* я себе представляла, вспоминая его письмо и рассказ преданной Эллы Афанасьевны.



Изо всех сил я старалась внушить своим ответом какую-то надежду. Отправив письмо из первого же города, я всю долгую поездку не переставала думать об одном и том же. Это не оставляло меня даже на сцене.

Не знаю, успел ли он получить мое письмо до того, как перестал узнавать родные лица, слышать, дышать. В маленьком Казахском городке в часе лета от Алма-Аты я добилась разговора с Москвой. Элла плакала. Всё было кончено.

В музыкальных странствиях по родной стране и позже, на Западе, я иногда получала своего рода знаки – послания от моего учителя, которого уже не было на свете. Это случалось в городах, где когда-то выступал и он. Как-то мне предложили расписаться в книге почетных гостей после концерта. Я пролистала её и увидела знакомый почерк и очень теплую запись о приеме, который был ему оказан жителями города Находка недалеко от Благовещенска. Случалось, спрашивали, у кого я училась и всплескивали руками, вспоминая замечательный концерт, на который в единственную музыкальную школу маленького городка (или поселка!) пришло

чуть ли не всё его население. На музыкальном фестивале в Голландии я по чистой случайности познакомилась с «западным» учеником Бориса Эммануиловича, Сашей Скворцовым, талантливым музыкантом, с которым мы, как положено соученикам, вдоволь пообщались со скрипками в руках, вспоминая бесценные уроки.

Заканчивая эти беспорядочные и неполные заметки – впечатления, я задаю себе банальный вопрос, что же было главным уроком, результатом моего пребывания в классе Бориса Гольдштейна, общения с ним, с его семьёй. Учитель может дать множество знаний, навыков, может закалить характер, подготовить к конкурсу, помочь в карьерном скачке. Это всё принадлежит ремеслу, а также его удачному применению. Но музыкой занимаешься, не думая о результате. Важно только то, что происходит, когда открываешь футляр, настраиваешь скрипку и пытаешься на свой лад прочитать зашифрованную нотными значками чужую мысль. И если удастся эту мысль прочесть и передать слушателю, то абсолютно неважно, принесёт ли вам это славу или громадный доход. Думаю, это был главный урок, который я получила в студии Гольдштейна. Талант – это прежде всего любовь, плюс некоторая способность к творчеству и сопряженному с ним труду. Встреча с Борисом Гольдштейном, чья любовь к скрипке была беспредельна, а талант – огромен, повернула мои юные уши в должном направлении – к эфам инструмента. Акустические отверстия в форме латинского *F* по обеим сторонам от подставки замечательно красивы и окружены легко обозреваемым при игре залакированным пространством. В нём, в лаке, если скрипка хороша собой, а не только голосиста, отражаются бегающие пальцы, на что во время игры смотреть не рекомендуется, но я смотрела, отмечая про себя, что с каждым успешным занятием их движения становятся красивее, а звук – резонирует в голове чем-то серьезным, нужным. И этот звук заглушает глупые, суетные мысли, перепевы старых обид, тоску по *комучемучо*, зависть, жажду мести и просто жажду, голод и даже боль.

«В жизни много всего может произойти (или не произойти), но всё это не повод, для того чтобы не играть на скрипке», повторю я за учителем.



Вениамин Левин

История рождения нации

Главы новой книги



та книга о том как сформировалось новая нация, ставшая государством «Соединенные Штаты Америки». Это ни в коем случае не научное исследование и не новое слово в истории. Это личная попытка понять как, начав с чистого листа, на месте не тронутом Западноевропейской цивилизацией, в первобытной глуши, небольшое количество религиозных диссидентов из Европы сумели не только выжить, но и разработать принципы демократического общества, заложив основу будущего могучего государства.

Часть Первая. Открытие (1492-1606)

Первая часть книги описывает начальный период освоения Северо-Американского континента. После того как Понс де Леон открыл Флориду, несколько испанских экспедиций прошли тысячи миль от Мексиканского залива на север и от Атлантического океана до Миссисипи на запад. Затем было несколько неудачных попыток французов и англичан создать постоянные поселения вдоль Атлантического океана. В 1602 году Бартоломью Госнолд, английский юрист, исследователь, путешественник, и капер (т.е. «немножко пират») совершил несколько путешествий к Северо-Американскому континенту. Госнолд посетил Мэйн, несколько островов (одному из которых он дал название Мартас Виньярд в честь своей дочери) и открыл Кэйп Код («Мыс Трески»). Госнолд попытался основать маленькое поселение на одном из островов (около берега нынешнего Массачусетса) но быстро понял что эта попытка обречена на неудачу и забрал колонистов обратно на корабль. На этом закончился этап подготовки и началась следующая глава в истории заселения Северной Америки англичанами.

*Наши отцы англичане, приплывшие сюда из-за океана, были
готовы погибнуть в этой дикой стране; но они молились
Господу и он услышал их и помог им в их трудностях.*

Вильям Брэдфорд

Часть Вторая. Заселение (1606-1630)

*Вирджиния и Джеймстаун. Пилигримы и Мэйфлауэр.
Колония в Плимуте. Пуритане в Новой Англии. Массачусетс.*

Капитан Неугомонный

Путешествие в Америку дало Госнолду массу полезных сведений об условиях жизни в Новом Свете и будучи весьма образованным человеком (юристом, закончившим Кембриджский университет), вернувшись в Англию он занялся вопросом развития английских колоний в Новом Свете серьезно. У короны не было денег, и Госнолд решил создать частную компанию по колонизации новых территорий. Ему удалось привлечь на свою сторону нескольких важных членов правительства и богатых купцов, согласившихся вложить деньги. Получив у короля Якова I (вступившего на престол после смерти Елизаветы) патент на заселение Вирджинии, он зарегистрировал Корпорацию Вирджинии (“*Virginia Company*”). Королевский патент давал корпорации и ее колониям право полного самоуправления и поселенцам были гарантированы те же права, свободы, и привилегии что и всем остальным гражданам Англии (при условии, что они не будут принимать законы противоречащие английским). Сам Госнолд стал вице-адмиралом экспедиции и привлек к руководству корпорации Вингфилда, финансиста и организатора, капитанов Ньюпорта, Радклифа, и Джона Смита. Колония должна была управляться Советом, выбранным директорами корпорации в Лондоне; имена членов совета были переданы Госнолду в запечатанном конверте который он должен был открыть на месте.

Руководители корпорации были уверены что богатства найденные испанцами в Южной и Центральной Америках никак не могли быть исключением, и решили что в Северной Америке тоже существуют залежи драгоценных металлов. С этой точки зрения самым эффективным способом обеспечить быструю прибыль инвесторам был конечно поиск и добыча золота. Прямо сформулированная в документах корпорации эта идея почти погубила колонию. Корпорация Вирджиния снарядила три корабля – 40-тонный “*Godspeed*” под командованием вице-адмирала Госнолда, 100-тонный “*Susan Constant*” (капитан Ньюпорт), и 20-тонный “*Discovery*” (капитан Радклиф).

Экспедиция везла 104 колониста, которым предстояло построить форт и остаться жить в Америке после того как корабли уплывут в Англию. Выбор корпорацией способа получить скорую прибыль явно отразился в подборе колонистов:

- Управляющие и члены Совета 7
- Солдаты и матросы 5
- Рабочие – плотники, каменщики, рыболовы, и т.д. 39
- Пастор, врачи, барабанщик, цирюльник 5
- Пажи 4

Итого – 60 человек. Кто же были остальные 44 колониста? Это были люди определяющие себя словом «джентльмен» (так было и записано в реестрах кораблей). В основном это были «безземельные» члены аристократического класса не нашедшие себе места в английской иерархии – младшие сыновья пэров и баронетов которые не могли рассчитывать на наследство, выходцы из обедневших аристократических семей, дворяне, растратившие или промотавшие свои состояния. Само понятие «джентльмен» подразумевало человека с хорошим образованием, следовавшего четко определенным правилам чести и кодексу поведения, с хорошими манерами, обычно приученного к владению оружием и верховой езде. Для джентльмена было не зазорно кормиться от ренты, наследства, или стипендии назначенной богатым родственником или патроном, но любой настоящий заработок считался нарушением джентльменского кодекса, а уж о ручном труде и разговора не было – это было полным бесчестьем. Для той задачи которую ставила себе экспедиция – основание колонии в мире о котором они ничего не знали, начав все с нуля, без какой-либо защиты от непогоды и возможного неприятеля, не имея никакого представления о климате и плодородности почвы, не зная смогут ли они прокормиться сами или будут зависеть от поставок припасов через три тысячи миль океана где каждый день грозил встречей с пиратами или испанцами, это было просто странное решение. Но этому было объяснение – единственный ручной труд которым мог заниматься джентльмен не нарушая кодекса чести был поиск и добыча золота. Требование корпорации обеспечить быстрый доход путем добычи золота привел к тому что 40% колонистов не имели никакой нужной профессии, а главное категорически отказывались заниматься каким-либо трудом кроме поисков золота. Это был главный просчет организаторов экспедиции (надо сказать что и далее каждая новая

волна приезжающих привозила множество бесполезного народа, хотя может и не в таких пропорциях).

В декабре 1606 года три корабля со 104 колонистами на борту и запасом провианта рассчитанного на путешествие и на первое время жизни в Новом Свете, покинули Англию.

Самым интересным персонажем из всех членов экспедиции, человеком который спасет новую колонию от гибели, был несомненно капитан Джон Смит. Когда он отплыл в Вирджинию в 1606 году ему было только 26 лет. Смит родился в 1580 году в Линкольшире, учился в школе, умел читать и писать, знал арифметику и латынь, что по тем временам делало его весьма образованным человеком. В 12 лет попытался сбежать и стать моряком, но отец вернул его и отдал в подмастерья к местному купцу, где он проявил недюжинные способности к бизнесу. Однако обладая характером искателя приключений, после смерти отца в 1596 не усидел на месте и отправился во Францию, где принял участие в войне за независимость Нидерландов против Испании. После объявления мира в 1598 году Смит вернулся домой, построил себе хижину в лесу и жил там, питаясь тем что мог сам добыть, посвящая время чтению книг о войне и политике, и тренируясь во владении оружием и верховой езде с окрестной знатью. В 1600, узнав о войне Европы с Османскими Турками, отправился в Европу, а пока добирался до театра военных действий плывал какое-то время на пиратском корабле. Прибыв в Европу, участвовал в крупных сражениях в Словении, Венгрии, и Трансильвании, за храбрость был несколько раз награжден и получил чин капитана. По обычаю того времени, лучшие воины враждующих армий сходились в индивидуальных поединках перед началом военных действий. Три раза Джон Смит участвовал в таких дуэлях и три раза насмерть поражал противника. За эти подвиги он был произведен в рыцари Трансильванским принцем, а на его гербе были изображены три головы турецких воинов.

Удача изменила ему в 1602 когда он был ранен в битве с турками, захвачен в плен, и продан в рабство. Пройдя с остальными рабами почти тысячу километров до Константинополя, Смит был подарен его владельцем своей невесте. По воспоминаниям Смита, женщина в него влюбилась и попыталась обратить его в ислам. Когда это не удалось, она отправила его к своему брату, который владел плантацией где-то около нынешнего Ростова. Тот плохо обращался с новым рабом, бил его, приказал заковать в кандалы, и даже замыслил его кастрировать и продать в гарем. Но Смиту удалось убить своего обидчика, ускакать на его лошади, уйти от погони, и выжить в

степи. На берегу Днепра его обнаружили казаки, и так в 1602 протестант, англичанин, капитан, и рыцарь Джон Смит прибавил к своим званиям еще одно – звание запорожского казака. В своих воспоминаниях он оставил много интересного материала о жизни в Запорожье. Пробыв казаком два года, он покинул запорожское войско и отправился в путешествие длиной почти в 20,000 километров через Московию, Украину, Польшу, Германию, Францию, и наконец достиг Марокко, где он нанялся на корабль и вернулся в Англию в 1604.

В Лондон он прибыл с репутацией знаменитого вояки, чьи приключения приводили в восторг благодарных слушателей. Некоторые исследователи оспаривают наиболее интересные детали его биографии, изложенные им самим в воспоминаниях, утверждая что храбрый капитан выдумал большую часть своих приключений. Даже если это так, его жизнь необычайна, а как мы увидим в дальнейшем роль которую он сыграл в заселении Новой Англии (название было предложено самим капитаном для английских территорий в Новом Свете) невозможно переоценить.

История Джона Смита произвела такое впечатление на Госнолда и Викфилда, что они пригласили его принять участие в экспедиции. Конечно Смит не смог упустить такую замечательную возможность испытать новые приключения, согласился, и был записан в реестр "*Susan Constant*" вместе со своим пажом. Характер Смита проявился уже во время путешествия. Два месяца спустя после отплытия, в океане, капитан Ньюпорт приказал арестовать Смита и посадить его в кандалы, предъявив ему обвинение в «организации заговора, попытке захватить власть, убить членов правящего Совета, и провозгласить себя королем». В свою очередь Смит написал в своих воспоминаниях что те кто возглавил экспедицию были глупцы, завидовали его репутации, и не признавали его равным из-за его простого происхождения. Как бы там ни было, но по прибытии в Америку капитан Ньюпорт уже приказал воздвигнуть виселицу чтобы повесить Смита по обвинению в бунте на корабле, но как раз в это время вице-адмирал Госнолд открыл конверт с приказами из штаб-квартиры в Лондоне где указывалось что Джон Смит назначен корпорацией одним из семи членов Совета колонии. Виселицу пришлось разобрать.

В апреле 1607 корабли причалили к берегу Америки и после месяцев проведенных в море обрадованные колонисты сделали первые шаги по новой земле. Как плохое предзнаменование, в этот день они были обстреляны индейцами и несколько человек ранены. В течении двух недель колонисты

искали подходящее место для поселения, защищенное как с моря от атак испанских кораблей так и с суши от индейцев. 14 мая 1607 года Корпорация Вирджиния официально провозгласила создание поселения названного ими Джеймстаун (в честь английского короля) примерно в 60 километрах от берега на реке Джеймсривер, впадающим в залив Чесапик («*Chesapeake Bay*»). Госнолд был против создания форта в этом месте, которое хотя и было стратегически правильным но нездоровым (вокруг были болота и значит комары и болезни), но остался в меньшинстве. В тот же день колонисты приступили к очистке места для форта а затем начали готовить землю к посеву. В июне форт был закончен, несмотря на атаки индейцев, в результате которых колонисты потеряли несколько человек убитыми и ранеными. Все могло кончиться и хуже, но корабельная артиллерия отогнала индейцев. Форт был построен полукругом и занимал площадь примерно в 4 000 квадратных метра. На стенах с амбразурами были установлены небольшие пушки. В центре форта было открытое место, а вдоль «улиц» были построены церковь, склад. Для жилья надо было построить что-либо очень быстро, просто чтобы обеспечить укрытие от непогоды, поэтому первые постройки были не дома а скорее хижины – строения без рамы, состоящие из одной комнаты с земляным полом, без окон, со стенами из переплетенных прутьев обмазанных глиной и трубой сделанной из бревен и тоже покрытых глиной. Все понимали что это только временные укрытия, и они должны будут приступить к серьезному строительству как только обстоятельства позволят.

В конце июня корабли под командованием Ньюпорта подняли якоря и отплыли в Англию. Теперь колонисты могли надеяться только на себя. В течение следующих двух месяцев ситуация быстро ухудшилась. При том что запасов еды и так не хватало, часть продуктов прогнила, жаркое, влажное лето в месте окруженном болотом и тучами комаров несло с собой болезни, и начал сказываться недостаток пресной воды (вода в реке была плохая, а источника свежей воды около форта не оказалось). Как выяснилось, Госнолд был прав, и колонисты начали умирать. Неумение выживать в примитивных условиях, отсутствие должных запасов (еще одна оплошность в организации поселения), постоянные стычки с индейцами, а главное отказ джентльменов, почти половины колонистов, выполнять черную работу, быстро привели к противоречиям, ругани, и открытой вражде. Колония была организована по принципу «все общее», и тех кто работал особенно возмущал факт что джентльмены отказывались работать но пользовались результатами усилий других (проводя все время в

поисках золота которого там и в помине не было). Они даже отказывались убирать за собой, выбрасывая помои и другие отходы прямо перед дверьми своих хижин, тем самым способствуя распространению болезней. К тому же им просто не повезло – как выяснили гораздо позже ученые, этот год оказался самым засушливым за последние 800 лет.

В такой обстановке необходима была твердая рука лидера и Бартоломью Госнолд был именно таким лидером, уважаемым всеми за твердость и благоразумие. Но к сожалению в августе он случайно утонул в реке, и его место занял Викфилд, который не был человеком способным поддержать дисциплину и вдохновить людей в этих обстоятельствах. Естественно в такой обстановке люди начали выступать против него самого и всего Совета. Совет проголосовал против Викфилда, и он был заменен Ратклифом который, как быстро оказалось, был немногим лучше, и скоро в свою очередь был заменен Скривинером, к сожалению с тем же успехом. В это время Джон Смит, который организовал исследование местности, наладил контакт с индейцами и начал учить их язык, и организовал охоту для пополнения запасов, начал выходить на первый план как умелый и твердый руководитель. Все больше и больше колонистов видели в нем единственного лидера способного спасти колонию.

К осени из 104 в живых осталось всего 50 человек. Когда спала жара и посеянные семена гороха, бобов, других зерновых начали давать всходы, перед колонистами забрезжила надежда. В основном благодаря Смиуту отношение с индейцами улучшилось, и даже установилось некое подобие торговли, в результате которой колонисты сумели увеличить свои запасы провизии. Когда опали листья и болота стали более проходимыми, колонисты смогли охотиться за утками и другой живностью, расплодившейся к осени. В это время в жизни Смита и произошел эпизод который быстро превратился в легенду, ставшую может быть самой яркой историей из раннего освоения Америки. В декабре 1607 во время одной из своих исследовательских вылазок Смит был захвачен индейцами и приведен к Поватану, вождю которому повиновались 30 индейских племен. По воспоминаниям Смита, после некоторых переговоров и даже пира с вождем, он был раздет, связан, положен на землю, и один из индейцев уже поднял камень готовясь разбить ему голову, когда 11-летняя дочь Поватана Покахонтас (в переводе что-то близкое к «Проказница») закрыла его собой и потребовала (очевидно согласно обычаю) его себе. Поватан согласился, и Покахонтас отпустила Смита на свободу. Этот рассказ все еще вызывает споры между историками. Некоторые

утверждают что Смит все это вообще выдумал; некоторые – что это просто была церемония «принятия в племя» и Смит прекрасно это знал но приукрасил все происходящее. Как бы это ни было, Смит вернулся в форт живым и невредимым. Он и далее продолжал свои экспедиции пытаясь найти проход к Тихому Океану и даже составил первую карту Вирджинии.

Все трудности разом забылись когда в январе 1608 капитан Ньюпорт вернулся из Англии с запасами еды, оружия, и других необходимых материалов. К сожалению, радость продолжалась недолго. Вскоре случайный пожар почти уничтожил форт. Сгорели провиант, здания, боеприпасы, и даже книги пастора Ханта. С помощью матросов Ньюпорта большая часть форта была восстановлена и к счастью в апреле пришел еще один корабль с запасами. Колонисты не смогли окончить работу над фортом потому что были вынуждены потратить время на заготовку кедровых досок для отправки в Англию (корпорация настоятельно требовала посылать обратно корабли привозящие запасы из Англии не пустыми а загруженными товарами для продажи). К тому же один странный эпизод прервал работу над восстановлением форта – один из джентльменов нашел на берегу реки место покрытое очень тяжелым желтым песком и все уверились что это было золото! Нужные работы были заброшены и все просились на промывку песка и подготовки его для отправки в Англию. Напрасно Смит пытался объяснить всем что никакое это не золото а просто песок, хотя и необычно желтого цвета. Ему не поверили, и потратили массу драгоценного времени пакуя песок на корабль. Специалистам в Англии хватило пяти минут чтобы заявить что Смит был прав – просто песок, не имеющий никакой цены. Неизвестно точно так это происходило или нет, но известно то что джентльмены колонии тратили все свое время на поиски золота и какая-то история с якобы золотым песком там была.

В октябре 1608 прибыл еще один корабль с припасами и людьми и общее число колонистов достигло 120. Впереди была зима и всем было ясно что без серьезных изменений колонии не выжить. На очередных выборах главой Совета был избран Джон Смит. Он немедленно приступил к коренным изменениям в жизни поселения. Форт был расширен и укрепления усилены, построены 20 отдельных домов, около 20 гектаров участков земли были очищены, вспаханы, и приготовлены к посеву, выкопан колодец, отдельное укрепление было построено на перешейке ведущем к форту. Но самые главные изменения Смит произвел в организации жизни внутри колонии. По его собственным словам «труд

тридцати или сорока работающих не может прокормить сто пятьдесят бездельников». Затем он кратко сформулировал хорошо знакомый в позднейшей истории принцип «кто не работает, тот не ест» (*"He that will not work shall not eat"*), заставив джентльменов под угрозой голода пахать и сеять. Но даже все эти усилия и запасы с кораблей все еще не обеспечили достаточно провианта на зиму, так что приходилось полагаться на торговлю с индейцами. Иногда, когда было необходимо, Смит действовал жестко и воинственно по отношению к индейцам, ставя существование колонии на первое место.

Методы Смита не были популярны ни в колонии ни в Лондоне. В колонии все еще было больше джентльменов чем работающих, и конечно эта группа была категорически недовольна Смитом. Они писали в Лондон своим аристократическим родственникам что Смит их унижает заставляя работать и отвлекает от главного – поисков золота. Руководство корпорации было недовольно тем что он больше времени тратил на усиление колонии чем на добычу товаров которые дали бы доход инвесторам. Были также определенные влиятельные люди в Лондоне осуждающие жесткое обращение Смита с местным населением, надеясь убедить индейцев в том что они, англичане, лучше испанцев, и обратить их в реформаторство. Кроме того одно из личных писем Смита другу в Англии где он жаловался на плохую организацию колонии, чрезмерные требования руководителей корпорации, и аристократических туземцев, было опубликовано в газете, что не могло понравиться инвесторам и конечно не добавило ему популярности у руководства.

Прибыв в октябре, Ньюпорт привез инструкции для поселенцев приложить больше усилий для загрузки кораблей ценными продуктами для продажи и удвоить усилия по поиску золота – иначе говоря, как это часто случается, в центре не имели ни малейшего понятия что происходило в колонии, которой именно сейчас надо было приложить все усилия по подготовке к зиме просто чтобы выжить. Затем, по указу Лондона, Ньюпорт устроил глупый спектакль коронования Поватана как короля всех индейцев, в тоже время потребовав принести присягу английскому королю Якову. Поватан обиделся и запретил торговлю с поселенцами, чем практически подписал им смертный приговор. Можно себе представить как отреагировал на все это Смит, лучше других понимавший в какой опасности находится колония.

В это же время случилось несчастье резко усложнившее положение – по недосмотру запасы зерна были съедены крысами. Смит расослал колонистов во все стороны для охоты, сбора ягод,

торговли с индейцами где возможно, и научил людей питаться устрицами и крабами которых до тех пор игнорировали. Летом 1609 года дела шли не очень хорошо но и не хуже чем до тех пор. Колонисты начали приспосабливаться, учились охотиться и жить с земли. Благодаря построенному жилью и усилиям Смита по поддержанию порядка и введению санитарных правил, условия жизни в Джеймстауне резко улучшились. И скорее всего колонистам удалось бы провести зиму если не в недостатке, то и не потеряв половину населения. Но их опять постигла беда – на этот раз придуманная начальством в Лондоне.

В 1609 году корпорация, недовольная финансовыми результатами предыдущих двух лет, решило сменить руководство и резко расширить фронт работ по снабжению Англии материалами и продукцией для продажи. В июне Лондон снарядил девять кораблей с 400 новыми колонистами на борту и новым губернатором, Томасом Гэйтсом. И конечно в штаб-квартире не позаботились снабдить 400 человек достаточным количеством провизии, мудро рассудив что колонисты уж как-нибудь их прокормят. Мало того, что никто не отбирал подходящих кандидатов и среди приехавших оказались люди без профессий, лодыри, и даже уголовники, и еще они привезли с континента новые болезни. Это была полная катастрофа. Корабль с Гейтсом на борту попал в шторм и нашел прибежище на Бермудах, и Смит отказался уступить свой пост, надеясь хоть как-то подправить ситуацию пока не прибудет новый губернатор. Конечно это окунуло Джеймстаун в политическую бурю, но Смит умудрился сохранить свой пост. Понимая что имеющиеся запасы не смогут прокормить все население не только зимой но даже и до зимы, он на время отправил несколько групп жить за пределами форта строить новые поселения и выживать как могут. Это конечно немедленно вызвало стычки с индейцами, на чьи территории двинулись новоприехавшие, охотясь на из земле и разоряя их поля. Около 100 человек было потеряно в схватках с индейцами. Все это вызвало первую Англо-Поватан войну, тянувшуюся с перерывами пять лет.

В эту же осень, когда Смит плыл по реке, каким-то образом взорвался бочонок с порохом в его лодке и он, сильно обожженный, только чудом остался жив. Неизвестно был ли это несчастный случай или попытка от него избавиться, но свои обязанности он больше исправлять не мог. Совет выбрал новым губернатором Джорджа Перси. А потом настала зима 1609 года, худшее что может себе представить человек, зима холода и голода – такого, что даже появились слухи о каннибализме в колонии. Не

будем в подробностях описывать ужасы этой зимы. Достаточно сказать, что к весне 1610 года из 500 человек в полу-живых осталось 60, да и те выжили только потому что наконец приплывший Гейтс ввел столь драконовские меры на которые, при всей его жесткости, Смит никогда не шел. “Только восемь человек умерли когда я был губернатором” говорил Смит, и был прав.

Продержавшись до весны, Гейтс, который писал “по моем приезде Джеймстаун выглядел скорее как какие-то заброшенные древние руины чем место где могут жить люди” и поняв что запасов еды не хватит и на месяц, Гейтс решил оставить поселение. Посадив оставшихся в живых на свой корабль, он двинулся по реке к океану. В тоже самое время в залив вошел очередной корабль из Англии под командой Де Ла Варра со 150 новыми колонистами и значительными запасами провианта и других запасов на борту. Джеймстаун был спасен. Прибытие Де Ла Варра вдохнуло новую жизнь в колонию. Впереди у поселения были трудные, опасные, и голодные годы, войны с индейцами, лишения, и тяжелый труд. Но самое страшное время уже было позади. Прибывший в 1611 году новый вице-губернатор писал что увидел “хорошо выделанные частные участки, стада пасущихся коров, коз, свиней, и домашней птицы, все ухоженное и поддерживаемое в полном порядке“. Быстро развивались ремесла – производство бочек, появились плотники, изготавливающие мебель, кузнецы и другие работники по металлу, портные. В колонии не хватало детей для обучения ремеслам, и в 1619 году было привезено 100 бездомных детей с улиц Лондона. К этому времени каждый корабль прибывший из Англии с новыми колонистами и припасами, увозил обратно древесину, столь необходимую флоту, смолу, тар, сассафрас, пушнину, и даже продукты из кедра и стекла, сделанные местными ремесленниками.

По настоящему положение колонии стало улучшаться с 1616, когда один из самых уважаемых старожилов, Джон Ролфе, начал культивировать табак, получив семена из Тринидада. Оказалось что почва и климат Вирджинии необычайно благоприятны для этого растения. Индейцы использовали табак для курения, в медицинских целях, и религиозных обрядах с незапамятных времен. В Европу табак был привезен в 1518 участником экспедиции Колумба Родриго де Ерез, первым европейцем начавшим курить. В 1523 торговцы уже продавали его в Лиссабоне, а в 1559 он появился в Париже. Уолтер Ралей был известен как курильщик, а в 1595 в Англии была напечатана первая книга о пользе и возможном вреде табака. Начиная с этого времени курение распространилось по всей Европе. Первая партия

табака из Вирджинии была послана в Англию в 1613. Результат был настолько успешен, что сельское хозяйство колонии мгновенно переориентировалось на табак как главный предмет экспорта, а иногда запакованные пачки табака выполняли роль денег (из-за недостатка серебряных монет в местной экономике). После сбора и просушки табака его упаковывали в 450-килограммовые тюки, которые буквально назывались «голова борова» *“hogshead”*. Фермер приносил такой тюк в пакагуз где его проверяли и фермер получал официально заверенную бумагу что у него есть столько-то табака. Эта бумага могла использоваться как закладная в торговых операциях внутри колонии.

Начиная с 1618 года, когда Вирджиния приняла закон по которому всем приехавшим обещали 25 гектаров земли и необходимое оборудование, население колонии начало быстро расти. Те из иммигрантов кто мог оплатить свой проезд из Англии, получали обещанное немедленно. Всем нужны были работники (тоже самое было и во всех остальных колониях). Но белых, готовых заниматься наемным трудом (за который кстати платили в 3-4 раза больше чем в Англии), было очень мало. В основном работниками становились те кто не мог приехать сам а занимал деньги на проезд. Эти попадали в слуги по контракту (*“indentured servitude”*) который длился четыре или семь лет, после чего тоже получали землю. Кроме тех кто приезжал по собственной воле, Англия начала отправлять в Вирджинию уголовников, проституток, и пленных, захваченных в военных действиях. Примерно четверть из тех кто отработал свой срок в слугах, сами стали фермерами. Табачные плантации принесли колонии финансовое благополучие, но также и стали причиной завоза рабов из Африки для работы на плантациях. Первую партию из 20 африканцев привез в Джеймстаун датский капер в 1619, и хотя в начале они занимали то же место что и нанятые по контракту слуги, в дальнейшем ситуация резко изменилась, и в 1654 статус черных как рабов был утвержден законодательно. Производство табака заняло настолько большое место в жизни поселенцев, что в 1617 капитан Аргайл, заместитель губернатора, жаловался что городское хозяйство пришло в упадок потому что все жители занимаются только табаком.

В 1607 году в Джеймстаун приехали одни мужчины. Администрация корпорации Вирджиния, чьей главной целью было установление постоянной колонии, вскоре начала беспокоиться что без возможности завести семью у мужчин нет стимула создавать постоянное жилье и пускать корни в колонии. Было ясно что большинство колонистов намеривается побыстрее

заработать деньги и вернуться в Англию. Хотя некоторые колонисты и начали брать индейских жен (наиболее знаменитым из этих браков был брак между Джоном Рольфе и Покахонтас), но это было редким событием, а кроме того корпорация рассматривала подобные браки как угрозу колонии («... эти женщины могут войти в сговор со своими племенами против белых...») и вскоре смешанные браки были вообще запрещены. В 1614 году корпорация начала агитировать за отправку в колонию целых семей. По этому поводу даже было заседание Парламента в котором адвокат корпорации предложил создать условия более привлекательные для семейной иммиграции. Из этих попыток ничего не получилось, и администрация избрала другой путь, начав вербовать одиноких молодых женщин. Им было обещан бесплатный переезд, определенные материальные блага (включая одежду, предметы туалета, и деньги) и немедленную женитьбу (объясняя что по условиям контракта жены будут иметь равное право с мужьями на имущество семьи). Им было обещано что о них позаботятся пока они не выйдут замуж и гарантировано что их не принудят к браку насильно. Эти гарантии обеспечивались правилом по которому вступающие в брак мужчины вносили залог в 120 фунтов (примерно 20,000 фунтов сегодня) табаком (отсюда и появилось выражение «табачные жены»). Эта тактика оказалась более успешной. В 1619 корпорация смогла прислать корабль с 90 женщинами на борту как будущих жен для колонистов а в следующем году – еще 100. В то время в Англии на 9 мужчин приходилось 10 женщин, и конечно перспективы одиноких женщин найти достойного мужа в колониях и приобрести хороший социальный и имущественный статус были неизмеримо лучше чем дома. В результате улучшения жизни в колонии и благоприятной информации от тех кто совершил этот шаг, образовался значительный поток желающих иммигрировать женщин. Они не были ни преступницами ни проститутками, просто большинство из них были бедными без каких-либо перспектив дома. Их не привозили насильно, они выбрали иммиграцию сами и как показало время оказались хорошими женами и благодаря им колония выжила.

Самый тяжелый после первой зимы момент пришел к колонистам в пятницу 22 марта 1622 года. Капитан Смит, которого в Джеймстауне уже не было, записал происшедшее со слов участников. В этот день группа индейцев одного из племен входящих в конфедерацию Поватан, безоружными пришли в поселение, принеся с собой оленину, рыбу, ягоды, и другие предметы якобы для продажи. Внезапно индейцы схватили ножи и

все что могло быть использовано как оружие и набросились на колонистов и безжалостно убили все до кого могли добраться – мужчин, женщин, и даже детей. Атакой руководил самый уважаемый военный лидер племен Опечанкано, категорически недовольный проникновением белых в Америку. Под его руководством индейцы синхронно атаковали поселенцев с нескольких сторон. Колонисты отбились и Джеймстаун уцелел, но 347 белых, более четверти всего населения Джеймстауна было убито в этих атаках. Этот день вошел в историю как «Индийская Резня 1622» (*“Indian Massacre of 1622”*).

Как бы там ни было, первое английское поселение в Новом Свете прошло через несказанные трудности и страдания, но выжило. Колония стала центром, вокруг которого, расширяясь, расходились круги новых и новых поселений. Со временем Джеймстаун стал настоящим городом, столицей старейшего штата нового государства, одним из важнейших ворот через которые заселялась Америка. На этом можно поставить точку в истории первой выжившей колонии Англии в Новом Свете. Осталось только закончить историю двух персонажей сыгравших важную роль в его становлении – Джона Смита и Покахонтас.

Смит, все еще больной и обожженный, прибыл в Англию в 1609 и занялся писательской деятельностью, опубликовав несколько книг (включая значительный труд “Общая История”) и напечатав первую карту Вирджинии. Но неугомонный капитан не мог усидеть на месте. Оправившись, в 1614 году он опять приплыл к берегам Америки на этот раз на службе у компании «Плимут», имеющей в это время патент на заселение территорий северного Атлантического побережья. Смит исследовал территорию Массачусетса и дал название “Новой Англии” этим местам. Вернувшись в Англию, он издал карту этих мест где в первый раз и появилось это название. Смит продолжил исследование Новой Англии в 1615 и в 1616, а затем опубликовал книгу “Описание Новой Англии”. В одно из этих путешествий его корабль был захвачен французскими пиратами и он провел какое-то время пленником на борту этого корабля. В одну из темных и бурных ночей он сумел избегая стражи перебраться через борт, добраться до одной из спасательных шлюпок, перерезать канат и оказался один на маленькой лодчонке в штормовом море. Но его ангел-хранитель как всегда был начеку, и Смиту удалось не утонуть и добраться до Англии. Это было его последним путешествием, хотя он и пытался еще несколько раз принять участие в событиях в Америке. В Лондоне Смит стал известен как адвокат заселения колоний, часто выступавший в публичных собраниях с хорошо

продуманным планом организации массового переселения. В 1620, только вернувшись из Новой Англии, он предложил свои услуги группе английских протестантов которые планировали отплыть на судне под названием Мэйфлауэр в Америку с целью основать новую колонию. Но у них не было денег чтобы его нанять и они только купили у него его карту Новой Англии. В 1622, после дня Индейской Резни, когда началось крупное наступление индейцев на поселения белых вдоль всей реки Джеймса, Смит предложил свои услуги корпорации Вирджиния как военачальник, но его предложение не было принято. В 1630 Смит опубликовал свою последнюю книгу “Действительные Путешествия, Приключения, и Наблюдения Капитана Джона Смита”. Путешественник и искатель приключений, бесстрашный воин, рыцарь, запорожский казак, спаситель и губернатор Джеймстауна, города с которого началась современная история Америки, известный писатель, Джон Смит умер 21 июня 1631, в возрасте 51 года, и похоронен в Лондоне. Уйдя из дома в 16, все это он успел за 35 лет. Похоже как будто это сложные в одно жизнеописания дюжины весьма энергичных людей.

Девочка Покахонтас, в 1607 году спасшая Джона Смита (или по крайней мере сыгравшая роль его спасительницы), после этого эпизода часто посещала Джеймстаун и научила колонистов многим полезным индейским приемам ведения сельского хозяйства. В 1613 году, в одной из стычек между англичанами и Поватаном, колонисты захватили ее в плен. Живя в Джеймстауне она выучила английский язык и приняла христианство под именем Ребекка. Ее на самом деле не удерживали силой в форте, она сама решила не возвращаться к отцу. В 1614 она вышла замуж за Джона Ролфе (это событие прекратило войну поселенцев с Поватаном), и в 1615 родила ему сына Томаса. В 1616 году Покахонтас приехала в Англию, и была принята со всеми почестями полагающимися принцессе, удостоившись приема во дворце. Находясь в Лондоне, она встречалась с Джоном Смитом, о чем он и написал в одной из своих книг. Ребекка и Джон Ролфе собирались вернуться в Джеймстаун в 1617, но незадолго до начала путешествия она умерла от неизвестной болезни.

На этом месте кончается рассказ о Джеймстауне и начинается другая, не менее интересная и драматическая история – история заселения Новой Англии.



Борис Тененбаум

Протокол одного заседания

I



Утро 10 июля 1943 года Муссолини встретил в городке Сетте Вене (Sette Vene), примерно в 40 километрах на север от Рима. Разумеется, он принимал там парад - последнее время его руководящая роль стал сводиться к деятельности главным образом церемониальной - но в данном случае в параде был значительный политический смысл.

Дуче как бы принимал присягу новой, только что сформированной дивизии под названием "М".

Итальянцы следовали традиции присваивать своим дивизиям не только номера, но и названия. Имелась, скажем, так называемая *131^a Divisione Corazzata "Centauro"* - *131-я бронетанковая дивизия "Кентавр"*.

Дивизии делились на пехотные, бронетанковые, альпийские и специальные дивизии чернорубашечников, сформированные из членов фашистской милиции - они именовались "фашистскими", и дальше шли по номерам - 1-я, 2-я, 3-я и 4-я.

Дивизия "М" была названа "фашистской бронетанковой", а вместо номера обозначена первой буквой фамилии "Муссолини", великого лидера фашистского движения. В нее входило четыре полка, на римский лад именуемых "когортами", и она должна была получить танковое вооружение из Германии - Гиммлер сдержал свое слово, дивизии "М" предстояло получить новые "Пантеры" германского производства.

Говорили даже, что дадут и батальон "Тигров" в качестве поддержки - но это отложили...

Важно было как можно скорее ввести дивизию в строй - дела в Италии шли так, что у дуче действительно возникла нужда в надежной гвардии.

Так что парад прошел замечательно - и дуче, окруженный германскими дипломатами и военными, инструкторами дивизии "М", заметно приободрился. Он чувствовал себя лучше - нервный стресс, которым он мучился последнее время, его немного отпустил.

И вот тут-то Муссолини и настигли плохие новости.

В ночь с 9-го на 10 июля 1943 года началось англо-американское вторжение на Сицилию. Ситуация резко менялась к худшему - война, которая шла в Северной Африке и закончилась потерей всех итальянских колоний, теперь перекинулась на национальную территорию Италии.

Это, в общем-то, ожидалось - но тем не менее вызвало в стране полный шок.

Буквально сразу, на ходу, на совещании в Сетте Вене было решено, что дивизию "М" следует перебросить на юг, на усиление сицилийских гарнизонов. Там уже имелось два армейских корпуса итальянских войск, под командой генерала Гуццони, и пара немецких дивизий хорошего качества - одна из них была танковой дивизией "Герман Геринг", укомплектованной за счет личного состава Люфтваффе. Предполагалось, что такая элитная часть, как "М", будет очень полезной добавкой - и уже через пару дней дивизию вывели из-под контроля фашистской милиции и передали в распоряжение армейского командования.

На этом очень настаивал начальник Генштаба, генерал Амброзио.

II

Генерал хотел получить контроль над дивизией "М" вовсе не из военных соображений - у него была твердая уверенность, что вне всякой зависимости от посылки или непосылки туда подкреплений, Сицилия будет потеряна. Германия вообще, по мнению генерала Амброзио, *"...шла на дно..."* - и отвязать Италию от союза с ней он считал своим патриотическим долгом.

Сделать это, не устранив дуче, было невозможно.

Амброзио очень опасался, что за дуче могут заступиться чернорубашечники, и хотел убрать дивизию "М" как можно подальше от Рима. И он поговорил с командующим военным округом столицы Италии, генералом Роатта, и сказал ему, что *"...изменения в правительстве вполне возможны..."*, и надо бы держать военные части округа в состоянии готовности. На них в случае чего можно было положиться.

В конце концов, армия присягала не дуче, а королю.

С королем, впрочем, тоже было неясно. Он уклонялся от любого вмешательства в политическую жизнь Италии - так предписывала ему конституция, списанная с английской практики: *"...монарх царствует, но не правит..."*. Он, так сказать, незывлемый символ государственности, и стоит выше партийных дрызг.

Но времена наступали такие, что именно символу государственности следовало делать что-то - и 1 января король Виктор Эммануил III счел возможным письменно известить герцога де Аквароне, министра двора - то есть ведомства, подотчетного ему лично - что он принял решение положить конец фашистскому режиму, и сместить главу фашистского правительства, Бенито Муссолини.

В это, право же, трудно поверить, но тем не менее, существует документ - меморандум короля, адресованный герцогу. И там черным по белому сказано, что король "... *намерен сменить режим ...*". При этом он ничего для этой цели не делал, а в ходе аудиенции с деятелями старого, еще дофашистского режима только и сыпал сарказмами в адрес Рузвельта:

"...президента плутократической республики, оказавшегося в союзе с большевиками...".

Король, право же, летом 1943 сильно колебался. Про настроения среди своих генералов он знал - но предпочел бы "*...не создавать конфликта между армией и партией...*" - так что визиту Дино Гранди монарх очень обрадовался, особенно когда узнал, зачем тот к нему пришел.

Дино Гранди, бывший посол Италии в Лондоне, не стал ходить кругом да около, а сообщил своему королю, что с Германией надо разойтись, и что следует искать контактов с английским правительством - а уж если нужда припрет, то и с американским.

Разговор Гранди с Виктором Эммануилом состоялся 3 июня 1943 года - и король заверил своего собеседника, что если в отношении дуче он сможет найти "*...решение в рядах партии...*", то можно будет отыскать конституционные пути и для дальнейших действий.

На том они и расстались - а вот дальше события пошли очень быстро.

III

Ночью 3 июля англо-американская авиация впервые нанесла удар по окрестностям Рима - бомбили Остию и Фьюмичино. Вторжение в Сицилию, о котором мы уже говорили, началось в ночь с 9 на 10 июля - а 12 июля 1943 года военно-морская база Аугуста, расположенная на Сицилии, сдалась армиям вторжения - причем командовавший базой итальянский адмирал, к огромному изумлению своего германского коллеги, приказал взорвать все береговые укрепления еще до того, как увидел первого неприятельского солдата.

При этом итальянский флот даже не сделал попытки выйти в море, а союзная авиация его не бомбила.

Ну, это могло быть признанием итальянцев в безнадежности сопротивления, а еще это могло быть следствием желания союзников захватить итальянские корабли неповрежденными - но могло быть и результатом предварительного сговора.

По крайней мере, к такому заключению пришло германское командование.

14 июля было подано предложение о срочном созыве Большого Фашистского Совета - это был высший орган партии, но он уже давно не собирался, Муссолини предпочитал обходиться без него. 16-го июля к нему на прием в Палаццо Венеция явилось 15 иерархов партии с предложением собрать совет - и немедленно. Муссолини был полон подозрений - но, тем не менее, согласился. 18-го июля через посла Рейха в Риме, фон Макензена, пришло приглашение Гитлера срочно встретится с ним. Дуче приглашение принял, и стороны договорились встретиться на вилле в Фельтре, на севере Италии. Муссолини вылетел в Тревизио - там был ближайший к месту встречи аэродром - и там дождался самолета фюрера.

В Фельтре они поехали вместе.

Официально совещание открылось на следующий день, в 11:00 утра. В присутствии двух делегаций, германской и итальянской, фюрер заявил, что *“...итальянской армии доверять нельзя, потому что организована она исключительно плохо...”*.

Муссолини сидел на краешке стула, и чувствовал себя хуже некуда.

Ему уже сообщили, что предыдущей ночью английские самолеты сбросили над Римом листовки с предупреждением о бомбежке. В 12:00 дня, в самый разгар заседания, к дуче подошел секретарь, вручил ему записку, и тихо прошептал что-то на ухо.

Муссолини поднялся, по-итальянски прочел записку вслух, и тут же перевел ее на немецкий:

“...в данный момент неприятельская авиация бомбит Рим...”.

Как оказалось, бомбежка началась в 11:00, одновременно с началом речи Гитлера. Налет начался среди белого дня, и шел несколькими волнами. Бомбардировщики целились в основном в железнодорожные узлы - но попало и прилегающим к ним жилым кварталам.

Члены итальянской делегации были потрясены.

Еще больше их потрясло то, что Гитлер, после паузы буквально в полминуты, возобновил свою речь. В перерыве, когда делегации разошлись по своим комнатам, все собрались вокруг дуче, и бледный от ярости генерал Амброзио сказал ему:

“...немцы собираются использовать Италию как поле битвы, и если она при этом сгорит, они не будут о том печалиться...”.

Он убеждал Муссолини поговорить с Гитлером как с другом, и объяснить ему, что настало время для Италии подумать о себе:

“...мы должны выйти из войны в течение двух недель ...”.

Все это очень походило на ультиматум - но дуче начальнику Генштаба ничего не ответил.

22 июля 1943 года король Виктор Эммануил тоже поговорил с Муссолини - он сказал ему, что *“...только его личность и стоит на пути к изменению курса страны...”* - но ответа не добился.

Король потом говорил, что у него было впечатление, что он говорит со стеной.

Герцог де Аквароне, министр двора, сообщил всем, кому надо, что король готов отправить дуче в отставку и заменить его маршалом Бадольо - желательно было создать новое правительство, состоящее из экспертов, технических специалистов вне политики.

Считалось, что отстранение дуче случится 26 июля - это был понедельник, обычный *“...день доклада главы правительства главе государств ...”*.

Генерал Анжело Черика, начальник карабинеров, был предупрежден - его люди должны были сразу взять под контроль телефонный коммутатор Палаццо Венеция и арестовать целый ряд иерархов партии, даже в случае сопротивления фашистской милиции.

В субботу, 24 июля 1943 года, генералы Амброзио и Кастеллано навестили маршала Бадольо, и известили его, что король решил назначить его на смену Муссолини. День был выбран не случайно - именно в субботу, в 5:00 часов дня, должен был собраться Большой Фашистский Совет, и король знал от Дино Гранди, что Муссолини будет предъявлен *“...список предложений...”*, подписанный виднейшими членами Совета: Боттаи, Альбини, Федерцони и самим Гранди.

Дуче был почему-то спокоен...

IV

Бенито Муссолини любил щегольнуть знанием авторов, которых он якобы читал - но уж труды Никколо Макиавелли ему и в самом деле были знакомы. Великий флорентинец положил начало исследованиям искусства политики, и рассматривал эту область человеческого опыта с холодной беспристрастностью геометра.

В его словаре не было слова "верность" - но было слово "целесообразность".

И в бессмертном трактате "Государь" много говорилось о том, что государь должен быть хорошим - если можно - но обязан быть плохим, если это необходимо:

"...Каждый государь желал бы прослыть милосердным, а не жестоким, однако следует остерегаться злоупотребить милосердием. Чезаре Борджиа многие называли жестоким, но жестокостью этой он навел порядок в Романье, объединил ее, умиротворил и привел к повиновению. И, если вдуматься, проявил тем самым больше милосердия, чем флорентийский народ, который, боясь обвинений в жестокости, позволил разрушить Пистойю. Поэтому государь, если он желает удержать в повиновении подданных, не должен считаться с обвинениями в жестокости. Учинив несколько расправ, он проявит больше милосердия, чем те, кто по избытку его потворствует беспорядку..."

Положение Муссолини в конце июля 1943 года было трудным - но какие-то возможности все-таки имелись. Он мог сместить генерала Амброзио, или арестовать несколько человек из числа иерархов фашистской партии - того же Дино Гранди, например.

Или он мог выехать в расположение дивизии "М" и оставаться там, под защитой ее штыков.

Ничего из вышеперечисленного он не сделал, а вместо этого отправился на заседание Большого Фашистского Совета. Хотя за несколько дней до заседания случился у него разговор с журналистом по имени Оттавио Динале - тот вдруг взял дуче за руку, обнял, и сказал ему:

"Благослови вас господь, Муссолини..."

Обычно высокомерный с окружающими, Муссолини был явно удивлен и тронут, и даже в свою очередь призвал благословение Господне на голову Динале.

И тогда журналист рассказал ему, что ходят слухи о заговоре, направленном против дуче.

На что Муссолини ответил, что не такова система фашизма, чтобы быть низвергнутой несколькими дюжинами заговорщиков:

“...государство, организованное с полным совершенством, 400 тысяч человек верной долгу и испытанной в сражениях фашистской милиции, 3 миллиона членов партии, массы, которые уважают это могущество, наконец - лидер, непоколебимо стоящий на своем посту, еще более решительный, чем всегда - нет, не стоит шутить со всем этим...”

И Муссолини даже добавил, что факт заговора даже ему на руку, потому что позволит избавиться от тех, кто только и делает, что ставит ему палки в колеса, и никто не сможет упрекнуть дуче в излишней жесткости, ибо он сделает это строго по закону и только в силу необходимости.

Трудно, право же, оценить такую степень самоослепления - но Муссолини, по-видимому, действительно верил в то, что он сказал тогда журналисту Динале.

Заседание Большого Фашистского Совета началось по расписанию, 24 июля, в 5:00 часов дня.

V

Наверное, лучше всех к заседанию подготовился Дино Гранди - перед тем, как отправиться в Палаццо Венеция, он исповедался, составил завещание - и прихватил с собой две гранаты.

Двор старого дворца был забит вооруженной фашистской милицией, в здании к тому же было размещено почти две сотни полицейских - но они, понятное дело, в совещании не участвовали. Тех, кто имел голос, было куда меньше - всего 28 человек высших иерархов партии, как один, одетых в черную партийную форму.

При входе Муссолини в зал - он опоздал на пять минут, и сделал это, скорее всего, намеренно - все они вскочили на ноги с ритуальным приветствием:

"Да здравствует дуче!"

Совещание началось. У нас есть довольно точный протокол того, как оно проходило. Собственно, стенографической записи не велось - но есть подробные изложения происходившего, сделанные несколькими участниками совещания.

Как и полагалось, первым говорить начал дуче - и он не замолкал в течение почти двух часов.

Читать сказанное им неловко даже сейчас, по истечению стольких лет. Муссолини сообщил собравшимся, что не хотел брать на себя руководство войной - ему эту роль навязали, и сделал это в первую очередь маршал Бадольо. Но Муссолини все

равно не хотел этого делать, и взялся разве что из чувства долга, и с намерением оставить это тяжкое бремя так рано, как только возможно - но не мог, потому что штурвал в бурю не бросают.

Что до неудач, то в них виноваты Бадольо, Роммель, Генштаб, войска, и еще почему-то сицилийцы в общем, кто угодно, только не он.

Потому что сам дуче был решителен и проницателен, как никто. И в качестве примера он, в частности, сказал иерархам партии, что остров Пантеллерия велел укрепить он сам, и именно там "...*Британия почувствовала зубы римской волчицы...*".

На этом поразительном пассаже речи, произнесенной Бенито Муссолини 24 июля 1943 года на заседании Большого Фашистского Совета, посторонний читатель и через 70 лет испытывает оторопение.

А уж что должны были думать партийные иерархи, знакомые с делом до последних деталей, трудно даже и представить.

Потому что в действительности дело обстояло так: островок Пантеллерия, расположенный примерно посередине между Тунисом и Сицилией, 11 июня 1943 года был захвачен англо-американскими войсками.

12-тысячный итальянский гарнизон капитулировал, потеряв 45 человек убитыми и ранеными. Собственно, штурм прошел вообще бескровно – он случился по ошибке. Осажденным хватило обстрелов с воздуха и с моря, и когда десанты высадились на берег, капитуляция была уже в силе.

Черчилль, склонный к юмору, сказал, что потери британских сил при взятии Пантеллерии выразились в одном раненом – когда он зазевался, его укусил осел.

Положим, это не совсем так - раненых было двое, и пострадали они от огня зазевавшихся часовых, которых не успели предупредить о капитуляции - но Черчилль, что называется, "...*не позволил фактам испортить хорошую историю...*".

Конечно, в июле 1943 иерархам фашистской партии в Италии вряд ли были известны шуточки Черчилля про "...*кусающихся ослов Пантеллерии...*" - но про зубы римской волчицы они услышали от самого Муссолини.

Трудно было бы подобрать более яркий пример невыносимой фальши того, к чему пришла Италия за годы его правления.

VI

Дебаты начались с оправдания себя и спихивания ответственности на других. Маршал Де Боно, например, сказал,

что армию не в чем упрекнуть, она сделала все, что могла. Фариначчи встал и проклял итальянский Генштаб и особенно его теперешнего начальника, генерала Амброзио.

Джузеппе Боттаи, который вроде бы довольно открыто говорил о своем недовольстве Муссолини, не посмел сказать ему это в лицо и ограничился общим рассуждением – “...сейчас надо решить вопрос о войне или мире...”.

И так все и продолжалось, пока с места не встал Дино Гранди.

Он взял быка за рога и объявил, что в теперешнем ужасном положении страны виноват не фашизм, как таковой, а диктатура. Слишком долго суждение одного человека служило основой всех государственных решений - и этому необходимо положить конец.

Поэтому Гранди предлагает Большому Фашистскому Совету принять следующую резолюцию:

Во-первых, Совет приветствует бойцов всех родов вооруженных сил Италии - солдат, моряков и летчиков - героически обороняющих Сицилию, на стороне которых выступает и все сицилийское население, вспомнившее свои благородные традиции несравненной храбрости и свой непобедимый дух самопожертвования.

Во-вторых, Совет призывает главу правительства молить Его Величество, Короля и Императора, о принятии на себя руководства вооруженными силами Италии, как ему и подобает на основе Статьи 5-й Основного Закона Королевства Италии.

Понятно и без объяснений, что пункт первый - это все те же “...зубы римской волчицы...”, только что по-другому упакованные. Солдаты итальянской армии, размещенные на Сицилии, бросали оружие без особого сопротивления, а население вовсе и не думало проявлять “...несокрушимую храбрость...” - все, чего люди хотели, это окончания войны.

Но вот пункт второй, даже не называя Муссолини по имени, был нагружен смыслом.

Главе правительства - то есть Муссолини - предлагалось “...молить Его Величество...” о сложении полномочий Муссолини на верховное командование войсками - да еще и со ссылкой на конституцию, которую за 21 год фашизма и не вспоминали.

В сущности, это означало конец режима.

Гранди кричал, что Муссолини считает себя солдатом, но все беды Италии начались тогда, когда он пришил себе чин маршала. Боттаи поддержал Гранди - а потом с места встал

Галеаццо Чиано и шаг за шагом перечислил все проблемы, связанные с союзом с Рейхом.

Раз за разом Германия делала роковые шаги без всякой консультации с Италией - и раз за разом это проглатывалось и Италия следовала за Рейхом без протестов и без возражений. Чиано не обвинял в этом своего тестя - по крайней мере, не обвинял прямо - но о том, кто принимал все важные решения в стране, присутствующие знали и без него.

После Чиано слово взял Фариначчи.

Он защищал союз с Германией, но настаивал на том, что *"...дуче не должен править один..."*. Так все и шло, и бесконечной дискуссии конца не предвиделось, пока наконец Муссолини не предложил перенести продолжение заседания на следующий день.

Время, как-никак, подходило к полуночи...

Но предложение, конечно, не прошло - ему воспротивились почти все, и Дино Гранди - в первую очередь. На кону стояла его голова, и это следовало понимать совершенно буквально. В итоге договорились сделать 15-минутный перерыв - и Муссолини вышел из зала.

Из 28 иерархов фашистской партии за ним последовало только четверо.

VII

Когда сейчас, через столько лет, читаешь описание происходивших тогда событий, то больше всего в этих описаниях поражает апатия Муссолини. Вот один из иерархов партии, Буффарини, оставшийся верным дуче, говорит ему, что это заговор, и предлагает *"...немедленный арест заговорщиков, начиная с Дино Гранди..."* - а Муссолини в ответ пожимает плечами.

Большой Фашистский Совет - не репрезентативный орган партии, все его члены никогда никем не избирались, а был назначены туда самим Муссолини. Ну и что, что куклы взбунтовались против директора кукольного театра - он будет править точно так же, как делал это и раньше.

И заседание возобновляется.

У Гранди, видимо, уже нет сил - но на дуче нападают теперь другие. Он презрительно отвечает, что все иерархи, сидящие сейчас за столом, за годы его правления сколотили себе состояния и никогда не отказывались ни от высоких должностей, ни от почестей, ни от орденов.

И продолжает дальше:

"...мне 60 лет, и последние 20 лет можно назвать удивительным приключением в моей жизни - и, конечно, я могу

положить этому приключению конец. Но я не уйду в отставку - король и народ на моей стороне...".

Скорца, секретарь фашистской партии Италии, предлагает резолюцию, подтверждающую полномочия дуче. Вдруг кто-то из иерархов вскакивает, тычет пальцем в сторону министра народной культуры Гаэтано Полверелли, и кричит Муссолини:

"...всякий раз, когда нужно выбрать кого-то из полудюжины кандидатов на должность, из них выбирается самый большой идиот - и вот наглядный пример этого...".

И посреди всего этого бедлама с места встал Дино Гранди - видимо, он уже поднабрался сил - и сказал нечто поистине удивительное:

"...дуче, мы будем следовать за тобой всегда, ибо ты лучший из нас. Сними же свою [маршальскую] форму, сорви свои эполеты - и вернись к нам в простой [черной] рубашке нашей революции...".

После этого последовало голосование.

Секретарь партии, Скорца, огласил результаты - за "резолюцию Гранди" проголосовало 19 человек из 28. Семеро были против, и один воздержался.

На часах было уже 2:40 ночи. Муссолини в абсолютной тишине встал и жестом руки остановил Скорцу, совсем уж собравшегося выкликнуть традиционное:

"Да здравствует дуче!"

VIII

В воскресенье, 25 июля 1943 года, сразу после полудня, секретарь Муссолини, Никколо де Чезаре, позвонил в резиденцию короля на вилле Савойя, и сообщил, что дуче хотел бы встретиться с монархом не в понедельник, как обычно, а в воскресенье, в 5:00 дня.

Последовало немедленное согласие.

Примерно в 3:00 часа дня Муссолини вдруг выразил желание осмотреть те места в Риме, что пострадали от бомбежки. Он отправился туда в сопровождении генерала Галбьяти и нескольких человек охраны из числа фашистской милиции. Народ на улицах, конечно, узнал своего национального лидера, но приветственных возгласов не последовало - люди молчали.

Бенито Муссолини вернулся домой, на виллу Торлония, переоделся - и за пять минут до назначенного времени его автомобиль стоял перед королевской резиденцией. Король Виктор Эммануил принял главу своего правительства в маршальской форме. Контраст был сильный - Муссолини, вопреки заведенному обычаю, приехал к своему монарху в штатском.

Говорили они минут двадцать.

Паоло Пунтони, генерал-адъютант короля, который, в частности, ведал дворцовой охраной, и которому король велел "...оставаться у дверей и быть начеку...", пытался что-то подслушать, но ничего толком не разобрал.

Он услышал только, что король сказал: "*Сожалею, но другого решения я принять не могу*".

"*Значит, все кончено*" - пробормотал Муссолини - "*все кончено. Но что станет со мной и моей семьей?*".

Король сказал, что жизнью отвечает за личную безопасность дуче. На этом он пожал ему руку и проводил до дверей. В саду Муссолини встретил капитан карабинеров в сопровождении двух человек с автоматами на изготовку, и попросил сесть в стоящую рядом машину скорой помощи:

"*Это для вашей собственной безопасности, Ваше Превосходительство*".

Вечером 26 мая 1904 года Чезаре Борджиа зашел в замок Кафель-Нуово в Неаполе, чтобы нанести прощальный визит командующему. Первым, кого он встретил, был адъютант командующего, дон Педро, обратившийся к нему по-испански с изысканно учтивыми словами:

"*Я здесь, монсеньор, для того, чтобы составить вам кампанию – и мне велено оставаться при вас и бодрствовать всю ночь*".

Это была вежливая формула ареста.

Через 439 лет – и, без одного дня – два месяца, в 6:00 часов вечера 25 июля 1943 года, совершенно по той же формуле на выходе из королевской резиденции капитаном карабинеров был арестован кавалер Бенито Муссолини...



Ефим Курганов Шпион Его Величества, или 1812 год

Историко-полицейская сага в четырех томах

Том первый

ПЕТЕРБУРГ – ВИЛЬНА.

МАРТ – ИЮНЬ 1812-ГО ГОДА

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ:

ЗА ДВА МЕСЯЦА ДО ВОЙНЫ,

ИЛИ

ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТ БОНАПАРТА



се без исключения персонажи – вплоть до самых эпизодических, – фигурирующие в настоящем повествовании, – реальные исторические лица. Практически все описанные события имели место, а если не имели, то вполне могли бы его иметь.

Это – книга-реконструкция. Я попробовал, в меру своих возможностей, представить, каким мог бы быть профессиональный дневник шефа русской разведки в 1812-м году. Содержание этого гипотетического дневника восстановлено строго по источникам.

Ефим Курганов
Париж
февраля 2007 г.

ПОДЛИННЫЙ СЕКРЕТНЫЙ ДНЕВНИК ВОЕННОГО СОВЕТНИКА ЯКОВА ИВАНОВИЧА ДЕ САНГЛЕНА

Публикация проф. Николая Богомольникова

С французского перевел Сергей Подглядялкин

Научный консультант проф. Роман Оспоменчик

ОТ ПУБЛИКАТОРА

Яков Иванович де Санглен (1776-1864), или иначе: Жак де Санглен, прожил долгую, насыщенную событиями, бурную жизнь, которая просто просится в роман или даже в целую серию романов.

Он был весьма плодовитый и довольно популярный в свое время русский публицист и философ («Об истинном величии

человека», 1814), критик («Шиллер, Вольтер и Руссо», 1843) и издатель (журналы «Ученые ведомости», 1805; «Аврора», 1805-1806), сотрудник известных журналов «Московский телеграф» (в начале 1830-х годов) и «Москвитянин» (с 1845 года), переводчик («Отрывки из иностранной литературы», 1804), романист («Жизнь и мнения нового Тристрама», 1830; «Рыцарская клятва на гробе», 1832), историк и теоретик военного дела («Краткое обозрение воинской истории XVIII века», 1809; «Исторические и тактические отрывки», 1809). В разные периоды своей жизни он отдавал дань разным литературным жанрам.

Де Санглен с 1804-го по 1807 год преподавал в Московском университете немецкую словесность, читал там курсы по военной истории и тактике, наконец, получил в 1806 году звание профессора-адъюнкта военной истории. Впоследствии он получил звание военного советника и дослужился до действительного статского советника.

Однако прежде всего это был шпион, виртуоз сыска, это был человек, фактически создавший структуру русской тайной полиции: де Санглен организовал разветвленную агентурную сеть и активно занялся ловлей шпионов (1812-1816). Эти несколько лет, собственно, и составили основу репутации Якова (Жака) де Санглена.

В современной истории Московского университета о нем сказано слишком сжато, но выразительно и точно: «в будущем всесильный управляющий делами в министерстве полиции, который начинал скромным учителем немецкого языка при университете»¹.

Де Санглен был чрезвычайно живым собеседником, ярким, темпераментным и многознающим рассказчиком.

А.И.Герцен писал впоследствии, что «болтовня Санглена» есть «живая хроника за последние 50 лет», отмечал, что в нем есть «большая живость, своего рода острота и бездна фактов интересных»². В третьей главе «Былого и дум» он назвал его «старым вольтерьянцем, остряком, болтуном и юмористом».

А вот весьма показательный фрагмент из «Воспоминаний» Т.П.Пассек: «Положение это (начальника тайной полиции – Николай Богомольников) давало ему возможность знать пропасть событий и анекдотов того времени... Де Санглен

¹ Андреев А.Ю. Московский университет в общественной и культурной жизни России начала XIX века. М., 2000, с. 145-146.

² Герцен А.И. Собр. соч. в 30-ти т. М., 1954, т. 2, с. 314.

рассказывал энергично, рельефно, – живой, остроумный, с огромной памятью, он представлял собою живую хронику»³.

Как видим, де Санглен был оригинальной, забавной и остроумной личностью, но современники, по свидетельству ряда мемуаристов, побаивались его даже и тогда, когда он был уже частным лицом и давно находился в отставке. Так, по словам Ф.Ф.Вигеля, автора известных «Записок», де Санглен наводил на окружающих страх⁴.

Вообще атмосфера страха и тайны до конца окутывала личность де Санглена. Это была та невидимая завеса, которая фактически отделяла его от остального общества.

Де Санглен неоднократно исполнял личные поручения императора Александра Павловича.

Он заведовал Особой канцелярией при министерстве полиции, осуществлявшей функции «контрразведки».

Писатель и журналист Н.И.Греч, при всем том, что он в высшей степени недоброжелательно относился к де Санглену, свидетельствовал в своих мемуарах: «Александр не доверял никому, даже своему министру полиции, и Санглен служил ему соглядатаем. Вечером и ночью посылал за ним по секрету и спрашивал, что делается в министерстве»⁵. Это важное показание, сделанное недругом нашего героя. Постарайтесь запомнить его.

Итак, Яков (Жак) де Санглен был личным шпионом императора Александра I.

А в 1812 году этот потомок французских эмигрантов возглавлял с марта месяца Высшую воинскую полицию Первой Западной армии, а с апреля этого же года под его начало была отдана высшая воинская полиция при военном министре, то есть в его ведении фактически находилась вся разведка Российской империи.

Де Санглен оставил интереснейшие «Записки», которые через двадцать лет после его смерти были напечатаны в журнале «Русская старина» (1882-1883 гг.)⁶.

Этот обширный мемуарный свод охватывает целых четыре царствования – времена Екатерины II, Павла I, Александра I и Николая I.

Напомню характеристику «Записок», которая была сделана великим нашим пушкинистом Вадимом Вацуру: «Его

3 Русская старина, 1877, июль, с. 434.

4 Вигель Ф.Ф. Записки, М., 1892, ч. 3, с. 115.

5 Греч Н.И. Записки о моей жизни. М., 1990, с. 336.

6 Полная рукопись записок хранится в архиве «Русской старины»: Отдел рукописей Пушкинского Дома, фонд 265, опись 11, 2498.

(Я.И. де Санглена – Е.К.) жизненный и литературный путь завершился записками – ценнейшим литературным и историческим документом, по сие время не изданным полностью и не проанализированным сколько-нибудь внимательно с литературной и психологической стороны»⁷.

«Записки» де Санглена, хотя отдельно и не анализировались и не изучались, что весьма прискорбно и совершенно несправедливо, но специалистами по русской истории восемнадцатого и девятнадцатого столетий они тем не менее непременно учитывались и учитываются, ибо обойти их исследователю на самом деле просто невозможно.

Обидно только, что в нашу эпоху репринтных изданий «Записки» де Санглена почему-то никто так и не удосужился перепечатать. Но еще прискорбнее следующее.

Практически до сей поры из сферы внимания специалистов по русской истории начала девятнадцатого столетия почему-то начисто выпал один чрезвычайно важный текст (во всяком случае в печати об этом сведений, насколько мне известно, никогда не появлялось).

Когда на склоне лет де Санглен стал работать над своими мемуарами, то события своей богатой приключениями жизни он восстанавливал по тайному дневнику, который вел на протяжении нескольких десятилетий.

Причем, наиболее интересные подробности так и остались погребенными в дневнике, ибо не было никакой надежды, что они могут быть обнародованы. Однако даже если бы такая надежда и была бы тогда, Санглен как благородный человек все равно бы ею не воспользовался.

Все дело в том, что император Александр I взял в свое время с него слово, что он никогда не обнародует тайны, связанные с его служебной деятельностью. А в сферу последней входили не только поиск и разоблачение вражеской агентуры, но и розыск для утех императора девушек особой красоты.

Санглен сдержал данное императору обещание: в его интереснейших записках, строго говоря, не открыта ни одна тайна, связанная с работой на посту директора русской военной полиции.

Историк М.П.Погодин задал Санглену множество вопросов, касающихся событий 1812 года. Ответив только на ряд из них, Санглен писал М.П.Погодину 18 ноября 1861 года: «Вот все, что я мог вам сказать, на остальное наложил император

7 Вацуру Вадим. Готический роман в России. М., 2002, с. 241.

Александр I вечное молчание, и я исполню его волю до конца жизни моей»⁸.

Прошло почти двести лет – дневник военного советника де Санглена можно наконец-то печатать.

Настала пора вытащить его из архивных недр и сделать всеобщим достоянием: дневник этот, несомненно, того заслуживает.

Читателю теперь представляется редкая и даже, пожалуй, исключительная возможность узнать, как строилась в Российской империи в начале девятнадцатого столетия работа тайной полиции.

В основу настоящей публикации легли записи военного советника Я.И. де Санглена за апрель – май 1812 года, представляющие собой, как мне кажется, совершенно связный текст, который обладает своим единым внутренним сюжетом.

Рукопись дневника хранится в муниципальном архиве города Ош (департамент Жер, Гасконь, Франция). Как мне представляется, в этих местах жили родственники де Санглена – видимо, им в свое время его дети и передали рукопись, опасаясь хранить ее в России.

Весной 1812 года выдалось чрезвычайно тревожное, важное и необыкновенно ответственное время для российской разведки.

Наполеон Бонапарт готовился к предстоящей грандиозной войне и одновременно предпринимал все необходимые меры, чтобы его планы противником были обнаружены как можно позднее.

Кроме того, император Франции пытался реорганизовать свою резидентуру в герцогстве Варшавском, чтобы она действовала с максимальной эффективностью – ему нужны были как можно более точные сведения о численности, составе и дислокации российских войск.

Наполеон за месяц до начала боевых действий послал в Вильну с особой разведывательной миссией своего генерал-адъютанта графа Луи Мари Жака Амальрика де Нарбонна (1755-1813). В качестве адъютантов к последнему были прикомандированы профессиональные французские агенты.

Сначала эта троица инспектировала французские разведывательные службы, расположенные в герцогстве Варшавском, а затем она прибыла в Ковно (Каунас), откуда уже отправились в Вильну (Вильнюс), ставшую к тем дням чуть ли не

⁸ Русский Архив, 1871, с. 1165.

дипломатической столицей Европы (во всяком случае там собрались представители основных сил антинаполеоновской коалиции).

Три дня (с 6 по 8 мая 1812 года), проведенные графом де Нарбонном в Вильне, – один из ключевых эпизодов в череде тех лихорадочных событий, что непосредственно предшествовали войне. Строго говоря, можно сказать, что этот визит явился прологом к Отечественной войне, являясь прамбулой войны.

Как реагировал начальник Высшей воинской полиции Российской империи Яков де Санглен и его сотрудники на демарши императора Франции, его дипломатов и агентов – все это и еще многое другое можно будет наконец-то теперь понять после ознакомления с предлагаемой частью совершенно уникального документа, принадлежащего перу человека, который в рубежном, трагическом 1812 году возглавлял русскую военную разведку.

Не будем забывать при этом, что Яков Иванович де Санглен не просто с апреля 1812 года руководил русской военной разведкой – он создал ее, причем, смог сделать это буквально за два месяца до начала Отечественной войны.

В определенном смысле это был самый настоящий подвиг, потребовавший от де Санглена не только огромной мобилизации внутренних сил всей его личности, но и особенной гибкости и остроты ума, а также самого что ни на есть незаурядного сысского таланта.

Во всем этом читателю сейчас предстоит возможность убедиться.

Дневник Я.И. де Санглена – это не только важный исторический, но при этом еще и захватывающе интересный культурно-психологический документ.

Николай Богомольников, проф.

Москва. Двадцатого декабря 2007 года

ВИЛЬНА

АПРЕЛЬ – МАЙ 1812 ГОДА

9 АПРЕЛЯ – 19 МАЯ

*Дети славы, пробудитесь,
Встаньте, встаньте, ополчитесь,
К вам отечество гласит,
Брань вокруг вас, брань горит!*

Алексей Мерзляков

Посылайте большие шпионов.

Из приказа Наполеона Бонапарта

Апреля 9 дня. Десятый час утра

Квартирую в доме купца Савушкина, на Немецкой улице, дом номер семнадцатый.

Занимаю две весьма поместительные комнаты: одну я оборудовал под спальню, а вторую, особенно светлую, с окном, занимающим полстены, – под кабинет. Камердинер мой Трифон, сопровождающий меня во всех поездках, помещается в особой каморке, опрятной и удобной, примыкающей к этим двум комнатам.

Часть привезенных из Санкт-Петербурга книг Трифон уже успел разложить по полкам. Но работы тут предстоит ему еще не мало: три объемистых тюка стоят пока не распакованные.

Хорошо, что, зная меня, Трифон перво-наперво вытащил сочинения Шиллера.

Признаюсь, я чрезвычайно люблю Шиллера (особенно знаменитую драму его «Разбойники»). К тому же я лично знаком с автором, чем ужасно горжусь. О данном факте я упоминал уже в трактате своем «Фридрих Шиллер». В пору работы своей в Московском университете, я тиснул сей трактатец в выходявшем при университете журнале «Аврора» (1805, NN 1-2. Впоследствии было и отдельное расширенное издание: Шиллер, Вольтер и Руссо. М., 1843 – позднейшее примечание Я.И. де Санглена).

Но сегодня ни Фридриха Шиллера, ни кого другого я читать не могу, ибо никак пока не могу привыкнуть к здешней обстановке и вообще немного страшусь ожидающей меня неизвестности – слишком важные задачи стоят передо мной.

Но, может, на сон грядущий и перелистаю все-таки хотя бы пару страниц из обожаемых «Разбойников», сочинения поистине бессмертного, наполненного благороднейшими мыслями и чувствами.

С «Разбойниками» я никогда не расстанусь и уже не первый год вожу их с собой всюду, куда бы меня ни забросила судьба. Можно сказать, что это моя настольная книга. Я изучаю по ней душу человеческую. Заведывая особой канцелярией в министерстве полиции, я каждый день свой заканчивал чтением сего творения Шиллера.

Апреля 9 дня. Шестой час вечера

С 11-ти утра и до 12.20-ти часов дня я все фланировал по дорожкам городского сада, потом ходил осматривать замок (это так называемый Верхний замок, а еще есть Нижний замок – оба на Замоквой горе – и Кривой замок, тот, что на Холме Трех Крестов), потом обедал в крошечном трактирчике на Немецкой улице и опять без усталости ходил и совсем не устал, отнюдь – был бодр как никогда. Гулял по Ботаническому саду, расположенному у подошвы Замоквой и Трехкрестовой гор.

Меня поразили церковь и монастырь бернардинцев (святых Франциска и Бернарда), их грандиозные готические строения, от великолепия коих замирает дух.

Совершенно восхитительны ворота Аушрос (в переводе с местного наречия: ворота Зари). Их фасад украшен грифонами. В Верхней части ворот монахи-кармелиты соорудили часовню.

Был в костеле святой Терезы и монастыре кармелитов, в костеле святой Анны, в костеле Святого Духа и доминиканском монастыре, несколько лет назад превращенном в тюрьму – туда сажают всех недовольных императорским режимом, патриотов, ратующих за независимость Литвы.

Забрел в кафедральный костел (мне говорили, что на его месте прежде стоял храм языческого бога Перкунаса), гулял около арсенала и размышлял, предавался некоторым воспоминаниям, думал о том, как все тут у меня сложится, высчитывал, в какую же сторону качнется в ближайшее время моя карьера – вверх или вниз, однако ни к какому определенному выводу до сих пор так и не склонился.

Чувствую пока во всем полную неопределенность, но рассчитываю на лучшее, на то, что наконец-то удастся мне выхватить козырную карту, хотя отличнейшим образом понимаю, что врагов, среди коих есть и сильные мира сего, у меня множество и что одолеть их не так-то будет просто.

Однако настроен я на победу, а не на поражение. Тем не менее любое решение судьбы, каким бы оно ни было для меня, приму спокойно: не умру от неудачи и не погибну от счастья. И при этом сдаваться и опускать руки при всех обстоятельствах ни в коей мере не собираюсь.

А пока еще раз поразмыслю и попробую представить, чего же все-таки сейчас мне можно ожидать?!

Прекрасно помню, как осьмнадцатого марта сего года меня призвал к себе Государь Александр Павлович (за день до этого Его Величество за симпатии к Бонапарту отправил в ссылку своего государственного секретаря – Михайлу Михайловича Сперанского; операцией сей руководил я, но об этом как-нибудь после).

Приватная встреча наша происходила не в первый раз, но тут беседа между нами была совершенно особого свойства. Вообще она явилась полною неожиданностью для меня. Признаюсь, я даже был обескуражен ее характером и самим ее тоном, хотя и понимал, что после отставки и ареста Сперанского, учитывая мою роль в этом деле, меня ожидают несомненные

перемены. И все-таки я был изумлен состоявшейся беседой, и вот почему.

Обычно Государь, призывая меня, спрашивает или же дает поручения, но в тот сырой и мрачный петербургский мартовский день все было совершенно иначе.

Как только я вошел, Александр Павлович без обиняков сказал, что, видимо, мне скоро предстоит расстаться с Особой канцелярией при министерстве полиции, которой я заведовал тогда.

Заметив мой недоумевающий взгляд, Государь сразу же пояснил:

– Послушай, Санглен, наверное, ты догадываешься, что близится война с Бонапартом, и я намерен прикомандировать тебя к Первой Западной армии, к главнокомандующему оной генералу от инфантерии графу Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли (с 1815-го года получил княжеское достоинство; с 1815-го года произведен в генерал-фельдмаршалы – позднее примечание Я.И. де Санглена). Не согласился бы ты возглавить при нем высшую воинскую полицию?! Полагаю, что это сейчас поважнее будет Особой канцелярии при министерстве Балашова! Нынче надо не разбойников ловить, а шпионов искать.

Я, не раздумывая, согласился.

Во-первых, предложениями Государя я не привык разбрасываться, и, кроме того, Александр Дмитрич Балашов уже некоторое время тому назад стал мне совершенно в тягость, как и я ему, впрочем: как-то постепенно мы опротивели друг другу, и сильно опротивели.

Все дело в том, что министр Балашов слишком стал ревновать ко все более возрастающему вниманию Государя ко мне. Вообще как будто между нами пробежала черная кошка. Работать вместе нам становилось все сложнее, даже просто невмоготу. И вот еще по какой причине Балашов был мне неприятен. Министр, не смотря на то, что был взращен в военном мундире, имеет в себе многое из самого низкого подьяческого типа. Постыдное его лихоимство знает вся Россия. Он брал и берет немилосердно, где только можно; брал и как обер-полицмейстер, и как петербургский военный губернатор, и даже как министр полиции.

Император Александр Павлович нисколько не удивился тому, что я сразу же согласился (он прекрасно был осведомлен об отношении ко мне Балашова).

Государь понимающе улыбнулся и многозначительно добавил, при этом внимательно, даже пронзительно оглядывая меня:

– Но только имей в виду, Санглен, что прежде, чем возглавить высшую воинскую полицию, тебе придется ее сначала создать, ибо пока она существует лишь в моем плане, лишь на бумаге. Но бумага уже есть, и ты ее получишь одним из первых. И немедленно. Не мне тебя учить, но не забывай только, что это секретные документы.

Прощаясь, Государь Император вручил мне два секретных указа (они были подписаны им еще 27 января сего года): «Образование высшей воинской полиции» и «Инструкция директору высшей воинской полиции». И сказал:

– Ознакомишься на досуге. Но читай внимательно – листочки сии, надо думать, тебе еще сгодятся. Потом обсудим с тобой все. Будет что непонятно, – спрашивай. Захочется дополнить, – тоже говори.

Такая вот была встреча, озадачившая меня, но надо признать – приятно озадачившая.

Придя домой, в свою петербургскую квартирку, я тут же ознакомился с обоими документами и даже вызубрил их наизусть.

Между прочим, в пункте 13-м первого указа были довольно точно определены требования, предъявляемые к шпиону (нужно будет их довести до сведения моих молодцов из особой канцелярии – например, покажу надворному советнику Шлыкову, – да и самому принять к сведению):

«Лазутчики на постоянном жалованьи. Они рассылаются в нужных случаях, под разными видами и в различных одеяниях. Они должны быть люди расторопные, хитрые и опытные. Их обязанность есть приносить сведения, за коими они отправляются, и набирать лазутчиков второго рода и разносчиков переписки».

Ознакомившись с секретными указами, врученными мне Государем Александром Павловичем, я пришел к следующему решению.

Собственно, я готов возглавить высшую воинскую полицию. Мне кажется, что эта работа вполне по мне. Но посмотрим, как все еще сложится.

Государя в любом случае не подведу. Ни коим образом.

Апреля 9 дня. Десять часов вечера

И вот я, наконец-то, в Вильне, такой тихой, меланхолической, пустынной после суматошно-великолепного, суетливо-важного Санкт-Петербурга.

Постепенно осматриваюсь, приглядываюсь, знакомлюсь (ходил даже в жидовский квартал – чрезвычайно любопытно; вообще жидовская Вильна – это как бы целый город в городе), потихоньку подыскиваю себе людей, что дело отнюдь не простое,

регулярно заслушиваю и читаю отчеты здешних полицейских чиновников.

Бумаг уже успело скопиться у меня достаточно. Что же будет дальше?! Необходимо их как-то привести в порядок. Необходима канцелярия, но она будет, всенепременно будет. На этот счет можно не беспокоиться.

А пока я прежде всего вживаюсь в город. Он все еще мне чужой, непонятный, но надеюсь, что это ненадолго.

Сойдусь тут с разными людьми, и город, я уверен, станет для меня своим.

Трифон вытащил из не до конца разобранных вещей моих потрепанный альманах «Галия» и сборник баллад Фридриха Шиллера – оба издания были приобретены мною еще в бытность студентом Лейпцигского университета. Это – моя реликвия, но дело даже и не в том.

Баллады Шиллера восхитительны, в них чую я дух истинного романтизма.

Впрочем, у меня есть еще один постоянный источник вдохновения.

Ловя шпионов, разгадывая политические заговоры, я живо помню тайны готических романов, до которых еще с гимназических лет, проведенных в Ревеле, являюсь большим охотником.

И сейчас у меня на столике лежит раскрытый томик «Удольфских тайн» великой и несравненной Анны Радклиф. Но сия писательница на самом деле зачастую только пугает читателя: страшные тайны объясняются ею весьма тривиально.

На самом деле, гораздо более мне близка готика ужаса Мэтью Грегори Льюиса, автора знаменитого «Монаха».

Леденящие кровь преступления, столь мастерски описанные Льюисом, бодрят меня, освежают, заставляют мысль работать острее, четче. Притом Льюис великолепнейшим образом учит распознавать козни людские, различать под благороднейшей наружностью страшные пороки.

Однако «Монах», увы, лежит еще не распакованный в одном из тюков. Читаю модную, но скучноватую для меня Анну Радклиф.

Но как только представится возможность взять в руки буквально сочащийся кровью текст «Монаха», розыск шпионов пойдет значительно быстрее, непременно – не сомневаюсь, даже убежден в этом.

Англичанин Льюис в скором времени явно поможет российской короне арестовать еще не одного агента Бонапарта.

Апреля 10 дня. Седьмой час вечера

Главнокомандующий Первой Западной армии генерал от инфантерии граф Барклай де Толли уведомил меня, что в ведении отданной под мое начало высшей воинской полиции находятся все полицейские участки от австрийских границ до Балтики.

Все это так, однако собственный штат моего ведомства пока что недопустимо малочислен.

Вся канцелярия моя состоит, собственно, из одного, буквально сегодня назначенного, губернского секретаря Протопопова. Он человек дельный и, главное, такой, коему можно безраздельно доверять, что важно, ибо через его руки постоянно будут проходить бумаги государственной важности.

Хорошо еще, что я, после той мартовской беседы с Государем, смог себе вытребовать из министерства полиции Розена, Шлыкова и Лешковского.

Это, надо признаться, не легко далось – министр Александр Дмитрич Балашов (до назначения министром полиции был обер-полицейстером Москвы, а потом и Петербурга; впоследствии – генерал от инфантерии, губернатор Орловской, Тамбовской и Рязанской губерний, член Государственного и военного советов – позднейшее примечание Я.И. де Санглена) ни за что не хотел их отдавать (и правильно делал, что не хотел: это отличные полицейские чиновники; правда, не слишком умные, но расторопные, опытные и весьма исполнительные).

Поручика Лешковского я тут же отослал в Гродно (он чуть более самостоятелен), а коллежского асессора барона Розена и надворного советника Шлыкова оставил пока при себе, в Вильне (в июне 1812-го года, с началом боевых действий Розен был отправлен мной в район Динабург – Рига – позднейшее примечание Я.И. де Санглена).

Совсем не безуспешно налаживается сотрудничество мое с полицмейстером Вильны Вейсом, а также с майором Бистромом. Они меня вывели на некоторых из здешних французов, кои вызывают, как они говорят, особое подозрение.

Прежде всего я познакомился с графом де Шуазелем и аббатом Лотреком – именно эти, по утверждению Вейса и Бистрома, наиболее опасны для нас.

Граф и аббат таятся, держатся настороже. Но, слава Богу, аббат от природы болтлив, и я надеюсь, что со временем он неминуемо проговорится. Я несколько раз уже наведывался и к одному и ко второму.

Из здешних поляков наибольший интерес для нас представляет граф Тышкевич. Он, полагаю, предан Бонапарту душой и телом, но из него слова лишнего не вытянешь.

А вот сынок его горяч и нетерпелив – я уже приказал Розену пригласить его в трактир, угостить вином и непременно «разговорить». Думаю, что результат будет.

Представили меня и камергеру Коссаковскому. Известно, что он горой стоит за Бонапарта, но впечатление оставляет человека переменчивого, легко увлекающегося, да и к мадере слишком уж привязан. Не думаю, что его возьмут в заговор, не доверятся по причине явного камергерского легкомыслия и излишнего пристрастия к крепким напиткам.

Другое дело, его юная племянница. Говорят, страсть как хороша, и при этом ярая бонапартистка, отнюдь не думающая скрывать своих убеждений, а еще утверждают, что она отличная наездница и стреляет из пистолета без промаха.

Живет она в Варшаве, но из разговора с камергером Коссаковским я вдруг вывел, что сия девица весьма скоро прибудет в Вильну, должно быть, в гости к любезному дядюшке.

Но дядюшка, конечно, – только повод, это ясно как божий день.

Юная графинюшка, полагаю, прибудет сюда в ожидании бурных политических событий, которые не замедлят себя ждать.

Да, надо будет не упустить случай и сразу же по ее прибытии завязать с ней знакомство.

Вообще глубокая закономерность коренится в том, что в здешних краях появится известная своими бонапартистскими симпатиями графиня Коссаковская.

Чувствую, что неровен час, и наша тихая, скромная Вильна сделается в скором времени центром мирового шпионства и мировой дипломатии.

Сторонников Бонапарта уже в ближайшие дни, без всякого сомнения, понаедет сюда не мало. Коссаковская – это первая ласточка.

Что ж, будем готовиться к встрече, господи!

Всенепременно будем!

Агенты императора Франции должны оказаться в заготовленной для них сети. Ни один не должен уйти.

Необходимо срочно набирать людей, коим можно будет поручить слежку за «гостями», ибо силы местных полицейских и малочисленны и, кажется, не очень надежны.

Апреля 11 дня. Одиннадцатый час утра

Пока никаких особенных событий. Тихо, но мне тишина всегда внушает опасность – я немного ее по многолетней привычке побаиваюсь.

Французы тут все как один попрятались: без необходимости не появляются, не фланируют, вообще избегают дневных перемещений, предпочитают сумерки.

А вот коренное население города и не думает скрывать горячих симпатий своих к Бонапарту. Приходится признать, что его явно и несомненно ждут, а нас столь же явно не хотят.

Однако не стоит заранее отчаиваться. Я уверен, что ежели дело вести умеючи, то сторонников российской короны наберовать можно будет немало, надо только очень захотеть.

Моя главная забота сейчас заключается в том, чтобы найти опору в жителях Вильны, чтобы постоянно выискивать личностей, кои готовы работать с нами, а таковые, несомненно, найдутся – в этом я не сомневаюсь.

Виленский полицмейстер Вейс, настоятельно советует мне как можно скорее наладить связь с жидовским кагалом.

Он рассказывает, что банкирские дома, принадлежащие жидам, имеют свою отлично налаженную сеть агентов и курьеров. Сей механизм, как утверждает полицмейстер, работает совершенно бесперебойно, в отличие от нашего гражданского управления.

Да, жидовская почта сие есть подлинно чудо.

Помимо прочего – говорит полицмейстер Вейс – жида за последние столетия столько тут натерпелись от поляков, что в отместку им, без всякого сомнения, готовы помогать нам, рассчитывая, видимо, встретить в российском императоре более справедливости.

И этот момент нужно использовать. И более того: его никак нельзя нам упустить – мы должны иметь в здешнем крае хоть какую-то силу поддержки. Нужно всячески искать тех, кто недоволен сложившимся положением вещей, и переводить их на свою сторону.

А это, увы, только жида. Поляки настроены супротив нас самым решительным образом.

Слова Вейса нужно всенепременно обдумать, сделать необходимые выводы, доложить Барклаю и, по получении его одобрения, тут же предпринять быстрые и твердые шаги.

Апреля 11 дня. Десятый час вечера

Поручик Лешковский из Гродны прислал донесение, обстоятельно и очень толково составленное (да, не даром я вызвал

его сюда из Санкт-Петербурга). Собственно, это целая записка. Полагаю, что в скором будущем она весьма мне пригодится.

Вот что в общих чертах сообщил мне поручик Лешковский.

Район Гродны и прилегающих местечек расположен по обеим сторонам реки Неман и ее притоков.

В городе проживает значительное число представителей польской шляхты, владельцев обширнейших и богатейших поместий. Большинство из них настроено крайне враждебно по отношению к российской короне.

Целая сеть, раскинутых по Гродненской губернии масонских лож, находится, в основном, в подчинении у поляков. Деятельность всех этих лож проходит в рамках активной антирусской пропаганды.

Все эти факты имеют для нас, конечно, весьма печальное значение. Если, что для нас и хорошо в Гродне, так это жида, коим в здешнем крае принадлежит почти исключительно вся торговля (есть у них в Гродне и своя типография, довольно значительная; вообще выходит множество книг).

В Гродненской губернии никто не встречал русских как своих избавителей. Лишь жида каждого местечка, лежащего по дороге, где проходили войска, выносили разноцветные хоругви с изображением нашего Государя.

И это еще не все. Гродненское купечество собрало значительные суммы для вспомоществования российской армии (шеф корпуса жандармов А.Х.Бенкендорф, тогда бывший полковником и стоявший со своей частью недалеко от Гродно, вспоминает: «Мы не могли достаточно нахвалиться усердием и привязанностью, которые выказывали нам евреи» – позднейшее примечание Я.И. де Санглена).

И это не все. Учащиеся жидовских школ, кои называются ешиботы, почтай, каждодневно доставляют мне сведения о всех обретающихся здесь французах и об подозрительных собраниях, устраиваемых шляхтой.

Донесение поручика Лешковского я тот час же передал Барклаю де Толли в виду его исключительной важности.

Апреля 12 дня. Одиннадцатый час ночи

Получил письмо от бывшего сослуживца своего (П.И.Б.) по министерству полиции.

Прежде всего он сообщает, что апреля девятого дня взамен отставленного Сперанского государственным секретарем был назначен вице-адмирал и литератор Александр Семенович Шишков (занимал эту должность до 1814 года, с 1814 года – член

Государственного совета, в 1813-41 гг. – президент Российской Академии, в 1824-1828 гг. – министр народного просвещения – позднее примечание Я.И. де Санглена).

Подписание указа о назначении нового государственного секретаря произошло апреля девятого дня в девять часов утра.

Еще П.И.Б. уведомляет меня, что сюда едет министр Александр Дмитрич Балашов, и, притом, не один, совсем не один.

Судя по раскладу, Вильна уже в ближайшие дни и в самом деле станет местом, где соберутся наиболее яростные и наиболее последовательные враги Бонапарта.

Вот что, по дружбе, поведал мне милейший П.И.Б.

Апреля 9 дня в два часа пополудни, после молебствия в Казанском соборе, Государь Александр Павлович, сопровождаемый молитвами во множестве стекшегося на пути его народа, выехал из Санкт-Петербурга.

Императора сопровождали: принц Георгий Ольденбургский, герцог Александр Виртембергский, канцлер граф Николай Румянцев, граф Нессельроде, граф Кочубей, обер-гофмаршал граф Н.А.Толстой, государственный секретарь Шишков, генералы барон Беннигсен, Аракчеев и Фуль, генерал-адъютанты А.Балашов, П.Волконский и другие.

Особенно неприятно мне скорое появление тут Балашова, так же как неприятно скорое появление другого генерал-адъютанта – Волконского (впоследствии стал генерал-фельдмаршалом, начальником Генерального Штаба и министром Императорского Двора – позднее примечание Я.И. де Санглена).

Князь Петр Михалыч Волконский давно уже близок к Государю: он состоит при Его особе еще с 1797 года – почитай, пятнадцать лет уже.

Князь был послан в 1807-1810 годах в заграничную командировку с секретным заданием составить описание устройства генерального штаба армии Бонапарта. И я поехал вместе с Волконским. Он уговорил меня уйти из Московского университета. И я, действительно, ушел и был прикомандирован к его штабу (он ведал тогда военным министерством) в чине майора, бросив науки и начав заниматься сыском.

Правда, во Франции мы решительнейшим образом поссорились – князь никак не мог перенести моего успеха в высшем парижском обществе, где я был принят совершенно как свой. Но все началось с одной истории, которая, увы, в значительной степени озлобила Волконского против меня.

Поначалу поездка наша продвигалась весьма успешно. Мы работали сообща и собрали массу сведений. Вообще я был воодушевлен, ведь это было первое мое шпионское задание.

Но вот что произошло потом.

Как-то и меня и князя пригласил к себе на обед комендант Парижа.

За столом речь зашла об Аустерлицком сражении. Волконский, со свойственной ему заносчивостью и горячностью, неосторожно начал утверждать, будто Аустерлицкое сражение русскими вовсе не было проиграно.

Все французские генералы, бывшие на обеде, тут же стали опровергать мнение князя, который не мог подкрепить никаким доказательством высказанное им, однако продолжал крепко стоять на своем. Это патриотическое упрямство взбесило французского гусарского генерала, коего звали, сколько я помню, Ruffin (Руфин).

Генерал сказал в запальчивости: «Dans le bulletin sur la journée d'Austerlitz il est dit: l'empereur de Russie était entouré de trente sots, étiez vous, mon prince, du nombre?» (В бюллетене об Аустерлицком сражении сказано, что император России был окружен тридцатью дураками; не были ли и вы в их числе, князь?).

К моему крайнему удивлению князь, покраснел как рак, и молчал, уже не пытаясь ни защищаться, ни менять свое мнение.

Тогда, дабы вывести свое начальство из создавшегося весьма щекотливого положения, я встал из-за стола и сказал: «Chez nous. Quand on invite les français a diner, ce n'est pas pour leur dire des choses désagréables» (Если у нас приглашают французов к обеде, то отнюдь с тем, чтобы говорить им неприятности).

Храбрый мой ход произвел впечатление на всех присутствующих. Генерал Руфин миролюбиво отвечал мне: «Bravo, m-r le major! on voit bien que le sang français coule encore dans vos veines» (Браво, господин майор, сразу видно, что в ваших жилах течет еще французская кровь).

К концу инцидента комендант Парижа, который как мог успокаивал князя Волконского, подле него сидевшего, закричал: «Du champagne! Buvons a la santé du major russe et la paix sera faite. Nos empereurs sont amis, leurs sujets doivent l'être aussi!» (Шампанского! Выпьем за здоровье русского майора и мир будет заключен. Наши императоры друзья и подданные их должны быть тем же!).

Веселье восстановилось, как будто ничего и не было. Глупая патриотическая выходка князя как будто была забыта.

С этого дня я был приглашаем на все парады, ученья, балы. А вот князь Волконский случившегося с ним на моих глазах

конфуза простить мне так и не смог: отношение его ко мне становилось со дня на день хуже. И это уже, видимо, навсегда.

В какой-то момент он заявил, что более в услугах моих не нуждается, что я могу вернуться уже в Санкт-Петербург и что он аттестует меня Императору наилучшим образом.

Перед моим возвращением князь передал со мной письмо к Государю. Впоследствии я узнал, что оно содержало форменный донос на меня.

Однако по приезде моем Александр Павлович решил заслушать мой устный отчет (Волконский в это время еще обретался во Франции) и сказал потом, что вполне доволен мной. Я был прикомандирован к графу Аракчееву, который стал после Волконского военным министром.

Как бы то ни было, я не забыл, что именно генерал-адъютант Волконский изменил мою судьбу. Не знаю, стал ли бы я заниматься шпионской деятельностью, ежели бы не он. При всей нашей нынешней холодности отношений, я не могу этого не признать.

В свите Государя, отправившейся в Вильну, находится множество иностранцев: пруссак барон Карл фон Штейн, корсиканец Поццо ди Борго, отличнейшим образом мне известный финляндец Армфельт, британский агент Роберт Вильсон, немец генерал-майор Винценгенроде, эльзасец Анштетт (сын страсбургского адвоката, дипломат) и множество других. И все они без исключения – заклятые враги Бонапарте.

Сообщил мне П.И.Б. и официальную версию сего «переселения народов», коей верить нельзя, конечно.

В день отъезда Его Величества граф Николай Петрович Румянцев, канцлер, пригласил к себе французского посла графа Лористона и передал ему от имени Государя сообщить Наполеону следующее.

Его Величество в Вильне, так же как и в Петербурге, остается его другом и самым верным союзником (*son ami et son allié le plus fidèle*), что он не желает войны и сделает все, чтобы избежать ее, что его отъезд в Вильну вызван известием о приближении французских войск к Кенигсбергу и имеет целью воспрепятствовать генералам предпринять какое-либо движение, которое могло бы вызвать разрыв.

Не знаю, кто поверил сим словам, может быть, что и никто, а может, один лишь канцлер Румянцев, конечно, европейски образованный, но политически довольно-таки наивный, принял за чистую монету дипломатический ход нашего государя.

Как бы то ни было, но хочу на будущее записать собственное свое предположение, что нечто важное приближается и произойдет оно тут, в тихой и казавшейся мне поначалу столь сонной Вильне.

Апреля 14 дня. Седьмой час вечера

В два часа дня гром орудий и звон колоколов возвестили жителям Вильны о прибытии императора Александра.

В шести верстах от Вильны императора встречал военный министр и главнокомандующий Первою Западною армиею генерал от инфантерии граф Барклай де Толли.

Я был в свите главнокомандующего, помещаясь подле полковника Арсения Андреевича Закревского (впоследствии генерал-лейтенант, министр внутренних дел, финляндский и московский военный губернатор – позднее примечание Я.И. де Санглена), начальника артиллерии Первой армии генерала Кутайсова и дежурного генерала Кикина.

В предместье Вильны, что прозывается Антоколь, Его Величество ожидал виленский магистрат, а также все городские цехи со знаменами и литаврами. Приметил я, что с особым торжеством встречал Государя жидовский кагал, и он заметил это, что было видно по несколько изумленному выражению лица Государя.

Население заполнило не только улицы и площади Вильны, но и холмы, окружающие Антоколь, башни костелов и крыши домов.

При этом радости, как мне показалось, было не очень-то и много, а все больше любопытства и озабоченности. А вот жида, помещавшиеся отдельно, явно изливали свой восторг бурно и искренне: и невооруженным взглядом было видно, что они именно радовались приезду Российского Императора.

Апреля 15 дня. Одиннадцатый час ночи

Сегодня император Александр Павлович принимал в Виленском замке духовенство и представителей городских властей, а также профессоров местного университета, магистрат, купечество, а также еще и жидовский кагал – опору нашей Империи в здешнем крае.

Затем Государь в сопровождении главнокомандующего генерала от инфантерии Барклая де Толли, а также генералов Беннигсена, Аракчеева и генерал-адъютантов Балашова и Волконского производил смотры войскам и с этой целью ездил в Вилькомир, Шавли и Гродно.

Генерал-адъютанты Волконский и Балашов, кажется, смотрели на меня весьма кисло и, может быть, даже с сильным

неодобрением. Я также глядел на них не слишком радостно, но при этом отнюдь не робея и совершенно не смущаясь, без малейшего подобострастия.

Да, это не просто иметь в числе своих недоброжелателей двух генерал-адъютантов императора, двух его любимцев. Вся моя надежда – на мудрость Государя, на то, что Его Величество понимает истинную цену своих любимцев.

После обеда Государь Александр Павлович призвал меня и подробнейшим образом расспрашивал о настроении умов в Виленском крае, о том, находятся ли под наблюдением сочувствующие Бонапарту, о деятельности Высшей военной полиции при Первой Западной армии, о том, помогает ли нам население и о том, в какой мере можно опираться на местных полицейских чиновников, насколько можно доверять им.

Вечером граф Барклай де Толли давал ужин в честь Императора.

Я был в числе приглашенных. Сидел напротив министра полиции Балашова и обратил внимание, что Государь периодически взглядывал на нас двоих с любопытством и, слегка улыбаясь при этом.

Мне даже иногда казалось, что Александр Павлович как будто иногда подмигивал попеременно то мне, то Балашову.

На ужине был и мой давний знакомец – старый, многоопытный интриган барон Густав Мориц Армфельт, один из тех, кто повалил всесильного Сперанского.

Сей Армфельт, кажется, изменял всем, кому только это только было возможно.

Сам шведский барон и друг шведского короля, он в году, примерно, 1794-м был обвинен в государственной измене и бежал в Россию. В 1801-м году возвратился в Швецию, а в прошедшем году опять вступил на русскую службу:

Добрейший наш Государь Александр Павлович назначил эту старую, облезлую лису председателем комитета по финляндским делам, иначе говоря, верховным правителем Финляндии. Не многовато ли?

Как я уже говорил, барон Армфельт играл ведущую роль в интриге, завершившейся арестом и ссылкой государственного секретаря Сперанского. Видимо, по этой причине Его Величество и покровительствует ему.

А теперь барон Густав Мориц пожалован в графы Российской империи и назначен ни больше, ни меньше – членом Государственного совета (граф Армфельт умер в 1814 году в чине

генерала от инфантерии – позднейшее примечание Я.И. де Санглена).

Такого мастера урвать себе кусок пожирнее я в жизни не встречал, но умен он и проницателен он несомненно, хотя вместе с тем и страшен.

Апреля 16 дня. 10 часов утра

Вчера около одиннадцати часов ночи вместе со здешним полицмейстером майором Бистромом (он из Ковны), коллежским асессором Розеном и капитаном Лангом, как всегда неразлучными, мы отправились в бордельку пани Агаты Василькевич, дамы радушной, не по возрасту кокетливой и, увы, утомительно болтливой. Но издержки характера пани Агаты приходится принимать с полнейшей покорностью. Все дело в том, что ее заведение одно на всю Вильну.

Нет сомнения, что дом пани Василькевич должен быть попросторнее. Надо будет об этом позаботиться.

Выбеленная узкая комнатка с шелковой кушеткой в первую минуту оттолкнула убожеством. Но чувство это мгновенно улетучилось, едва я увидел девицу, которую подвела мне пани Василькович.

Откуда взялась в этой дыре столь тонкая, столь изысканная и нежная красота!

Узкое бледное лицо, оттененное длинными, загнутыми ресницами, выражало трогательную невинность, глаза, огромные, светлые как апрельское небо над Вильной, смотрели спокойно и ласково.

В ней не было и капли обычного кокетства, но тем неожиданнее была страстность ее объятий и ловкая умелость ласк. Я провел с ней несколько лихорадочных часов.

Девица была находкой, о коей стоило незамедлительно сообщить Александру Павловичу. Государь Император в Петербурге всегда отлично вознаграждал меня за подобные услуги.

Уповаю и теперь на щедрость Его Величества.

В нынешний момент я ведаю высшей воинской полицией при Первой Западной армии.

Сотрудничать с графом Барклаем де Толли приятно и легко.

Он человек умный, быстро понимающий чужую мысль и несомненно честный. Но вот является последнее качество достоинством, я не уверен. Во всяком случае, Государь Император сказал мне, однажды, что стране нашей нужны интриганы не менее чем люди честные.

Однако, вот что я иногда думаю. Конечно, хорошо быть не под Балашовым, но руководить воинской полицией при Первой армии, и это после Особой канцелярии при министре полиции, – все-таки не мелкогато ли это для меня, и тем более в сей самый момент, когда Российская Империя просто наводнена шпионами?! Все дело в том, что в Вильне пока до обидности как будто ничего не происходит – местные французы таятся.

Не могу забыть злорадной улыбки на лице министра полиции Балашова, когда он узнал, что я, начальник его Особой канцелярии, вынужден теперь заниматься, как он полагает с высоты своего министерского кресла, в общем-то делами довольно ничтожными.

А ведь еще недавно Балашов мучился острой завистью и, не уставая, плел интриги, потому что государь давал мне частные поручения, совершенно с ним не сносясь.

Но надеюсь недолго будет торжествовать этот плешивый мерзавец. Александру должна придтись по вкусу найденная мной девица, и тогда поглядим.

Да и так ли уж своекорыстны мои планы?

Теперь, когда Бонапарт грозит приблизиться к границам Российской Империи, Александру Павловичу особенно нужны верные люди. Вот через услаждение Государя приближение к царствующей особе людей верных престолу и произойдет.

Так девица пани Агаты и послужит интересам Империи.

Но тороплюсь. Государь ждет меня к полудню.

Апреля 16 дня. В 10-м часу вечера.

Как я и предполагал, Государя заинтересовала моя находка.

Аудиенция началась с обсуждения последних политических событий и предположений о возможных передвижениях армии Бонапарта.

Александр Павлович стал расспрашивать меня о сотрудниках моей бывшей канцелярии, интересовался, можно ли их использовать для собирания сведений о передвижении французских частей. Я, естественно, отвечал, что мои молодцы не подведут.

Разговор незаметно перешел на мое происхождение. Император прямо спросил, не сочувствую ли я Бонапарту. Вопросы Государя навели меня на мысль, что Александр Павлович прощупывает почву. Сердце подсказывало, что промышляется новое назначение, новая должность.

Потом Государь стал интересоваться моим виленским житьем, не особенно ли скучаю я тут после Санкт-Петербурга.

Тут я и поведал ему о вчерашней находке, обнаруженной в скромном домике пани Агаты. Рассказ о девушке Его Величество не оставил равнодушным.

И мы договорились, что сегодня к пяти часам дня я приведу девицу пани Василькевич к себе, в комнаты, снимаемые у купца Савушкина, и уйду, а Государь явится в начале шестого вечера.

По окончании аудиенции я кинулся к Агате Казимировне. Но дама неожиданно заартачилась, и хотя я ей сулил солидный куш, никак не соглашалась отпустить девицу ко мне на квартиру.

Увидев, что уговоры мои не действуют, я вынужден был намекнуть, кому предназначается сегодня сия юная особа. И тут Агата Казимировна сдалась мгновенно. Более того, она церемонно расшаркалась и решительно отказалась от вознаграждения, каким бы высоким оно ни было.

Перекусил я в трактире Янушкевича, что на Доминиканской улице. Надо привыкнуть к нечистоте местных трактиров, как и к их прескверному кислому вину (говорят, впрочем, что все сказанное не имеет ровно никакого отношения к славному в здешних краях трактиру Кришкевича, в коем я пока не был).

Выйдя из трактира, поспешил я назад к Агате Казимировне. Меня уже ждали. Девушка была в шерстяном белом капоте. Головка ее была закутана на восточный манер в голубую мягкую шаль, так что видны были только приветливо улыбающиеся глаза. Тайна ей очень шла.

Минут через двадцать мы уже подходили к дому купца Савушкина.

Я молниеносно отпер дверь и вручил ключ своей спутнице. Через минуту я был на улице.

Вернулся я к себе в семь вечера. Дверь была не заперта. Государь сидел у стола и что-то писал. Питомицы Агаты Казимировны уже не было.

При моем появлении Александр Павлович тут же отложил перо, встал и с чувством пожал мне руку.

– Девица твоя поистине прелестна. Признателен тебе за необыкновенно удачную находку, Санглен. Да, ты просто создан для сыска. Имей в виду – я буду всегда об этом помнить. И знай, что я не люблю быть неблагодарным.

Слова Государя бальзамом пролились на мое сердце.

Мы еще поговорили с полчаса, потом я проводил Его Величество в Виленский замок.

Вернувшись к себе, я разбираю бумаги, читаю донесения местных полицейских чинов, но, как припоминаю, не очень-то был способен понять, заключенный в них смысл.

В эти минуты я способен был думать только о том, изменит ли мою судьбу сегодняшней визит Государя.

Мне показалось, что Его Величество чувствовал и выражал искреннюю признательность ко мне. В общем, я очень надеюсь на благотворные перемены, и весьма скорые.

В сем благодушном настроении отправляюсь исполнять храповицкого!

Апреля 17 дня. После четырех часов пополудни

Проклятый Балашов! Встречаю его повсеместно в городе. Ясно чувствую, что его напряженный ненавидящий взгляд как штык упирается мне в спину.

Болезненную зависть его стал примечать и Государь и даже как будто забавляется этим. В присутствии своего министра полиции Александр Павлович не упускает случая демонстративно выказать мне свое расположение.

Разделяя и властью. Император, надо полагать, опасается того, чтобы министр полиции и директор высшей воинской полиции жили в ладу. Такой союз представлял бы собой серьезную силу.

Потому он не только рассорил нас, но и пристально следит, чтобы мы не примирились. Сегодня я получил тому доказательство.

Балашов квартирует в доме Лавинского, гражданского губернатора здешнего края.

Сразу же по приезде своем в Вильну, Александр Дмитрич прислал мне ласково составленную записку, предложил встречу. Желая не обострять весьма не простых наших отношений, я немедля явился на его зов.

Балашов принял меня радушно, старался показать, что все обиды забыты. Я ни на грош не верю сему хитрому и многоопытному картежному шулеру, но примирение ведь в интересах Александра Дмитрича, да, собственно, и в моих.

Наш разговор состоялся часов в одиннадцать утра. Мы уговорились, что непременно увидимся на следующий день.

Обедал я у графа Барклая де Толли.

Главнокомандующий Первой армии, и он же по совместительству военный министр, со всем своим штабом разместился в Виленском замке. Супруге его почему-то был отдан целый этаж. На этой женской половине и был устроен обед, церемонный и прескучный.

Надо сказать, что граф Барклай де Толли, известный храбростью и неустрашимостью на поле боя, панически боится супруги своей.

Эта сухая, плоскогрудая немка, говорит тихим, свистящим голосом, который действует на графа пуще любой канонады.

Я не раз наблюдал как в присутствии жены длинное узкое лицо главнокомандующего еще пуще вытягивается, превращаясь в короткий пробел между двумя массивными бакенбардами.

Все основные назначения в Первой армии во многом, увы, определяются графинею. Но прежде всего она отбирает для главнокомандующего адъютантов, и немцев и русских, и держит их всех под своим покровительством и контролем.

Они и составляют ее двор. Они в полном составе и присутствовали на обеде.

За столом я оказался рядом с дежурным генералом Кикиным.

Его круглое, всегда готовое к улыбке лицо почему-то отнюдь не вызывает у меня доверия.

Были на обеде состоящий при особе Государя генерал от кавалерии барон Беннигсен и генерал-майор Винценгероде. Первый мне показался до невозможности заносчивым и, кажется, изрядным интриганом. Но мало ли в свете заносчивых генералов?! Удивляюсь я при этом совсем другому обстоятельству.

Император Александр Павлович изгнал с глаз долой всех убийц своего несчастного отца – благороднейшего российского императора Павла Петровича. А вот Беннигсена он все еще упорно держит при своей особе.

Между тем, именно генерал Беннигсен был тем, кто нанес последний удар по телу императора Павла – добил его. И ведь все об этом знают (на острове Святой Елены Наполеон говорил: «Генерал Беннигсен был тем, кто нанес последний удар: он наступил на труп» – позднейшее примечание Я.И.Санглена). Поразительно, как он умеет сохраняться на плаву!

В общем, генерал от кавалерии Беннигсен решительно и сразу мне не понравился. А вот к генерал-майору Винценгероде я сразу же почувствовал особое расположение: видно, что это человек необыкновенной храбрости и благородства, хотя и чересчур резвый.

В русской службе он с 1797-го года. В 1802-м году был пожалован генерал-адъютантом императора Александра Павловича, но потом вернулся в австрийские войска, в коих служил прежде. Однако в этом году, в виду возможной войны с Бонапартом, добровольно прибыл к нашему Государю

(впоследствии дослужился до генерала кавалерии. Именно он, а не Денис Давыдов, руководил в 1812-м году партизанской войной. Вообще проявил себя храбрецом и патриотом нашей Империи. Прослышав, что Наполеон собирается взорвать Кремль, он взял белый флаг и явился в Москву, намереваясь упрашивать французов не взрывать Кремль. Но у него отобрали белый флаг и арестовали. Генерала Винценгероде отбил потом один из его партизанских отрядов – позднее примечание Я.И. де Санглена).

По завершении обеда мы с графом Барклаем уединились в кабинете. Мне было сообщено, пока неофициально, о будущем моем назначении. Государь намеревается поручить мне всю высшую воинскую полицию при военном министре, то есть сделать министром военной полиции. Накануне войны должность эта не маленькая, отнюдь.

Глядя в бледные, как шотландские озера, глаза графа, я вспомнил улыбающиеся сквозь голубую шаль глаза. Ладонь моя все еще хранила ощущение ее волшебного плеча.

Теперь под мое начало отойдет и городская полиция Вильны. Надо приказать сделать список всем жителям, особо обозначив тех, которым не следует слишком доверять.

Граф как будто собирался дать мне несколько разъяснений, касающихся моей будущей работы, но неожиданно сам себя прервал вопросом, чрезвычайно удивившим меня:

– Санглен, ты сегодня видался с Балашовым?

Я не в силах скрыть изумления, спросил у Барклая (кстати, разговариваем мы всегда только по-немецки):

– Как вам это стало известно, граф?

– Мне рассказал Государь. У меня сегодня была с ним аудиенция в двенадцать.

Досада! Итак, за мной следят. Следят за профессиональным шпионом, который слежки и не заметил. Я стал мысленно перебирать возможных доносчиков. И быстро нашел ответ – губернатор Лавинский, в доме у которого остановился Балашов.

– Государь недоволен вашей встречей с Балашовым – монотонным голосом произнес князь. – И настоятельно просил передать вам прекратить с министром Балашовым впредь всякие сношения и это во избежание монаршего гнева. Передаю слова государя de texto - подытожил главнокомандующий.

Я поклонился в знак согласия.

Все было ясно как божий день.

Итак, мы с Балашовым обречены на продолжение вражды.

Делать нечего. Придется повиноваться. Значит, мы с ним завтра не встретимся, и он вконец озлится на меня.

Но что Балашов делает в Вильне? И что будет тут делать в дальнейшем? Возможно, Государь намерен давать ему какие-то параллельные поручения.

Мне стало ясно, что Александр Павлович будет и дальше разжигать нашу обоюдную ненависть.

Нужно быть начеку. Государь любит играть своими шпионами, быть хитрее и проныцательнее их. Он любит их стравливать, как владелец псарни – своих собак.

Обо всем этом я размышлял, возвращаясь домой от графа Баркляя де Толли.

В пять назначена была встреча с надворным советником Шлыковым, человеком дельным, расторопным, сметливым. Он неизменно доставлял ценные сведения, хотя, конечно, до прежнего моего заместителя Максима Яковлевича фон Фока ему ой как далеко!

Но все равно Шлыков не без достоинств. Я знал его еще по министерству полиции и, перейдя под начало военного министра, просил прикомандировать его ко мне.

Ужинал я у графа де Шуазеля, страстного поклонника Бонапарта.

Граф скрытничал, остерегался сказать лишнего, но я все-таки сумел из него кое-что вытащить. Несколько имен, несколько возможных нитей.

Камергер Коссаковский, его прелестная племянница и граф Тышкевич с сыном.

С графом Коссаковским я уже знаком. Он показался мне легковесным острословом и слишком уж страстным поклонником южных вин.

А племянница его? О, сия девица давно занимает мои мысли. Я слышал об ее изысканной красоте.

На дворе – глубокая ночь. Меня клонит в сон. Завтра аудиенция у императора Александра.

Государь ждет подробного отчета о работе воинской полиции и настроениях в Вильне.

А с Балашовым теперь начнется неминуемая война. Все сначала.

Министр полиции, конечно, не простит мне, что я завтра не явлюсь к нему на условленную встречу. Не простит и будет прав.

Но выхода нет. Я не могу ослушаться Государя.

А ведь Балашов не так еще давно был моим благодетелем и покровителем – никак не могу забыть этого.

В начале царствования императора Александра он был сделан исправляющим должность петербургского военного губернатора. Я его помнил по юности своей в Ревеле, где он при императоре Павле был военным губернатором.

Явился я к Балашову в Петербурге, и он сразу же предложил мне служить при нем – я возглавил иностранное отделение.

В 1809-м году открылось министерство полиции и Балашова назначили министром. Он попросил меня написать устав министерства, и сей устав был утвержден Государем без малейшей поправки. Вскоре я был сделан правителем Особой канцелярии при министре полиции.

В этом звании я с Балашовым жил в добром согласии, как вдруг явились обстоятельства совершенно от меня не зависящие.

Натурально, что я старался все заготавливаемые для Государя доклады писать сообразно тому, как говорил мне Балашов. А он говорил мне: Государь любит, чтобы доклады были как можно более сокращены, переписаны четкой рукою и на хорошей бумаге.

Один раз министр сказал мне с видом явного неудовольствия: «Только ваши доклады сходят, а прочие, из других департаментов, я привез назад».

Через некоторое время объявил он мне, возвратясь от Государя: «Поздравляю вас», и ироническая улыбка явилась на устах его, «Государь приказал вам исправить доклады прочих департаментов».

Хотя я и видел, что мне предстоит беда, т.е. неминуемая сора с министром и благодетелем моим, но делать было нечего, и самолюбие не позволяло пренебрегать докладами.

Однажды Балашов с величайшим неудовольствием сказал мне: «Государь приказал мне брать вас с собою в Царское Село, чтобы вы, в случае неисправности, поправляли доклады других департаментов». И прибавил еще сердито: «Только ваши доклады и хороши».

С сего времени я уже всегда ездил с министром в Царское Село.

Но это еще не все. В декабре 1811 года, пополудни в 6 часов, вошел ко мне дежурный офицер с докладом, что меня желает видеть Зиновьев. Я думал, что это друг Балашова камергер Зиновьев, снабжавший министерский стол фруктами, и велел ему

отказать. Дежурный воротился и объявил, что Зиновьев утверждает, будто имеет крайнюю нужду до меня.

Входит низенький, тоненький человек, который требует говорить со мной наедине. На вопрос мой «с кем имею честь говорить» он отвечал: «Я камердинер Его Величества». Я ввел его в свой кабинет, где он вручил мне записку. Можно представить себе мой испуг – то была рука Императора.

Через несколько дней Зиновьев явился опять. Он пришел с объявлением: «Государь вас ожидает».

«Я только прошусь с женою и детьми» – сказал я.

Зиновьев ответил мне: «Сделайте милость, никому о том не говорите. Государь именно это как раз и запретил».

Однако я не послушался, ибо был убежден, что Балашов жаловался на меня Государю. Я страшился ареста.

Под предлогом переодеться я пошел к жене и просил ее не беспокоиться. «Вероятно, на меня донесли – говорил я ей – может быть, куда-нибудь ушлют, но я увижу Государя и буду просить об отправлении всех вас ко мне».

Мы сели с камердинером в сани и нас повезли к маленькому подъезду. Повели меня по множеству лестниц. Наконец, Зиновьев ввел меня в небольшую комнатку, в которой стояли комоды и шифоньеры, и просил меня тут обождать. Нигде не было свеч – темнота наводила на меня дурные предчувствия. Я все более утверждался в мысли, что буду отправлен.

Наконец, сквозь щель двери в другой комнате появился свет – зажглись свечи. Дверь отворилась, и Император стоял передо мною. Я поклонился.

Государь с удивительно милостивою улыбкой сказал мне: «Entrez, je vous prie».

Я вошел, Император сам притворил дверь и сказал: «J'ai désiré faire votre connaissance, pour vous demander quelques renseignements sur des articles, que je ne puis bien concevoir, et que vous devez connaître».

Я подумал: «Не полагает ли Император, по фамилии моей, что я француз?» и отвечал: «Государь! Я русский и на отечественном своем языке изъясняюсь не менее свободно, чем на французском».

Государь засмеялся и сказал: «Очень рад, ведь и я русский. Будем говорить по-русски».

Погодя немного, он продолжал: «Вы имели, я думаю, случай заметить, что я вашими трудами доволен».

Я поклонился.

Государь заметил: «Я хотел бы получить некоторые разъяснения. Вот в чем состоит дело. Министр полиции Балашов жаловался мне на вас, но я хорошенько не понял, что, собственно, произошло».

Я отвечал: «По долгу моему, я часто делаю представления господину министру, которые не всегда принимаются с тою благосклонностью, какой бы требовала чистота моих намерений. Но в точности мне неизвестно, в чем состояла жалоба господина министра».

Начиная с этой встречи, Государь стал мне давать private поручения. Тут мы с Балашовым окончательно разошлись: благосклонности ко мне Императора Александра Павловича перенести он, конечно же, никак не мог.

Апреля 18 дня. Два часа пополудни

Завтракал с майором Бистромом в трактире, который держит некто Кулаковский на углу Немецкой и Доминиканской улиц. Отличное заведение: чисто, вкусно и притом не дорого.

Майор утверждает, что граф Коссаковский водит странные знакомства. Я приказал Бистрому установить наблюдение за домом камергера.

Вернувшись после завтрака к себе, я принялся разбирать свою корреспонденцию: ее скопилось предостаточно – три дня у меня не было ни малейшей возможности прикасаться к письмам, не считая, конечно, тех записочек, которые приносил мне императорский камердинер Зиновьев.

Копаясь в своей почте, ничего особенно ценного я в общем-то не обнаружил. Мое внимание привлекло только свеженькое донесение надворного советника Шлыкова.

Там было отмечено, что буквально каждый день, от пяти до шести, у графа де Шуазеля неизменно собирается одно и то же общество: аббат Лотрек, граф Коссаковский и граф Тышкевич.

Постоянно к ним присоединяется одна дама (судя по фигурке, чрезвычайно молоденькая), но кто она, нет никакой возможности узнать: дама входит в дом де Шуазеля, будучи плотно закутанной в голубую шаль.

Я тут же отписал Шлыкову, приказывая в точности узнать следующее: когда заговорщики (а это, несомненно, были заговорщики) станут расходиться, то необходимо проследить, куда направится дама и немедленно сообщить мне.

В пять часов у меня встреча с Государем.

Апреля 18 дня. После десяти часов вечера

Мы встретились, как и уговаривались, у Замковых ворот.

Государь был в духе, подробнейшим образом расспрашивал меня о полученных донесениях, весьма заинтересовался сообщениями надворного советника Шлыкова, подчеркнул – очень важно узнать, кто же эта дама в голубой шали.

Когда мы подошли к кафедральному костелу, Государь остановился, резко повернулся ко мне и сказал:

– Любезнейший Яков Иванович, буквально сегодня я получил уведомление от берлинского обер-полицмейстера Грунера, что в Вильне уже несколько месяцев как скрываются французские офицеры, шпионы – их должно непременно отыскать, арестовать и допросить. Ты сможешь сделать это?

Я тут же кивнул в знак согласия и спросил Государя, известны ли имена французских офицеров или, может быть, в уведомлении означены какие-либо их приметы.

Нет, – отвечал Государь, – но их отыскать должно. Ты знаешь, в таком деле я тебе одному верю. Веди розыск так, чтобы никто об этом ничего не знал.

Прощаясь, Государь пожал мне руку и сказал:

– Поздравляю, Яков Иванович. Ты, наконец-то, произведен в генералы полиции и назначен командующим военной полицией при военном министре Михаиле Богдановиче Барклае де Толли.

Я ждал этого, но все-таки потрясение было слишком сильным. Видимо, я изменился в лице, ибо Государь понимающе улыбнулся и даже похлопал меня по плечу.

Расставшись с Государем Александром Павловичем, я тут же созвал своих чиновников и поручил трем из них, наиболее надежным, ходить каждый день по разным трактирам, там обедать, все рассматривать, выведывать и мне о том докладывать.

Виленскому же полицмейстеру Вейсу приказал строжайшим образом наблюдать за приезжими из герцогства Варшавского и чтобы он каждый день отчитывался передо мной.

Вернулся я домой часам к семи, усталый, но довольный, окрыленный долгожданым назначением. Но дома меня ожидали неприятности в виде срочной записки от надворного советника Шлыкова.

Он проследил сегодня за дамой в голубой шали.

От графа де Шуазеля она вернулась в домик Агаты Казимировны и осталась там. Вот так-то. Ни больше, ни меньше.

Я тут же припомнил, что прелестная питомица пани Агаты была закутана в голубую шаль, припомнил и ветхозаветную Юдифь и, находясь в состоянии какого-то дикого, немислимого бешенства, ринулся к пани Василькевич.

Как только утомительная болтушка Агата Казимировна увидела меня, улыбка тут же исчезла с ее лица, и она даже отшатнулась. Полагаю, что я был весьма си весьма страшен в этот момент.

Мой рык огласил своды ветхого домика. В дверь кабинета стали заглядывать испуганные девицы, в числе коих была и новая избранница императора Александра. Узнав ее, я обернулся, схватил ее за руку и страшным рывком втащил ее в кабинет. Агата Казимировна буквально билась в истерике, а вот девушка смотрела на все происходящее совершенно спокойно, даже как будто с любопытством.

– Все бумаги сюда, старая потаскуха, – рявкнул я.

Агата Казимировна, не переставая рыдать, дрожащей рукой отомкнула сейф и стала вытаскивать оттуда аккуратно сложенные стопки бумаг.

Я уже как будто спокойнее сказал: – Признайся: так ты служишь Бонапарту? Неужели это так?

Рыдания пани Василькевич многократно усилились. Впрочем, они мне казались немного театральными. Конечно, сильный испуг был, но еще она была на жалость – сие несомненно.

После Агаты Казимировны я обратился к девушке, коей испуг, кажется, так и не коснулся:

– А ты что же (и тут я употребил неприличное выражение) собиралась убить императора России?

Она молчала, но в уголках ее губ змеилась улыбка. Чувствовалось, что сама мысль об убийстве Государя, которую я только что озвучил, доставляет ей наслаждение.

– Как звать-то тебя по-настоящему? – набросился я на нее

Она ответила сразу, не раздумывая: в нежном голоске ее дрожал не скрываемый вызов:

– Я – графиня Алина Коссаковская.

Глаза ее при этом полыхнули злым огнем. Я совершенно обомлел и крикнул вне себя:

– Да тут и подлинно заговор. Может, и правда, это не бордель, а дворец, коли тут графини обитают? Отвечай: как и почему ты попала сюда? Кто прислал тебя?

– Меня прислал император Франции, – ответила она, нагло усмехаясь.

Я остановился и не знал, что и сказать. В голове у меня промелькнула мысль: «Необходимо немедленно арестовать ее». Но тут же я сообразил, что арест девушки означал бы полное фиаско моей карьеры, ведь это именно я бросил Александра Павловича в объятия убийцы.

Никто не должен знать, что новоявленная наперсница нашего Государя действовала по наущению самого Бонапарта. Так что, моя тетрадка, ты уж не открывай никому то, что я тебе сейчас поведал.

– В общем так, пани, – сказал я. – Через час никого из вас тут не будет. Ни единой девицы. Имейте в виду: через час эта обитель разврата будет предана огню. И желаю вам со мною более никогда не встречаться.

Схватив в охапку бумаги, я завязал их в платок, который услужливо подала мне Агата Казимировна, и выбежал, не оглядываясь.

Когда я вернулся через час, домик был совершенно пуст. Через полчаса все здание пылало.

Вот такой веселенький был день сегодня, завершившийся удачным праздничным фейерверком.

Апреля 19 дня. Пять часов пополудни

Государь безутешен и даже пребывает в несомненном отчаянии.

Полицейстер Вейс почему-то распространяет версию, что домик Агаты Казимировны сгорел вместе со всеми его обитательницами. Полагаю, он по лености своей делает это с той целью, чтобы не надо было совершать розыск пропавших девушек и их милейшей наставницы. А я благодарю Бога, что удалось своевременно обнаружить затевавшееся чудовищное покушение.

В полдень пришло донесение от надворного советника Шлыкова. Он сообщал, что Агата Казимировна со своими воспитанницами отправилась в сторону Варшавы, но графиня Коссаковская, по выезде из Вильны, отделилась от них и исчезла в неизвестном направлении. Впрочем, Шлыков обещает еще навести на сей счет самые подробнейшие справки. Однако мне-то лично пойма девушки совсем не с руки.

Отобедал я с тремя чиновниками моего ведомства. Им было поручено ходить по трактирам и вылавливать французских офицеров. Чиновники мне рассказали, что видели в трактирах людей министра полиции Балашова, отряженных, видимо, с той же целью, что и они.

Это известие ужасно меня задело, и я решил сам ходить по трактирам и во что бы то ни стало опередить негодяя Балашова. Не хватало еще, чтобы он первым обнаружил агентов Бонапарта!

У Замковых ворот встретил полковника Закревского – он заведует Особой канцелярией при Барклае де Толли и вообще заправляет тут, увы, довольно многим.

Закревский – продувная бестия, интриган, обманщик и вдобавок ко всему хам. Оглядывая меня с нагловатой усмешкой, он спросил:

– Ну что, Яков Иваныч, много ли французских офицеров отыскали вы в Вильне? Есть чем порадовать Императора Александра?

Я выпустил из себя сладчайшую улыбку, пробормотал «Ищем, ищем, Александр Арсеньевич» и пустился дальше.

Я как раз спешил в трактир Кришкевича – это самый чистый и во всех отношениях превосходный трактир в Вильне, так что если где и обитать французским шпионам, то именно тут.

У Кришкевича каждый день с 12-ти до 4-х пополудни и позже можно найти вкусный обед по самой умеренной цене (15 копеек за порцию); к ужину собираются с 9-ти часов вечера. **Говорят, посетители этого трактира имеют право пользоваться каждый год бесплатно угощением в сочельник пред Рождеством Христовым, а в продолжении святой недели пасхою.**

В этот час народу у Кришкевича было не много. Мое внимание привлек один поляк. У него явно была военная выправка. Он пил напропалую шампанское и нещадно бранил Наполеона. Посетители и те, кто прислуживал в зале, его явно сторонились и глядели на него с несомненною опаскою. Я же подошел и завел с ним разговор.

Он еще сильнее припустился на Бонапарта, явно высматривая, какое впечатление производят его слова. Тогда я стал поругивать, прости мне Бог, Александра Павловича.

Тут пришел черед испугаться поляку. Он недоверчиво посмотрел на меня и замолчал. Посетители стали улыбаться. Отсев за отдельный столик, я написал записку полицмейстеру Вейсу, дабы он прислал поляка ко мне к семи часам вечера.

Времени еще было достаточно. Я прошелся по Доминиканской и Свенто-Янской улицам, встретил генерал-интенданта Егора Францевича Канкрин (впоследствии министр финансов и автор многих книг, от учено-экономических до романов – последнее примечание Я.И. де Санглена). Он шел под своим неизменным зеленым зонтиком.

Канкрин, конечно, невероятный чудак, но умница необыкновенный (говорят, он жидовского происхождения). И в нем есть какая-то странная и даже неожиданная для финансиста честность.

Сей Канкрин, кстати, тоже знает, что мне велено искать французских офицеров и вообще знает про агентов Бонапарте.

Господи, хоть бы мне удалось сохранить тайну графини Коссаковской!

Апреля 19 дня. Одиннадцать часов ночи

Поляк явился ровно к семи вечера, как и было ему назначено.

Я потчевал его чаем, расспрашивал об его житье-бытье. Разговора о политике не было и в помине.

«Гость» поведал мне, что с двумя своими товарищами хотел бы возвратиться в Варшаву, но что, вероятно, теперь никого не пропустят. Я отвечал, что попробую ему помочь в сем деле.

Тут же вызвал к себе на квартиру начальника моей канцелярии Протопопова, чтобы записать имена поляка и его двух товарищей и заготовить им паспорта.

Пока тянулась эта канитель, полицмейстер Вейс вместе с коллежским асессором Розеном и капитаном Лангом, как всегда, неутомимыми, по моему распоряжению, предварительно ими полученному, произвели в квартире поляка сокрушительный обыск.

Я приказал им взломать полы, а в случае нужды – трубы и печи. Сам же старался как можно долее задержать своего гостя. Он, кстати, назвался, шляхтичем Дранженевским, никогда не служившим в военной службе.

Около восьми часов явился полицмейстер Вейс, вымазанный в саже и известке, весь обсыпанный древесной пылью, но бесконечно счастливый, с застывшей на лице блаженной улыбкой.

Я вышел из комнаты, приказав караулу гостя не выпускать.

Вейс, находившийся в состоянии какого-то лихорадочного возбуждения, вручил мне следующие бумаги, которые были обнаружены в печной трубе и под полом: 1) инструкция генерала Рожнецкого, данная поручику Дранженевскому 2) патент на чин поручика, подписанный самим Бонапарте 3) записки Дранженевского о нашей армии и наших генералах. И еще полицмейстер представил мне замшевый пояс, в который было вложено пять тысяч червонцев (нужно проверить – не фальшивые ли они; Вейс обещал выяснить).

Со всеми этими бесценными сокровищами я вернулся в комнату и начал форменный допрос поручика.

Тот был в ужасе. Казалось, глаза у него вылезут из орбит.

Я подумал даже, что он заплачет или грохнется в обморок при виде бумаг, которые я вывалил на стол.

Отпираться было бессмысленно, и он во всем почти сразу сознался, назвав имена и двух своих товарищей. Получив от Дранженевского их адреса, я отдал приказ Вейсу, Бистрому, Розену и Лангу взять с собой еще шестерых солдат из караула и арестовать сообщников поручика Дранженевского.

Не успели еще все они отправиться, как меня срочно призвал к себе Государь.

Только завидев меня, Александр Павлович сразу же сказал:

– Санглен, ты так никого и не смог до сих пор отыскать, а вот Балашов – молодец! Он уже представил мне трех шпионов. Это – французские офицеры, им обнаруженные. И я велел уже их арестовать.

– А представил ли Балашов Вашему Величеству документы о французских шпионах? – резонно осведомился я и тут же добавил: – Доказательства тут совершенно необходимы, а то любого иностранца можно объявить шпионом.

Государь сказал, поглядывая на меня несколько изумленно – Его Величество, как видно, полагал, что известие о балашовской «победе» повергнет меня в прах, и еще он, видимо, не мог предположить, что министр полиции станет его надуть:

– Нет, никаких бумаг Балашов мне не представил, но думаю, что все сделано по форме. И он еще представит все что следует. Ты-ка лучше о своих успехах расскажи

Я тут же ответил:

– Ваше Величество, позвольте мне завтра утром представить трех французских шпионов с документами: среди них один поручик и два статских чиновника.

– Как же это? – изумился Император. – Ты хочешь сказать, что Балашов меня обманывает? Да? Я правильно понимаю?

– Государь – сказал я как можно невозмутимее – это обычный полицейский прием: схватить первых попавшихся бродяг, выдать их за шпионов и отправить подальше, чтобы молчали. Насколько я знаю, именно так поступал граф Пален при вашем батюшке императоре Павле I.

– Санглен, быть того не может – отвечал Государь. – Я не могу поверить в обман Балашова. Это – преданный мне человек.

Я спокойно, не меняя тона, продолжал: – Ваше Величество, пойманные мною шпионы с документами, среди коих инструкции, переписка, патент на офицерский чин, подписанный самим Бонапартом. Я без ясных доказательств никого представить не осмелюсь.

– Хорошо – сказал Государь. – Я велю к тебе прислать балашовских «шпионов». Допроси их и не медля донеси мне потом, что это за люди. И узнай, какие обнаружены при них бумаги. Я думаю, что ты не прав. Балашов не может меня так обманывать.

На этом аудиенция и закончилась.

Вернувшись к себе, я приказал отдать под караул поручика Дранженевского, а сам до двух часов ночи бился с двумя его напарниками.

Это были статские чиновники, посланные в Вильно из Варшавы резидентом Наполеона бароном Биньоном (Л.П.Э.Биньон, впоследствии известный французский историк – позднейшее примечание Я.И. де Санглена).

При них довольно легко были отысканы и соответствующие инструкции за подписью барона. Однако сознаваться сразу поляки почему-то не захотели – упрямылись, тем не менее к двум часам ночи решительно и бесповоротно сдались, поведав мне все, что знали, назвав все известные им имена и адреса.

В общем, работа варшавского бюро стала, кажется, более или менее высвечиваться.

Записи произведенных допросов непременно покажу Его Величеству при первой же нашей встрече.

Да, еще когда я разбирался с поручиком Дранженевским и его подручными, пришло донесение от надворного советника Шлыкова.

Поручик сообщал мне, что никаких следов исчезнувшей девушки из заведения пани Василькевич обнаружить пока не удалось, а вот Агата Казимировна со своими питомицами уже обосновалась в Варшаве и даже начала, кажется, сразу процветать.

О прелестной же Алине Коссаковской, – ни гугу: как сквозь землю провалилась, и слава Богу, что так. Надеюсь, что эта чертовка окажется хитрее нашего Шлыкова. Хорошо, что тут нет фон Фока – он бы непременно отыскал Алину.

Апреля 20 дня. Шесть часов вечера

С утра мне прислали, как Государь давеча и обещал, балашовских «шпионов». Ими оказались ...бедные польские шляхтичи, ни в чем предосудительном совершенно не замешанные и страх как сами напуганные.

Никаких секретных бумаг (как то: инструкций, донесений) при них не было и в помине.

Вот вкратце их история: они не имели средств к пропитанию и ходили по домам просить милостыню.

Поняв, с кем имею дело, я тут же отпустил их на свободу и известил запиской о принятом мною решении графа Баркляя де Толли.

Можно себе представить гнев Балашова, когда он узнает обо всем (а узнает он об этом непременно сегодня же – полагаю, что от губернатора Лавинского, а может и от самого Александра Павловича).

Потом я стал опять допрашивать Дранженевского и двух его сподручных. Один из них совершенно раскаялся и выразил желание помогать Высшей воинской полиции – его я оставил при себе – ввел к нам в штат, положил оклад и отдал в распоряжение полицмейстера Вейса.

А сам поручик Дранженевский и один статский были отправлены в Шлиссельбург, в крепость. Все изъятое у них бумаги через Баркляя де Толли я представил Государю.

Майора Бистрома я послал полицмейстером в Ковно – там обстановка становится все более и более напряженной и даже опасной.

Весьма интересную записку прислал надворный советник Шлык: он нашел доказательства связей герцогства Варшавского с виленским купцом Менцелем.

Я тут же приказал коллежскому асессору Петру Филиппычу Розену установить наблюдение за домом купца и незамедлительно сообщать мне обо всех, кто бывает там.

В полдень явился ко мне виленский аптекарь, косматобородый, но с чистыми, по-детски ясными глазами. Это – некто Закс, имеющий тут репутацию большого знатока Каббалы, книги, в коей, говорят, содержится великое множество жидовских тайн (помню что-то только про то, что буквы их жидовского алфавита есть дыхание Бога, сотворившего миры – кажется, так).

Я кое-что слышал об аптекаре от полицмейстера Вейса, но никогда доселе не видывал его. В частности, знал, что он видный представитель виленского кагала, пользующийся тут большим почетом.

Русским Закс владеет не важно, так что разговаривали мы по-немецки. Разговор, впрочем, был достаточно короток, да в общем дело было и не в разговоре, а в том замечательном даре, который преподнес мне сей виленский каббалист.

Закс вытащил из кармана засаленный бумажный пакет, из коего извлек надорванный листок. Я сразу приметил, что там есть, какое-то сообщение, набранное типографским способом. Придвинувшись поближе, я вдруг увидел, что сообщение сделано на французском.

А взяв листок в руки, я сообразил, что передо мной – обращение Бонапарта к своим солдатам. Начав читать, сразу же обратил внимание, что там речь идет о покорении России и о победе над императором Александром; вообще текст был составлен в высшей степени высокопарно и хвастливо.

«Так-так-так – пронеслось у меня в голове – а как же регулярные уверения в мире и дружбе, коими полны послания Бонапарта к нашему Государю?..»

У Закса же я спросил: «Вы можете оставить мне это?»

Он тут же в знак согласия мотнул головой и радостно заулыбался. Я хотел заплатить ему, но аптекарь решительнейшим образом отказался.

Между прочим, интересно, что им движет больше – любовь к России или ненависть к полякам?

Как только аптекарь Закс ушел, я тут же бросился со своим приобретением к Барклаю де Толли.

Михаил Богданович был доволен сверх меры и сразу же заторопился к Государю.

Александр Павлович передал с ним для меня благодарственную записку – ее недавно принес ко мне на квартиру адъютант главнокомандующего.

Когда я вернулся, меня опять ждал аптекарь. «Что еще?», – спросил я у него. – «Может быть, ты хочешь назад бумагу?»

Закс отрицательно мотнул головой.

«Что же тогда?» – спросил опять я.

«Мой сын готов выполнить любое ваше поручение. Он хочет помогать вам», – тихо, но уверенно промолвил аптекарь.

Такого поворота я никак не ожидал. Пытаясь, смазать, скрыть непроизвольно выскочившую улыбку, я обратился к аптекарю Заксу с такими словами:

– Сколько же вы хотите?

Аптекарь отшатнулся при этих словах, а потом прошептал, причем, достаточно внятно:

– Мой сын за это ничего не возьмет; слышите – ничего. И ни при каких обстоятельствах.

– Ладно, – сказал я. – А польский он знает?

Видно было, что аптекарь просто оскорбился этим вопросом. И в самом деле, он сказал почти возмущенно:

– Мой сын знает много языков.

– Сколько же? – насмешливо спросил я.

– Он читает по-арамейски «Зоар», что означает, к вашему сведению, «книга сияния», «книга блеска» (конечно, сияния божественного), и еще говорит на девяти языках.

– Хорошо, хорошо. Пусть завтра с утра подойдет ко мне – я отправлю его в Варшаву. Будет одно срочное поручение. Выехать придется завтра же.

Старик был вне себя от радости – он явно был счастлив, что потрафил своему сыну, что выполнил просьбу своего ребеночка.

А я мысленно представлял, как во время вечерней прогулки с Барклаем де Толли буду пересказывать в лицах эту забавную сценку.

Да, кажется, у меня появился новый агент. Посмотрим, какой будет из него толк. Скоро это станет ясно.

Апреля 20 дня. В 10-м часу вечера

Гуляли мы в парке, прошли Замоквые ворота и Замоквую улицу, дойдя до костела. К нам присоединились дежурный генерал Кукин, полковник Закревский и генерал-интендант Егор Францевич Канкрин, чудак, умница и финансовый гений (явный жид).

Егор Францевич всех смешил – он и в самом деле бывает уморителен. Но наслаждаться Канкриным пришлось, увы, совсем не долго: Барклай де Толли довольно скоро отвел меня в сторону. И вот что он мне рассказал.

За отыскание французских шпионов полицмейстеру Вейсу дан орден святого Владимира 4-й степени, мой правитель канцелярии произведен в новый чин. Я один, все это провернувший, остался ни с чем.

Мне пришлось довольствоваться тем, что другим достались награды за мои труды и за неукоснительное исполнение моих приказаний. Барклай де Толли добавил доверительно: «Вас обошли, чтобы Балашов не обиделся – все-таки он министр».

Еще Барклай поведал мне, что полякам, арестованным по приказанию Балашова и отпущенным мною, Государь приказал выдать по сто рублей ассигнациями.

Барклай также сообщил весьма торжественно: «С завтрашнего дня вы официально вступаете в должность начальника Высшей воинской полиции при особе военного министра. Его Величество велел вас поздравить».

Вернувшись с прогулки, я, не смотря на крайнюю усталость, занялся разбором накопившейся корреспонденции, особенно обращая внимание на донесения Шлыкова, кои мне все более и более нравились.

Интересную записку прислал Вейс. Наблюдение показало, что к здешнему купцу Менцелю каждый день навещаются граф де Шуазель и аббат Лотрек.

Все это сильно смахивает на самый настоящий заговор. Конечно, стоит продолжать следить, но боюсь, что этого уже недостаточно – нужно тем или иным образом проникнуть в дом, занимаемый купцом. Там явно что-то не чисто.

Кажется, я знаю, что делать.

Завтра же призову коллежского асессора барона Розена и предложу ему совершить загородную прогулку с нашим купцом, а в это время полицмейстер Вейс пусть потрудится в милом особнячке Менцеля.

Вейс просто обязан добыть нужные бумаги. Любой ценой.

Сей операцией я и ознаменую свое вступление в должность директора высшей воинской полиции.

В который раз перечитывал я сегодня бессмертных «Разбойников» бессмертного Шиллера и рыдал от восторга.

Апреля 21 дня. Пять часов пополудни

В девять часов утра сын аптекаря Закса уже был у меня.

Действительно, языками он владеет отменно – я с ним болтал попеременно на французском, немецком, испанском и итальянском. Вообще мальчик в высшей степени понятливый и резвый не только на ноги, но и на голову: соображает он поистине молниеносно, с какой-то бешеной скоростью.

Полагаю, с ним можно будет и даже стоит иметь дело. Он сгодится. Только бы он не сбежал от нас.

Сын аптекаря несколько раз кряду повторил, что хочет идти учиться к какому-то ребе Шнеуру-Залману из местечка Ляды в Могилевской губернии, величайшему мудрецу и знатоку тайн Каббалы; он еще называл его «Альтер ребе» (старый ребе) и вообще когда говорил о нем, то глазенки этого неумного мальчишки загорались каким-то особым огнем.

Я дал ему все необходимые инструкции, и Закс-младший уже отправился в Варшаву.

С Богом! Верю, что ему будет сопутствовать удача.

Потом явились полицмейстер Вейс и барон Розен (последний, естественно, вместе с Лангом – один ведь он не ходит).

Мне показалось, что все они не очень верят в удачный исход предстоящей акции – во всяком случае они выглядели несколько смущенными и пребывающими в нерешительности. Но я не обратил на это ни малейшего внимания, ибо знал, что улов будет.

Так и оказалось.

Уже через полтора часа явились сияющие Розен и Ланг. Они вдвоем тащили огромный мешок, набитый бумагами.

Там было несколько инструкций от французского резидента в Варшаве барона Биньона, полковничий патент на имя Менцеля, подписанный самим Бонапартом, и целая связка писем графини Алины Коссаковской (причем, последнее, как я успел сразу заметить, было датировано вчерашним днем).

Письма сии, отправив Розена и Ланга, я изъял и оставил себе на память, а все остальное аккуратно сложил в объемистый свой портфель – будет, что показать Государю – вечером у меня назначена с ним встреча.

Буквально через десять минут после ухода Розена и Ланга, ко мне ворвался бледный, крайне напуганный Менцель. Он истошно вопил:

– Пока я был за городом, ко мне ворвались неизвестные, перевернули весь мой дом, забрали все мои бумаги по торговым делам. Спасите, голубчик Яков Иваныч, прикажите отыскать разбойников и заставьте их вернуть мне бумаги, а то я буду окончательно разорен.

Я как мог успокаивал купца и обещал тут же вызвать полицмейстера Вейса и приказать ему нарядить следствие.

Когда Менцель, наконец, ушел, я принялся рассматривать письма Алины Коссаковской, и вот к какому заключению я пришел.

Вездесущий Шлыков не случайно не нашел следов прелестной Алины за пределами Вильны, ибо она этих пределов и не покидала. Ее подруги во главе с Агатой Казимировной ушли, а она осталась, в чем убеждали некоторые подробности ее последних писем.

Графиня Коссаковская, подосланная Наполеоном убить Государя Императора Александра Павловича, все эти дни находилась здесь, в Вильне.

Это неожиданное открытие меня самого весьма озадачило.

Что же делать? Как найти эту чертовку?

А найти ведь необходимо (не то она еще явится пред светлые очи нашего Императора), найти и выслать... или?..

Апреля 21 дня. В 6-м часу вечера

Завидев меня, Александр Павлович бросился с поздравлениями. Кажется, он был и в самом деле рад и выглядел вполне довольным, хотя быть до конца уверенным, что его поздравления были совершенно искренними, я все-таки не могу. Тем не менее он долго и сердечно поздравлял меня.

Когда с этой ритуальной частью было покончено, император стал расспрашивать меня о новостях.

Вместо ответа я вывалил на стол гору бумаг. Александр Павлович брал в руки каждый листок и внимательно рассматривал его; был он при этом необычайно сосредоточен. Так прошел целый час, никак не менее.

Наконец, отложив последний листок, Государь широко и радостно улыбнулся и, кажется, вполне прочувствованно сказал: «Как же я был прав, подписав указ о твоём назначении!» И добавил потом: «Я ведь до самого последнего момента сомневался, ибо Балашов каждодневно болтал мне о тебе самые разные гнусности. Я обязательно расскажу ему о твоей чудесной находке».

Государь замолчал. Молчал и я. Вдруг он резко приблизился ко мне, положил руку мне на плечо и заметил: «А Менцеля пока не арестовывайте – посмотрим, как он поведет себя далее. Отобранные же у него бумаги велите списать и верните ему. А за домом купца слежку не оставлять ни на миг».

Ей Богу, если бы Александр Павлович не был бы Императором – быть ему первоклассным шпионом. Сына аптекаря, конечно, ему не превзойти, но всех остальных – запросто.

Апреля 21 дня. Двенадцать часов ночи

Вернувшись от Государя, я посадил сразу трех писарей снимать копии с менцелевских бумаг.

В семь часов вечера неожиданно явился аптекарь, необычайно довольный и какой-то приподнято, торжественно веселый.

Он принес записку, которую передал из Варшавы его сын. В ней сообщалось, что Бонапарт собирается прислать в Вильно с разведывательной миссией своего генерал-адъютанта графа де Нарбонна.

Не понимаю, как этот мальчишка мог так быстро все разузнать? Недаром, впрочем, говорят, что жидовская почта на сутки опережает фельдъегерей и курьеров. Ладно, передают быстро, но как можно приехать в Варшаву и тут же получить такой улов?! Вот что для меня непостижимо.

О графе де Нарбонне, личном шпионе Бонапарта, я давно собираю по крохам сведения. Это – фигура прелюбопытнейшая. Вот что удалось мне узнать.

Граф де Нарбонн был военным министром в последнем правительстве Людовика XVI-го, а теперь он один из ближайших сподручных Бонапарта, его шпионско-дипломатический агент. Возвышение его, говорят, произошло следующим образом (слышал самолично Государя от Александра Павловича).

Граф Луи де Нарбонн (comte Louis de Narbonne Lara), вернувшись после революционных бурь во Францию, проживал в

Париже в полной безвестности и в обстоятельствах достаточно стесненных, и главное, что он был не у дел. Выхода казалось бы не было. Но граф был не промах.

Бонапарт, который был тогда первым консулом, учредил орден Почетного легиона, и в числе первых кавалеров этого ордена оказался лакей графа де Нарбонна (он принимал участие в египетском походе).

Граф объявил своему слуге, что не может держать у себя лакеем человека, который отныне ему равен. Он тут же посадил новоявленного кавалера с собой за стол и угостил вином.

Бонапарт, узнав об этом, пришел в восторг от поступка Нарбонна и пожелал немедленно с ним познакомиться. В скором времени Нарбонн стал его адъютантом.

В 1809 году Бонапарт произвел его в дивизионные генералы и начал возлагать на него военные и дипломатические поручения. Через какое-то время он его назначил посланником при баварском короле, а потом вызвал его в Париж, произвел в генерал-адъютанты и назначил состоять при своей особе.

Граф де Нарбонн – серьезный противник (хитрец каких мало; одна надежда на его природно-аристократическую самонадеянность) и к его возможному приезду следует основательно подготовиться, ибо обвести его вокруг пальца не так уж просто. Но это во что бы то ни стало надо будет сделать.

О записке аптекарского сына надо не медля сообщить Его Величеству.

Ай да мальчишка! Но не обхитрили ли его в Варшаве? Неужто Бонапарт и в самом деле собирается послать в Вильну графа де Нарбонна?

Нужно как следует обдумать это и только потом уже докладывать Александру Павловичу. Страсть как не хочется попасть впросак. С другой стороны, так важно доложить первым.

Посоветуюсь с Барклаем, а лучше всего с генерал-квартирмейстером Канкрином – его гениальный ум финансиста изворотливее и как-то гибче.

Этот ход моих рассуждений прервало появление Розена и Ланга. Они притащили мне два объемистых свертка – в одном были оригиналы менцелевских бумаг, а в другом – писарские копии. Уложив в обитый железом сундук, что стоял в углу кабинета, все копии, я отослал поручика за купцом, приказав привести его немедленно.

Через полчаса явилась троица. Розен и Ланг, ухмылялись, а Менцель дрожал как осиновый лист, взгляд его был мутный и блуждающий. Розен и Ланг остались стоять у двери, а купец

бросился ко мне, крича что-то невнятное. Я взял со стола сверток и протянул Менцелю, молвив при этом: «Кажется, мы все разыскали, любезнейший».

Купец задрожал еще больше, судорожно схватил сверток и, ни слова не говоря, выбежал. Мы в голос тут же расхохотались. Когда приступ смеха закончился, я сказал Розену и Лангу: «Господа, не спускайте глаз с его дома и каждый вечер представляйте мне список лиц, посещающих его. И стоит подружиться с кем-нибудь из его слуг». Розен понимающе кивнул: он легко знакомился с лакеями лиц, находящихся на подозрении, и отличнейшим образом спаивал их – ему это не впервой.

Генерал-квартирмейстер Канкрин принял меня в девятом часу вечера. Когда я вошел, он играл на скрипке и играл невообразимо плохо, но по лицу его видно было, что он самозабвенно наслаждается своей игрой. Увидев меня, он те только не прервал свое занятие, а наоборот, продолжал пикивать с еще большим энтузиазмом. Я усталился в стоявший в углу кабинета страшный зеленый зонтик и стал ждать.

Наконец, пикиканье закончилось, и чудак многозначительно поглядел на меня. Я понял, что нужно хвалить его игру и стал выдавливать из себя какие-то жалкие и в общем-то малоубедительные комплименты, но Канкрин был доволен и весь расплылся в улыбке. Не постигаю, как можно иметь такие странности и одновременно быть таким умницей.

Получив требуемую дозу похвал, генерал-квартирмейстер осведомился, что же меня, собственно, привело к нему.

Я рассказал в общих чертах Канкрину о варшавском донесении, прибавив, что оно единственное в этом роде, что другие агенты молчат – нет буквально больше ни одного сообщения о возможной миссии генерала Нарбонна в Вильну.

– Галупчик, не пойтесь профала, – сказал на своем невозможном русском языке, – фолка пояться ф лес не хотить. Нарпонн весьма опасен. Нушно пыть котофыми к его фстрече. Пеките и расскашите фсе касутарю. Неметленно, галупчик, неметленно. Пеките, а с фами патом ище пакафарим.

Я тут же бросился к Государю (до этого я еще успел забежать к Барклаю де Толли и наспех посоветоваться, но он совершенно не знал, как поступить, заметив только, что не мог бы работать с агентами и при этом не доверять им; на это я отвечал, что я верю всем, но всех пытаюсь проверить).

Александр Павлович был милостив, долго расспрашивал меня, живо интересовался подробностями разрабатываемых мною операций. Особо он спросил, установлена ли слежка за домом

купца Менцеля и просил сразу же докладывать, как будут оттуда известия. «Это крайне важно, – резонно заметил он – . Менцель, судя по всему, связан с резидентом Бонапарта в Варшаве, но как они сообщаются друг с другом, кто у них исполняет роль курьера – вот в чем вопрос». Я отвечал, что в скорейшем времени мы непременно узнаем об этом. Я и в самом деле так думаю.

Когда же государь спросил о новостях, то я тут же выложил ему сведения, полученные мною от сына аптекаря. Сведения эти произвели необычайно сильное впечатление.

Александр Павлович был явно не на шутку взволнован. По прошествии нескольких прошедших в полном молчании минут, он спросил меня: «Зачем же Бонапарт собирается послать в Вильно Нарбонна, как ты считаешь?»

Я отвечал, что причин тут может быть несколько. Конечно, Бонапарт очень хочет знать, насколько готовы мы к войне. Но одновременно, он через графа Нарбонна постарается уверить Ваше величество в том, что сам он к войне не готовится.

«Ты прав, – заметил Государь. – Что ж, будем ждать».

Потом он поведал мне, что Нарбонн – потомок знатнейшего испанского рода, с XIII века владевшего графством Нарбонн в Южной Франции, что на гербе Нарбоннов начертан девиз «*Nous ne descendens pas des rois, mais les rois descendent de nous*» (не мы от королей, а короли от нас), что граф получил блистательное образование, слушал лекции по международному праву в Страсбурге, дружил со знаменитой мадам де Сталь и другими парижскими литераторами.

От происхождения Нарбонна разговор перекинулся на мое происхождение. Государь стал расспрашивать о моих родителях.

Вот что вкратце я поведал ему.

Фамилия моего деда со стороны отца была de St. Glin. Женат он был на девице de Lortal. Жили в своем поместье, расположенном у берегов реки Адур.

Старший сын моего деда поступил в военную службу и дослужился до бригадного генерала.

Мой же отец, который был младшим сыном, был предназначен для духовного звания. Он пошел в монастырь, но через некоторое время бежал, ибо монашеская жизнь пришлась ему совершенно не по вкусу. Через некоторое время он прибыл в Париж вместе с родственником своим *chevalier de la Payge*. Отец мой поступил капитаном в королевские мушкетеры.

Он поссорился с одним офицером, который обозвал его беглым монахом. Дело закончилось дуэлью, на которой отец

заколол своего соперника. Секундантом его был chevalier de la Payge.

Спасаясь от судебного преследования, мой отец со своим секундантом бежали в Россию и остались там навсегда.

В 1775 году отец женился в Москве на девице de Brocas. Через год родился я. Отец мой давно умер, а chevalier de la Payge жив и обитает в Москве. Наезжая в первопрестольную столицу нашу, я с ним всегда встречаюсь.

Государь просил, чтобы я познакомил его с шевалье. Я обещал.

Позднейшее примечание.

Увы, мне не удалось выполнить свое обещание.

Chevalier de la Payge погиб летом 1812-го года от рук наполеоновских солдат.

Он явился перед вошедшими в Москву французами в темно-синем своем мундире, с красными обшлагами и шляпе с белым бантом. Соотечественники спросили его, отчего на шляпе его не нововведенный бант tricolore! Завязалась ссора. Французы, назвав его vilain royaliste, бросились срывать с него мундир и шляпу.

85-летний старик обнажил шпагу и пал, защищая мундир и белый бант своего короля.

Апреля 22 дня. Четыре часа пополудни

С утра я приказал вызвать к себе аптекаря. Вскоре он явился.

Говорили мы совсем не долго. Я попросил его узнать, кто передает в Варшаву корреспонденцию виленского купца Менцеля. При этом я сообщил, что это и важно и срочно. Старик обещал все передать сыну.

В полдень, прогуливаясь по Немецкой улице, я встретил графа Тышкевича с сыном и аббата Лотрека.

Завидев меня, они испуганно переглянулись и замолчали. Лица их вытянулись, а на лбу у аббата даже появилась испарина.

Я делая вид, что ничего не примечаю, начал с ними беседу, точнее молот всякую чепуху, забавляясь паникой, в которой они продолжали пребывать. Вскоре к нам подошел граф Шуазель – общего испугу явно прибавилось. «Ну что ж покину вас, мои милые заговорщики» – сказал я и удалился, оставив троицу в полубморочном состоянии.

Я спешил в трактир Кришкевича – у меня там была назначена встреча с полицмейстером Вейсом и с приехавшим из Ковно майором Бистромом.

Вейс рассказал, что после ограбления граф Шуазель, аббат Лотрек и граф Тышкевич решительно перестали посещать купца Менцеля – просто исключили того из круга своего общения. На что я ответствовал, что за домом купца Менцеля все равно надо следить – таково личное распоряжение Государя.

У меня был важный разговор с майором Бистромом. Прежде всего я сообщил ему, что в Вильну собирается с визитом граф де Нарбонн, и дал указание, чтобы движение Нарбонна пролегло через проселки, дабы он не видел наших артиллерийских парков и расположения наших частей.

Бистром обещал все в точности исполнить. На мой же вопрос о положении дел в Вильно он отвечал, что там очень не спокойно – поляки ждут не дождутся прихода французов; вся надежда на жидов, горой стоящих за нашего императора.

Не успел я возвратиться к себе, как явился Менцель. Купец не был в состоянии испуга, но был явно взволнован.

Излившись в благодарностях по случаю отыскания его бумаг, он, запинаясь, спросил, все ли до конца я ему отдал – у него были частные письма от одной дамы, и их нет в той пачке, что я вернул.

И тут я все понял: письма графини Коссаковской я ведь спрятал у себя и не дал их скопировать. Но на моем лице ничего не отразилось: я холодно сказал, что отдал совершенно все из того, что мне принесли полицейские чиновники.

«А разбойников еще не нашли?» – робко и даже угодливо осведомился Менцель. Я скупно отвечал, что они уже содержатся под стражей, но пока идет следствие, я ничего сказать ему не могу. Менцель опять рассыпался в благодарностях и, наконец, уполз.

Когда его бесформенная, расплывшаяся фигурка исчезла, я опять принялся за письма Алины. Я все больше и больше убеждался в том, что она находится в Вильне. Сомнений не было совершенно никаких.

Но как же ее найти? Это нужно сделать как можно быстрее. Может поручить следить за домом Менцеля еще одному нашему человеку?

Дом Менцеля – это единственная зацепка. Нет, лучше всего, чтобы наш человек устроился к Менцелю истопником или садовником – в общем, чтобы проник внутрь.

Апреля 22 дня. Одиннадцатый час ночи

Наш человек (Станкевич) уже служит у Менцеля. И уже шлет на мое имя донесения.

В самом деле, граф Шуазель и аббат Лотрек перестали ходить к нашему купцу.

Но вот что поведала Станкевичу одна горничная, которой, видимо, он понравился.

Уже несколько месяцев Менцель посылает каждое утро к столу аббата Лотрека свежие овощи и фрукты. За провизией приходит экономка аббата Лотрека.

Что же получается? Аббатик наш перестал навещать Менцеля, а вот экономка аббата является каждая утро. Что-то тут не чисто.

Я попросил Станкевича, чтобы со слов горничной он дал описание того, как выглядит экономка. И вот что стало известно.

Горничная НИКОГДА не видела лица экономки аббата Лотрека. Никогда. Но фигурка у нее, как предполагает горничная, изумительно стройная. Все дело в том, что экономка приходит в дом купца Менцеля, будучи неизменно укутанной в широкую голубую шаль.

Неужели это она? Алина! Не верю своему счастью!

А в руке экономки аббата Лотрека – неизменно плетенная корзинка, плотно прикрытая опять же голубым платком.

К девяти часам вечера ко мне прибежал аптекарь. Он весь запыхался. Лицо его было залито потом. Видно было, что он страшно спешил.

Невероятно, но аптекарь принес записку от своего сына из Варшавы. Жидовская-с почта – это что-то совершенно фантастическое, немыслимое, такое, во что трудно поверить.

И второе. Мальчишка уже успел узнать, что письма из Вильны присылает в Варшаву аббат Лотрек.

Вырисовывается весьма стройная картина.

Поляки и вообще все, сочувствующие Бонапарту, здесь собирают сведения, которые, видимо, хранятся в доме у купца Менцеля. Потом приходит эта чертовка Алина (а это несомненно она, точно она), все забирает и передает аббату Лотреку, который сам боится теперь появляться у Менцеля. Аббат же пересылает добытый материал французскому резиденту в Варшаве барону Биньону.

Завтра на рассвете беру караульных и наношу визит аббату Лотреку.

Я попросил Станкевича узнать, в какое время экономка обычно выходит из дому. Он уже ответил мне, ссылаясь опять-таки на горничную, что происходит это около восьми часов утра.

Апреля 23 дня. Полдень

Коллежский ассессор Розен и капитан Ланг прибыли ко мне ровно к семи часам утра, как мы и уславливались накануне. С ними явились три караульных солдата, но они остались ждать

внизу. Розен же и Ланг поднялись ко мне, и мы с ними еще успели выпить чаю и закусить баранками.

Предварительно я заказал большую дорожную карету с занавешенными окошками – за кучера должен был быть один из караульных.

В половине восьмого утра мы все погрузились в карету и где-то без десяти восемь я уже стоял перед особнячком аббата Лотрека. Ждать пришлось совсем не долго.

Минут через пять – двери открылись и выпорхнула Алина. Никаких сомнений не было. Конечно, это была она, пусть и закутанная в неизменный голубой платок, столь шедший к ее глазам.

Я подбежал к Алине, схватил ее за плечи и рывком швырнул ее в карету. Девушка не успела издать ни звука, только корзина вывалилась из ее нежнейших ручек и покатилась по тротуару.

Как только тело девушки плюхнулось на дно кареты, кучер-караульный яростно хлестнул плетью, и мы тут же рванули.

Доехали совершенно благополучно.

Допрашивал я Алину в своем кабинете и без свидетелей – Розен и караульные остались ждать за дверьми.

– Графиня Коссаковская, – сказал я. – Приближается война. Вам опасно оставаться в приграничной территории. Вы будете высланы из Вильны и немедленно. Этого требуют соображения безопасности Российской Империи. Во избежание очень крупных неприятностей для вас лично и для всего вашего семейства вы сейчас напишите бумагу, в коей уведомите ваших виленских друзей, что получили срочное задание и посему отбываете из этих мест, а что ваши обязанности здесь будут исполнять надворный советник Шлыков.

Уже через час Алина тряслась в карете, прикованная одной рукой к креслу. Напротив нее сидел офицер виленской полиции, приставленный к ней бароном Розеном.

Путь был не близкий. Я приказал отвезти графиню Коссаковскую в одну из центральных губерний – с глаз долой.

Тем временем я вызвал к себе надворного советника Шлыкова, одного из лучших моих людей. Когда он явился, я сообщил о провале курьера виленских бонапартистов и вручил ему записку, которую мне удалось вырвать у прелестной Алины. И еще я сказал ему:

– Теперь курьером будете вы, любезнейший. А для меня будете делать копии со всех донесений, которые вам будут давать у Менцеля. И не забывайте, Шлыков, что отныне вы – сторонник

Бонапарта. Я верю в вас, верю, что не подведете меня. А это вам на необходимые расходы.

И вручил ему кошелек, туго набитый червонцами.

Апреля 23 дня. В одиннадцатом часу ночи

Днем заходил полицмейстер Вейс. Он доложил, что купец Менцель ни с кем более не встречается.

На экономку же аббата Лотрека, которая каждое утро являлась в дом Менцеля, наши люди не обратили никакого внимания. Хороши же они после этого! Где были их глаза? Возмутительное разгильдяйство.

В пять часов пополудни я пришел к Государю, и мы с ним гуляли в парке.

Естественно, не называя Алины, я рассказал, что курьер виленских бонапартистов пойман и что на его место удалось провести моего сотрудника Шлыкова.

– Каков он? Справится? Его не разоблачат? – озабоченно осведомился Государь.

– Ваше Величество, надворный советник Шлыков сообразителен, инициативен и исполнителен чрезвычайно. Я им доволен сверх меры. Без всякого сомнения, на него можно положиться. Это один из самых лучших моих людей, если не считать нового варшавского агента, который, если продолжит как начал, то скоро превзойдет всех остальных.

– Замечательно, Санглен, просто замечательно. Обязательно в дальнейшем показывай мне и Барклаю де Толли копии тех документов, что будет передавать тебе надворный советник Шлыков. Кстати, стали поступать сообщения о возможной миссии генерала Нарбонна сюда, в Вильно, но первой ласточкой был именно ты. Я буду это помнить... А что это за варшавский агент – ты никогда мне о нем не рассказывал до сей поры?

Я тут же поведал Государю о старике-аптекаре и его сыне, подающем совершенно особые надежды и имеющем совершенно неоценимые способности для моего ведомства.

Александр Павлович был доволен чрезвычайно и сказал, что непременно ожидает продолжения этой удивительной истории о юном каббалисте, вступившем в единоборство с разведкой самого Наполеона.

Весьма заинтересовали Его Величество и волшебные свойства жидовской почты, опережающей даже фельдъегерей и царских курьеров. – Я только не понимаю – заметил озадаченный Император – как же можно объяснить эту загадку. Не по воздуху

же они летают? Я верю, верю вам, только не понимаю, как это происходит.

Подошедшие Барклай де Толли и Закревский, начальник его Особой канцелярии, подтвердили существование чудодейственной жидовской почты, но вразумительно объяснить сего явления так и не смогли.

– Пойду спрошу у Канкрин – сказал император – он как гениальный финансист должен и тут разобраться.

И добавил, чуть улыбнувшись:

– Злые языки поговаривают, что он сам из жидов.

Когда Александр Павлович ушел, я, Барклай де Толли и Закревский отправились в трактир Кришкевича. Там к нам присоединился начальник артиллерии Первой Западной Армии граф Кутайсов (генерал-майор Александр Иванович Кутайсов, геройски погиб под Бородиным 26 августа 1812 года – позднее примечание Я.И. де Санглена), человек отличный во всех отношениях.

Вернувшись к себе, стал разбирать почту и ответил на самые неотложные письма.

Между прочим, из Гродны прислал записку поручик Лешковский. Среди разного рода сведений, большей или меньшей степени важности, он сообщил одну любопытную историчку. Записываю ее.

В местечке Ляды Могилевской губернии живет ребе Шнеур-Залман. Жиды почитают его каким-то особенным мудрецом (говорят, что у него около десяти тысячи учеников – что-то не верится!). Его устные беседы записываются и расходятся по всему свету.

По доносу он был арестован в 1798 году и отвезен в Петербург. По повторному доносу – в ноябре 1800-го года. Сидел в Петропавловской крепости. Был освобожден по личному распоряжению императора Павла Петровича, говорят, зашедшего к нему в камеру под видом следователя и имевшему с ним продолжительную беседу. Однако император Павел запретил старому ребе покидать Петербург, покамест его дело не будет разобрано в Сенате. Шнеур-Залман смог вернуться к себе в Ляды лишь в марте 1801-го года, с воцарением Государя Александра Павловича.

Так вот сей ребе Шнеур-Залман еще в 1800 году, находясь в Санкт-Петербурге, объявил, что Бонапарт нападет на Россию и неминуемо эту войну проиграет – ему придется бежать.

Сей ребе, говорят, готовит какое-то антибонапартовское воззвание, в коем будто бы призывает всех жидов к борьбе с императором Франции.

А жида в здешних краях почитают ребе Шнеура (хотя, конечно, есть у него и враги – как же умному человеку без врагов! Я это очень хорошо понимаю) как никого.

Лешковский повторил, что старый ребе открыл десятки, если не сотни школ (ешибот), в коих он попеременно вещает, а его сочинения, предельно ясно излагающие жидовские тайны, переписываются, ходят по рукам и пользуются необыкновенным спросом.

А завистники пишут доносы – им не нравится ясный ум старого ребе. Много раз его пытались поссорить с российскими императорами (Павлом и Александром), но каждый раз оглушительнейшим образом проваливались. Именно ясный ум старого ребе и ставил на его сторону российских императоров. Чего только не делал министр и лирический поэт наш Гаврила Державин, чтобы упрятать Шнеура-Залмана в крепость, школы его закрыть, а сочинения уничтожить, но Бог не захотел этого!

Лешковский раздобыл где-то и прислал одно из поучений ребе (стоило бы его повесить и в канцелярии, и в Виленском замке, и вообще где угодно, хоть к дверям костела прибивай):

«Счастлив человек, который не следовал совету злодеев, и на пути грешников не стоял, и в обществе насмешников не сидел. Только к Закону Бога влечение его, об учении своем он думает днем и ночью. И будет он, словно дерево, посаженное у протоков вод, которое плод свой приносит во время свое и лист которого не вянет. И во всем, что он будет делать, – преуспеет. Не так – злодеи, подобны они мякине, уносимой ветром. Потому не устоят злодеи на суде, грешники – в собрании праведников...»

Да, надобно будет навести о старом ребе еще справки! Он в высшей мере любопытен.

Если уж он сумасбродного нашего императора Павла убедил, то, значит, что-то есть.

Апреля 24 дня. Три часа пополудни

С раннего утра дочитывал письма и отвечал на оные.

Потом пришли Вейс, Розен и Ланг. Ничего особенно интересного, впрочем, они не сообщили.

Шлыкков прислал копии донесений, которые надо было переправлять в Варшаву. Я проглядел их, сделал выписки и спрятал в портфель, дабы вечером передать эти донесения государю.

Завтракал у графа Кутайсова (он пригласил меня вчера, когда мы ужинали у Кришкевича). Было весьма вкусно, занятно и даже полезно для меня и вот в каком отношении.

Граф рассказал мне одну небезытересную историю, касающуюся генерала Нарбонна, имя которого сейчас тут у всех на устах.

Передаю услышанный мною рассказ слово в слово. Но начну с общеизвестных фактов, с которых начал и Кутайсов.

Граф Луи Мари Жак Амальрик де Нарбонн был избран начальником национальной гвардии одного из департаментов Франции. Было это в 1790 году.

Прибыв в Париж, он узнает, что теткам короля Людовика XVI-го угрожает опасность, в том числе и принцессе Аделаиде (когда-то он был ее камер-юнкером).

Граф берет теток короля под свою защиту, в качестве начальника национальной гвардии добивается, чтобы был подписан декрет Конституционного собрания, разрешающий им выезд из Франции. Более того, граф лично сопровождает их до Рима.

Впоследствии де Нарбонна объявляют в революционной Франции вне закона. Он живет в Англии, скрывается у своей приятельницы знаменитой мадам де Сталь в ее швейцарском замке Коппе.

Во Францию граф решается вернуться лишь во время консульства Бонапарта. Его поначалу не продвигают по службе, но зато и не арестовывают, что уже было не мало.

И наконец, граф Нарбонн, благодаря случаю и благодаря своей феноменальной хитрости, резко прорывается вверх и не сразу, но становится в итоге при Бонапарте кем-то вроде главного шпиона.

Это все, что я хорошо знал и без Кутайсова, но вот добавления, которые он сделал, были просто ошеломительными, настолько ошеломительными, что в них как-то трудно поверить, во всяком случае сразу. Но Кутайсов утверждает, что эти сведения вполне достоверные и были им получены чрез Галейрана. Еще он ссылается на какие-то неизвестные в печати письма мадам де Сталь, конечно, имеющей что рассказать о своем старинном приятеле графе де Нарбонне.

Итак, совершенно новое, неслыханно новое в информации генерала Кутайсова сводится к следующему.

Граф Нарбонн – вовсе не граф Нарбонн. Ни больше, ни меньше. А скорее он принц. Вот так-то. Услышав такое, я,

естественно, опешил, но виду не показал, продолжал спокойно слушать.

Кутайсов вопросительно смотрел на меня: он ожидал увидеть на моем лице явные следы изумления – ему хотелось удивить начальника военной полиции, но я помалкивал.

Принцесса Аделаида приходится теткой несчастному королю Людовику XVI. Как-то очаровательная принцесса ненароком забеременела от наследника-дофина, то бишь от своего родного племянничка. Дабы скрыть грех принцессы, из Пармы вызвали графиню Нарбонн. Последняя, естественно, согласилась назваться матерью ребенка.

Мальчик воспитывался под опекой принцессы Аделаиды, которая души в нем не чаяла. Когда он не много подрос, она назначила его своим пажом, а затем и камер-юнкером. Но, конечно, мнимый де Нарбонн отлично знал и знает, что в его жилах течет королевская кровь. И это объясняет, почему Нарбонн спасал тетку короля: он спасал не тетку короля, а свою родную мать и свою мнимую мать.

Да, этот светский шалопаи и придворный хитрюга, выходит, оказался верным сыном. Хитрость в соединении с верностью – это довольно редкое сочетание. Вправду говорят, что де Нарбонн чрезвычайно опасен.

Не знаю, верить ли до конца этой истории, но на заметку ее взять надо.

Так что не исключено, что к нам едет не граф де Нарбонн; а принц Бурбон!

В общем можно сказать, что этот завтрак у графа Александра Ивановича Кутайсова получился просто захватывающим.

Апреля 24 дня. В десятом часу вечера

После обеда пришел старик-аптекарь. Принес новую записку, переданную из Варшавы.

Случилось удивительное: мальчишка (Яша Закс) свел знакомство с самим бароном Биньоном, послом и по совместительству резидентом Бонапарта в Варшаве. Более того, каким-то непостижимым образом он втерся Биньону в доверие, более того, сумел себя выдать за активного сторонника Бонапарта.

Но поразительнее всего вот что: барон Биньон сказал мальчишке; что берет его к себе секретарем (что не удивительно: Закс-младший знает кучу языков).

Вот так-то! Это совершенно неслыханная удача. Ни одному из моих сотрудников такое никогда до сих пор не удавалось.

Я велел передать старику, чтобы сын его, не раздумывая, соглашался на предложение барона Биньона.

И еще поблагодарил его за сына – старик чуть не зарыдал при этом. И я хотел уже вручить ему пачку ассигнаций, но он настолько решительно замахал руками, что мне даже стало стыдно за себя.

Никак не думал, что самых больших патриотов России я встречу в виленских жидях. Тут есть какая-то загадка, но я не берусь ее разгадывать (может быть, потом, когда на покое примусь за свои мемуары).

Мне так же непонятно и то, зачем поляки столь упорно цепляются за Бонапарта, ведь он никогда не даст им свободы, а вот Государь Александр Павлович в своих заигрываниях с ними может зайти достаточно далеко. Поляки могли бы им пользоваться, и это было бы умно, но они предпочитают измену. Да, странно и непоследовательно они себя ведут, в высшей степени странно.

Но какой чудный мальчишка оказался! А ведь закончится война, опять засядет за свой «Зоар» или, скорее всего, побежит все-таки к ребе Шнеуру-Залману, что очень жаль – столь даровитых шпионов, на самом деле, я почти не встречал на своем пути. Но ничего тут не поделаешь – деньгами ведь его не заманишь. Одно утешение, что он сейчас еще успеет пригодиться России-матушке – война ведь даже и не началась еще.

Интересно, как его захочет использовать барон Биньон? Может, в Вильну зашлет? Тут-то мы всех и вывели бы на чистую воду. Но оставим пока мечтания.

Около семи часов я встречался с Государем.

Завидев меня, Его Величество тут же со смехом сообщил, что графы Кочубей и Нессельроде, заправляющие внешней политикой Российской империи, уже получили известие о готовящемся визите дивизионного генерала Нарбонна.

Кочубей, говорят, был к Александру Павловичу прежде очень близок, но теперь между ними охлаждение. Тем не менее именно ему император поручил заведывание внешними сношениями, и это не случайно – граф занимается дипломатией чуть ли не с детских лет. Поручить-то поручил, но говорит о Кочубее и напарнике его Нессельроде с явной издевкой.

Так, совсем уже издевательски Государь добавил: «Кажется, милейший Санглен, они узнали об этом последними, но все-таки узнали до приезда графа – могло быть гораздо хуже».

Кстати, о королевском происхождении Нарбонна Александр Павлович прекрасно осведомлен, – это я ничего не знал, хорош начальник высшей воинской полиции! Ничего не скажешь!

Заговорили о министре Балашове.

«Санглен, он тобой не доволен» – сказал Государь.

– «Почему же, Ваше Величество?» – осведомился я.

– «Ты чересчур успешно разыскиваешь французских шпионов» – улыбаясь, отвечал он и добавил потом, подмигнув мне: «Так ты всех переловишь со своими резвыми ребятами и ему ничего не останется. Пожалел бы человека».

– «Ваше Величество – парировал я. – Ежели бы вы с Балашовым могли только представить себе, сколько тут бонапартистов! Работы хватит не только на меня да на него, а на целую дюжину сыскных учреждений. Да тут все почти что за французов. Поголовно! Одни только жида за вас!

– «Значит, не будешь жалеть Балашова?»

– «Нет, Ваше Величество. Работенки предостаточно. Пускай ищет сторонников Бонапарта: они тут, почитай, на каждом углу».

Государь смахнул игривую усмешку с лица и сказал:

– «Строгий ты, однако. Ладно, давай копии донесений в Варшаву. Погляжу потом, что удалось списать твоему Шлыкву. А Балашову-то, прежнему благодетелю твоему, можно будет показать?»

– «Нет, Ваше Величество, я – решительно против. Пускай ищет сам».

Александр Павлович шутил со мною, и самый тон его убеждал, что он мною в общем-то доволен.

А когда я поведал ему, какое предложение получил от резидента Биньона сын аптекаря, то он просто просиял, непритворно просиял.

Прощаясь, Государь сказал, что непременно представит мальчишку к награде.

– «Только имейте в виду, Ваше Величество, денежного поощрения своих трудов он никак не примет».

Государь вздрогнул, а потом, улыбнувшись, заметил:

– «Санглен, где ты находишь таких сотрудников?»

– «Это они меня находят, Ваше Величество».

Апреля 24 дня. 12-й час ночи

Пришло донесение из Ковно от майора Бистрома. Пишет, что в последние дни у них стало совсем неспокойно.

По улицам города самоуверенно разгуливают целые группки французов с явно военной выправкой. На балах в городском собрании открыто перевозносятся Бонапарта. На стенах домов развешивают листки, агитирующие за императора Франции. Одни жида не участвуют в этой общей вакханалии.

Бистром слезно молит о помощи. Его штат слишком малочислен для оказания серьезного противодействия бонапартистским акциям ковенских жителей (особенно активно купечество).

Я пообещал послать ему в подчинение несколько моих людей и сделаю это сегодня же. Вызову полицмейстера Вейса и с ним мы вместе отберем человек пять – шесть.

Начальник моей канцелярии Протопопов, человек в высшей степени дельный и чрезвычайно памятный, припас для меня заметку о графе Нарбонне, весьма любопытную и во многих отношениях, может быть, и неожиданную.

Нарбонн скрывался в Англии, ибо у себя на родине революционными властями он был объявлен вне закона. В это время начался процесс над несчастным королем Людовиком XVI.

Узнав об этом, Нарбонн обратился к Конвенту с просьбой позволить ему предстать пред трибуналом для защиты короля в качестве бывшего его министра. Когда же Конвент отказал ему в этом, он написал оправдательную записку в честь своего короля и передал ее в трибунал.

Людовик XVI попросил своего защитника Мальгерба горячо благодарить Нарбонна. Записка эта вошла в число документов, напечатанных в процессе этого несчастного короля.

Фактик, надо признать, интереснейший, добавляющий новые штришки к портрету интригана и карьериста, как принято обычно определять личность графа. Все не так-то просто, как часто это представляют.

Правда, Нарбонн не бросился все-таки в пасть Конвента, ограничившись посыланием записки, а вернулся только тогда, когда понял, что ему ничего не будет, когда опасность для жизни его точно миновала.

Хитер этот мнимый граф и незаконнорожденный принц, ничего не скажешь!

А приехал бы он во Францию, если бы Конвент разрешил ему защищать короля? Полагаю, что нет. Это – великолепный мастер эффектного жеста. Да, он готов жертвовать собой, но только там, где его жертва никак принята быть не может.

С ним ухо держать надо остро. Истоковывая его поступки, нужно исходить из логики в высшей степени цинического свойства.

Протопопов сам в общем-то такого же мнения.

Я поручил ему что-нибудь еще разыскать для меня о Нарбонне. И желательно поскорее, пока министр полиции Балашов не узнал что-нибудь и не сообщил государю или пока

Нарбонн не явился пред светлые очи Государя Александра Павловича.

Апреля 25 дня. Шесть часов вечера

С раннего утра пришел полицмейстер Вейс, как и было условлено. Мы с ним отобрали наших людей для майора Бистрома. Завтра с утра они отправятся.

Прибегал старик-аптекарь. Он был весь какой-то запыхавшийся, пот тек с него ручьями. Сообщил, что французский резидент в Варшаве временно отправляет его сына в Вильну в распоряжение графа де Шуазеля.

Отлично! Это редкостная удача! Я сообщил старику, что Государь намерен представить его мальчика к награде.

Еще сын аптекаря передал через отца копию инструкции, которую барон Биньон получил лично от Бонапарта.

Там было несколько пунктов. Вот некоторые из них: наблюдения за движением российских войск, сбор топографических и экономических статистических данных, перлюстрация и перевод захваченных бумаг и т.д.

Завтракал я у Баркляя де Толли. Кроме неперменных жены, адъютантов да злоки Закревского, были граф Кутайсов и граф Канкрин, Александр Иванович и Егор Францевич. Много говорили о светски разгульной жизни Бонапарта и его двора в Берлине.

Закревский рассказывал разные анекдоты. Все они были весьма грубого и не очень приличного свойства. Если бы Барклай де Толли был в ладах с русским языком, то он бы без всякого сомнения оскорбился. Но он ведь по-русски – ни гугу, как впрочем, и его заносчивая женушка, и, видимо, по этой причине все сошло совершенно гладко.

По окончании завтрака, я и главнокомандующий удалились в кабинет, потом к нам присоединился начальник моей канцелярии губернский секретарь Протопопов. Последний вытащил приказы по военной полиции за последние дни, донесения моих сотрудников и разложил все это перед Барклаем де Толли. А я рассказывал о работе своего ведомства.

Барклай, впрочем, слушал не очень внимательно. Государь же всегда просто впивается глазами в донесения моих сотрудников. Естественно, привлек его внимание и текст инструкции, присланной сыном аптекаря.

Я заметил, что главнокомандующему как-то не очень приятно вникать в дела военной полиции – он как бы брезгует. Ему, думаю, неловко заниматься делами, основанными на обмане, даже если это необходимо для блага отечества.

Работа моего ведомства ему не очень по душе, хотя он и признает необходимость и полезность военной полиции и в некоторых отношениях даже является инициатором ее создания, но вникать в работу военной полиции как бы не очень хочет. Вообще, надо признать, что Барклай бывает смешон и наивен, но по-доброму смешон и наивен.

Около часу дня прислал записку коллежский асессор барон Розен. Она неприятно удивила меня и вообще содержащееся в ней оказалось полнейшей неожиданностью.

Розен писал, что получено известие о бегстве Алины Коссаковской.

Я уже стал подзабывать о прелестной Алине, хотя меня и мучили порой какие-то неопределенные предчувствия.

Графинюшка, без всякого сомнения, скоро объявится в наших краях. Но как и где ее искать?!

Пришел пакет от Шлыкова с копиями донесений, которые он должен был переправить в Варшаву, к французскому резиденту Биньону – моему старому недругу.

Сын аптекаря прислал новую записку, в коей вывел схему работы бюро барона Биньона: под его началом четыре офицера, в подчинении у каждого из них находится по 12 агентов – одни наблюдают на дорогах передвижение войск, другие следят за строительством крепостей, третьи доставляют через границу собранные сведения. При этом у каждого из офицеров была своя особая роль. Вандернот руководил агентурой с территории Австрии, а остальные трое (Романиус, Узембло и Сераковский) занимали должность плац-комендантов пограничных местечек и направляли агентурную деятельность в Прибалтике, Литве и на Украине.

Сведениям этим цены нет! То-то удивится Государь!

В пять часов в трактире на Доминиканской я встретился со Станкевичем. Это наш человек, которого я определил работать в дом к аббату Лотреку. С тех пор мы не виделись – он только время от времени присылал донесения, весьма не глупо составленные.

Станкевич подробнейшим образом очертил круг лиц, навещающих аббата, точно описал, дал им характеристики. И вот что он еще рассказал мне.

Сегодня утром в дом аббата Лотрека постучалась молодая нищенка. Балахон, в который она была одета, был весь изодран и покрыт густым слоем пыли, а ноги были разбиты в кровь.

Аббат приказал оставить ее в доме. Нищенку помыли, одели во все чистое, обули и потом завели к аббату. Нищенка

оставалась в его покоях часа три, не меньше. И потом аббат Лотрек несколько раз призывал ее к себе.

Уж не беглянка ли Алина сия нищенка? Завтра же с утра наведаюсь к аббату. А если это, действительно, Алина, то Шлыкову угрожает опасность – его ведь устроили курьером по записке, которую мне удалось вырвать у Алины.

В восьмом часу вечера я написал две записки – к Шлыкову и Розену, – приказывая им явиться ко мне на утро к девяти.

Посмотрел текущую корреспонденцию и иду спать. На сердце тяжело, беспокойно, муторно.

Что-то узнаю завтра? Сыщется ли, наконец, Алина Коссаковская? Найдут ли нашего Шлыкова?

Честно признаюсь: боюсь новостей. Судьба же надворного советника Шлыкова меня просто страшит, форменным образом страшит. Не случилось бы худого. Конечно, до сына аптекаря ему далеко, но все-таки он работник исполнительный и дельный и во многих отношениях незаменимый.

Апреля 25 дня. Десятый час вечера

Розен и Ланг были у меня без пяти девять, а вот Шлыкова нигде не было, ну совершенно нигде.

Мы ждали около двадцати минут, но он так и не появился. Это был дурной знак, ибо Шлыков всегда отличался совершенно особой исполнительностью – он никогда не опаздывал.

Но делать было нечего, и мы поехали с обыском к аббату Лотреку.

Облазили весь дом, весьма обширный и поместительный, полный темных закоулков, но даже следов таинственной нищенки не нашли.

Аббат заявил нам (то есть мне, Розену и Лангу), что даже в глаза ее не видывал. Ясное дело, он ее переправил в надежное место, но сомнений никаких не было – прежде тут была Алина). Приходилось уходить не солоно хлебавши.

Я вернулся к себе. От Шлыкова ни слуху – ни духу, и это просто ужасно: рождаются самые дурные предчувствия.

Подождал до часу, а потом отдал приказ по военной полиции разыскивать Шлыкова и девицу с приметам Алины Коссаковской. Особенно усиленная слежка по моему распоряжению была установлена за домом аббата Лотрека. Но она совершенно ничего не дала.

Вообще эта Алина, доставляющая нам столько хлопот, как будто растворилась. Убежден, что она непременно находится в Вильне, но только где? Не представляю, где ее искать.

Совершенно очевидно, что она не станет прятаться у своих – у графа Шуазеля, аббата Лотрека, графа Тышкевича, Менцеля. Думаю, что милейшая Алина постарается проникнуть туда, где ее точно искать не станут.

А от Шлыкова вестей все не было. Никаких.

В пять часов я вызвал к себе Розена и Ланга и отправил их с отрядом полицейских, дабы они разбились на две основные группки и пошли осматривать городской парк, глухие переулки, палисаднички.

Через два часа поисков квартальный надзиратель Шуленберх в палисадничке одного из домов на Остробрамской улице (за ратушей) обнаружил безжизненное тело, прикрытое большим листом бумаги. Сдернув лист и начав его рассматривать с внутренней стороны, надзиратель увидел, что это ничто иное как портрет самого Наполеона Бонапарта. А лежавшего на земле он сразу узнал: то был наш Шлыков.

Если бы не возвращение Алины, уверен, никто бы тут не догадался, что Шлыков числится по штату военной полиции.

Нужно искать Алину.

Теперь последняя моя надежда – сын аптекаря.

Как только Шуленберх ушел от меня, я тут же известил главнокомандующего и Государя о гибели доблестного Шлыкова.

Апреля 26 дня. Семь часов вечера

Сразу же после завтрака отправился в Виленский замок.

Император Александр Павлович страшно огорчен из-за гибели Шлыкова, что совершенно понятно, ведь это был единственный наш сотрудник, которому удалось попасть в круг виленских бонапартистов. При том, у него был доступ к их переписке.

Мы на Шлыкова возлагали большие надежды, а теперь неожиданно все рухнуло. Кажется, вход в здешнее подполье для нас завален едва ли не окончательно.

Государь, как и я, считает, что единственный наш шанс отныне – это сын аптекаря (хоть бы только он не отступился от нас, не решил вдруг вернуться к изучению своей жидовской премудрости).

Еще Государь полагает, что ситуацию может если не улучшить, то хотя бы несколько прояснить расследование по делу об убийстве Шлыкова.

Квартальный надзиратель Шуленберх – конечно, человек надежный и в высшей степени расторопный, но тут дело, как мне кажется, совершенно глухое.

Я не верю, что мы сможем выйти на след убийц. Нужны свидетели, и они, несомненно, есть, ведь, на самом деле, всегда найдется человек, который что-то видел, что-то слышал. Но ясно, что виленцы будут молчать как немые – не станут они содействовать врагам Бонапарте. Мы что-то узнаем, если только среди свидетелей окажутся жида – едва ли не единственная опора наша в здешнем крае.

К часу дня явился ко мне квартальный надзиратель Шуленберх, и мы отправились пить кофий в трактир Кришкевича.

Шуленберх подтвердил едва ли не все мои печальные предположения – зацепок пока нет никаких: никто ничего не видел, никто ничего не знает. Глухо. Убийцы останутся на свободе, как я и думал.

Затем пришел ко мне сын аптекаря. Рассказал, что он уже устроился у графа де Шуазеля – тот взял его к себе секретарем.

Мальчишка успел скопировать целую пачку писем из тех, что граф успел ему надиктовать.

Естественно, я поблагодарил его за поразительную инициативность – между прочим, покойный Шлыков стал бы дожидаться приказа, но мальчишке, видимо, было невтерпех. Перед сном почитаю письма, а завтра отнесу их государю.

Я предложил Заксу-младшему, дабы он попробовал отыскать следы Алины Коссаковской, видимо, скрывающейся где-то в Вильне.

Тут он вспомнил, что ее имя несколько раз сегодня всплывало в беседе де Шуазеля с графом Тышкевичем (он обедал у них), и пообещал прислушаться повнимательней к разговорам Шуазеля со своими гостями. Еще он пообещал, что все упоминания об Алине Коссаковской сгруппирует и затем изложит в особой записке.

Убийство Шлыкова все никак не выходит у меня из головы, а ведь запри мы эту Алину покрепче – ничего бы не было.

Апреля 26 дня. Двенадцатый час ночи

К шести часам вечера я опять пошел в Виленский замок, откуда мы отправились с Государем на прогулку (вообще встречи наши, по мере накаления атмосферы, становятся всё более частыми). Но прежде я передал Его Величеству копии писем, доставленные сыном аптекаря.

Александр Павлович остался весьма и весьма доволен. Он заметил даже, что это подлинные сокровища.

Когда же я рассказал Его Величеству, что мальчик взят графом де Шуазелем в секретари, то он просиял.

«Берегите ребенка – заметил мне Государь – он нам крайне нужен и ему ведь нет совершенно никакой замены».

Обедал я у графа Кутайсова. Там же были дежурный генерал Кикин и генерал-интендант Канкрин, как всегда забавно-оригинальной и проницательно-умный. Но в целом разговоры велись не слишком веселые. Убийство надворного советника Шлыкова как-то тяжело на всех подействовало.

Конечно, все мы знали, что население Вильны настроено против нас, против нашего Государя. Но ведь это еще и ко всему было настоящее заказное убийство, убийство преднамеренное. Запахло настоящей войной, хотя Бонапарт еще пирует в Берлине.

Днем я встречался с полицмейстером Вейсом. Он докладывал об общей обстановке в Вильне, но особых новостей не было.

Вейс отличный работник, но только его нужно всегда подталкивать: он не станет ничего предпринимать, не получив предварительно четкой инструкции, но зато выполнит ее неукоснительно. Полицмейстер Вильны – идеальный исполнитель, что, конечно, отлично, но иногда этого оказывается недостаточным.

Виделся с Государем. Он спрашивал меня, не вышли ли на след убийц Шлыкова, но утешить Александра Павловича совершенно нечем. Конечно, я знаю заказчика убийства (прелестную Алину), но ведь рассказать об этом Его Величеству я не могу.

Получил записку от сына аптекаря. Он зафиксировал все упоминания имени Алины Коссаковской, которые ему удалось услышать сегодня в доме графа Шуазеля, и сделал аналитическую сводку.

Вот его основные выводы.

Алина явно пребывает в Вильне, причем, она находится в месте совершенно безопасном, находящемся вне всяких подозрений. Ни граф де Шуазель, ни аббат Лотрек, ни граф Тышкевич с ней личных встреч в эти дни не имели, но вся собранная ими информация стекается именно к ней – видимо, они состоят в тайной переписке, очевидно, осуществляемой через посыльных.

Отлично, мальчик! Нужно установить слежку за домом графа Шуазеля и проследить за маршрутами его лакеев. Тут уже можно копать.

Из Ковно прибыл майор Бистром, и я с ним отужинал в трактире у Кришкевича. Он благодарил за помощь, но сообщил, что бонапартисты нагледят буквально с каждым днем.

Майор смел и надежен, но его, как и Вейса, одолевает страх самостоятельных решений. Запросто могут отдубасить кого угодно, произвести наитщательнейший обыск, но думать бояться, бояться иметь свой взгляд на события. Эх, кабы можно было размножить сына аптекаря!..

После ужина гуляли в парке. Встретили Нессельроде и графа Кочубея, являющие род коллективного канцлера. Они всегда ходят парочкой – видимо, по долгу службы. Полагаю, им кажется, что возглавляющие министерство иностранных дел России есть, на самом деле, род сиамских близнецов. Вообще парочка довольно забавная.

В парке же к нам подошел квартальный надзиратель Шуленберх. Он доложил, что никаких изменений в деле по расследованию об убийстве поручика Шлыкова пока нет. Эх, моего фон Фока бы сюда – он бы разобрался.



Александр Левинтов Детская Надежда



сть люди, рождающиеся с психологией стариков. Мне, вот, например, еще при рождении доктора сказали: «не жилец» и так и повторяют это уже 70 лет; сколько помню себя, лет с двух, всё о собственной смерти думаю – родился стариком и, наверно, умру им. А есть и прямо противоположный сорт людей – они рождаются как праздник, в детстве, в нём же и живут всю жизнь. И таким людям не только завидуешь и удивляешься, но и с улыбкой радуешься легкости волшебного-детского бытия.

Рассказ же будет о Надежде Гуревич, удивительной кукольнице, мастерице и рукодельнице. Но для начала – посмотрите некоторые её работы, попробуйте войти в её мир, не для изучения, а просто, чтобы окунуться в этот изящный и такой одухотворённый мир.



«Душа»

Это точно и правильно – душа должна играть на скрипочке! Душа наша, la піпа, голубоглазая девочка с двумя белёсыми, выцветшими на летнем солнце косичками, эта же девочка, играющая на скрипке, – персонаж композиции «Душа поёт» и «Музыка» (кукла и афиша спектакля театра на Малой Бронной «Плутни Скапена»)

«Маленький принц». Он сотворён к юбилею Эльдара Рязанова.



«Бабушкины сказки». Я уверен, тут счастливы все. Наше же советское поколение было просто ограблено: ни Рождества, ни камина, ни бабушки... как-то не вяжется простое тихое человеческое счастье с тесной барачной коммуналкой, печным отоплением и всеми удобствами во дворе.



«Бабушкины сказки». Никогда не думал, что бабушка, в круглых очках и седых кудельках, может сидеть и читать сказки детям днём. Оказывается, может! И даже так, что заслушаешься, замечтаешься и улетишь в какое-нибудь сказочное королевство, за тридевять земель...



«В ожидании солнца»: эльф?, фея?, маленькая бабочка? Или всё это вместе взятое, волшебное? Успеть бы загадать желание...



«Очарованная». Я думаю, все девчонки до самых седых волос в восторге от этой куклы и каждая считает, что это – про неё.



«Шахматный поединок». У Надежды даже зло изящно, грациозно и привлекательно. Оно, конечно, немного агрессивно – зло, всё-таки, но попробуйте без него. Нет, Добро неотделимо от зла, вот только у Надежды и зло добровато.



«Пьеро». Не узнаете этого игрушечного поэта-страдальца, романтика, только что утершего слезу? Стихи у него, конечно, по-кукольному дурашливые и нескладные, но чувства у этого тряпичного лирика и пажа – подлинные.



«Труфальдино». Костя Райкин собственной персоной. В собственном театре «Сатирикон». Поразительно похож. Сейчас

вскочит и отчебучит нечто немислимое, в своём шутовском вкусе.



«Кармен». Уже звучит искромётная хабанера, уже юная цыганка из Севильи ударила каблучками по нервам и чувствам пылкого Хосе...

Тут есть человечки и ангелы, зверушки, цветы, букеты, а среди них – неожиданно – лики икон, пасхальные яйца, шитые бисером. Всё празднично, нарядно, доверчиво, как и полагается в маленьком мире детства.

Если взять материалистическую ноту, то – из чего всё это творится? – из шёлка и тряпочек, лоскутков разных тканей, кожи, бисера, каких-то проволочек, пёрышек, бумажек, деревянных деталей и фрагментов, пластика, красок, бусинок, милых мелочей и пр. и пр. и пр... Сначала возникает образ, ещё неясный, не увяченный даже формой и стилем, просто – игра воображения, а только потом, по мере обрастания плотью и материалом, этот образ сам начинает диктовать: а сюда – вот эту тряпочку, сюда – пёрышко, глаза – побольше и поудивлённее, а улыбку – спрятать, пусть о ней только догадываются...

Бог – ведь нигде не сказано, какого Он пола. То есть, скорей всего, мужское в Боге – разум, женское – красота. Но есть еще детский пол (в немецком языке das Knabe, мальчик, и das Mädchen, девочка, – среднего рода, да и в русском языке есть дитя, чадо – существа среднего рода), от него – невинность, искренность и непосредственность, вещи не менее важные, нежели разум и красота.

А теперь несколько слов о самой Надежде Гуревич.

Её первое высшее профессиональное образование – музыкальное, она была дирижером. Вот почему в её работах так много музыки и изящной, от 18-го века, гармонии. В мае 1997 года закончила с отличием курсы по технологии пошива женской одежды. В 2000 году прошла мастер-класс члена «NIADA» (национального института американских художников по куклам) и Международной Ассоциации «Global Doll Society» Татьяны Баевой, а в 2004 году прошла мастер-класс другого члена «Niada», американского художника по куклам Шелли Торнтон. В 2003 году окончила школу ремесел при Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства. В 2004-2005 гг. прошла курс рисунка и акварельной живописи у педагога Кирьяновой. В 2008 году окончила Троицкую иконописную школу при Храме Троицы Живоначальной в Хорошеве в Москве. В 2009 году окончила авторские курсы Ирины Дарды – члена Творческого Союза Художников России и Международной ассоциации «Союз Дизайнеров».

Этот впечатляющий перечень образований, школ и учителей – свидетельство не только развернутого таланта, но и разностороннего мастерства.

Надежда – член Творческого Союза Художников России и Международной Федерации Художников, участник и, как правило, лауреат или победитель различных конкурсов и выставок.

Зайдите на её сайт <http://art-nadin.ru> – вы долго будете бродить по удивительным залам её мастерства и очарования, по страницам её мыслей и наблюдений, по её возвышенным и восхитительным мечтам. Всё это освящено любовью – к людям, жизни и детству.

И в заключение – портрет самой художницы, кукольницы, музыканта, рукодельницы, волшебницы:



Надежда Гуревич. Наверно, надежда и должна быть такой – недоступной и привлекательной одновременно.



Александр Мелихов

Наука против жизни



Когда мольеровский Сганарель, отчаявшись поколебать скепсис и безбожие своего господина, наконец воззвал: «Однако нужно же во что-нибудь верить», – Дон Жуан ответил ему просто и ясно: «Я верю, Сганарель, что дважды два – четыре, а дважды четыре – восемь». Зато Достоевский так же честно признавался, что если бы кто ему доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, он все равно предпочел бы оставаться со Христом, а не с истиной. Этим и обозначен водораздел между наукой и жизнью: в науке ищут истину, а в жизни предпочитают красивую воодушевляющую сказку, – правда хорошо, а счастье лучше, гласит отнюдь не научная, но житейская мудрость.

Я это понял давно и уже давно смотрю на историю человечества как на историю зарождения, борьбы и распада коллективных сказок, коллективных грез. И в безмятежном детстве я тоже услаждался всеми положенными советскими сказками, науки же, все эти химии-ботаники, математики-физики, воспринимая как неизбежное зло, не способное, однако, убить прелесть бытия. Но вот в начале шестидесятых меня захватила новая греза: самыми восхитительными людьми в мире оказались не прежние герои – моряки, летчики и блатные, а как раз они – физики, математики. Герои моего любимого романа «Иду на грозу» не только творили историю, но и, что было немаловажно, совмещали в себе все вечные мужские доблести: они прыгали с парашютом, кутили, покоряли сердца красавиц и сражались за правое дело, – классический культ Марса, Вакха и Венеры.

Как всегда и бывает, сказка породила и реальные достижения, пошли победы на олимпиадах, – физика, впрочем (анализ реальности), шла у меня заметно лучше математики. Но однажды наш главный кустанайский эксперт по математическим дарованиям, старший преподаватель пединститута Ким, бескорыстный и преданный служитель науки, как почти и все провинциальные математики, прочел мою чемпионскую работу и объявил мне, что такой логики он еще не видел и что мне нужно

идти не в физики, а в математики. Математические боги, уверял он, выше и прекраснее физических.

Так новая сказка и привела меня на ленинградский матмех, гимн которого, исполнявшийся на мотив «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», начинался словами: «Мы соль земли, мы украшение мира, мы полубоги – это постулат». Мы в это свято верили и с особым воодушевлением вкладывались в припев: «Все дальше и дальше, и дальше другие от нас отстают, и физики, младшие братья, нам громкую славу поют». И это было самое правильное мироощущение: только ощущением аристократической избранности ученые и могут оградиться от соблазнов мирской суеты. Но я и в самом деле никогда еще не видел таких умных ребят, – тем более, в таком количестве.

Однако больше всего меня там поразило иное. Я уже очень гордился, что у нас в математике все доказывается точно, раз и навсегда, а в какой-нибудь, скажем, истории, которой занимался мой отец, сегодня пишут одно, завтра другое... Но – обнаружилось: то, что у нас в Кустанае считалось доказательством, в Ленинграде, в лучшем случае годилось в «наводящие соображения», в которых преподаватель сразу находил пятьдесят недоказанных мест. Дошло до того, что на первом же коллоквиуме из целого потока никто не сумел доказать эквивалентность определений, если не путаю, предела функции по Гейне и по Коши, – преподаватель каждый раз обнаруживал незамеченные дырки: «А это почему? А это почему?»

И я решил: кровь из носу, а докажу. Сидел, наверно, не меньше часа, вдумываясь, что означает каждое слово, постарался предвидеть все вопросы и на все заранее ответить, и наконец напросился отвечать. Преподаватель выслушал и сказал, что да, можно поставить пятерку, – только вы вот там-то начали доказывать лишнее положение, все уже и без того было ясно.

И я ушел в совершенной растерянности: то все время было слишком мало доказательств, а теперь вдруг стало слишком много... Так где же нужно остановиться, что же тогда такое *настоящее* доказательство?.. Можно ли найти какой-то неделимый кирпичик знания, по отношению к которому уже нельзя было бы задать вопрос: а это почему? Этакий логический атом, истинность которого была бы самоочевидна?

Но кому самоочевидна? Гениям, слабоумным, дикарям в травяных юбочках? Они ведь тоже как-то мыслят, приходят к своим умозаключениям, спорят, переубеждаются или остаются уверенными в своей правоте... Так каковы же настоящие,

окончательные, *объективные* законы мышления, которые позволяли бы приходиться к *неоспоримой* истине?

Ответа я так и не нашел.

Потом мне пришлось работать на факультете прикладной математики, куда постоянно приходили какие-нибудь теоретики разных технических отраслей. И приносили какие-то свои теории, а их на семинаре начинали рвать на части: и тут не доказано, и там не обосновано... Зато когда математик-прикладник приходил к каким-нибудь топологам или матлогикам, они его точно так же начинали рвать на части. И я пришел к выводу, что доказательство – это всего-навсего то, что принято считать доказательством в данной школе. То есть, попросту говоря, что некая авторитетная социальная группа назовет доказательством, то и есть доказательство. А найти самые первые, для всех самоочевидные основания всех оснований невозможно. Даже математика основана на чем-то таком, что всеми в данной школе незаметным образом принимается, но как только мы спрашиваем, в чем это основание заключается и на чем основано, то сразу же обнаруживается, что ответа нет. Или мы соглашаемся друг с другом автоматически – или не соглашаемся никак.

Помню принципиальнейший диалог между доктором технических наук Сидоровым и доктором физико-математических наук Ивановым, постоянно обвинявшим Сидорова в том, что его применение классических вариационных методов к случайным процессам необоснованно.

– Гёдель доказал, что все обосновать невозможно, – гремел тоже не лаптем щи хлебавший Сидоров.

– Если невозможно, то как же он это обосновал? – усмехался Иванов, и Сидорову оставалось лишь принять надменный вид:

– Сомневаться в результатах Гёделя – это невежество!

Лично мне доказательство теоремы Гёделя представлялось гениальным фокусом. Да, это потрясающе: сколько ни городи аксиому за аксиомой, все равно всего не перечислишь, – что-то в этом роде, если по-простому. Но почему так получается, по-простому мне никак понять не удавалось. Пока я не утешил себя тем, что мир, который математики пытаются описать, имеет больше свойств, чем мы можем сформулировать теорем. Ведь множество теорем счетно, то есть их можно занумеровать, а скажем, множество всевозможных клякс на плоскости занумеровать невозможно, номеров не хватит. Хотя каждую отдельную кляксу можно рассмотреть и даже сфотографировать.

Так что истинным мы просто-напросто считаем то, в чем у нас не хватает ума усомниться – поскольку оно очень уж похоже на то, в чем мы прежде были уверены. А уверены бываем мы в том, что нами усвоено в возрасте не критичности, когда мы еще не умеем сомневаться ни в показаниях наших органов чувств (в них и взрослому трудно усомниться), ни в суждениях старших.

Доказанных утверждений просто не бывает, а бывают только психологически убедительные: истиной мы считаем то, что способно убить наш скепсис.

В науке, правда, слой измеряемого, логически выводимого настолько огромен, что возникает иллюзия, будто там ничего другого и нет. И все-таки в основе основ любая математика, любая физика, любая точная наука погружена в незамечаемый нами воображаемый контекст, систему базисных предвзятостей, большей частью неосознанных, внутри которой все эти доказательства только и действенны. Попросту говоря, любой факт допускает множественные интерпретации даже в самых точных науках в зависимости от базисного контекста. Строго же логически ни одно утверждение нельзя ни доказать, ни опровергнуть.

Поппер, правда, настаивал на том, что хотя доказать научную гипотезу действительно невозможно, но опровергнуть ее все-таки можно. Однако и это не так. Нет никакой возможности отличить опровергающий факт от проблемы, которую предстоит разрешить, – эта граница проводится совершенно произвольно в зависимости от того, адвокатскую или прокурорскую позицию мы займем по отношению к оцениваемой теории. Это вовсе не шутка, а констатация факта: новые теории не только в политике, но и в физике побеждают благодаря тому, что вымирают сторонники старых.

Когда-то в романе «Горбатые атланты» я написал, что главная цель человечества – бегство от сомнений. Поэтому социальные и метафизические грезы, претендующие на звание истин, по отношению друг к другу занимают очень агрессивную позицию: ведь куда греза не убьет скепсис, от нее почти нет никакой пользы, поскольку человек, скепсис которого живет и побеждает, утрачивает одну из важнейших жизненных опор – чувство неколебимой правоты.

Я думаю, всякая по-настоящему глубокая идея может быть обоснована только при помощи себя самой.

Все вышеизложенное можно назвать гносеологической версией теории относительности. Теория относительности провозгласила, что не существует никаких экспериментов,

которые позволили бы отличить равномерно и прямолинейно движущиеся системы координат от неподвижных. Точно так же не существует никаких методов, которые позволяют отличить ложную, аморальную, безобразную грезу («теорию») от истинной, высоконравственной и прекрасной. Ибо каждая базовая греза создает и формы эксперимента, и критерии их оценивания так, чтобы они работали на ее подтверждение.

Всякая иллюзия может быть нехороша только в рамках другой, соседней иллюзии. Но если иллюзия всё, часто спрашивают меня, то что в таком случае я называю реальностью? Я называю реальностью любую воображаемую картину мира, по отношению к которой скепсис уже убит или еще не успел родиться. Буддист считает самым главным мороком именно то, что позитивист считает наиболее достоверной реальностью. И лично я воспитан социальной группой, в наибольшей степени убившей во мне скепсис по отношению к тем суждениям, которые порождаются наукой, если понимать под ней, во-первых, стиль мышления, а во-вторых, социальный институт. Именно они образуют ту систему базовых предвзятостей, ту систему отсчета, из которой я наблюдаю мир.

Понятие «реальность» в моей парадигме играет примерно ту же роль, что и понятие «неподвижность» в теории относительности. Анализ начинается с наивного представления, что предметы явственно делятся на абсолютно неподвижные и абсолютно движущиеся. А после того как приходят к выводу, что абсолютного движения и абсолютного покоя не существует, что все зависит от системы отсчета, – тогда слово «покой» остается для бытового языка и для тех ситуаций, когда без слов ясно, о какой системе отсчета идет речь.

Но как же так, негодует наивный физик, вот стол – разумеется, это реальность, ведь я могу его пощупать! Я и сам однажды во сне усомнился: а вдруг это сон?.. И потрогал именно стол – он был такой твердый, что это ощущение до сих пор остается у меня в пальцах. А раненый не может заснуть от боли в ампутированной ноге. А каждый из нас своими глазами видит вспышку света, когда его ударят по глазу. А шизофреник своими ушами слышит «голоса». А Бехтерев написал целый том, посвященный коллективным галлюцинациям. А...

Но не будем заходить так далеко, вернемся к самой что ни на есть институционализированной науке.

Конечно, цель науки создать истинную модель мира. И эта модель строится по тем же законам, что и панорамы в музеях военной истории: на первом плане бревно, настоящее бревно, его

можно потрогать; чуть подальше картонный танк, до него уже не дотянешься, но бревно было настоящее, а потому и танк кажется настоящим. А еще дальше вообще идет полная живопись – какие-то холмы, леса, дым, фигурки солдат...

Так и наука: начинает она со знакомых каждому бытовых предметов, которые и составляют арсенал первичных аналогий: камешки, волны на воде, облака... А когда дело доходит до предметов, которых никто не видел и никогда не увидит – до каких-нибудь атомов, электронов, – их тоже начинают моделировать по образу и подобию камешков, волн, облаков... Возможно, и вся физика вырастает из какой-нибудь четверки-пятерки базовых образов: камень, ветер, волна, огонь, облако – не обладая ими, наш мозг вообще не мог бы мыслить... (Это к вопросу, может ли машина мыслить: мыслить не мог бы даже наш мозг, если лишить его тела, и если бы наше тело было устроено по-другому, мы имели бы и другую физику.) И не нужно думать, что кто-то видел атомы или электроны благодаря каким-то хитроумным приборам – ученые видят лишь некоторую картинку и *теоретически* домысливают причину, которая могла бы такую картинку породить.

Кстати говоря, а как мы вообще начинаем видеть реальность? Каким образом мы начинаем различать предметы? В пору моего детства в журнале «Наука и жизнь» любили печатать очень интересные загадочные картинки. Смотришь – набор хаотических разноцветных пятен, – и все-таки требуется найти там какую-то надпись. Ты эту картинку вертишь, крутишь – ничего нет. Но потом вдруг обнаруживаешь, что желтенькие пятнышки складываются в букву «с». Тогда к букве «с» начинаешь еще что-то пристраивать, и постепенно выстраиваешь вторую букву «с», и так лепишь, лепишь, лепишь, и наконец выступает надпись, – скажем, «Слава КПСС». И после того как ты ее увидел, эту надпись, ты уже больше *не можешь* ее не видеть, только взглянешь – и она сама бьет в глаза. Так я и пришел к выводу, что, исключая те предметы, сигналы от которых само собой улавливает наше тело, мы видим лишь то, что ищем, о чем заранее знаем. Ведь если бы мы не знали букв, то мы бы никогда эту надпись и не выделили из хаоса.

Но как же практические успехи науки?!.

Они огромны и восхитительны. Но на каком основании именно материальный успех следует считать критерием истины? Избрав в качестве критерия истины практические достижения, ученые выбрали именно тот критерий, с точки зрения которого их истина и есть самая правильная: все критерии каждой социальной

группой создаются «под себя». Так поступает каждая греза – каждая из них объявляет себя самой-самой: я самая древняя, я самая красивая, я самая утешительная, я самая общедоступная, я самая возвышенная, я самая общепримирающая, я самая полезная...

Таким-то образом я и пришел к ответу на простенький вопрос «Что есть истина?» – *истина неотделима от механизма ее формирования*. Что выпускает колбасная фабрика, то и есть колбаса, что порождает наш мозг – то и есть истина. Нет объективных законов мышления – есть физиология деятельности мозга, настроенного доминирующей культурой, системой доминирующих предвзятостей данной социальной группы. И все, что она называет законами мышления, есть не более чем ее идеализированное самописание. Мозг не может сформулировать некие окончательно правильные законы мышления, как диктатор не может издать закон, который сам не мог бы преступить. Ибо воля диктатора и есть закон, а решение мозга, в чем бы оно ни заключалось, и есть истина. И в итоге истина есть функция базисной грезы.

Вот почему в самых элементарных социально-политических вопросах люди приблизительно равного интеллекта и более или менее сходной культуры веками не могут прийти не то что к полному согласию, но хотя бы не к прямо противоположным убеждениям, неизбежно порождающим сначала подозрение в недобросовестности, а затем презрение и ненависть. Причина этого заключается в том, что *в естественных науках модели выбираются из соображений их практической эффективности, а при выборе моделей социально-политических люди пытаются решить сразу две взаимоисключающие задачи: добиться практической эффективности и выстроить психологически приемлемую воображаемую картину мира*. Тогда как наука, все поставившая на практическую эффективность, выстраивает картину мира, ужасающую каждого человека со сколько-нибудь развитым воображением, рисуя его случайным, мимолетным, микроскопическим и беспомощным скоплением молекул в бесконечно огромном, бесконечно могущественном и бесконечно равнодушном космосе.

И с тех пор как пришли в упадок религиозные грезы, люди начали искать утешения в грезах социальных. И ненавидеть тех, кто у них это утешение отнимает. Отсюда и проистекает тот совершенно немыслимый в естественнонаучных дискуссиях эмоциональный накал: на карте стоит не какая-то там прогностическая достоверность, не «правда», а именно счастье.

Цивилизованное человечество в принципе давно разделило эти функции, познание и утешение, поиски практической эффективности предоставив науке, а функции утешительные передав религии, социальному прожектерству, искусству (перечислены по степени убывания чарующей силы), и лишь в социально-политических науках все еще царит первобытный синкретизм. Невозможно получать утешение и эффективность в одном флаконе и в полном объеме – вероятно, имеет смысл поискать чего-то компромиссного, пожертвовав частью утешительности в пользу эффективности и частью эффективности в пользу утешительности.

Я думаю, как наука вырастает на базе каких-то элементарных физических впечатлений, так и политические убеждения вырастают из неизмеримо более элементарных и лично пережитых образов, которые и выполняют функции первичных аналогий. Скажем, представление о нации вырастает из образа семьи – недаром и поныне самые пафосные пропагандистские образы националистов отсылают к семейным святыням: родина-мать, царь-батюшка, отечество, убивают наших братьев, бесчестят наших сестер...

Но если базовые аналогии физического мира у всех примерно одинаковы, то базовые образы мира социального могут быть и прямо противоположными. Когда мы начинаем рассуждать о достоинствах и недостатках системы всеобщего образования, бывшему мальчику из интеллигентной семьи представляется примитивная училка, вдалбливающая ему Пушкина и Ньютона, в которых сама мало что смыслит, а деревенская девочка, дошедшая до столичной доцентуры, растроганно вспоминает какую-нибудь Марью Петровну, без посредничества которой она никогда бы даже не услышала этих имен.

Ну и, конечно, к числу таких базовых предвзятостей принадлежат и суждения авторитетов, усвоенные в возрасте тотальной не критичности к мнению старших. Затем каждый запасается базовыми аналогиями внутри своей профессии – биологи черпают их в наблюдениях за животными, физики – за двигателями внутреннего сгорания, экономисты – за сводками покупок и продаж, полицейские – за преступниками, преступники – за полицейскими... В итоге, рассуждая вроде бы об универсальных социальных вопросах, каждый в скрытой форме стремится либо выразить кому-то свою личную признательность, либо свести свои личные счеты, собственных личных друзей и личных врагов навязать миру в качестве всеобщих: маменькин сынок больше всего на свете ненавидит свою бонну,

несостоявшийся тиран – состоявшихся; тот, кто пострадал от организованного коллектива, ненавидит всякую организацию, тот, кто пострадал от дезорганизованного коллектива, ненавидит дезорганизацию; пострадавший от традиций ненавидит традиции, пострадавший от нововведений ненавидит нововведения...

Люди с радикально расходящимся запасом базовых впечатлений не могут прийти к согласию, даже если бы очень этого захотели. Поэтому социальное согласие не является результатом отыскания социальной истины, но, напротив, социальная истина является следствием социального единообразия.

Робкий мальчик, выросший в благополучном квартале благополучной страны, сталкивается с опасной силой лишь в лице полицейского, а потому более всего на свете и ненавидит полицию (государство, выражаясь расширительно). А другой, точно такой же мальчик, выросший в хулиганском квартале, где может ударить, а то и пырнуть ножом каждый встречный, при виде полицейской формы наоборот с облегчением переводит дыхание (превращаясь в сторонника государственной монополии на применение силы).

В итоге либеральные воззрения способны распространиться лишь там, где значительная часть населения видит для себя главную опасность не в бандитах, не в хулиганах, не в жуликах или относительно законопослушных ловкачах, а в государственных службах, – их разнузданность должна производить более сильное впечатление, чем разнузданность индивидов.

Сегодня либералы часто обвиняют государственные службы в том, что те пытаются монополизировать не только право на насилие, но также и право на мошенничество и присвоение чужой собственности. Однако если госслужбы на этом непохвальном поприще сумеют заметно опередить частную инициативу, тем самым они более чем кто-либо послужат успеху либерального дела.

Но я отвлекся в своем стремлении показать, что истиной всюду считается то, что способно породить социальное согласие. И сегодня, скажем, у магии на это больше шансов, чем у науки: она способна захватить гораздо более широкие массы. Ибо массы всегда живут все по тому же принципу «правда хорошо, а счастье лучше». А наука, как бы много она ни открывала, всегда еще больше закрывает. Она отрицает возможность добыть энергию ни из чего, наложением рук исцелить смертельную болезнь, словом остановить бурю, по кофейной гуще узнать будущее, посредством блюдечка связаться с умершими, – согласитесь, эти чудеса будут куда позавлекательнее всех компьютерных томографов и

мобильных телефонов. Поэтому борцы с лженаукой борются не с отдельными шарлатанами, но с человеческой природой, для коей жизнь без надежды на чудо просто невыносима.

Сегодняшний разгул мракобесия со знахарством и ворожбой – всего лишь возвращение к норме, ибо за все тысячелетия своего существования человечество только считанные минуты прожило без веры в магию, да и в эти минуты оно больше притворялось, что отказалось от нее, под давлением массированной пропаганды и – будем называть вещи своими именами – государственного террора. И в борьбе с воистину неодолимой стихией чудотворчества (жизнь без веры в чудеса по силам лишь тем счастливицам, кто сумел выстроить свою экзистенциальную защиту на более утонченных иллюзиях) союзником ученых, как ни странно, может сделаться церковь.

Поскольку сама наука никогда церковью сделаться не сможет, научный рационализм никогда не сумеет одолеть людского стремления защититься от знаний, когда они начинают открывать слишком уж мрачные перспективы: извечный конфликт мечты и реальности – типичный трагический конфликт, в котором смертельно опасна победа как той, так и другой стороны.

С тех пор как человек сделался человеком, то есть существом, способным испытывать страх перед еще только воображаемыми опасностями, перед ним предстали две одинаково важные, но постоянно борющиеся за первенство задачи: предвидеть будущее и примириться с результатами этого предвидения, всегда ужасными, стоит заглянуть в реальность подалее и поглубже. Человечество потратило тысячи и тысячи лет, пытаясь решать эти задачи одновременно средствами магии, и только многие века неудач заставили наиболее мудрую его часть отделить познание (предвидение) от утешения и создать для каждой из этих функций собственный социальный институт: для познания науку, для утешения (для экзистенциальной защиты) – религию, искусство, социальный утопизм и некоторые другие воздушные замки в царстве грез. Несомненно, на первых порах (тоже длившихся целые века) и наука тоже оперировала мало на чем основанными фантазиями и аналогиями, но ее фундаментальное положение, отделившее ее от магии, всегда оставалось неколебимым: наука исходит из того, что все естественные процессы протекают по их собственным законам и мы должны эти законы как-то разгадать, – магия же полагает, что миром правит некая воля (целые сонмища воль), на которые можно воздействовать мольбами, подкупом, правильным поведением, распознаванием тайных команд, которым невидимые

воли повинуются, другими волями (колдунов и пророков), еще более могущественными...

Короче говоря, магия была попыткой перенести законы социальной действительности на внесоциальную природу, – именно расставание с этой химерой и было первым и едва ли не важнейшим шагом ко всем будущим «чудесам науки». Именно так: наука начинается с признания того, что в мире, кроме нас самих, никаким высшим волям до нас нет ровно никакого дела, что у природы нет любимчиков и что каждый из нас, и святой, и гений, и герой, подлежат ровно тем же законам, что и какой-нибудь червяк или булыжник. А потому сегодняшние маги и знахари пытаются поодиночке или разрозненными партизанскими соединениями взять реванш в войне, уже проигранной много веков назад могущественнейшими регулярными армадами, когда-то полностью контролировавшими весь подлунный мир.

Поэтому те общественные силы – конфессиональные, художественные, политические, – в чьи функции входит утешение страждущих, возбуждение в них хотя бы иллюзорных надежд, имеют все основания восстать на колдунов и ворожей как на недобросовестных конкурентов: ведь все уважаемые религиозные институты и построенные на утопических основаниях политические партии (а таковыми в какой-то степени должны быть все они, дабы выдержать состязание с другими утопиями) уже давным-давно молчаливо сошлись на том, чтобы не соблазнять паству твердыми и конкретными обещаниями чудес, относя их исполнение в неопределенное будущее, а то и вовсе в какой-то иной мир, и сделали это именно потому, что с горечью убедились в невозможности воскрешения мертвецов, в невозможности гармонического сожительства львов и ланей, в невозможности исцеления неисцелимых и вообще пришествия царства божия в какие-то гарантированные и обозримые сроки. Конфессиональные и политические лидеры сделали бы весьма благое и для них же полезное дело, если бы воспользовались имеющимися в их распоряжении административными ресурсами, дабы удалить с уважаемой части общественного поля арьергардные осколки давным-давно потерпевшей поражение великой армии, продолжающие использовать неконвенциональное оружие.

Подчеркиваю: не полностью и окончательно удалить колдунов с общественного поля вон как худую траву, но лишь из его уважаемой части – из газет, телевидения, общественных залов и площадей. Шопенгауэр когда-то очень точно назвал астрологию величайшим проявлением человеческой

самонадеянности: люди мнят, что даже звездам есть дело до их разборок, – так что астрологические прогнозы в солидных СМИ он наверняка бы счел национальным позором. А также сигналом всем остальным магам и пророкам: налетай, братва, наша взяла!

(Хотя астрология иногда претендует и на статус научности, в ней нет главных признаков науки: постоянных уточнений, нерешенных проблем, борьбы научных школ...

Но что-то я заговорил о ней слишком уж серьезно).

Разумеется, полностью защитить простаков от жуликов невозможно: как выразился один либеральный реформатор далекого прошлого, если люди хотят избавиться от своих денег, никакой закон не сможет им в этом воспрепятствовать. Все, что мы можем для них сделать, это затруднить их обирание, – загнать наперсточников и шулеров в тараканьи закутки, а побежденных хранителей тайны и веры – в катакомбы, пустыни, пещеры. Пускай слухи о творимых ими чудесах расходятся эзотерическим путем, от посвященного к посвященному, но не через объявления на газетных страницах или телеэкранах отвергнувшей их и отвергаемой ими цивилизации. В борьбе с этим вечным возвращением посконной, кондовой и сермяжной магии, мне кажется, наука вполне могла бы заключить оборонительный, да и наступательный союз с наиболее рациональными церковными иерархами, если таковые найдутся.

Я не знаю, есть ли в нынешней церкви силы, готовые сотрудничать с научной рациональностью, не стараясь подчинить ее. Не знаю также, готов ли научный скепсис сотрудничать с верой, не претендующей творить чудеса на каждом шагу, но – в необходимости противостоять наплыву той иррациональности, которая не желает знать никаких берегов, наука и религия вполне могли бы протянуть друг другу руку, отложив свои распри до лучших времен, когда наводнение колдовства хотя бы временно отступит (окончательное его отступление невозможно, куда человек остается существом, чье главное свойство вовсе не разум, но фантазия). Меня немножко ободрил один подающий надежды юный физик, который, прочитав эту статью, прислал мне такое письмо: «Я довольно давно ощущаю, что главные враги науки вообще и меня лично, это люди, всерьез считающие, что человеческое счастье – это покупка нового ай-пада или нового автомобиля. И, напротив, в людях, верящих, что душа важнее, чем тело, я вижу своих союзников, даже если они верят в это как-то иначе, чем я (и не пытаются мне запретить верить по-своему)».

Мне тоже кажется, что у человечества два главных врага – не желающая знать никаких границ рациональность, презирающая

все даруемые фантазией душевные переживания, и не желающая знать никаких границ иррациональность, признающая за истину любые химеры, лишь бы они несли хоть минутное утешение. Если утешительные фантазии по уходящей традиции уподобить опиуму, то вторую стихию можно сравнить с разгулом наркомании, – миру необходимо отыскать тесные врата меж губительной трезвостью и губительным опьянением, найти компромисс между правдой и счастьем, между наукой и жизнью.

В Южной Корее что-то подобное, похоже, удалось. Меня знакомил со страной, пережившей земное корейское чудо, аспирант-славист Мун Су, нищий и беззаботный, как воробышек. Я спрашиваю Мун Су – преподавателя воскресной школы и сына христианского миссионера, ныне проповедующего в Казахстане, хотелось ли бы ему, чтобы христианство, а точнее его господствующая в Республике Корея пресвитерианская ветвь сделалась государственной религией. Ни в коем случае, уверенно отвечает он, религия не должна иметь ничего общего с политикой: когда-то папы хотели управлять королями и дошли до разных «нечеловеческих поступков», «стали продавать бумажки с отпущением грехов»...

Словом, никакой «принудилочки» быть не должно, должна быть только свобода вероисповедания.

А как же быть, осторожно спрашиваю я, если в школе учат, что земля существует миллионы лет, а в библии написано, что шесть тысяч? И что должны делать геологи, если они верующие? И Мун Су спокойно разъясняет мне, что человек славит Господа своим трудом, и если христианин геолог, то он должен быть лучшим геологом. И действовать так, как считается правильным в его науке. Только при этом надеяться, что противоречие между наукой и писанием когда-нибудь разрешится. Возможно, появятся новые открытия, возможно, выяснится, что годом в библии называется что-то другое – не нужно на этом фокусироваться, этот вопрос не настолько важный.

Эта истина не стоит костра, вспомнил я слова Камю по поводу вопроса, земля вращается вокруг солнца или наоборот. До меня лишь с огромным опозданием дошло, что преследования Галилея не были столкновением консервативной церкви с прогрессивным обществом, ибо общество наукой в ту пору вовсе не интересовалось, наука развивалась именно внутри церкви, и научные распри были до поры до времени ее внутренними конфликтами. А когда общество по-настоящему взяло науку в свои руки, церковь тут же и утратила свою власть над нею. Зато амбициозные безбожники, вообразив науку новой

единоспасающей церковью, принялись орудовать не лучше инквизиторов.

Словно отвечая моим мыслям, Мун Су разъясняет, что именно христианские миссионеры первыми начали открывать в Корее школы, где преподавали светские науки – до этого в них изучались лишь конфуцианские премудрости. И первые университеты, и первые европейские больницы тоже открыли миссионеры – сами они были не просто священники, но врачи, инженеры...

Вот как надо оболыщать – не напором, а дарами, не обличениями, а умениями. Сам Мун Су, проживая с отцом в Казахстане, учился в техническом лицее и без всяких специальных усилий занял первое место на областной олимпиаде по физике.

Так у вас же явные способности, вам и нужно заниматься физикой!

Однако Мун Су эта мысль только забавляет – и без физики есть масса увлекательных дел. И я вспомнил, что никакой магической власти физика не имела и над моей душой, покуда мне не открылось, что физики – это боги. Но если бы я и без того ощущал себя причастным к Божеству, у меня не было бы и стимула куда-то карабкаться...

Видимо, в культе гениальности и впрямь есть что-то богоборческое, что-то от строительства духовной Вавилонской башни. Или, вернее, это попытка выстроить новую экзистенциальную защиту, когда начала ослабевать прежняя. Похоже, культурам, сумевшим защитить своих подданных от ужаса мизерности, наука не слишком-то и нужна...

А в Республике Корея, вопреки всем привычным представлениям, классическая религиозная защита, несмотря на все технологические прорывы, отнюдь не слабеет, но, напротив, укрепляется.

Будда, как известно, пришел к своему учению о том, что жизнь есть страдание и зло, когда юным счастливым царевичем столкнулся с тремя главными ужасами человеческого бытия, чьи имена болезни, старость и смерть. А мы с Мун Су добровольно отправились в приют, где они собираются для своего последнего торжества – в дом Серебряного возраста, или, проще говоря, – в дом престарелых.

Дом Серебряного возраста выглядит как горное шале. Однако на такое я насмотрелся и в Европе: чистота, отсутствие тесноты, доброкачественная пища, для Кореи, обожающей острое, вполне шадящая. Но близость смерти, оторванность от мира живых – это диетой не возмещается...

На диване напротив меня тяжело сидит седая, коротко стриженная женщина с широким простонародным лицом; она безостановочно двигает челюстью слева направо, как будто не может распробовать что-то неприятное. Она всю жизнь прослужила детям и внукам, но теперь старший сын заболел, две его сестры ухаживают за ним, да еще и напряженно работают, чтобы дать детям хорошее образование, а у нее склероз, одну ее оставить дома нельзя... Сегодня за обедом она отказывалась есть, сказала, что хочет умереть. Правда, потом, разговорившись, все съела.

Зато все остальные обитатели дома совершенно довольны – лучащиеся милые старушки и один старик: они приближаются к Богу, они не обременяют близких, а те, когда могут, их навещают...

Великий нигилист Толстой, не сомневался, кажется, лишь в одном: главное несчастье человечества – страх бесследного исчезновения (которое твердо обещает ему наука).

Чтобы напрямую не спрашивать об их личной жизни, я задаю тонкий вопрос: когда жизнь была лучше – раньше или теперь? Теперь, не задумываясь отвечают они: сегодня намного больше комфорта, больше возможностей облегчать человеческие страдания...

Но ведь раньше люди больше помогали друг другу, меньше грешили – разве не так? Однако они не подхватывают эту привычную песню: им и сейчас помогают, и они сами помогают чем могут, а что до грехов, то грехами нужно больше заниматься своими – грешник ведь губит только самого себя, а другим он повредить не может.

Очень разумно... Толерантными и впрямь бывают только сильные, и среди российских верующих таких, видать, не густо: я читал исследование, согласно которому люди, называющие себя страстно верующими, намного чаще ощущают раздражение против мира. А у этих ни надменности, ни надмирности, ни надрыва, ни елея – молодые ребята-волонтеры ни дать ни взять веселая студенческая компания. У счастливых, защищенных людей нет надобности кого-то прессовать. Да мы и сами, когда ребенок пытается нас бить, обзывать, переносим это довольно снисходительно.

Когда я понял, что никакие вопросы не заденут чувств Мун Су, я решил задать ему пикантный вопрос: как христианство в его версии относится к сексу? Ответ был получен самый простой: любовь – это прекрасно, потому что в истинной любви люди отдают друг другу самое лучшее. Но в похоти, в

которой люди тратят божественный дар на одноразовые удовольствия, превращая друг друга в неодушевленный предмет – в этом ничего хорошего нет. Хотя и здесь они вредят больше всего самим себе. Правда, еще и соблазняют тех, кто не тверд в вере, это нехорошо.

А если люди любят друг друга истинной любовью вне брака – это как? Если истинной, то это прекрасно. А истинна она или нет, судить могут только они сами, посторонние в это вмешиваться не должны. Другое дело, что и любящим не стоит афишировать свою связь, чтобы не соблазнять тех, кто не тверд в вере.

А самоубийство? Я-то считаю глубинной причиной самоубийств распад утешительных сказок, Мун Су же как будто и на этом не склонен фокусироваться: христианам самоубийство запрещено, но истинно верующему человеку сталкиваться с этим запретом не приходится, для него просто нет повода убивать себя.

Мы мчимся по ультрасовременному ночному Сеулу, и редко выпадает минута, чтобы в поле зрения не оказалось двух-трех багровых огненных крестов. А иногда и все четыре.

Религиозный рай лично для меня закрыт, но, может быть, других согреет этот свет с Востока, где наука служит жизни, не пытаясь подмять ее под себя, не стараясь разрушить те базовые грезы, на которых покоится человеческое счастье.



Наталья Олифинович

Семья в зеркале психотерапии



одна из шуток по поводу психотерапии: если у вас были родители, значит вы нуждаетесь в психотерапии. Как почти во всякой шутке в ней есть доля правды, которая отнюдь не сводится к неправильному воспитанию, плохим родителям, чему-нибудь еще в таком роде или к дурно понятому психоанализу. Эта доля правды не укладывается ни в какие теоретические схемы, не делится без остатка на так называемые объективные факты. Представляю себе делание своей жизни как вышивание по канве. Хорошая канва, и рисунок я придумал замечательный, и прекрасно понимаю, что и как делать... Но ничего не получается – хочу как лучше, а получается как всегда... Почему? Вышиваю я нитью, которую пряду из переживаний своего жизненного опыта, в которых при всей понятности самого опыта (здесь я делал правильно, здесь ошибся, там надо было так, а там этак, и т.д. и т.п.) множество узелков, узлов и петель. И вот сейчас мне важный стежок жизни положить надо. Понимаю, что он необходим и для чего он, а нитка то и дело застревает или рвется. Вот с этим и иду к психологу, чтобы он помог развязать, распустить эти невидные, неизвестные мне, но так мешающие душевные петли и узелки. Самые тугие из них связаны с детским опытом жизни – и потому, что это время, когда весь мир представал в образе и действиях родителей, и потому, что первые узелки переживания обрастают все новыми и новыми узлами и петлями. Больше того – они сказываются не только на том рисунке, который намечаю себе вышить, но и на канве. В психотерапии такие переживания называют незавершенными. И тогда задача психотерапии состоит не в том, чтобы применить какой-то метод для исправления „поломки“ в душе, а помочь пациенту исследовать его переживания, добираясь до незавершенных и завершить их, разрешая связанные с ними жизненные проблемы. Об этом и рассказывает Наталья Ивановна, давая читателю возможность не только узнать что-то о психотерапии, но и почувствовать, пережить ее как сложный, никогда полностью не предсказуемый, часто очень и очень нелегкий для обоих участников живой процесс,

отличающийся от теоретических рассказов как реальное путешествие от путеводителя.

Виктор Каган

Самурай и Эдип

Начиналось эта история очень банально. Мой коллега позвонил, рассыпался в дежурных расспросах о жизни и в конце разговора попросил «посмотреть мальчика». Я сразу отказалась, потому что не работаю с детьми. Но коллега меня успокоил – «мальчику» было за 20 лет, и с ним все вроде в порядке, и к психологу он хотел попасть сам, но вот его папа очень озабочен одним деликатным вопросом... Коллега помялся и сказал, что папа очень волнуется – не гей ли его сын?

Меня это удивило. Я напомнила коллеге о профессиональной этике и о том, что «мальчику» 20 лет. И о том, что если бы я даже что-то узнала, это останется между нами. Но коллега тут же извинился и сказал, что все понимает – главное, чтобы я согласилась хотя бы на одну консультацию, возможно, двухчасовую. «Мальчика» он знает с детства, это сын его близкого друга, и очень важно, чтобы он мог поговорить с посторонним человеком о том, что его беспокоит.

Признаюсь, я не сразу дала ответ – прошло около двух месяцев, в течение которых я была в разъездах и не имела возможности принять нового клиента. Но коллега был настойчив, я нашла «дыру» в расписании и все же дала согласие. «Мальчик» позвонил, представился – Антон, и мы договорились о встрече.

И вот, после всех предварительных переговоров мы наконец встретились. Он позвонил в дверь, я открыла – и обомлела...

На пороге стоял кто-то из другой реальности. На улице было минус 20, а молодой человек был одет в черную кожаную куртку с рукавами до локтя, широкие темные штаны и тяжелые черные ботинки. Как лента патронов, его грудь накрест пересекали лямки от двух сумок. «Можно?», - спросил он, открыто улыбнувшись, и я, удерживаясь от «Ооооо!», пропустила его в помещение. Он снял ботинки, и когда я увидела его со спины, меня ждал еще один сюрприз – хвост до пояса, собранный в прическу наподобие самурайской. Он опять выпрямился, и я еще раз окинула его взглядом. Высокий – выше 190 см., красивый, с очевидно крашеными в черный цвет волосами и бритым лбом, в странной одежде – он производил впечатление спокойного и устойчивого человека. И голос – низкий, мужской, густой. Все это никак не вязалось со словом «мальчик».

Мы прошли в кабинет, сели. Я немного выждала. Антон спокойно смотрел на меня. Я еще раз представилась, спросила, был ли он когда-нибудь у психолога или психотерапевта. «Нет», - ответил Антон. Я кратко объяснила ему, в чем заключается сущность предстоящей нам работы, и предложила Антону рассказать, что его привело ко мне.

«Я не могу себя найти», - просто ответил молодой человек. Я попросила рассказать подробнее.

История была обычной. Школа, хорошая успеваемость в младших классах, утрата интереса к учебе в старших, поиск себя на протяжении последних 5-ти лет. Попытки поступать в вуз – дважды провалился, сейчас учится в не самом престижном институте на творческой специальности, но не уверен, что это – его.

- А почему ты решил сейчас обратиться к психологу? Что-то произошло?

- Все происходит уже несколько лет, - ответил Антон. Я не понимаю, чего я хочу, туда ли я иду. И еще – у меня нет и не было девушки.

В этот момент я чуть не поперхнулась, хотя по разговору с коллегой догадывалась о некоторых сложностях в этой области отношений. Красивый, с рельефными мышцами, с мощной энергетикой – несмотря на странный наряд, Антон выглядел очень привлекательным. Он совсем не производил впечатления человека, у которого есть проблемы в личных отношениях. И я начала осторожный распрос.

Антон охотно рассказывал о себе. Ему 20, отец и мать в браке, сестра 5-ти лет. Платно учится, не работает. Деньги на терапию дает мать.

Поспрашивав о «социальном», я стала углубляться, меня приятно поразило то, как он говорил о себе и других людях. В том, как он анализировал действительность, в самой структуре речи, характере описания обычных вещей поражали глубина и какая-то несоответствующая возрасту мудрость. Он два раза поступал – на журналистику и на режиссерский в Москву, но оба раза провалился. Нынешняя учеба на первом курсе кажется занудством и пустой тратой времени. Преподаватели не вызывают интереса, лекции скучные, однокурсники живут своей жизнью...

- А чем живешь ты? – спросила я.

- Я? – он немного подумал – я живу мечтами и надеждами.

Он рассказал, что много читает: «Путь воина» – бусидо (вот откуда необычный внешний вид), Ницше, Бегбедера и Маркса, Фрейда и Юнга, Кьеркегора и Пратчета... «Он просто чудовищно

много читает», – подумала я с некоторой завистью. Он каждый день 2 часа (!) занимается спортом. Он пишет короткие рассказы. Он играет на клавишных инструментах и сочиняет музыку...

Создавалось впечатление, что я вижу того самого пресловутого «всесторонне развитого гармоничного человека»... И этот человек был одиноким – у него, по его собственным словам, не было Пути и Девушки.

Признаюсь, я была заинтригована и очарована. Пролетели 45 минут нашей встречи, и я спросила – хочет ли он продолжить нашу работу?

- Конечно, да, - ответил Антон.

Я озвучила основные условия контракта и мы договорились на пять встреч, чтобы понять, настолько я смогу быть ему полезной. На этом мы попрощались.

На вторую встречу он пришел в той же одежде. Слава Богу, на улице всего минус 7, подумала я. Как и в первый раз, он, не снимая своего странного наряда – сверху кожа, изнутри мех, разулся и прошел в кабинет.

Антон был очень контактным, живым, охотно отвечал на все вопросы. Главной темой по-прежнему оставалось отсутствие интереса к учебе. Он рассказал, что в течение недели всего дважды был в университете, где у него просто возникает чувство глубокой тоски.

- Почему ты учишься там, где тебе не нравится? – спросила я. И тут возник Он.

- Потому что родитель так решил, – ответил Антон. В этот момент его лицо окаменело.

Он помолчал и добавил:

- У нас все решает родитель...

Признаюсь, мне показалось странным, что отца называют «родителем». Я спросила, почему Антон так его зовет.

- Это аллюзия на Тараса Бульбу – я тебя породил, я тебя и убью...

И дальше пошла сплошная тема войны. Антон использовал очень много агрессивных, боевых метафор. Всю сессию он проговорил о том, как много его желаний на корню были зарублены его собственным отцом. Имея военное образование, отец занялся бизнесом, но собственную семью выстроил по образу и подобию армейской казармы. Антон, сколько себя помнил, жил по правилам. Вставал и ложился тогда, когда говорил „родитель“. Ездил в пионерские лагеря, которые ненавидел, потому что так решал „родитель“. Учился в

математической гимназии, хотя был гуманитарием – потому что „родитель“ так хотел.

Обо всем этом он рассказывал ровно, без эмоций, все с тем же застывшим, окаменевшим лицом.

- Ты злишься на своего отца? – осторожно спросила я.

- Нет, - ответил Антон. – И, помолчав, добавил: - Я его ненавижу.

Я растерялась. Для меня ненависть – это глухое, сильное переживание, социально не очень одобряемое и поэтому обычно представляемое в «уменьшенной» модальности типа злости и раздражения. Видимо, заметив то, что я замешкалась, Антон продолжил:

- Он всегда все делал так, как считал нужным. А теперь я не знаю, нужно ли мне то, что я желаю, потому что почти все я делаю под его давлением или при его участии.

- Но почему ты не пробуешь делать то, чего хочешь тебе? – спросила я.

- Потому что у меня не хватает ресурсов. Я зависим от его денег, - снова спокойно сказал Антон.

- А пробовал? – не сдавалась я.

- Да, много раз, – ответил Антон и рассказал, как в подростковом возрасте бунтовал против отца. Однако все попытки свободомыслия – не говоря уже о свободе действий – жестоко карались. Так продолжалось до 16-летия Антона. В 13 он начал заниматься тайским боксом, а к 16-ти вымахал ростом выше родителя. И после этого – Антон вдруг замешкался и покраснел – отец не поднимал на него руку.

- Что с тобой? – спросила я. - Ты покраснел и как будто бы потух.

- Ничего... Просто неприятно вспоминать, - ответил Антон.

У меня возникло ощущение, что здесь что-то не так... Однако дальнейший рассказ Антона открыл ряд таких подробностей, что я решила – видимо, парню стыдно мне рассказывать такие вещи.

До 16 лет отец наказывал его физически. При малейшем неподчинении он заводил его в свой кабинет, приказывал спустить штаны и трусы до колен и наносил всегда три удара ремнем с пряжкой. После этого в течение нескольких дней Антон с трудом сидел. Однако, начав заниматься тайским боксом, Антон смог противостоять наказанию.

- Просто один раз я сказал ему, что не пойду в кабинет. Он тут же впал в ярость и потащил меня, я автоматически

ответил... Завязалась драка. Он, наверное, убил бы меня, но к счастью вмешалась мама. И тогда отец сказал: воспитывай теперь его сама, и ушел, хлопнув дверью.

- А мама знала, что он тебя бил до этого?

- Нет. Отец всегда говорил – будь мужчиной. Виноват – неси наказание с достоинством.

Чем больше я слушала, тем меньше понимала.

- И что, мама ничего не замечала? Не догадывалась?

Антон задумался.

- Думаю, догадывалась... В детстве он несколько раз меня ударил при ней. И когда мне было лет 7-8, он ударил меня по лицу так, что потекла кровь из носа. И тогда у них был серьезный спор. „У нас дома никто никогда не кричит, мы же «приличная семья» – Антон криво усмехнулся – Но я слышал, как мама сказала, что забирает меня и уходит к родителям. После этого отец некоторое время держался – а потом стал водить меня в кабинет для «мужских разговоров»“.

- Но почему ты ничего не рассказывал маме?

- Потому что я ее очень люблю, - спокойно ответил Антон. Его лицо в этот момент изменилось, стало нежнее.

Время закончилось, Антон ушел, а я еще несколько раз возвращалась к его истории. Мои контрпереносные реакции были сильными - злость по отношению к отцу и недоумение – как мать могла этого не замечать?

Наша третья встреча состоялась через неделю. Антон начал с того, что у него появились идеи о важном направлении в своей жизни. Он рассказал, что когда-то, когда не поступил в первый раз, хотел поехать «бременским музыкантом» в Европу. Его друг собрал небольшой коллектив и на микроавтобусе они колесили по разным курортным местам Старого Света. Антону была нужна виза, однако отец запретил бабушкам и маме давать ему деньги и сказал – ты должен их заработать. Сам. Похоже, это было наказание за провал экзаменов, хотя поступать в ГИТИС было чистой авантюрой.

И „родитель“ устроил Антона к своему другу барменом. Антон проработал месяц, в итоге получив на руки около 50 долларов... Чаевые он не собирал – думал, нет надобности, и на них купил себе гитару. Когда он пошел к отцу, тот сказал: „А что же ты думал? Это бизнес, мальчик. О зарплате надо договариваться заранее“. И не дал ему 60 евро на визу.

Когда Антон об этом говорил, у него в глазах впервые блеснули слезы.

Я спросила – почему именно эта ситуация его задела больше, чем даже то, что отец его регулярно избивал?

- Потому что там он не мог сдержаться. А здесь мне была нужна его помощь. Он проманипулировал мной, и я не смог уехать с друзьями. Моя жизнь могла быть другой, но родитель преподал мне урок: ты – никто, ничего не можешь, даже договориться...

Антон неожиданно дня меня закрыл лицо руками... Его плечи вздрагивали, а у меня возникло щемящее желание сесть с ним рядом, обнять... Но я понимала, что включаюсь во все еще и материнской позицией – ведь мой сын почти такого же возраста... Я подождала, пока Антон не открыл лицо, и сказала о своем сочувствии. И о том, что, похоже, эта ситуация его глубоко ранила.

- Да, после этого у меня была депрессия.

- Ты ходил к врачу?

- Нет, я умею читать, - невесело отшутился Антон и опустил глаза. – Вряд ли мне бы помогли таблетки, но меня накрыло. Причем так, что я подумывал...

Он замолчал, и это была та самая тишина, которую можно резать ножом. Я ждала.

- Я подумывал о самоубийстве.

Он произнес эти слова и поднял глаза на меня.

- А родные не замечали этого?

- Родитель – нет. Было ощущение, что я для него не существую. А мама - мама видела и чувствовала. Она меня и «вытянула». Каждый вечер укладывала сестру спать и приходила ко мне. Говорила до полуночи, гладила по голове, рассказывала сказки и смешные истории... Ей тяжело пришлось – сестре было что-то около трех лет... Я месяца три-четыре приходил в себя...

- А как думаешь, что тебя так сильно ранило? – поинтересовалась я.

Антон помолчал. На лице мелькнула тень...

- Похоже, мысль о том, что я не нужен своему отцу. Не оправдал его ожиданий. И что он меня не считает человеком – так, мальчишка...

В этот момент я подумала о том, что даже самые жестокие, самые нездоровые, самые сумасшедшие родители почему-то вызывают в детях одно-единственное желание – чтобы их любили...

И – в тот же момент – куда-то ушла энергия из нашего диалога. Я не поняла – что же случилось? Я спросила Антона, чувствует ли он, что наше общение изменилось. Он ответил, что

заметил это. Но мои расспросы о том, что произошло в этот момент, наткнулись на глухую стену.

Сессия закончилась, и я осталась в задумчивости.

Четвертая встреча началась с того, что Антон опоздал на 10 минут. Запыхавшийся, он вошел и с порога стал рассказывать – он ходил на собеседование. Ребята создают boy-band – музыкальную группу из одних мужчин – и его, кажется, возьмут. Он весь светился, радовался, и было очень мило наблюдать за ним – таким радостным, двадцатилетним мальчишкой, а не за человеком за 70, каким он иногда казался.

А потом я, наконец, решила задать вопрос, который меня интересовал с самого начала: что Антон хочет сказать своей одеждой? Это было уместно, потому что перед этим я интересовалась, как его восприняли на собеседовании.

Антон задумался и снова улыбнулся.

- Мне раз сто задавали вопрос про мою одежду, но в такой вариации – ни разу.

- Я просто заметила, что ты все время ходишь в этой куртке? жилетке? даже не знаю, как назвать...

- Это типа хаори... Верхняя одежда самурая... Конечно, это просто кожа с меховой подкладкой – подруга сшила, она на дизайнера одежды учится.

- И тебе тепло в ней в минус двадцать? – не удержалась я от любопытства.

- Да, там же мех. Норка.

Я удивилась. Понимая, что отец контролирует финансовые потоки и во многом из принципа отказывает сыну, я не поняла, как он дал деньги на такое дорогостоящее и странно выглядящее удовольствие.

Антон, будто прочитав мои мысли, ответил:

- Мех дала мама. После рождения сестры она поправилась, а родитель подарил ей в эту честь новую норковую шубу. Вот она и отдала мне старую, узнав, что я мечтаю пошить себе хаори. Мама у меня просто фантастическая, - добавил он, и глаза его засияли...

И тут я поняла. «Мать – образ мира, отец – способ действия...» Проблемы выбора, поиска Пути – это проблемы, связанные с отцом, человеком, который все и за всех решает, который не давал сыну возможности расти – и теперь вынужден наблюдать за ним без возможности что-то изменить. Все, что ему остается – контролировать финансовые потоки.

А Девушки у Антона нет, потому что есть фантастическая мама. Любимая, идеализированная, чувствительная, при этом много лет не замечавшая, что муж издевается над сыном.

Испытав секундную радость от того, что я концептуализировала проблему, я внимательно посмотрела на Антона. И решила повременить со своими интерпретациями – лучше послушать, куда двинется он.

Антон еще несколько минут говорил об одежде. О том, что понимает, как его воспринимают люди. Что многие на него косятся – особенно в метро, поэтому он максимально старается ходить пешком. И что носит эту одежду уже два года – с тех пор, как вышел из депрессии и подруга пошила ему хаори.

- Как ты думаешь, может, то, что ты носишь мех, подаренный матерью, так близко к твоему телу, имеет для тебя какое-то специальное значение?

Антон рассмеялся.

- Сейчас Вы будете мне рассказывать об Эдиповом комплексе – сказал он, улыбаясь. Видимо, у меня на лице промелькнула тень растерянности, потому что он веселился.

- Ну что, правда?

Я не стала отпираться.

- Да, у меня есть предположение, что сложности с поиском Девушки связаны с тем, что ты не хочешь предавать маму. Она столько для тебя сделала, и ты правда ее очень любишь...

Антон пристально, как бы что-то взвешивая, посмотрел мне в глаза.

- Да, я люблю маму. Но это ни при чем к тому, что у меня нет девушки.

Он сказал это как-то очень отстраненно и серьезно.

- Тогда что «при чем»? Как ты сам себе это объясняешь?

В этот момент зазвенел будильник – наше время закончилось. Антон как будто с радостью воспринял конец сессии, быстро вскочил, обулся и, попрощавшись, ушел.

Наша следующая сессия была последней из тех пяти, на которые мы договаривались.

Антон пришел вовремя и какой-то грустный. Я напомнила, что это наша последняя запланированная встреча и что в конце мы решим – продолжать или остановиться.

Антон сказал, что его взяли в группу. Что теперь он меньше спит, потому что ему важно успевать делать все то, что он любит – спорт, тренировки по тайскому боксу, книги... Что он входит в ритм, потому что репетиции три раза в неделю. Что слова его песни понравились лидеру...

Он говорил, говорил, говорил. Слова были как завеса. Я не чувствовала связи с Антоном, но мои попытки остановить его и поговорить о том, что было прошлый раз, о его запросе, его истории натыкались на вежливое «да, но сейчас мне хочется поделиться с вами»...

Наконец, заметив, что до конца остается меньше 10-ти минут, я сказала:

- Антон, то, что вы рассказываете, очень интересно, но у меня создается впечатление, что вы от чего-то убегаете. Темы, которые мы затронули с вами – отношения с отцом, матерью, девушками – сегодня никак не звучат. Я задам вам один вопрос – о чем Вы сегодня больше всего не хотите говорить?

Я даже не заметила, что перешла на "вы" – похоже, возникшая между нами дистанция на автомате переключила меня в другую модальность.

Антон умолк. На его лице отражалась борьба. Было видно, что он делает усилие над собой. Мне казалось, что еще мгновение – и дверца откроется, и он снова впустит меня...

Но нет. Как скрежет подъемного моста, раздалось вежливое «Все хорошо», еще несколько ничего не значащих фраз – и сессия закончилась. И, будто упреждая вопросы с моей стороны, Антон торопливо произнес:

- Спасибо, Наталья, вы мне очень помогли. Я вам еще позволю, если вы позволите.

И он исчез. Я еще некоторое время вспоминала о нем. Было ощущение, что я пропустила что-то важное. Не заметила, не обратила внимания... Мне было жаль, что, по моему ощущению, мы никуда не продвинулись... И я начала писать историю нашей краткосрочной и не очень впечатляющей терапии – похоже, чтобы завершить отношения.

А, написав большую часть, я вдруг задумалась о том, что Антон с таким трудом попал ко мне и так стремительно ушел, что это само по себе кажется симптомом. От кого он хотел уйти? От чего он убежал? Я не знала ответы на эти вопросы, и вряд ли у меня был шанс их узнать...

Наступило лето, я была свободна от университета, клиенты ушли на каникулы. Я собиралась уезжать на летнюю психологическую школу и собирала чемодан, когда вдруг раздался звонок. Звонил Антон – просил о встрече.

Вихрем мелькнула мысль «неудобно», о правилах и о нашем «неправильном» завершении. Я лишь сказала, что завтра утром уезжаю и единственная возможность встретиться – сегодня.

Я собрала вещи и ждала встречи. Тревога и любопытство переполняли меня.

И наконец время настало – он пришел. Все такой же – только одет в обычную черную майку, в обычные джинсы и кроссовки. Бритые волосы на лбу отрасли, он зачесал их в хвост. Он разулся и сел.

Я молча смотрела на него. А он – на меня.

Прошло несколько секунд, которые мне показались вечностью, и он сказал:

- Я пришел попрощаться. Я сделал карту поляка и скоро уезжаю учиться в Польшу.

Я не знала, что ответить. И по автоматической привычке, конечно же, задала вопрос:

- Что Вы хотите мне сегодня рассказать?

Антон опустил глаза. Когда он смотрел в пол, его лицо менялось – как будто с того места, где я сижу, из лица мужчины оно становилось лицом потерянного мальчика, который не знает, что ему делать. Я ждала.

- Я хочу рассказать вам... Спросить у вас... В общем... Я не знаю, как к этому подступиться...

Антон снова замолчал. Я его не торопила.

Потом он, словно набравшись решимости, сказал:

- Мне нужно рассказать вам все.

И он начал.

- Помните, вы спрашивали у меня про депрессию? И почему меня так заштырило?

- Да, я помню.

- Это было не из-за денег. Все было намного хуже.

- Вы говорили, что думали о самоубийстве...

- Да...

Пауза, емкая и глубокая, повисла, как туман.

- Я слушаю. Попробуй рассказать мне все, что считаешь нужным...

- Мне сложно про это говорить... Помните, я рассказывал, что отец перестал меня бить? Это произошло не потому, что я вырос...

Он снова замолчал.

- Это произошло, когда он попытался меня в очередной раз избить. А я сказал, что знаю его маленькую тайну... Что он... Он постоянно посещает порно-сайты...

Он еще немного помолчал, и, прямо глядя мне в глаза, твердо сказал:

- Порно-сайты для геев.

Я опешила. Коллега, который звонил мне, был обеспокоен беспокойством отца о сексуальной ориентации сына... Неожиданный разворот истории.

- А еще с возрастом я стал понимать, что когда он бьет меня, то чувствует возбуждение. Он начинал тяжело дышать, и, заставляя меня обнажить... спину...

- Попу, - механически поправила я.

- Да, именно! – вдруг отчаянно крикнул он. – Именно попу! Он несколько минут примерялся, всхрипывал... В детстве это было страшно... Я ждал этих трех ударов – и всегда думал, что виноват, что плохой, что получаю за дело... Но когда я все понял – это стало еще и противно. И когда я сказал: „Нет!“ – и рассказал, что я знаю его тайну, он озверел... Он готов был меня убить... И тут мама – хорошо, что она оказалась дома...

- Как ты с этим справлялся?

- Плохо... Я не мог уснуть, мне снились кошмары... А потом ... потом стало еще хуже. Мой сосед – мы с ним в одной школе учились, он на год младше – однажды сказал мне, что мой отец... Не могу произнести...

И тут он заплакал... Я вначале растерялась. Но уже через мгновение, проигнорировав все правила и отмахнувшись от призрака профессиональной совести, села рядом и взяла его за руку.

- Я тут, я тебя слушаю – все, что я могла в этот момент сказать. И снова не заметила, как перешла на более близкое "ты".

- Мой сосед – голубой... И он сказал, что у него это было... было с моим отцом... это было, когда отец отправил меня работать к другу и не отпускал из дома за границу...

Мое сердце переворачивалось. Вся картинка, которую я строила до этого времени, оказалась совсем не такой, как я думала.

Вытирая слезы, Антон повернул ко мне голову и сказал:

- Я не мог выбрать Путь. Потому что боялся за маму, за сестру. Потому что мне было стыдно.

Опять помолчав, он сказал тихо:

- И я боялся встречаться с девушками. Я думал – вдруг я такой, как мой отец?

Признаюсь, я была растеряна... Все обрушилось на меня, как лавина. Все мои предположения были «в молоко»: и конкуренция с папой за маму, и выбор тайского бокса как подобия военному выбору отца... Я вдруг почувствовала, как сильно Антон был травмирован... И он был готов довериться мне. Его рука была в моей руке.

У нас оставалась только одна, вот эта встреча. Только «здесь-и-сейчас». И она уже длилась не час, а больше.

Были проговорены обиды и боль. Были обозначены ненависть – и сильное желание, чтобы отец замечал его. Были и стыд за такого отца – и сочувствие к нему.

И были девушки – которые интересовали Антона, которые ему нравились, возбуждали, будили воображение. Из нашего разговора стало понятно, что у Антона все в порядке – и с ядерной половой, и с полоролевой идентичностью, и с выбором сексуального объекта... И наконец были произнесены слова – я не такой, как мой отец... Я – гетеросексуал...

И все же оставалась боль и обида. И недоумение – как же поступить? Рассказать матери правду об отце – «убить» отца в ее глазах... Не говорить – обрекать Антона на то, что он переживает в одиночестве уже несколько лет... Непростой выбор, одобренный ненавистью, печалью, переживанием вины.

Я спросила – какие истории приходят ему в голову, когда он пытается найти выход? Антон, невесело улынувшись, неожиданно ответил:

- История про Эдипа... Я, когда искал себе психолога, читал Фрейда и его идеи об эдипальной стадии развития. Все думал – может, это у меня от конкуренции за мать?

- А что в истории Эдипа похоже на твою?

Антон задумался...

- Отца Эдипа все считали царем, а он на самом деле был плохо воспитанным и наглым стариком, которого нужно было проучить.

- И?

- И Эдип его проучил.

- А ты помнишь, что было дальше?

- Да, невеселая история. Эдип заботился о своей матери, женился на ней...

- А дальше?

- Узнав правду, мать покончила жизнь самоубийством, а Эдип себя ослепил...

- Какие переживания у тебя вызывает эта история?

- Гнев... Отвращение...

- И тогда – что ты думаешь о том, чтобы «проучить отца»?

- Не знаю. Правда, не знаю, что делать.

Я тоже не знала. Что-то из рассказа Антона явно было правдой. Что-то, возможно, он воспринимал в искаженном свете. Да, его отец – бисексуал. И он знает об этом. Похоже, его отец – психопат... Но сложно судить – возбуждался он, когда бил Антона,

или злился. Сложно понять, как мать этого не видела. Идеализация матери и обесценивание отца, представление его исчадием ада не принесут мира и покоя в душу Антона.

Я была растеряна. И опять спросила:

- Ты готов стать Эдипом? Ты готов разрушить свою жизнь, жизнь матери и отца?

- Я не знаю. Я не Эдип.

- А кто ты?

- Я? Я... - Антон задумался и после продолжительной паузы сказал: „Я – самурай!“.

Это был самый странный ответ и самая необычная идентичность, которую я встречала.

- А как бы поступил самурай, которого жестоко воспитывал отец, узнай он все то, что узнал ты?

Похоже, мой вопрос застал Антона врасплох... Он помолчал и потом глухо ответил:

- Самурай уважает отца, что бы тот ни делал. И самурай бы следовал кодексу чести.

И вдруг, сжав голову, он застонал:

- А я так больше не могу...

Я все еще сидела рядом, но уже не держала его за руку. Я понимала, что Антон травмирован, что он весь из кусков, что его шить и шить, и непонятно, с чего начать, но у меня нет ни времени, ни волшебной иголки. Папа – гей? педофил? психопат? социопат? Мама – жертва? соучастник? От того, что я ему сейчас буду описывать картинку его жизни, анализировать отношения с матерью и отцом, толку мало. Это долгая, кропотливая работа. Я понимала, что время неумолимо подходит к финишу...

- Антон, - вопросительно произнесла я.

- Да?

- Ты готов поучаствовать в одном действии?

- Да...

- Тогда закрой глаза... Я предложу тебе стать режиссером и оператором кинофильма... Этот фильм – про тебя. Мы попробуем посмотреть его на ускоренной перемотке а потом решим, что делать... Я попрошу тебя представить твоих родителей молодыми... Представь – вот они встретились, познакомились... И полюбили друг друга... И в результате этой любви на свет появился ты ... Представь, как родители смотрят на тебя, маленького ребенка – с гордостью и любовью... А теперь представь – они стоят напротив тебя... В твоём фильме каждая минута – несколько лет... Ты подросток... Вот тебе три года... Родители по-прежнему смотрят на тебя ... Вот тебе шесть... Они

замечают, как ты быстро растешь, и продолжают смотреть на тебя с любовью. Вот тебе 9... 12... 15... 18... И вот ты стоишь перед ними такой, как ты есть сейчас. А они по-прежнему смотрят на тебя с любовью... Сделай шаг к отцу, посмотри на него, и скажи, как ты обижен и злишься...

В этот момент лицо Антона искажилось, как от сильной боли. Желваки заходили, он стал чаще дышать... Я подождала некоторое время и мягко произнесла:

- А теперь скажи ему: „Все равно ты остаешься моим отцом“. И поблагодари его за это.

Было видно, как нелегко приходится Антону. Я снова выждала и сказала:

- А теперь подойди к маме... Скажи ей все, что считаешь нужным... А теперь скажи: „Ты все равно остаешься моей матерью“... И поблагодари ее за это.

Когда лицо Антона стало спокойным, я попросила:

- А теперь отойди от них на шаг... Еще на шаг... Еще на шаг... Смотри на своих родителей – они дали тебе жизнь... Они тебя вырастили... Они сделали много разного – и плохого, и хорошего... Но они сделали свой выбор быть вместе... А ты всего лишь их сын. Скажи им одну фразу: «Я уже взрослый» - и посмотри на них... Скажи им: «Спасибо за все» - и посмотри на них. Скажи им: «Будьте ко мне доброжелательны, когда я уйду от Вас. Смотрите на меня с любовью. Я – Ваш сын»...

А теперь повернись... У тебя впереди – твоя жизнь... Твой Путь... Твоя Девушка... И ты можешь следовать по этому пути – а можешь все время оглядываться, но тогда ты пропустишь что-нибудь важное... Прислушайся к себе... Готов ли ты идти по своему пути? И, когда ты получишь ответ, открой глаза...

Через минуту, которая показалась мне вечностью, Антон открыл глаза. И тут же с тревогой спросил:

- Вы меня загнипотизировали?

- Ну что ты, - успокоила я Антона. – Я понятия не имею, как это делается.

Я пересела с дивана на свое кресло и внимательно посмотрела на Антона.

- Как ты? – спросила я.

Антон улыбнулся.

- Удивительно спокойно, - ответил он. Пока я представлял себя маленьким, я вдруг вспомнил, что папа меня везде водил...

Я заметила, что он впервые назвал его *папа*, а не *родитель*.

- Он возил меня на санках в садик. И покупал конфеты, за которые его ругала мама. И каждое лето мы ездили на море... И он меня учил плавать...

Антон задумался.

- Я как будто все это забыл ... а теперь вспомнил.

- Да, это правда. В твоих отношениях с отцом было разное – и хорошо, если ты об этом будешь помнить.

- Я хочу поделиться – я никогда не видел своих родителей вместе. Точнее, видел, но я впервые подумал о том, что они... Ну, что они муж и жена... В последнее время я вообще забыл об этом.

- Похоже, что в последнее время ты узнал слишком много того, что не должен был знать. Хорошо, когда двери родительской спальни надежно закрыты и охраняют свои тайны.

- Но я-то знаю, - сказал Антон, и его лицо опять стало жестким.

- Да, согласилась я. Знаешь. Но можешь махать этим знанием как флагом, можешь положить его в дальний сундук памяти, а можешь помнить и хорошее, и разное...

Время давно закончилось, а мы еще говорили. Потом закончилось даже то время, которое закончилось после того, как все закончилось...

И я, наконец, сказала:

- Нам пора остановиться...

Антон улыбнулся.

- Да, правда. Я и так вас задержал.

- Когда ты уезжаешь?

- В начале августа. Надо снять квартиру, решить море вопросов... А можно вам иногда звонить по Скайпу?

- Если нужно – да. Хотя я не очень люблю такую работу. Тогда встречный вопрос – я могу использовать твою историю?

- Как?

- На лекциях в качестве примера. И как описание случая – я уже написала кусок...

Антон подумал.

- Я очень узнаваемый. Но в принципе я не против. Только пришлите мне почитать – я пришло вам свой e-mail...

- Пришлешь куда?

- В *Фейсбук*, *Вконтакте* – вы же есть везде... Я вас сначала нашел в интернете, а потом попросил, чтобы родители нашли знакомых, чтобы к вам обратились...

- А почему не обратился сам?

- Потому что я звонил сам, а вы мне отказали.

«Боже, одни тайны и интриги», – подумала я. Но это было уже не важно.

И он обулся. И сделал шаг. А потом повернулся и спросил:

- Можно я вас обниму?

Я кивнула. И он обнял меня – маленький ребенок, мужчина, сын... И тихо прошептал:

- Спасибо...

Через месяц я дописала текст. А осенью он прислал мне свой почтовый адрес. Я отправила ему письмо, он долго не отвечал. Пришедшее наконец было длинным – про то, что он думал, как мучительны были его размышления, про свои тревоги и страхи, и как вдруг произошло чудо и ему стало легко. Его письмо размером превосходило мой текст. Но оно было каким-то хорошим – от него веяло надеждой.

В конце он писал, что примирился с тем, что было. И что редко думает об отце. Что скоро у него сессия и первые каникулы. Что он был дома всего один раз – и все было как-то очень спокойно.

И, самое главное, чем он хотел поделиться - у него есть девушка. Она из Украины, как и он, учится в Польше. И у него с ней все хорошо.

Я прочитала письмо несколько раз. Признаюсь – в некоторых местах у меня увлажнились глаза. Но чувство радости и облегчения меня не покидало.

В этой истории поставлена точка. Антон мне не звонит. В моей памяти он останется мужественным самураем, внутри которого прячется маленький ребенок. Я желаю ему счастья – и принятия всего, что еще подготовила для него жизнь.

Наши родители – это наши родители. Иногда их очень сложно принимать. Но без этого у нас нет шанса освободиться, чтобы идти дальше, по своему Пути, зная, что где-то далеко остались они – несовершеннолетние, но все же наши единственные родители. Других нет и не будет...

Что прячется в семейном шкафу, или нежеланное наследство

Эта история произошла давно, когда я только начинала работать как семейный терапевт. Я проводила выездной семинар, посвященный семейным мифам и семейной истории. В самом начале занятия участники группы познакомились друг с другом, я рассказала, что мы будем делать. Одна из участниц – назовем ее Светлана – подняла руку. Она сказала, что у нее необычная просьба. Она знает, что семинар обучающий, а не терапевтический,

но у нее есть проблема, которая, как ей кажется, как-то связана с семейной историей. Поэтому Светлана попросила разрешения побыть клиентом, объясняя, что вряд ли у нее будет еще такая возможность. Группа не возражала и мы со Светланой вышли в центр круга.

Проблема была достаточно банальной. Светлане 35, она начальник отдела в крупной фирме, хорошо зарабатывает, много подруг и друзей. Но – не замужем. Мужчины появляются и либо сами исчезают после нескольких свиданий, либо Светлана отказывается встречаться с ними. Кроме того, есть еще одна непонятная ей вещь – каждый год в конце июня со Светланой происходят какие-то «катастрофы». Началось это все на пятом курсе института, когда она проспала государственный экзамен. Хорошо, что подруги примчались за ней на такси, иначе пришлось бы отложить получение диплома на год. Через год в конце июня она сломала руку; еще через год отравилась; потом заболела такой ангиной, что попала в больницу; затем впала в депрессию; после того не попала под автобус, и так каждый год.

Рассказав, Светлана выжидательно посмотрела на меня и спросила: «Что мне делать?» Я, признаться, была растеряна. Светлана мне показалась очень активной, энергичной и несколько подавляющей. За пять минут она все рассказала, четко сформулировала проблему, потребовала у меня «рецепта» – и все это при незнакомой группе. Я сказала Светлане о своих впечатлениях, о том, что она мне кажется человеком, который очень торопится. Светлана задумалась и тут же ответила: «Да, я такая». Я предложила немного «притормозить» и поговорить о том, с чего мы начали - о семейной истории.

В ходе нашей работы вырисовалась картина генеалогического древа семьи Светланы. Она старшая дочь в благополучной семье, родители – медицинские работники, есть еще младший брат, тоже врач. У брата все в порядке, он счастливо женат и имеет детей. Ничего такого, за что можно было бы зацепиться. Мы начали опускаться ниже, к корням семейного дерева. Попутно я расспрашивала Светлану о детстве, об отношениях с родственниками.

Оказалось, что ее растили не родители, а дедушка. Мать на первом курсе вышла замуж за однокурсника, через год появилась Светлана. Мать собиралась оставить учебу. Однако дедушка настоял на том, чтобы его дочь получила образование, и забрал ребенка к себе.

Дедушка оказался очень интересным персонажем. Когда Светлана рассказывала о нем, у нее менялось выражение лица: из

жесткого и уверенного оно становилось мягким и нежным. Дедушка работал начальником финансового управления, был крупным чиновником, у него был персональный водитель и огромная квартира. Он нанял няню, которая помогала ему по будням, а все выходные проводил с малышкой.

Когда я спросила, кто выбрал ей имя, Светлана замялась. Оказалось, что молодые родители назвали девочку Аленой, но когда решался вопрос о том, кто будет растить девочку, дедушка настоял, чтобы ребенку изменили свидетельство о рождении. Светланой звали его покойную жену. Он настолько сильно ее любил, что после ее смерти больше не женился. Бабушка Светланы вышла замуж за дедушку, когда ей было 16, а ему 28. Он был в то время комсомольским лидером, случайно увидел ее на мероприятии – и больше не отпустил. Бабушка из-за замужества заканчивала не обычную, а вечернюю школу. Родилась мать Светланы, бабушка поступила в институт. На пятом курсе, незадолго до получения диплома, она попала в аварию и погибла.

Когда Светлана рассказывает об этом, я ощущаю, что мы находимся в точке «горячо». Но задаю еще несколько вопросов. Выясняется, что родители так и не забирали дочь у дедушки. Они окончили институт, уехали по распределению, там родился брат Светланы. В родительской семье она ощущает себя чужой. Я не могу понять – как родные родители могли спокойно отдать своего ребенка? Оказывается, все очень просто – после смерти жены дедушка не находил сил ухаживать за семилетней дочерью и отдал ее своей бездетной сестре, которая фактически вырастила мать Светланы. Становится понятным, что на счету «семейной бухгалтерии» числился долг и дедушка отдавал его, воспитывая внучку.

Когда она заканчивала пятый курс, у дедушки случился сердечный приступ. Он умер за несколько дней до получения Светланой диплома. Рассказывая об этом, она плачет. А для меня наконец становится ясной картина ее жизни.

Смерть жены потрясла дедушку. Какое-то время он находится в кризисе и даже отдает собственную дочь сестре, потому что не имеет сил взаимодействовать с ней. Но время затянуло раны – и он получает «второй шанс» в жизни. Дав внучке имя покойной жены, дедушка обрек ее на проживание не собственной, а чужой жизни. Сравнения с бабушкой, которую он боготворил, выбор для внучки того же института, в котором училась жена – одного этого достаточно, чтобы увидеть повторения в жизни Светланы и ее бабушки. И когда внучка заканчивает пятый курс, дедушка умирает. Символически он

отзеркаливает ситуацию – тогда его оставила учившаяся на пятом курсе жена, сейчас он оставляет учившуюся на пятом курсе внучку. В семейной психотерапии при повторении дат событий, таких, как смерть, болезнь, мы говорим о «синдроме годовщины».

Для Светланы конец июня – это двойная годовщина. Она проспала экзамен, потому что символическая жизнь в виде бабушки закончилась. Дедушка и бабушка умерли, а Светлана продолжила жить. Однако каждый год она доказывает лояльность своей семье, заболевая, попадая в сложные ситуации – символически умирая с бабушкой и дедушкой.

Когда мы проговорили это со Светланой, она опять начала плакать. Я предложила группе помочь Светлане. Светлана выбрала участников на роль матери, отца, бабушки, дедушки, брата и себя, расставила их в помещении. Я организовала и поддержала диалог Светланы с каждым «членом семьи». Когда она сказала: «Дедушка, я тебя люблю, но я не твоя жена. Я – другая!», вся группа заплакала, а у меня по коже пробежали мурашки. Светлана простилась с бабушкой и сказала ей: «Я – это я, ты – это ты». Она разговаривала с мамой и папой и рассказывала им о своей злости и обидах на них... Было ощущение, что вся семья присутствует здесь. Это был очень тяжелый, энергоемкий процесс, но когда он закончился, Светлана выглядела спокойной и умиротворенной.

Когда я попала в этот город через семь лет, я встретила Светлану. Она вышла замуж, родила сына, счастлива. И – по секрету – сказала, что все домашние называют ее Аленой. Публичное имя она решила не менять, но для своих она та, кто есть на самом деле. А самое главное – в конце июня с ней не происходит ни-че-го! Она ездит на кладбище, кладет цветы на могилу дедушки и бабушки и так отдает свои долги.

С этой истории начался мой интерес к семейным повторениям, к семейным сценариям, к переносу старых незавершенных событий, неотданных долгов в жизнь новых поколений. И оказалось, что у каждого из моих клиентов есть собственный сундук с наследством или шкаф со скелетом. К сожалению, мы живем с этими сундуками и шкафами, одновременно зная и не зная об их содержимом. Как следствие – делаем неосознаваемые действия, совершаем странные поступки. И только задумавшись об истории своей семьи, своего рода, мы можем найти часть ответов на незаданные вопросы.

Иногда истории бывают настолько потрясающими, что начинаешь понимать, почему их так тщательно хранили в тайне.

Клиент Юрий, 41 года. Пришел по рекомендации друга. Жизнь как-то не клеится. Юрий работает, живет в собственной однокомнатной квартире. Энергии мало, периодически возникает ощущение пустоты и бессмысленности жизни, депрессия. Не очень получается построить отношения с женщинами – он их боится. Начинаем говорить о женщинах – за страхом кроется злость, отвращение, возбуждение... Как-то уж слишком много намешано. Решаем поговорить об истории жизни Юрия. Он вырос с тетей, сестрой бабушки. Бабушка умерла, когда ему не было и года. Умер его отец, мать, дед... Но Юрий ничего не знает о жизни своих родных – тетя переехала в Беларусь из Украины. Юрий приходит ко мне еженедельно, но терапия движется медленно... В какой-то момент я снова возвращаюсь к семейной истории и мы исследуем фантазии Юрия о его рождении. Он говорит, что ему кажется, что с его рождением связана какая-то постыдная, невыносимая тайна. При этом ему не известны никакие конкретные факты.

Однако Юрий сам начинает чувствовать интерес и, как гончая, берет след. Он едет в деревню, где живет тетя, и начинает расспрашивать ее о своей семье. До этого они никогда не обсуждали семейных вопросов – лишь факты смерти всех родственников. Оказалось, что на Украине у тети живут братья и сестры, есть многочисленная родня. Но когда Юрий расспрашивает о себе, своих родителях и своем рождении, тетя лишь плачет и не хочет ничего говорить.

Юрий возвращается домой, но через неделю после очередного прихода ко мне снова едет к тете. И под напором та рассказывает леденящую кровь историю.

Отец Юрия женился на его матери и привез ее после первого года службы в армии. Она поселилась с его родителями – свекровью и свекром. Его отец должен был служить три года. Когда он узнал, что у него родился сын, он уже 13 месяцев не был дома. Он пошел к командиру части, и тот вошел в ситуацию и отпустил солдата, чтобы тот не наделал глупостей.

Приехав домой, он первым делом начал выяснять отношения с молодой женой. Та ничего не говорила. Он избил молодую жену до полусмерти и пошел по деревне. Зашел к однокласснику, поговорил, но тот намекнул на такое, что побежал обратно. Но, когда он вошел в избу, было уже поздно. Надрывно плакал ребенок, а на столе лежала записка – «Это твой отец». Не в силах выносить напряжение, стыд, его жена покончила жизнь самоубийством. Прочитав записку, отец Юрия взял топор, пошел

на работу к своему отцу и зарубил его на глазах у односельчан, а после этого вернулся домой и повесился рядом с женой.

Бабушка Юрия была в отчаянии. Она понимала, что в деревне все обо всех все знают, и что ей больше невыносимо здесь оставаться. Она продала дом, хозяйство и переехала в Беларусь. Вместе с ней уехала незамужняя сестра. Переехав на новое место, бабушка начала болеть. Сказался стресс – за один день она потеряла всю семью, а перед этим жила в доме, где на ее глазах муж приставал к невестке, а она ничего не предприняла... После инсульта последовал еще один. Перед смертью она попросила сестру – не отдавай ребенка в детский дом, он ни в чем не виноват. Сестра хранила тайну 41 год...

Узнав об этом, Юрий испытал и ужас, и боль, и, как ни странно, облегчение. Мы долго работали с его стыдом, чувством вины... Я помню, как иногда меня захлестывало отчаяние. Он много говорил о своих родственниках, о том, что произошло... Однажды он в порыве злости на мать и в сердцах сказал: «Лучше бы она сделала аборт!». Понимая, что в семье было и так слишком много аутоагрессии – агрессии, направленной на себя, я поняла, что основной задачей является проживание и выражение чувств ко всем членам семьи – в том числе и злости, ненависти, ярости. Было много тяжелой работы, но Юрий регулярно возвращался к идее аборта. Так он пытался взять на себя ответственность за всю семью, за все грехи и поступки своих близких... Ничего не помогало, он погружался в депрессию. «Я не должен жить, меня нужно было уничтожить еще в утробе матери», – это стало лейтмотивом всей его жизни. Хотя и до этого он жил на очень низком уровне энергии. Наконец, я предприняла крайние меры – сказала, что у него есть выбор, жить или уйти. Но предварительно предложила ответить на вопросы "теста".

"Тест" предлагал три ситуации. Ситуация один: отец и мать больны, у них трое детей: первый – слепой, второй – глухой, у третьего туберкулез, четвертый ребенок умер. Ситуация два: тринадцатилетнюю негритянскую девушку изнасиловал белый мужчина. Ситуация три: незамужняя девушка-подросток беременна, она не замужем, а ее жених не является отцом ребенка и очень переживает. В каждой из ситуаций женщина обнаруживает, что она беременна. Я спросила Юрия, кому бы он посоветовал сделать аборт.

Юрий долго думал. В итоге он сказал, что ни в одной из ситуаций он бы не советовал будущей матери оставлять ребенка. «Прекрасно, – сказала я – Сейчас ты убил Людвиг Бетховена, негритянскую певицу Этель Уотерс и ... Иисуса Христа».

Повисла пауза. А потом вдруг что-то произошло, и мы стали говорить о месте и предназначении каждого из нас, об ошибках и их искуплении, о любви и прощении. Это была очень тяжелая сессия, но произошел прорыв. После этого мы еще работали, и Юрий смог простить всех – деда, отца, мать, бабушку, и поблагодарить за то, что он есть.

Сейчас Юрий по-прежнему не женат, но появилась энергия, уверенность, силы и оптимизм. У него новая работа, а еще – в его жизни есть женщина, и он помогает ей воспитывать сына. Когда я попросила разрешения опубликовать его историю, он долго думал, но потом дал согласие, сказав – пусть люди знают, что самая ужасная правда лучше незнания.

Иногда семейные тайны связаны с неприятными, стыдными действиями кого-то из членов семьи. Иногда – с допущенной по отношению к кому-то несправедливостью. Иногда – со смертями, внебрачными детьми... Они всегда предназначены для защиты семьи, но в итоге ее разрушают. Люди болеют, страдают, испытывают муки из-за того, что в их семейной истории был эпизод, за который они неосознанно расплачиваются. И поэтому так важно восстановить хронологию жизни своей семьи, найти повторяющиеся события, раскрыть тайны и секреты, попросить прощения за причиненную вашими предками боль и допущенную по отношению к кому-то несправедливость. А еще – посмотреть, что из семейного наследия вы хотите взять с собой в завтрашний день, а что, оплакав похоронить – или просто положить в семейный сундук с пониманием, принятием и смирением.



Андрей Масевич De natura humana... Я тоже знал Кона¹

Памяти Игоря Семеновича Кона

Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодействуй»

А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

И если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну

И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну

Матф. гл.5, ст.27-30

Пролог



... и его жена поздно возвращались домой. Когда они подошли к своему подъезду, их обступили со всех сторон примерно пятнадцать зловещего вида мужчин. Р. ударили по лицу, повалили на землю. Он очень громко кричал. Пронзительно звала на помощь его жена... На помощь не пришел никто. Супругов Р. наутро нашли во дворе избитыми, Р. уже был мертвым, а жена его - без сознания, на другой день она скончалась в больнице. Убийц так до сих пор и не нашли, и в интересах следствия СМИ об этом случае не сообщили.

Неделю после того, как погибли супруги Р., в том же дворе часов в одиннадцать вечера на скамеечке за кустом сирени, только отцветшей в этом году, устроилась парочка. У молодого человека волосы сзади схвачены были в пучок-хвостик, и он

¹ Сокращенный вариант. Полная версия статьи на сайте журнала «Семь искусств»: <http://7iskusstv.com/2014/Nomer6/Macevich1.php>

походил на мальчика-луковку из сказки одного итальянского писателя-коммуниста, а платье рыженькой девушки было коротеньким, и в носик ее зачем-то был вставлен крошечный металлический шарик. Они принялись целоваться. Но еще прежде того, как он стянул с нее платице и сжал рукой лоно, а она расстегнула его джинсы, несколько жильцов этого дома одновременно, заметьте, не договариваясь, позвонили в милицию, и сообщили, что разнузданная молодежь занимается сексом в их дворе, а в доме дети. Через несколько минут после сигнала граждан во двор въехал милицейский автомобиль, и два милиционера, то есть полицейских по-нынешнему, приказали молодым людям одеться и сесть в машину. Нарушители норм общественной нравственности были наказаны – пять, кажется, суток лишения свободы. Об этом случае я прочитал в Интернет.

Часть I. Как я был сексологом Я тоже знал Кона

*...уж если столько их, о ком должны мы плакать,
и если сделали печаль публичным действием, а за слабость
сознания нашего, за глупые желанья наши строго
эпоху критикуют, то о ком теперь сказать? Ведь
каждый день уходит кто-нибудь
из тех, что делали добро,
и, зная, все равно на всех его не хватит, все же
надеялись свою жизнь нашу чуть-чуть улучшить.
Так и этот доктор: в восемьдесят лет он пожелал
понять всю жизнь (чью своенравность
угрозами и лестью многие способные юнцы
пытались изменить на послушанье),
его желанье не исполнилось, и он закрыл глаза ...
Уинстон Хью Оден «Памяти Зигмунда Фрейда»
(переводил я сам)*

7 мая 2011 года я занимался со студентами факультета социологии Петербургского университета. Студентка Даша искала через Интернет в каталогах библиотек материалы для своей курсовой работы, и отобрала в числе прочего несколько записей на книги И.С.Кона. Я взглянул на результат ее поиска и вздрогнул. Потому вздрогнул, что в области библиографического описания, где указывают годы жизни автора, у Кона появилась вторая дата. Год 2011. Совсем недавно была только одна – 1928.

- Когда же умер Кон?

- Кажется, в конце апреля – ответила Даша.

Я вспомнил, что недели три назад я видел его по телевизору, и это, по-моему, был прямой эфир.

Да, я знал Кона. Не близко. Личных встреч с ним у меня было, собственно говоря, только три, да еще несколько разговоров по телефону. А книги его, конечно, читал еще студентом, кто их не читал! Доцент кафедры марксистко-ленинской философии Зинаида Борисовна Элькина, которая вела у нас этику и ... (она еще произносила примерно так: «мужчины и женщины вступают в брачные отношения») и эстетику, - устроила семинар по книжке «Социология личности» (год был 1968). Этот поступок казался мне, не скажу, героическим, но все-таки смелым: можно было выговор получить за отход от учебной программы. Впрочем, осторожная Зинаида Борисовна, скорее всего, согласовала тот семинар с кем надо.



Эта, должно быть, из последних фотографий Кона.
Я помню его немного другим

И без семинара «Социологию личности» многие из нас прочли. Как же! Хотя и с реверансами – без них издать такую книжку было нельзя – но написано умно и понятно – это естественно привлекало двадцатилетних юнцов, желавших хоть что-нибудь узнать о самих себе, и чтоб при этом им не ставили в пример Павку Корчагина.

В 1982 году я начал работать в отделе обработки и каталогов Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, занимался систематизацией медицинской литературы. И мне - надо же! – поручили разработать раздел медицинской сексологии в библиотечно-библиографической классификации.

А я как раз со студенческих лет дружил с врачом сексологом Львом Щегловым, и попросил его стать соавтором

этой разработки. У Щеглова в то время еще не было собственных ученых регалий (теперь-то он доктор наук, профессор), но он знал всех тогдашних сексологов – Свядоша, Либиха, Васильченко и, конечно, Кона.

Как-то Щеглов – я уж написал об этом в моей книжке о покойном поэте Мише Генделеве - устроил у себя дома концерт певца-любителя, офицера из Байконура, который собирал и исполнял военные песни - полковые, юнкерские, кадетские, от Дениса Давыдова до белогвардейских.

На тот концерт пришел и Кон.

Он оказался невысоким, умеренно полным и остроносым.

- Игорь Семенович, вот мой приятель Андрей Масевич, работает в Публичной библиотеке, знает несколько языков. – Представил меня Лев, - Даю вводную. Андрей делает библиотечную классификацию по сексологии, ну, структуру там дисциплины...

- Сексологии как дисциплины не существует, - улыбнулся, блеснув очками, Кон – вы будете описывать дисциплину, которой нет...

- Я даю вводную, - повторил Щеглов, будто не слышал этого замечания - Андрей делает классификацию для каталога Публичной библиотеки, нужна ваша консультация...

- Ну, что ж... Лева, послезавтра... часов в шесть... приходите ко мне с Андреем и приносите вашу классификацию. Так вы, Андрей, работаете в Публичной библиотеке? Я там член совета по комплектованию... Леонида Александровича² хорошо знаю. А какие у вас языки?

Я действительно имею способность быстрее многих других научиться читать на иностранном языке, и это тот огонек, от которого пошел дым моей славы как полиглота (славы, разумеется, среди знакомых). Способности же говорить на иностранном языке у меня не больше чем у всякого человека, а способности понимать устную речь, пожалуй, и меньше.

- Ну, говорю по-английски и по-немецки, читаю по-французски, по-польски и по-итальянски... Сейчас пробую учить японский. Кстати, в восточном отделе у нас в библиотеке мне показали японскую книжку по сексологии... Там есть забавная иллюстрация – Наполеон, лежа на голой даме, изучает военную карту.

- Про Наполеона известно, что у него была слишком скорая эякуляция. Он успевал только прикоснуться к даме, как

² Л.А. Шилов – директор библиотеки в описываемое время.

процесс завершался. Миша...- обратился Кон к сыну Щеглова, ... - я тебя очень рад видеть, принес тебе талисман австралийских аборигенов, смотри, это сделано из перышек тропических птиц...

- И где же наш бард? – это спросил Александр Лавров.

- Час назад позвонил, что выезжает из Веселого поселка....

Появился певец, достал из чехла гитару. Настроил, взял аккорд, – объявил, что споет юнкерскую песню.

- А вот песня Ахтырского гусарского полка:

Кон слушал и чуть улыбался. Он не делал комментариев и ничего не пил. После каждой песни аплодировал – медленно, два – три раза

Я это так отчетливо вижу, что если бы был художником, написал бы в русской реалистической манере девятнадцатого века картину «Концерт барда у доктора Щеглова», а попади опять в ту комнату, так смог бы показать, кто где сидел.

Потом была песня на знаменитые стихи Дениса Давыдова о вырождении гусарства:

Пел бард и на стихи Миши Генделева про Россию, корчившуюся от ударов подков, про осатаневшего от тоски и вина поручика, который просит Бога ниспослать на Париж белые ночи, про холодную прямоту приставленного к горячему виску револьвера...

...Бурные и продолжительные аплодисменты.

На следующий день в библиотеке я с гордостью сообщил Л. М., которая координировала разработки дополнений к библиотечно-библиографической классификации, что моим консультантом будет сам Кон.

- Кто это такой?

- Философ, сексолог, автор статьи «Сексуальность» в большой энциклопедии...

Очень хорошо, что он философ, - кивнула Л. М. и вышла из комнаты...

Скажу несколько слов об этой даме, пока ее нет. Мне не встречался до неё другой человек со столь дистиллированными политическими взглядами. Вот некоторые ее высказывания:

- С семнадцатого года мир расколот надвое. Мы и они. Кто не с нами, тот против нас – (это сказано в восьмидесятые, не в двадцатые и не в тридцатые) - прямо не знаю, как я ненавижу интеллигенцию. Она вся против Советской власти.

Или:

- Я хорошо отношусь к любой национальности, кроме одной. Это люди, которые всегда всюду лезут, считают, что они лучше других. Они разрушают наше государство!

Честное слово, не преувеличиваю. От Л. М. я слышал также, что без спецхранов в библиотеке нельзя, и что читателя надо воспитывать. Такие-то взгляды сочетались – представьте себе! – с большим интересом к поэзии Гумилева, Ахматовой и Мандельштама. Она своими руками перепечатала на пишущей машинке (четыре экземпляра под копирку!) где-то добытый сборник Гумилева, страниц сто пятьдесят, не меньше. В то же время она отказалась пойти на вечер памяти Мандельштама, куда сначала очень хотела попасть, отказалась из-за того, что почти все выступающие там принадлежали к еврейской национальности.

- Ну почему, почему они всюду лезут? – досадовала она чуть не со слезами.

Мое напоминание, что и сам Мандельштам был евреем, вызвало у нее взрыв раздражения.

- Почему вы думаете, что вы умнее всех! Прямо не знаю, как я ненавижу интеллигенцию!

Я напомнил, что Мандельштам – еврей. Значит, я считаю себя умнее всех, а столь завышенная самооценка свойственна ненавистной интеллигенции, к которой, по-видимому, она относит и меня ... Глубинные ассоциации.

Однако умолкаю, потому что Л. М., улыбаясь, вошла в комнату.

- Я посмотрела статью в энциклопедии. Да ее автор действительно Кон. Значит, у нас консультантом будет философ. Прямо не знаю, как это здорово! Вы - молодец!

Визит к Кону

В назначенный день мы со Щегловым, захватив бутылку крымского хереса, отправились к Кону. Жил он на улице Типанова – это рядом с тем местом на Московском проспекте, где бронзовый Ильич на гранитном пьедестале указывает своей знаменитой кепкой путь человечеству.

Кон встретил нас, я хорошо помню, в черных тренировочных штанах с красной полоской и в летней рубашке с короткими рукавами. В коридоре появилась и приветливо с нами поздоровалась его старенькая мама.

- Игорь Семенович, мы принесли хорошего вина, - сказал Щеглов

- Вина? Это надо какую-то еду...

- Ничего абсолютно не надо. Три емкости у вас найдется?

- Не хочется вина. Давайте вашу классификацию....

- Разбито на три раздела: психофизиология сексуального поведения, гигиена половой жизни и сексопатология.... А внутри разделов...

- Понятно. А куда вы поместили гомосексуальность?

.....

Подтекст, так сказать, вопроса был понятен. Дело в том, что в США и многих странах Европы гомосексуализм уже был исключен из списка психических расстройств и признан вариантом сексуального поведения, чем-то вроде атипичной латерализации органа (ну, сердце там с правой стороны, левая рука функциональнее, чем правая). А в СССР мужской гомосексуальный акт, хоть бы и по согласию партнеров, все еще считался уголовным преступлением, и за него полагался тюремный срок. Поэтому поместить гомосексуализм среди явлений, которые считаются физиологическими, я никак не мог, у меня же были редакторы, хотя бы та же Л.М.

- К сексопатологии... - ответил я Кону, - в сексуальные девиации... но я понимаю, что это не ...Американцы...

.....

- В Штатах все решает клиент. Если человек сам считает свою гомосексуальную склонность болезнью, его пытаются лечить. Лечение, как правило, ничего не дает. Но чаще гомосексуалы наоборот считают, что они выше гетеросексуальных людей.... Некоторые функции сексуальности действительно реализуются сильнее и ярче в гомосексуальных контактах. Например, коммуникативная... и на самом деле ведь нет, или очень мало чистых гомосексуалов или гетеросексуалов. Люди в той ли иной степени бисексуальны. Об этом говорил еще Кинзи. Существует шкала сексуальных ориентаций, на одном ее крае гомосексуальность, на другой гетеросексуальность. Самый распространенный вариант – близко к середине.

- Да, но рождение детей... цель секса, а гомосексуальный акт исключает...

- Большинство пар в постель ложатся совсем не для того, чтобы завести ребенка, – перебил Кон с некоторым раздражением, - здесь у вас - «либидо». Это - устаревший термин, теперь все согласны – никакого либидо нет.

- А как надо?

- Сексуальная мотивация. А вот здесь лучше сказать «копулятивный цикл», вы знаете работы Джона Мани? У меня есть его книжка «Love and love sickness», я ее могу вам дать.... И

вам полезно посмотреть несколько номеров «Archives of sexual behavior», возьмите с собой.

Ощущение знания, хоть и иллюзорное, но приятное чувство.

- Петтинг вы сделали отдельной рубрикой. Вряд ли можно представить себе книжку исключительно о петтинге...

- Индексы будут использоваться и для систематизации статей...

- Надо бы ввести разграничение понятий «пол» и «сексуальность», «половой» и сексуальный»...

- Мы делаем раздел «Медицинская сексология». В библиотечной классификации принят отраслевой принцип.... А это, наверное, вопрос философский, а не медицинский.

- А-а, да-да, конечно.... Хм, получилось по сценарию – возникла мотивация, занялся онанизмом, потом потискал кого-то - петтинг, наконец, произошел коитус. Потом... Дальше идет гигиена половой жизни. И здесь патология. Что же, основные темы есть. Скажите, вы не интересовались российскими опросами двадцатых годов? Тогда ведь много было сделано. Кинзи знал об этих работах. Что из них есть у вас в библиотеке, сделайте, пожалуйста, список.

- Хорошо, посмотрю...

- И сделайте мне одну ксерокопию. В «Докладах Академии наук» напечатана статья Геодакяна о половой дифференциации...

- В каком номере?

- Не помню. В каком-то из последних. Я подарю библиотеке венгерское издание моей книжки «Введение в сексологию»... Вот, надписал, возьмите. Лева, у вас ведь машинопись русского текста? Дайте Андрею прочесть, а то у меня остался только один экземпляр. Вечер у вас мне понравился. У ваших друзей глубокие, добротные исторические знания.... Это редко бывает, обычно только делают вид, что знают.... - помолчав минуту, - в белогвардейских песнях может присутствовать антисемитизм...

- Ну почему же, необязательно.... Ведь русская интеллигенция...

- Не говорю, что обязательно. Просто этот мотив может встретиться.

Когда мы уходили, Кон сказал мне:

- Андрей, заходите ко мне еще. Можно и без Левы...

Мы со Щегловым забрались в разноцветный домик во дворе на детской площадке, чтобы выпить наш херес. Открыли бутылку, и по очереди делали глотки из горлышка ...

- Он всю жизнь живет со своей матерью, в быту совсем беспомощен - рассказывал Лев, - как-то при мне что-то такое протекло с потолка прямо на него, он буквально взвизгнул: «мама!» Спокоен, как бы философски на все смотрит, когда дело идет о других, но настоящий невротик, если речь заходит о нем самом... Я жаловался ему однажды на свои проблемы. «Лева, - говорит он мне, - мы живем в стране дураков, поймите это». В этот момент ему позвонили, он поговорил минуту и взвился: «я в ЦК буду писать!» - оказывается, ему отказали в выезде во Францию...

Тут пришла мне в голову одна мысль, которую я сразу прогнал, потому не скажу, какая мысль...

На другой день я сообщил Л.М., что консультацию Кона я получил, и что готов заканчивать классификацию, но у меня есть возможность ее показать еще Васильченко в Москве и Свядошу в Ленинграде.

- Про этого вашего Кона я узнала. В. (обозначим этой буквой еще одну даму, члена парткома библиотеки) мне все объяснила. Он сам импотент, поэтому и пишет про все эти вещи. Компенсирует. Написал какую-то мерзкую книгу, чуть не порнографию. В. советовала с ним не связываться. Я ей говорю, он доктор наук, философ-сексолог единственный в городе, а кроме того автор статьи в Советской энциклопедии... Но вообще В. я очень верю, она убежденный человек, постоянно бывает в райкоме, если бы в той книге где-то не было чего-то такого, ее бы издали...

- Она, наверное, говорит о «Введении в сексологию». Ее издали в Венгрии и ГДР, вот, кстати, венгерское издание, автор книжку дарит библиотеке, просил меня передать... Взгляните, какая библиография, три с половиной сотни названий, вот ссылки на Маркса, Энгельса, а вот на Ленина... По-венгерски, мы с вами, конечно, не читаем, но такой библиографии не может быть в порнографической книжке...

- Вы правы. Конечно, это не порнография, - она полистала книгу, - но что-нибудь антисоветское может быть вполне. К консультациям такого человека отнесемся с осторожностью.

А я приступил к выполнению просьб Кона. Прежде всего, нашел в каталогах - в карточных каталогах, представляете себе, как давно это было! - работы двадцатых годов. Их оказалось довольно много - я выписал для начала первые три-четыре - тоненькие книжки в желтых или серых бумажных обложках, на

следующий день еще несколько, затем нашел статью Геодакяна в «Докладах Академии наук». Я отправился в читальный зал сдать просмотренные и взять выписанные раньше книжки. Оказалось, новых не принесли. Странно, ведь я сделал заказ еще накануне, а по правилам заказанные материалы должны были быть принесены в течение трех часов и быть доступными в течение десяти дней... Может быть, книжки заняты, или на реставрации...

Не особенно об этом думая, – сегодня не принесли, завтра принесут - я занялся другим. И вдруг меня вызвал заведующий отделом обработки и каталогов Вадим Львович Парийский.

- Что за материалы вы выписываете через читальный зал? Для себя или для работы?

Оказалось потом, заведующему отделом сообщили, что его сотрудник, человек видимо нездоровый, может быть даже маньяк, постоянно (sic!) выписывает книги, знаете какого содержания? Сексуального! Заведующий опросил сперва моих коллег, в том числе Л.М., что бы понять, что это может значить, а потом вызвал меня...

- Во-первых, это по моей теме, я разрабатываю в ББК раздел «Медицинская сексология», а во-вторых выполняю просьбу нашего консультанта профессора Кона...

Видимо, он сверил мои показания с показаниями коллег.

- Да-да, Л.М. мне говорила. Я уже объяснил работникам читального зала, что вам это необходимо для работы. Но если уж мы занимаемся такой специальной темой, давайте выписывать книги через диспетчерскую. Я попрошу Марию Михайловну, чтобы она доставляла вам нужные материалы. Но работайте с ними только в вашей группе. Не нужно, чтобы кто-нибудь лишний раз...

- Можно ли получить книжку из спецхрана?

- А обойтись нельзя?

- Есть одна французская книжка, которая бы нужна.

- Ну, хорошо, дайте письменное обоснование, зачем вам эта книга.

Что это была за книга, и зачем она была мне так уж нужна, не помню, помню только, что французская...

Книги, которые дал мне прочесть Кон...

Вообще-то эти книги не очень были мне нужны для классификации, она, собственно, уже была готова.

Но было интересно, и я начал читать Джона Мани. Вот ведь какая моя память - где кто стоял, кто что сказал – помню

через много лет, а прочитанные тексты – увы, стираются, уходят... Нет, чтоб наоборот, может, большего в жизни бы добился...

В числе прочего в книге Мани шла речь о формировании сексуального партнёрства. «Как названо, - подумал я - явление, не влюбленность, не любовные отношения, а именно партнёрство!».

Запомнился сценарий из трех действий – фаза аттракции, фаза перцепции и фаза концепции...

В информатике есть способ представления знаний - придумал его Марвин Минский – называется фрейм - там формализовано описываются стереотипные жизненные ситуации. Не знаю, был ли Джон Мани знаком с работами Минского, но, на мой взгляд, цикл формирования партнёрства, или, если хотите, любовный цикл, хорошо раскладывается на такие фреймы.

Вот уйду (снова мечты!) совсем на пенсию, займусь описанием сексуального поведения посредством фреймов. Или тогда не захочется?

Циклы формирования партнёрства начинаются и прерываются чуть не каждую минуту жизни. Увидели вы на улице живую привлекательную женщину, встретились с ней глазами... Началось – аттракция.

Вы попытались с ней познакомиться, но получили отказ. Начавшийся цикл прервался...

У Шопенгауэра, помните: «... в обмене и встрече их страстных взоров возникает первый зародыш нового существа, который, разумеется, как и все зародыши, по большей части бывает растоптан...»

Кстати, когда я робко заметил Кону, что цель секса - деторождение, то, конечно, подразумевал не мотивацию участников контакта, а, так сказать, телеологию секса по Шопенгауэру.

...Женщина, сидящая напротив вас в метро, заметила ваш взгляд и улыбнулась. Улыбки - характерные узелки фрейм-сценария. Вы нашли повод начать разговор, вам назначили свидание.

Пошёл, как говаривал в далекие уже времена Михаил Сергеевич Горбачёв, процесс формирования сексуального партнёрства. Это вроде физиологического невроза. Навязчивое желание сексуально-эротического контакта именно вот с этим партнером – таково в самом общем виде его клиническое описание. Субъект в состоянии влюбленности болезненно зависим от присутствия и настроения своего предмета.

«...Иллюзия сладострастия внушает мужчине, что в объятиях женщины, которая пленяет его своей красотой, он

найдет большее наслаждение, чем в объятиях всякой другой...» - и это из Шопенгауэра.

...Свидания, цветы, бокал вина в кафе, и вот вы, наконец, наедине с ней, и совершается... - что-то я впадаю в неуместную лирику, давайте прервём ее течение грубой, но точной терминологией – происходит генитальный контакт. Вот вам вторая фаза - перцепция.

Вы привыкли друг к другу, планируете совместно жить, думаете о детях... Свадебный марш Мендельсона.

Общество, членом которого вы имеете счастье быть, и которое на этом основании вмешивается до самых глубин интимности в вашу личную жизнь, считает теперь партнерство законным. А у вас кипения чувств более нет, вместо него появилась такая ироническая, знаете ли, теплая, как остывший чай, нежность и ощущение то ли надежности, то ли обреченности. Фаза концепции.

Что-то в вас, например, форма ушных раковин, стало последнее время сильно раздражать супругу, а вам стала до ужаса неприятной ее манера рассуждать об искусстве, как произносит она «это интересно!» - прямо фальшивое пение!

Вы в гостях у приятеля, и напротив вас за столом оказалась хорошенькая, чуть полноватая брюнетка. Заметив ваш, опять-таки, небезразличный взгляд, она улыбнулась, как умеют улыбаться эти хорошенькие, чуть полноватые брюнетки... А потом, когда вы с ней танцевали, как она к вам прижималась, помните?... Поэзия? Никакая не поэзия, а фаза аттракции. С новым циклом вас! С новым счастьем!

Правда, фазу перцепции на этот раз назовут супружеской изменой, которая упомянутым выше обществом не одобряется. Ничего, общество потерпит, измену оно теперь прощает довольно легко, так что вас с вашей другой (третьей, n-ной) возлюбленной, возможно, ожидают дальнейшие фазы с соответствующими клиническими признаками и последствиями, если, конечно, вы сами или ваша подруга не прервете цикла.

А прерван цикл, понятное дело, может быть в любой момент. У вас, например, новый цикл начинается, когда в цикле текущем, ну с той брюнеткой, фаза концепции еще вроде бы не наступила. Тут-то выйдут на сцену и ревность, и отчаяние. Она, бедняжка, с некоторым трудом влезает на подоконник (еще пополнила за последнее время!) и грозит, что кинется с седьмого этажа, если вы сию же минуту не дадите честного слова оставить эту дрянь и вернуться к ней.

Щеглов в книжке «Записки сексолога» на тридцатой странице рассказывает, как он посоветовал своему приятелю, попавшему в такое положение: «скажи ей прямо сейчас: прыгай! Жить с тобой я не могу», и вроде помогло, но теперь сам наш сексолог считает тот свой совет неосторожным....

....

Не думайте, что я пересказываю книжку Мани, там про брюнеток ничего нет, все эти фазы цикла – только ее небольшой фрагмент, а так там много про становление идентичности, есть биология, психология и чуть не эстетика.

А я, представьте себе, приуныл. Это оттого, что если посмотреть на жизнь с сексуально-эротической точки зрения, то особенно ясно видно, как быстро она проходит, и как бедна, хуже того, как пуста эта цепочка циклов. ... Когда возникает сильное желание, оно вытесняет из жизни все, а когда оно исчезает, остается бездонная пустота. От этого прямо депрессия.

- Лю – бо – пыт - но, - изрек как-то раз Щеглов (и был при этом, что ему несвойственно, очень-очень серьезен) – есть поговорка «Post coitum omne animal triste est», и вот, оказывается, петух после совокупления не мучается, у него как бы нет рефрактерной фазы.

Афоризм, который выдал доктор Клавдий Гален во втором от Р.Х. веке, полностью выглядит так: *Post coitum omne animal triste est, sive gallus et mulier...* Перевод: После совокупления грустит всякое животное, кроме петуха и женщины.

Это мне всегда казалось просто хохмой, а если пощегловски, дрокой врача из древних времен. Однако же Спиноза в «*Tractatus de Intellectus Emendatione*» тоже рассуждал о великой печали, которая всегда следует за наслаждением.

Вот оно как. А я думал, дело всего-то в рефрактерной фазе, которая у петуха отсутствует.

Не прошу вас, конечно, считать меня ученым исследователем вроде Щеглова, систематических знаний и наблюдений у меня не больше, чем у вас, но вот что говорит мой житейский опыт. Перед нами две женщины. Одну из них я обозначаю буквой М., именно эта буква не встречается в ее настоящем имени. Мы долгое время дружили, и она была со мной очень откровенной. Однажды я задал ей вопрос, сколько же всего у нее было мужчин.

- К концу первого семестра первого курса ровно пятьдесят, – спокойно, без смеха, смущения или вызова ответила она, – потом бросила считать.

Семестр составляют четыре месяца, значит, в то время у нее, совсем юной, бывало по двенадцать-тринадцать любовников в месяц, иначе говоря, каждые два-три дня новый. Вряд ли чтобы во всех случаях мог разыгрываться описанный сценарий. Это больше похоже на практику «стакана воды» - так, насколько я помню, именовали такого рода поведение возлюбленная Ильича Инесса Арманд, и его соратница Александра Коллонтай. То есть: захотел пить – утолил жажду. В двадцатые годы именно такое пытались пропагандировать.

Хотя помню, М. однажды влюбилась в одного, мне показалось, не очень симпатичного человека.

- Хочу от него ребенка, рыжую девочку – признавалась она с некоторым надрывом.

Но и влюбленная, она ложилась время от времени в постель с каким-нибудь новым или наоборот старым другом. Признаюсь вам на ушко, и я, прости меня Господи, был тогда удостоен...

Ей было под сорок, когда она вышла замуж – нет, не за того, в которого была так влюблена. Мужем ее стал недоучившийся актер без определенных занятий - то грузчик, то бизнесмен. Год-два она хранила ему верность, но потом все-таки изменила. Не то, чтобы, например, вдруг сильно увлеклась кем-нибудь, а вот как было:

- Вдруг захотелось, - рассказывала она – да так, как не хотелось даже в молодости, я стала искать, с кем бы...

Она была еще довольно привлекательна и, надо сказать, не особенно требовательна, так что партнеры нашлись быстро ...

Произошло несколько супружеских измен, в том числе, чего прежде никогда не бывало, лесбийский контакт.

- Мне не очень понравилось, было скучновато...- так она отозвалась о своем новом опыте.

После той вспышки, по ее словам, желание у нее пропало совсем, и с тех пор уже больше не возникало, по крайней мере, с такой силой.

М. была хорошим лингвистом, с основной специальностью французский язык, а на курсах при университете (там мы с ней и познакомились) выучила японский. В отличие от меня, бросившего эти занятия, японский она освоила настолько, что водила экскурсии и преподавала. Но вот ещё какое дело – она пила запоями. Когда случались запои, то пропускала свои экскурсии или занятия, теряла работу, несколько раз мне казалось, вот - произошел распад личности. Но нет, все становилась на место, она снова работала на нескольких работах (как-то

находила), пыталась писать, мне даже подарила написанный ею учебник японского языка.

Осуждаете такую женщину? Самый мой вопрос предполагает, что осуждения, от вас ли, от меня ли, от общества ли, можно ожидать. А что, собственно говоря, осуждать? Христос, защитивший блудницу, которую хотели побить камнями, сказал ей *«Никто не осудил тебя? И Я не осуждаю. Иди и не греши больше»*... Не греши... есть, правда, существенная разница – не видеть греха в совершении чего-то или простить грех совершения чего-то.

А вот другая женщина, ее я никакими буквами обозначать не стану – ей было полных восемьдесят девять, когда она скончалась. Уже не помню, по какому поводу, она сказала, что в жизни ее был один единственный мужчина. Мне такая жизнь представляется подвигом. А подвиг оттого и подвиг, что на него способен не каждый. Не все, пожалуй, согласятся со мной. Сама она считала такую жизнь не только единственно приемлемой, но и совершенно естественной....

Полистал я и журналы «Архивы сексуального поведения». В одной из статей описывался эксперимент. На молодых людей – мужчин и женщин – надевали датчики, которые собирали данные о состоянии их мозгов и сердец. Испытуемым показывали эротические картинки с разными сюжетами: гетеросексуальный контакт, мужской гомосексуальный контакт, лесбийский контакт. По дыханию, по частоте сердцебиений, по энцефалограмме определяли их реакции. Вышло, что всех испытуемых – женщин и мужчин – более всего возбуждал секс между женщинами, меньше, но все же достаточно сильно – гетеросексуальный контакт, а развлечения геев не тронули вообще никого. Правда, для этого эксперимента, кажется, отбирали лиц гетеросексуальной ориентации.

В этом журнале были также статьи о наблюдениях за обезьянами, о возрастных особенностях сексуального поведения, что-то даже из лингвистики.

Дошла очередь и до напечатанного на машинке «Введения в сексологию». Уже потом, когда книжку издали, я ее естественно купил, но теперь не смогу сказать, чем та рукопись отличалась от изданного варианта, конечно, что-то в изданный текст было добавлено, а что-то может быть и убрано. Это книжка – настоящая энциклопедия, чего там только нет. Кон, безусловно, ренессансная личность – в четырнадцать лет стал студентом, и, что поразительно, кандидатских диссертаций у него было две: одна по историческим наукам, другая по философии. Я вырос в ученой

среде, многие мои родственники, знакомые и знакомые знакомых имеют ученые регалии, но таких примеров я больше не знаю. В автобиографии «Восемьдесят лет одиночества» Кон пишет, что хотел защитить еще одну кандидатскую, третью - по юридическим наукам, да его обвинили в «рекордсменстве» и не дали.

В книжке мне более всего запомнилась типизация смыслов сексуальности. Она предваряется высказыванием, что *«всякое человеческое действие имеет не только объективное значение, но и субъективный личностный смысл. ...Сексуальное поведение... радикально меняется в зависимости от своего смысла, от того, какие именно потребности она удовлетворяет»*. Кон после этого описывает девять смыслов сексуальности. Самым любопытным показался мне смысл номер пять: *«... половая близость выступает, как момент психологической, личностной интимности, выхода из одиночества, слияния двоих в единое целое. Это самый сложный вид отношений Коммуникативная сексуальность предполагает высочайшую степень индивидуальной избирательности. Именно она обычно подразумевается, когда говорят о половой любви»*.

«...Иллюзия сладострастия внушает мужчине, что в объятиях женщины, которая пленяет его своей красотой, он найдет большее наслаждение, чем в объятиях всякой другой...» - вспомню еще раз те слова Шопенгауэра.

«Индивидуальная половая любовь есть осуществление вечного индивидуального образа в Боге, достижение полноты для каждой половины, но и всякая иная любовь (не родовой, конечно, инстинкт) есть прозрение в этот индивидуальный образ». – Это спорит с Шопенгауэром Николай Бердяев.

Как хотите, а мне кажется, что атеист Кон, здесь ближе, как ни странно, к религиозному Бердяеву, чем к Шопенгауэру, которого Бердяев где-то обозвал дарвинистом.

Когда я перечитал теперь в уже изданной книжке Кона про пятый смысл, мне вдруг снова явилась мысль, которую я тогда давно, когда на детской площадке возле дома мэтра глотал из горлышка крымский херес, прогнал от себя. В этот раз я попытался понять, в чем собственно она состоит, и мне показалось, что она занята, но не совсем оформлена, так что я ее снова прогнал, и потому опять не скажу, что это была за мысль.

Когда аннотированный библиографический список работ 20-х годов об опросах населения, сделать который попросил меня Кон, был готов, я позвонил ему. Он попросил прочесть, много задавал вопросов, пришлось на радость сотрудницам читального

зала повторно выписывать некоторые книжки и дополнять аннотации.

Я принес ему дополненный список, ксерокопию статьи, вернул книги и журналы...

- Как вам показалась эта статья Геодакяна?

- Интересно.... А вот попалась еще такая книжка «Антропологическая экскурсия по Волге».... В 1882 году один врач – гинеколог Родзевич Генрих Иосифович проплыл на пароходе «Царица» от Нижнего Новгорода до Астрахани. В каждом городе он делал обследования женщин... всего тысячи четыре обследований.... А еще раньше, в 1879 году, он доклад сделал на съезде русских естествоиспытателей и врачей «Проявления половой деятельности у 1 140 нижегородок»

- Ого, ничего себе.... Какие же результаты?

- Больше всего гинекологические данные. В каком возрасте первая беременность, сколько было родов...

- Косвенно это может дать представление о сексуальном поведении.... Впрочем, сейчас меня это не особенно интересует.... А ваша слевой статья получилась удачно?

- Не знаю, Игорь Семенович, когда выйдет сборник, мы вам подарим ...

Сборник с нашей статьей ему передали, но я с ним никогда больше не встречался...

Шопенгауэр и Владимир Соловьев (их Кон не цитировал)

- Жизнь pre ovo, красиво, да? Ты сходишь с ума от желания тронуть ...мою...меня... там, а я от твоей ласки...кончаю.... Пред- жизнь... Жизнь до зачатия ... Она стремится быть.... Что-то направляет эту...это.... Не знаю, как её назвать...Жизнь - не случайность...

- Нет, все-таки случайность. И моя жизнь...и твоя, и жизнь каждого.... У кого-то случайность счастливая, а у кого-то несчастный случай...

- В Бога совсем не веришь? Поцелуй меня...

Из моего недописанного романа
«Нелицензированное программное обеспечение»

Когда через много лет после моих трех встреч с Коном я прочитал «Метафизику половой любви» Шопенгауэра, подумал, что сам именно так представлял себе философию сексуальности, только не умел хорошо сказать: *«Эгоизм так глубоко коренится в свойствах всякой индивидуальности вообще, что когда необходимо пробудить к деятельности какое-нибудь*

индивидуальное существо, единственно надежными стимулами для этого являются эгоистические цели. ... Когда индивидууму приходится работать для благополучия и сохранения рода и даже приносить для этого жертвы, его интеллект, рассчитанный только на одни только индивидуальные цели, не может настолько ясно проникнуться важностью этого дела, чтобы поступать согласно ей». Поэтому «природа ... внушает индивидууму известную иллюзию», что он сам страстно желает этого, и желает этого исключительно для себя, между тем это программа продолжения рода, и больше ничего.

«...Эта иллюзия настолько полно овладевает им», что он «пренебрегает целью,... которая только и направляет его, т.е. деторождением, и старается помешать ей: так бывает почти при всякой внебрачной любви...»

И, наконец, «нет вещи более обманчивой, нежели сладострастие»- цитирует Шопенгауэр из «Филеба» Платона.

«Любовь, как действительное упрямство эгоизма, есть действительное оправдание и спасение индивидуальности» - возражает Шопенгауэру Владимир Соловьев («Смысл любви»), а далее принимается рассуждать таким образом: «Если весь смысл любви в потомстве, и высшая сила управляет любовными делами, то почему же вместо того, чтобы стараться о соединении любящих, она, напротив, как будто нарочно препятствует этому соединению, как будто ее задача именно в том, чтобы во что бы то ни стало отнять самую возможность потомства у истинных любовников: она заставляет их по роковому недоразумению закалываться в склепах, топят их в Геллеспонте и всякими другими способами доводит их до безвременной и бездетной кончины. А в тех редких случаях, когда сильная любовь не принимает трагического оборота, когда влюбленная пара счастливо доживает до старости, она все-таки остается бесплодной».

Философы, разумеется, друг друга не слышат, и каждый говорит о своем. Дело не в том, что у них разные эпохи времени или разные места жительства.

Почти в каждом философском высказывании имеется что-то верное, но верное это всегда верно с одного только бока, при каких-то условиях.... Главное дело – философы обыкновенно рассуждают, не имея никаких данных наблюдения. Взять хоть Соловьева, он ругает высшую силу, она де способствует разъединению любящих – заставляет закалываться в склепах, топят в море и прочее. А случаи, когда сильная любовь не принимает трагического оборота, по мнению философа редки.

Утверждается это как установленный факт. Да кем, помилуйте, когда и где это установлено? Даже примеры, которые приводит философ, взяты из мировой литературы.

...

И у Шопенгауэра при всей его пронизательности также много странных нелепостей. Например, утверждение, что мужчины и женщины всегда выбирают противоположность – низенькие непременно любят высоких, полные тянутся к худощавым. Или что гомосексуальность есть явление возрастное, она «развивается» у пожилых людей. Вот она, человеческая логика. Если применять а priori, исходя из умозрительных представлений, даже гений может легко сказать глупость...

А вообще, имеют ли смысл рассуждения философов?

Есть у меня двоюродный брат - физик-теоретик. С докторской степенью, все как следует. Братец неодобрительно отзывался о лекции Кона у них в институте ядерной физики.

- Ой, слушай, такой дурак... Нес о том, что давно всем известно. Сам-то он ничего не сделал. И книжка его наверняка такая же полная ерунда, как и любая философия...

Типичный для представителя точных наук приговор.

Но все-таки живет философия тысячи лет, а появилась она, как только человек нашел минуту, чтобы подумать о чем-нибудь, кроме насущного хлеба, и поделиться мыслями с другим человечком. Полная-то ерунда столько не проживет.

Конечно, Кон использовал опубликованные результаты других, а те прямо опрашивали народ, собирали данные, подсчитывали, математически обрабатывали. Ну и что? Вполне законный и почтенный метод. Ему даже теперь название подыскали – метаисследование.

Кон попытался объяснить, что в наших желаниях и поступках нет ничего особенно порочного или болезненного. А кроме того показал, как мало знаем мы самих себя, и в каком находимся противоречии с этими нашими же - как их? – с мотивациями. С сексуальными мотивациями. Мало вам? С одной стороны - не так уже и много, а с другой - поди-ка попробуй...

Как там было в стихотворении Одена «Памяти Зигмунда Фрейда», которое я переводил с таким удовольствием?

*Он вовсе не был умным: просто дал совет
о Прошлом думать недовольному Сегодня,
как на уроках литературы, пока поздней ли,
раньше не пройдет досада, и не станет мир*

*опять таким, каким он был, когда мы бросили ему
пустые обвинения,
и мы поймем, что так богата жизнь,
и так она глупа,
и все простим ей...*

Поездка к Васильченко

Профессор Георгий Степанович Васильченко основал первый в СССР сексопатологический центр. Консультация Васильченко мне нужна была по двум причинам. Во-первых, для престижа: смотрите, руководитель центра, основатель отечественной сексопатологии проконсультировал мою классификацию. А во-вторых, интересно было посмотреть на настоящий сексопатологический центр. Выяснилось, что Васильченко к тому же увлекается японским языком – в центре даже надписи на дверях кабинетов сделаны были по-японски.

Вид у него был подчеркнуто медицинский – хирургический халат, завязывающийся сзади, белая шапочка. Он мельком взглянул на нашу писанину, и объяснил, что сегодня сексуальность и в норме, и в патологии следует рассматривать системно, как комплекс составляющих копулятивного цикла – которые могут иметь разную природу и разное значение, но вместе образуют целостность. Это – нейрогуморальная составляющая, психическая составляющая, эрекционная составляющая, эякуляторная составляющая, генитосегментарная составляющая и еще какие-то, уже не помню. После чего он сказал, что поручит своему сотруднику детально рассмотреть и проконсультировать нашу работу, а у него самого сейчас нет времени. На мою японскую фразу...

...В автобиографии «Восемьдесят лет одиночества» Кон так пишет о конце жизни Васильченко: *«После выхода на пенсию, бывшие ученики помогли ему не умереть с голоду, тем не менее, старый профессор умер в одиночестве и нищете. Я не нашел в Интернете ни одного нормального некролога. А ведь именно этому человеку россияне обязаны тем, что в стране существует хоть какая-то государственная медицинская сексологическая помощь...»*

...- «Домо аригатó годзаймасита сэнсэй»³ - я эту фразу приготовил заранее, узнав о его увлечении японским языком - он не улыбнулся и не кивнул, а просто сказал «до свидания».

³ Большое спасибо, профессор

Не могу вспомнить, как звали сотрудника, которому мы были поручены. Этот сотрудник нас раскритиковал. По его мнению, классификация получилась поверхностной. Жаль, у меня не сохранились его предложения. Там, помнится, было что-то накручено, отражали они собственную, очень сложную и спорную логику нашего консультанта. Мы поблагодарили и, распрощавшись, ушли из лаборатории.

- Да, нас с тобой пригласил на ужин Сережа Агарков из лаборатории, – сообщил Мне Щеглов, - Ну, такой полный. К вечеру позвоним и поедем...

Агарков и его супруга, тоже врач-сексопатолог, были очень гостеприимны. Разговор за ужином, разумеется, был интересным, но я его не помню, моя хваленая память подвела, да ведь и прошло больше двадцати лет. Помню лишь, каким изыском мне показалось супружество двух сексопатологов...

Раздел Р70 «Медицинская сексология» в Советской библиотечно-библиографической классификации

Порядок издания публикаций в Публичной библиотеке тогда был таким: сначала статья обсуждалась в группе, потом устраивали научно-методический совет отдела, где тоже обсуждали. После того, как статьи, заявленные в выпуск сборника, одобрены или отклонены методическим советом, компоновали сборник. Он обсуждался уже на редакционно-издательском совете библиотеки.

По поводу нашей статьи на методическом совете звучали похвалы, подобных которым я немного слышал в жизни. Статья интересная, необычная, информативная, хорошо написана – через двадцать семь лет помню, как видите, комплименты в свой адрес. Замечательно, ведь систематизатор молодой (мне исполнилось тридцать шесть), первая публикация - и сразу в десятку... Хорошо запоминаются комплименты!

- Кстати, кто ваш соавтор? Кто такой Лев Щеглов?

- Врач-психотерапевт, профессиональный сексопатолог.... Работает в поликлинике на Васильевском острове.

Будь статья написана не в начале восьмидесятых, а в конце девяностых, такого бы вопроса не задали.

Мои недоброжелатели часто в дальнейшей жизни вспоминали мне эту работу.

- Этот с-с-сексолог, - оскорбляла меня сквозь зубы одна дама, библиограф библиотеки Академии наук, - что может он понимать в библиотечном деле...

Зато Кон два раза цитировал нашу статью. Один раз в статье в газете «Час пик» (я долго хранил этот номер, но девал куда-то), а второй раз в книге «Клубничка на березке», оба раза то место, где разносятся по годам издания по сексологии, отраженные в систематическом каталоге Российской национальной библиотеки:

То, что изучение проблем пола в послевоенном СССР началось в медицине, вполне естественно. Так было в XIX - начале XX в. в Европе и в дореволюционной России. Сталинский террор выкорчевал все, что делалось раньше, теперь ученым пришлось все начинать сначала.

Перерыв в исследованиях наглядно отражается в статистике соответствующих публикаций. По подсчетам А. Ц. Масевича и Л. М. Щеглова, в фондах Ленинградской публичной библиотеки русские книги по сексологии распределяются по годам издания следующим образом:

*до 1917 г.-126
1917-1936 гг. - 52
1936-1960 гг. - 5
1961-1969 гг. - 14
1970-1980 гг. - 61
1980-1984 гг. - 35*

Такая же динамика и в книгах по гигиене половой жизни (И.С. Кон «Клубничка на березке»).

Грустно это вспоминать. Не буду говорить, почему грустно, но грустно. Так, знаете ли, как в музыке, ведь в музыке не понять, откуда и почему грусть, чувствуется только, что легкая она и прозрачная, или тяжелая и непроницаемо черная, но из-за чего она и откуда, не скажешь. Си минор, вот и все.

В этой тональности и окончу первую часть моих воспоминаний и размышлений. Но не прощаюсь. Во второй части встретимся.

Часть II Тема для вариаций

Сексологическая мозаика

В начале девяностых прямо в центре еще в то время Ленинграда у Гостиного Двора стали продавать эротические издания. Когда эти продажи только начались, чтобы полистать заграничный журнальчик с яркими картинками, надо было платить трешку или пятерку. Еще продавали листки, непрезентабельного вида. Я запомнил, что газетенка, которая писала о каких-то проблемах мужчин, называлась почему-то моим именем - «Андрей».

Продавалось это среди множества самодельных политических листовок, брошюр и прочего хлама...

Открылись секс-шопы, за вход в них тоже сначала надо было платить. Потом оказалось, что даже бесплатно желающих посещать их не так уж и много, и плату отменили.

...

В конце восьмидесятых делали телемосты между СССР и США. Помните фигуру американского телеведущего Фила Донохью? С одной стороны американцы и с ними этот Донохью с седой шевелюрой, а с другой - советские и наш Владимир Познер. Участники задают друг другу каверзные вопросы. Забыл, как поставили американцы вопрос о сексе в СССР, но советская участница с гордостью ответила:

– У нас нет секса!

Историческую фразу потом много цитировали. Еще настоящему не было Национального корпуса русского языка, и никто не знал, что в период 1981- 1990 гг. корпус зафиксировал всего-то 173 употребления слова секс. Хотя, впрочем, эта передача была примерно в 1986, и если считать с 1981 года, в корпус уже 113 употреблений набралось, а это составляет 65% всех зафиксированных за десятилетие употреблений.

Кон, хоть и написал уже свое «Введение», но оно пока еще издано было только по-венгерски и по-немецки (русское издание вышло в 1988).

Прошло еще лет пять, и перестройка двинулась дальше. Молчу о политике, Бог с ней, но эротика!

Впервые на телевидении стали внятно говорить о сексе в программе «Адамово яблоко». Изюминкой этой передачи (передачи с высоким, говорят, рейтингом) стал доктор Щеглов.

Первое его выступление, которое я помню – об онанизме. Он объяснил, что в «самовозбуждении», так он это тогда назвал, нет ничего ненормального. Закончил тем, что дал слушателям совет рассказать партнеру о своей практике, поделиться фантазиями...

Следующее выступление посвящалось слишком скорой эякуляции. Если вы слишком быстро (как Наполеон!) кончаете, надо пальцем сильно нажать себе на мошонку, это поможет... гм-гм... продлить... Только я, честно говоря, не понял, в какой момент надо нажимать...

Щеглов стал ректором института психотерапии и сексологии.

Одна за другой стали появляться толстые книги с портретом Щеглова – я признаюсь, не читал ни одной, кроме последней, называется «Записки сексолога», эту он мне подарил...

В программе, кажется, «Взгляд», а может быть «Пятое колесо» я увидел Кона.

- Игорь Семенович, - задал ему вопрос телеведущий, - как бы вы разграничили эротику и порнографию?

- Есть разделение этическое и эстетическое. С этической точки зрения порнография подразумевает непристойность. Впрочем, понятие «непристойность» в определенной мере относительно. В одной культурной среде какой-то образ может считаться совершенно непристойным, в другой – вполне терпимым. Эстетическое различие состоит в том, что в порнографическом изображении человеческая личность отчуждается, происходит деиндивидуализация...

- Большое спасибо, Игорь Семенович.

А потом появилась передача «Про это». В ней участвовали Кон, Агарков и другие сексологи. Вела передачу потрясающая дама, темнокожая в светлом парике.



С.Т.Агарков выступает в передаче "Про это"

Каждый выпуск был посвящен какому-нибудь явлению секса – секс по телефону, гомосексуализм, мастурбация, стриптиз, открытый брак и т.д.

Ведущая брала интервью у приглашенных – я долго сомневался, были то люди, рассказывающие о своем реальном опыте или актеры, говорившие по заготовленному сценарию, но были они столь откровенными, что жуть брала – как это можно, чтобы такое рассказывать о себе (пусть даже будто о себе...) стольким людям. Я где-то слышал, передачу смотрели 34

миллиона человек. А Елена Ханга, ведущая, позже в своем интервью уверяла, что «подстав» там не было, все участники были реальными.

...Красивая женщина говорила о своей технике мастурбации

– Только не смейтесь надо мной, - двумя морковками.

- Почему двумя? - спросила ведущая – Чтобы в каждой руке?

- Я люблю анальный секс, и стимулирую себя с двух сторон...

Помню историческую справку, которую почему-то дал Кон в той передаче.

- Белинский был завзятым онанистом. Известна его личная переписка, где он жалуется и кается в этом своем «грехе».

В другом выпуске суровый мужчина заявил, что гомосексуалистов надо физически уничтожать.

А еще один утверждал, что секс - вообще грязь, и от него надо совсем отказаться. Прямо как герой «Крейцеровой сонаты».

Еще одна красавица, дивно улыбаясь, рассказывала, как ей нравится демонстрировать свои прелести...

- На пляже нудистов я заметила, что один мужчина, поглядывает на меня и делает, прикрывшись полотенцем, свое дело. Я чуть раздвинула ножки... У него изменилось лицо, а я подумала, как бы хорошо сейчас с ним заняться сексом...

Каков вариант фазы аттракции?

Ну, милая дама, где-то вы теперь, есть у нас секс или нет?

Одну передачу ведущая посвятила сексу и дружбе.

- С давних времен – открыла она дискуссию, - дама предлагает домогающемуся ее любви мужчине дружбу взамен секса.

Дружба, по-моему, не может быть предметом обмена или валютной единицей, в отличие от сексуального контакта, который можно продать, обменять на что-нибудь или подарить другу на день рождения. Дружба людей, пишет Кон, и с ним соглашаешься, возникает через сложные и, как правило, длительные психические взаимодействия.

Поэтому, когда дама просит вас убрать руку с ее колена, а вместо секса предлагает дружбу, то конкретно это означает – прекрати лапать! Только она так не выражается – не хочет вас обижать.

Впрочем, предложение заменить секс дружбой не всегда отказ, бывает, что просто кокетство, но и в том и другом случае – узелок фрейма!

В какой-то передаче Кон заговорил о духовной стороне интимности.

- Неужели дело только в том, чтобы «трахнуть»? Психологическая коммуникация, раскрытие богатства личности, чувство полета... вот ценности интимной близости, а не погоня за оргазмом – физическим, сугубо локальным ощущением.....Мысль, которая уже дважды приходила мне в голову, и я ее каждый раз прогонял, пришла опять. Прогонять на этот раз не буду, отложу в сторонку, пусть полежит...

Простите, задумался. О чем я? Да, вспомните еще раз ту брюнетку в гостях. Много вы думали о богатстве личности, когда она к вам прижалась? Можете не отвечать, и так ясно. Для раскрытия духовного богатства, если, конечно, у нас с вами есть, что раскрывать, эротический контакт ни зачем не нужен, даже, пожалуй, мешает.

Передача «Про это», говорят, кой – кого рассердила. Некоторые возмутились, и прямо сказали, и до сих пор говорят о засилье разврата вообще и на телевидении в особенности.

Понемногу принялись принимать меры против безобразий.

Вскоре после исчезновения с Невского эротических изданий появилось заметка Щеглова, кажется, в газете «Смена».

Мера оправдана – примерно так писал уже хорошо известный сексолог, – Открытая продажа эротических изданий в центре города есть нарушение прав некоторых граждан. Дедушка как бы ущемлен в своем праве гулять с маленькой внучкой по Невскому проспекту, потому что ребенок может увидеть, чего дети видеть не должны. С другой стороны, принятая мера оставляет возможность приобретать эротические товары и литературу в специальных, недоступных детям магазинах или киосках, то есть, соблюдены права тех, кому такие вещи нужны. Так делается во всех цивилизованных странах...

...Как-то я вел практическое занятие со студентами в университете культуры и искусств.

Студентка, до того похожая на куколку, что мне показалось, если нажать пуговку на ее спинке, она закроет свои огромные глаза и пискнет искусственным голоском: «мама», выполняла учебное задание. Пальчики со сверкающими лаком ноготками уверенно бегали по компьютерной клавиатуре.

Вдруг на нее обрушился лохматый субъект, и охватил своими ручищами. Я уж хотел, было, вмешаться – где вы, мол, находитесь? Что себе позволяете? - но куколка со словами «иди в жопу» несколько раз ткнула субъекта локотком, а отвоевав свободу, покачала головкой и произнесла:

- Ты маньяк. Тебя надо к доктору Щеглову.

Методика и эксперимент

Чаще всего сексуальное поведение людей изучают с помощью анкетирования. Раздают группе респондентов списки вопросов. Ответы сопоставляют, анализируют, ну и делают выводы – например, что на момент проведения исследования у мужчин средний возраст первого генитального контакта около N лет, а у женщин – примерно лет L . Этот возраст за последние M лет статистически достоверно уменьшился на X лет у мужчин и на Y у женщин. Из этого следует - плохо, мол, молодые люди еще не созрели для семейной жизни, а сексом уже занимаются.

Одни по этому поводу рассуждают: в нашей сегодняшней жизни ранний секс неизбежен, что сделаешь, надо смотреть в лицо правде и стараться избежать нежелательных последствий, таких как подростковая беременность и венерические болезни. Для этого нужна разъяснительная работа – учить пользоваться противозачаточными средствами, обеспечивать безопасность секса. Нужны уроки сексуальной грамотности в школах и вообще сексуальное просвещение.

Надо радикально бороться с развращенностью, - с темпераментом Савонаролы требуют другие, - Нельзя допускать никаких уроков так называемой «сексуальной грамотности» – эти уроки на самом деле становятся уроками разврата. Следует давать нравственное религиозное воспитание. А отношение христианства к сексу однозначно – половой контакт допускается лишь на «ложе нескверном» в освященном церковью браке и с одной целью – иметь детей. Если говорить о сексе в школах, то только так: никакого секса вне брака!

В анкетах иногда задают вопрос, как часто в голову вам приходят сексуальные фантазии. Есть разные отчеты о таких исследованиях... Каждые тридцать минут, каждые десять минут...каждый час – реже, чаще....Ну-с, а вы, как бы вы на это ответили?

Кроме анкет, применяются и разные методы снятия объективных данных. Я видел по телевизору научно-популярный фильм, в котором пара влезала в какую-то капсулу и там совокуплялась. Система уже упомянутых где-то мной датчиков регистрировала их состояние.

Что это может быть за секс – в капсуле-то, вокруг приборы, известно, что тебя исследуют.... До духовного ли здесь раскрытия, и какое там чувство полета?

А я бы на месте сексологов записывал рассказы разных людей, наподобие того, как делают это диалектологи или фольклористы. Даже если опрашиваемые будут стесняться откровенно говорить, или, наоборот, начнут хвастаться, рассказы все равно покажут душу.... Ой! Что вдруг за слово я употребил? Нет, нет, не подумайте, я вот что имел в виду: душа - динамический, не полностью управляемый, нечетко структурированный массив информации в живой системе. Он, массив этот, развивается и модифицируется в течение жизненного цикла этой.... Ой-ой! Как затараторил, испугавшись, что нечаянно оборонил словечко....

Кстати говоря, Альфред Кинзи, которого упомянул тогда Кон, провел анкетирование 16 000 (!) человек и показал в отчетах, что мифы – религиозный или романтический - об отношениях между женщиной и мужчиной, мало имеют общего с реальностью. Его знаменитые отчеты привели в бешенство многих, прежде всего клерикалов.



Портрет Кинзи на обложке журнала "Кризис" за май 2004 г.

Надпись: «Разрушил ли этот человек нравственность в Америке?»

До сих пор Альфреда Кинзи, который давно умер, клеймят сексуальным маньяком, - обычная, вроде бы, для сексологов история – помните, даже я, хоть куда мне до Кинзи, удостоился как-то чести получить такое же именование от сотрудницы читального зала.

И все-таки попробую применить метод диалектологов и фольклористов.

Имена моих героинь и героев я скрою за обозначениями буквой, хоть боюсь, если этот текст не дай Бог как-нибудь попадет к ним или к тем, кто с ними знаком, они себя узнают или их узнают. А как я сам спрячусь? В историях, которые от первого лица, рассказчик выглядит довольно таки ...

Мой покойный друг Николай Михайлович, сказал бы, пожалуй: с чего это ты так оголился?

Однако тридцать страниц написано, а без историй этих я не смогу сказать то, что хотел ...

Часть III Вариации на эту тему...

Женские вариации...

По моему правилу, во всякой женщине можно найти чрезвычайно, черт возьми, интересное, чего ни у которой другой не найдешь, — только надобно уметь находить, вот где штука!

Ф.М. Достоевский “Братья Карамазовы”

Многогранная личность

На том приеме иностранцев у директора я был переводчиком, а она участвовала в первый, кажется, раз в должности ученого секретаря. Разлили тепловатое полусладкое шампанское. Она незаметно взяла у меня пустой бокал и сунула мне свой, нетронутый.

На другой день, подавая ей отчет о работе с той группой, я спросил, между прочим:

- Вы совсем не пьете?

- Ни капли. У меня мать алкоголичка. До сих пор мне часто случается находить ее на улице пьяной и вытаскивать из вытрезвителей.

Лицо у нее кавказского, что ли, типа, глаза навывкате, один глаз немного косил, и косоглазие это тем более было заметно из-за стекол сильных очков на чуть крючковатом носе. Держалась она совершенно прямо, откидывая голову назад и наклоняя ее набок.

- А я без рюмки жизни не представляю...

- Я свою жизнь украшаю по-другому.

- Как же?

- Секс, конечно. Обожаю, не упускаю случая...

Она встала из-за письменного стола и уселась, поджав ноги, в низенькое кресло напротив меня.

- У меня хорошая фигура. Люблю включить музыку и стоять совсем без одежды перед зеркалом. Я вообще-то разведена, но мой бывший муж остается, если честно, моим партнером. Мы живем в одной коммунальной квартире. Я с нашим сыном, он - со своей второй женой. Заглядывает ко мне потихоньку.

От такой откровенности даже я растерялся.

- А жена?

- Ничего, по-моему, не подозревает. Он справляется с двумя женщинами. А мне всегда не хватало одного партнера, особенно когда мы были в браке. Он меня ревновал, да и сейчас ревнует.

Она носила строгие платья и костюмы и казалась деловой и серьезной.

Я тогда много занимался переводами и экскурсиями для иностранных посетителей, она же отвечала за международные связи.

Раз после обсуждения со мной программы визита иностранцев она вдруг заявила:

- Соблазнила одного мужчину. Очень религиозный человек, долго сопротивлялся, но я, в конце концов, повалила его на кровать и расстегнула брюки. Он не устоял. Потом долго молился. А вчера вечером он приходит ко мне в кабинет, и говорит, что снова хочет этого. Я, не говоря ни слова, закрыла дверь на ключ и легла вот на этот диванчик. В этот раз не молился.

- Не бойтесь, что Бог вас накажет?

Иногда она рассказывала о мужчине, которым очень интересовалась. Я немного знал этого человека. Он был историк, работавший в одном из отделов.

- "Можно сесть к вам на колени?" - спросила я, когда мы были одни. - Он говорит: "не надо". Жаль. Но мне с ним так интересно говорить о раннем христианстве. Я бываю на его лекциях.

Случилось, что я сильно переживал расставание с одной женщиной. И тогда решил обратиться к А. за помощью. Она встретила меня новой историей.

- Только что вернулась из Москвы. В одну ночь меня в гостинице имели трое мужчин. Давно хотела попробовать групповой секс. Так им и говорю – берите меня все сразу. Но они смутились, мужчины очень консервативны. Тогда я шепнула одному из них, что приду к нему. А другого - увела к себе. У меня мы едва успели, пришла моя соседка. Я набросила халат и пошла

к тому, которому пообещала. В коридоре сталкиваюсь еще с одним. Стали разговаривать, я призналась ему, что под халатом на мне ничего нет.... Зашли в его номер, он попросил своего соседа ненадолго выйти. Я, если честно, намекнула, что могла бы удовлетворить и соседа.... Но мужчины непонятливы. Этот все же был очень неплох. А я затем пошла к третьему и выполнила свое обещание...

- Не поможете ли и мне?

- А что такое?

- Да вот, чувствую одиночество, и, кажется, немного секса...

- Слава Богу, наконец. Давно собиралась предложить. Зайдите ко мне после шести... (тон начальственный). Через 10 минут у меня совещание, на котором, кстати, вы должны быть.

На совещании мне было велено встретить в аэропорте двух немок еще тогда из ГДР и привести их в институт. Ровно в пять меня позвали к телефону.

- Все уже ушли. Зачем ждать до шести?

А. повернула ключ в двери своего кабинета, повесила жакет на стул и чуть приподняла юбку.

- Может быть, перейдем на “ты”?

- Ни в коем случае. Зачем? Останемся на “вы”. Смотрите сюда.

Юбка строгого костюма поднята.

Как? Нравится?

Отрицательно на такие вопросы не отвечают. Последовало быстро... и она... Ладно, неважно...

Время от времени мы с ней при встречах беседовали таким, примерно, образом:

- Когда мужчина входит в женщину, у нее свободны руки и рот. А я очень люблю брать член в рот. Устроили бы вы мне как-нибудь групповой секс...

Она имела кандидатскую степень и, по-моему, себя несколько переоценивала. Впрочем, кто из нас себя не переоценивает? У нее было слишком серьезное отношение к игрушечным занятиям библиотечного научного работника. У гуманитариев это бывает часто. Если я позволял себе усмехнуться по поводу какого-нибудь сюжета ее занятий, она обычно говорила:

Я думала, у вас достаточно мудрости, чтобы не критиковать то, чего вы не можете понять.

Два-три раза после работы я заходил в ее кабинет. Она запирала дверь на ключ и гасила свет. Затем, зажигала маленькую

настоящую лампочку, ставила ее на пол и с непередаваемым письменной речью выражением произносила:

- Я уже без трусиков, ждала вас...

Получалось вполне в духе Тинто Брасса. Как-то, успокоившись после этой пряной, этого пряного... - никак не подобрать существительного, я спросил, часто ли она так принимает посетителей. О исследовательское любопытство!

- Я не допускаю никого к моему внутреннему миру, к моей душе, к моей многогранной личности, а к телу – пожалуйста, зачем же отказывать себе в таком... м-м-м... неземном наслаждении? Недавно занималась этим ...занималась этим за колонной театра Ленинского комсомола. Мужчина был сзади...

Добавлю черточку к портрету этой героини - она увлеклась религией, посещает историко-религиозные чтения, даже совершила паломничество в какую-то пустынь.... Кроме того, кончила курсы по психологии... До сих пор жалею, что не задал ей вопроса, как эротические развлечения могут сочетаться с религиозностью. Ведь с точки зрения религии они - страшнейший грех!

Так себя и охарактеризовала – многогранная личность... И прямо-таки пропела себе гимн – душа, внутренний мир...

Политические взгляды ее были – представьте, какие! Одна из немногих, она в 90-е не вышла из КПСС и, кажется, до сих пор хранит свой партийный билет.

А. часто говорила о своем историке. С ее слов он с удовольствием встречался с нею, говорил о религии и истории востока, но к сексу интереса не проявлял. Впрочем, когда они в столовой пили чай, то выглядели вполне как влюбленные, беседовали увлеченно, глядя друг на друга.

- Хочу с вами посоветоваться. Я нашла через журнал знакомств немца в Дармштадте. Думаю выйти замуж, если он мне подойдет.

- Не ожидал от вас...

- Это больше всего из-за сына. Чтобы спасти его от армии.

А то опять случится какой-нибудь Афганистан.

- Чем же я могу помочь?

- Расскажите о Германии и о Дармштадте...

В Дармштадте я был, но провел там всего несколько часов: посетил по делу математический институт, да еще погулял по центру города. Впрочем, какую роль здесь могли играть достопримечательности?

Она стала старательно изучать немецкий.

- Он написал мне: "Ich wünsche Deine Lippen ...", а я ответила "Ich werde Dir meine Lippen gern geben."

Я рассмеялся:

- С немцем-то вы на "ты"...

После ее поездки в Германию я получил отчет о том, что там происходило:

- Прямо из аэропорта он потащил меня в итальянский ресторан. Был разочарован, что я не пью. Когда приехали к нему, попросил влезть в ванну - огромная ванна, места для двоих хватало. Был беспрерывный сумасшедший секс. Таблетки он, что ли, принимал какие-нибудь, но продолжалось это часами. Мне страшно надоело, а в то же время хотелось чего-то нового. Я еле прожила эти десять дней. Замуж за него нельзя.

Вскоре я сменил место работы, и мы перестали видеться. Однажды, впрочем, мы встретились на одной конференции, и я предложил выпить кофе.

- Алкоголь, я понимаю, по-прежнему вне обсуждения?

- Ни капли. Давайте встретимся, ждите меня у выхода.

К назначенному часу она не пришла. Пожав плечами, я отправился прочь, но вдруг ее увидел. Она бежала ко мне. Я пошел было навстречу, но понял, что смотрит она не на меня. Оглянувшись, увидел спешащего к ней того историка. Они пошли вместе.

Спустя еще два года, я зашел в библиотеку, где мы когда-то работали, и опять ее встретил...

- Знаете, у меня родился внук. Сын мой полтора года как женат. Я оказалась неплохой свекровью и бабушкой. А вы как здесь?

- Повидаться с вами...

- Как всегда находчивы...

Чудное мгновенье...

Имени этой героини не помню, и видел ее всего раз-другой. Для ее обозначения, пожалуй, подойдет латинская N, или нет, лучше символ ***. Расскажу я совсем-совсем маленький эпизод.

Я когда-то работал в проектно-технологическом бюро, собственно говоря, даже не то, чтобы работал, а получал крошечную зарплату за то, что каждый день приходил в такое деревянное строение - говорят, оно когда-то было конюшней - во дворе на Разъезжей улице.

В длинном помещении были тесно расставлены чертежные доски, и на прикрепленных к ним листах что-то

рисовали люди, которые довольно часто выходили в коридор курить. В грязно-зеленом коридоре вы живо ощущали томление безнадежной грусти, тревоги шумной суеты и запах табака и пота. Пока курили, рассказывали анекдоты, рассуждали о политике и о футболе.

Один из таких служащих, из тех, которых называли почти забытой ныне аббревиатурой ИТР, старший инженер конструкторского отдела рассказывал мне как-то вот этот анекдот:

«...Приезжает генерал в часть на первомайский праздник, а солдат перед этим месяц муштровали, как отвечать на генеральское приветствие и поздравление...

Ну, выходит генерал перед строем.

- Здравствуйте, товарищи!

- здрау, ау, ау, ау!

- Что же вы, товарищи, ваш плац так засрали?

- Ура! Ура! Ура-а-а!»

И тут, как мимолетное видение, явилась перед нами ***.

- Привет, – прозвучал нежный голос, она прильнула к моему собеседнику, поцеловала в губы и провела рукой по его щеке...

- Здравствуй... - тихо сказал он.

Видение исчезло, а собеседник мой спросил, знаю ли я ее.

- Да, она работает в отделе техники безопасности главка, но как зовут ...

Он назвал имя, теперь не помню – обычное имя - Оля, Марина, Наташа... как-нибудь так - и неожиданно разоткровенничался.

- Я и Володя (один такой инженер в отделе стандартизации и метрологии) были с ней в командировке в Тихвине. Нас поселили в общежитии - ее одну в комнате, нам дали комнату на двоих.... В первый вечер берем пару бутылок, сидим у нас, она, не отрываясь, смотрит на Володьку. Потом взяла его за руку и отвела к себе. Ну, думаю, придется мне вечер скучать одному. Но через полчаса Володька вернулся, довольный. Все, бля, порядок, - говорит, - трахнул.... И она пришла в халатике. Смотрит на меня и делает вот так пальчиком. Пошли к ней. Отлично было, она такая.... такая прохладная.... Два дня давала нам по очереди.... А в последний вечер привела к себе мужика из отдела главного механика предприятия, где мы работали...

Считается, что гедонистический тип сексуального поведения присущ исключительно, исключительно мужчинам, да и сексолог Щеглов мне говорил – женщине, мол, не нужно многих партнеров, она так устроена, что удовлетворяется одним, природа

у нее такая. Не знаю, не знаю, мне показалось, Шопенгауэр и Щеглов делают здесь типичную ошибку философов, что ли, утверждают нечто, не подтвержденное наблюдениями реальности, и даже ей противоречащее, но общепринятое и соответствующее их мировоззренческой или логической схеме.

С другой стороны Кон тоже пишет по этому поводу:

Аналитический обзор 5400 научных статей - это из его статьи «Мужская сексуальность по данным массовых опросов» (Андрология и генитальная хирургия, 2007, № 4, с. 19-28) - *показал, что по большинству показателей - частота сексуальных мыслей, фантазий и спонтанного возбуждения; желаемая частота секса; частота мастурбации; желаемое число сексуальных партнеров; предпочтение секса другим занятиям; активный поиск секса; готовность инициировать сексуальные действия; наслаждение разными типами сексуальных практик; готовность жертвовать ресурсами ради секса мужское сексуальное влечение оказалось значительно сильнее женского. Ученые объясняют это в свете эволюционной биологии: если биологическая функция самцов в том, чтобы оплодотворить как можно больше самок, то мужская сексуальность должна быть более сильной и одновременно более экстенсивной.* (Какая все-таки голова Шопенгауэр!)

Еще о женщинах

Аналитический обзор аналитическим обзором, но мой личный опыт другой. Мне, как я вам уже немного рассказал, встречались женщины, прямо-таки гурманы в сексе, ненасытно жадные до наслаждений. И это, вероятно, не только мой опыт – вот, пожалуйста, стихотворение Тимура Кибирова.

*Зарисовка с натуры
Месяца два назад
В полночном такси
Я слушал на какой-то FM-радиостанции
Ток-шоу.
Ведущий обратился к аудитории
Со следующим вопросом:
«Сколько, на ваш взгляд,
Необходимо современной женщине
Сексуальных партнеров,
Не считая, конечно, супруга?»
Ответы были разные,
Но, в общем-то, все согласились*

*С тем, что ограничиваться мужем
Современная женщина
Не может и не должна.
Особенно мне запомнился
Звонок Марины из Нижневартовска.
Она считала, что, конечно,
Партнеров должно быть, как минимум, два.
«Ведь мы же, – сказала Марина, –
Цивилизованные люди!»
Тут инородец-шофер
Воскликнул: «Вот билят!»
А я – ни к селу и ни к городу –
Подумал: «Шпенглер!»*

Завершу эту главу историей, которую рассказала мне М.:

- «После экзамена вся наша группа разместилась на двух скамейках в скверике, а для меня места не хватило. Пили вино прямо из бутылок. Он говорит мне: «Что ты мелькаешь? Сядь!» «Куда?» «Ко мне». – У него на коленях я почувствовала, как он хочет, и у меня, понимаешь, сразу намокли трусики. Я взяла его за руку и повела к себе. Мы снимали тогда пополам с Зойкой – помнишь ведь Зойку? - однокомнатную квартиру. Зойка, как назло, была дома. Она только взглянула на нас, сразу ушла на кухню и закрыла дверь.

Когда я почувствовала его во мне, то будто слилась с космосом. Показалось, я могу и понимаю все – это просветление было, как у Будды. Ты не понять не можешь, что это такое.... А второй раз.... -Высшая форма любви не есть любовь бесполой, бесплотная, не есть высушенный долг и моральная ответственность, в основе ее лежит мистическая чувственность, непосредственные касания и соединения, - задумчиво рассуждает религиозный философ Бердяев.

- ...А второй раз, - продолжила моя приятельница, - он кончил мне в рот..., (я стараюсь передать ее рассказ как можно точнее).

А теперь я бы хотел увидеть лица моих читателей, а в особенности... в особенности читательниц, каким будет их выражение, когда они прочтут эти истории (если, конечно, не бросят, не дочитают) – Неловкости? Отвращения? А то может, у иных заблестят глаза от возбуждения и интереса? Уж как себе хотите, читайте дальше или нет, а мне требуется написать еще такое, на что едва могу решиться. Но напишу. Напишу, ибо

движет мной честолюбивое желание сказать, чего не сказал даже Игорь Семенович Кон...

Где там моя мысль, которую я сначала прогонял, а потом отложил в сторонку. Ага, вот. Может уже и развернуть? Нет, подожду еще.

...Мужские вариации

*И точно будто ищет он чего-то;
Попробует одной, давай другую!
Как будто женщины не все равны.
Ведь, согласитесь, отцы святые,
У курицы один и тот же вкус,
Что с черным ли хохлом она,
что с белым!*

А.К.Толстой «Дон Жуан»

Бывает, что у мужчин границы допустимого даже строже, чем у женщин: «Познакомился с одной. Такая, ничего себе, ну, так и так, я ее за сиську, за ляжку – смотрю, готова и шепчет «давай, но только так: я пососу у тебя, а ты положишь мне. Я - целка, в себя до свадьбы никому не даю, выйду замуж - буду давать». Я плюнул и ушел – какой кайф лизать?»



О. Сергий Булгаков

А вот трагедия. Это рассказал мне один человек из того проектного бюро: «Бабу, которую я несколько раз ебал, и моего приятеля нашли мертвыми в машине. Залезли, видно, трахнуть»,

включили двигатель, а окно, бля, не открыли – холодно. Отравились выхлопом насмерть. Ни хуя себе - вписаться в такую феню! Я, бля, их и познакомил...»

За трагедией следует жанровая зарисовка - мужчина едет в командировку, и думает, как бы в незнакомом городе найти, нет, не найти даже, а «снять» бабу. Перед ним женщины, вот эта - ничего себе и, похоже, что согласится, вот эта тоже, которая же...

- Посидим вечером в ресторане?

- Можно....

«А что, - лихорадочно думает он, - дальше? В гостиницу ее не пустят (времена, скажем, еще советские, а с этим тогда было строго)... А если в парк, под кустик? Но весь день шел дождь, мокро...»

Чем, как и где утолить мучительную жажду – все равно...

«...сексуализм фаллический несет в себе естественное, природное проклятие, это «огнь неугасающий» и «червь неусыпающий». ...– писал в письме к Василию Розанову о. Сергей Булгаков. Как, однако, неприятно сказано!

- Пойдем ко мне, мужа нет.... Закажи еще выпить....

Еще. «Отвез Таньку (жену рассказчика) на вокзал, посадил в вагон. И прямо на вокзале – это было как бы немного цинично - предложил одной даме, которая ловила такси...

– давайте, подвезу.

По дороге с ней разговорились, и я, не спрашивая ничего, подъехал к моему дому.

- Куда это вы меня привезли?

- Ко мне домой, сейчас попьем чайку.

- А это удобно?

- Удобно, удобно...

Всю ночь - бурный секс ...»

Я не придумал ничего, все – как мне рассказывали, разве что время что-то чуть исказило в моей памяти ...

Что скажете? Мужчины написали множество стихов, в которых воспевают и благословляют чудные мгновения, когда, словно гении чистой красоты, являлись им исполненные славы дамы. Может быть, те были совсем какие-нибудь другие мужчины?

Другие? Разве автор стихов о прекрасной даме не ходил в публичные дома? Биографы Блока пытаются его оправдывать: дурно, конечно, посещать бордели, но поэт с его больной душой.... Да Бог с вами, чего там, в самом деле? Ну, надоели певцу его прекрасные дамы, бывает...

И все-таки: *«Когда Блок более равен себе: делая краткие протоколно-дневниковые записи [об общении с проститутками – А.М.] или слагая лирические стихотворения, которые все можно рассматривать как дневник?»* - задается вопросом один литературовед⁴. Равен себе? Более? *Все животные равны, но одни более равны, чем другие* – сказано у Джорджа Оруэлла в «Animal Farm»

Или взять Александра Сергеевича. Помнил он, конечно, упомянутое мною уже несколько раз чудное мгновение... И в письме приятелю написал: *«Ты ничего не пишешь мне о 2100 р., мною тебе должных, а пишешь мне о М-те Kern, которую с помощью божией я на днях - - -»*(письмо С.А.Соболевскому, февраль 1828 г.).



Вот она, Анна Петровна

Я, когда наткнулся на это письмо, молод был и Пушкиным очень увлекался. Эти строчки поразили меня куда сильнее, чем его любовные стихи...

(продолжение следует)



⁴ Владимир Новиков. Блок: Этюды к будущей книге // Новый мир. - №2. - 2008.

Александр Боровой 2003 и другие годы

(продолжение. Начало в №5/2014)

3 апреля, четверг.



ло время. Я снова стал постоянно общаться со своей Мамой, когда стал взрослым, женатым человеком. Мы с Томочкой приезжали к ней в дом и визиты становились все чаще и чаще, поскольку дом этот был необыкновенно интересным. Как когда-то у Тети Тани основное действие разворачивалось за вечерним чаем. Кто только ни собирался сюда.



Моя Мама. За год до моего рождения

Искусствоведы (Мамин нынешний супруг был крупнейшим в России специалистом по искусству Индии), священнослужители (Мама была очень религиозна), удавшиеся и не слишком удавшиеся писатели, знаменитые врачи и люди, выдававшие себя за врачей, известные фокусники и жаждущие аудитории и славы телепаты.

Здесь мы многому научились и встретили некоторых из своих будущих друзей. Я надеюсь, что они еще появятся в этих записках.

По своим привычкам, да отчасти и внешне, Мама напоминала русскую барыню конца XIX века, во всяком случае, как я ее себе представляю. Немолодая, но еще очень привлекательная женщина, говорящая на правильном и немного «акающем» московском диалекте, умная и проникательная, обожающая удобства, кружевные скатерти и старинную мебель.

В ее доме было много икон, они висели в гостиной, целая стена была отдана им в кабинете. За столом гости часто начинали говорить о древнерусском искусстве, особенно когда в чаепитии участвовал популярный тогда писатель Владимир Солоухин, только что издавший свои повести: «Черные доски» и «Записки из Русского музея». Высокий, полный, страдающий отдышкой, он своим немного хриплым басом иногда рассказывал о судьбе того или иного храма или чудотворного образа. И все же, каюсь, на меня сами доски с изображенными на них святыми как-то не производили впечатления, хотя рассказы Владимира Сергеевича я слушал с искренним любопытством.

Мама переживала по поводу того, что я неверующий, что не интересуюсь древней живописью и что со мной даже нельзя обсудить ее новые приобретения в этой области. А приобреталось что-нибудь постоянно. Покупалось, выменивалось либо получалось в виде подарков, от обожающих ее «старорежимных» московских старушек, которых Мама знала великое множество. Так в доме появлялись старообрядческая медная пластика (отлитые из меди пластинки-иконы) или старинная лампадка, или икона.

Поняв, что прямой осадой быстро крепость не возьмешь, Мама, со свойственной ей проникательностью, начала действовать, используя подкоп, чтобы ворваться изнутри. В один прекрасный вечер Томочка получила от нее в подарок две небольших иконы, с условием повесить их у нас в спальне. Иконы повесили на стене, и через некоторое время я стал замечать две вещи.

Во-первых, то, что стена не казалась пустой или частично заполненной. Две небольшие доски как говорят «держали» почти десять квадратных метров поверхности. Рядом ничего не надо было вешать.

А, во-вторых, то, что в нашем доме появились вещи, о смысле которых я не имел ясного представления. Последнее обстоятельство меня задело. Я достал прабабушкин «Новый завет», выпросил у знакомых несколько редких тогда книг по

древнерусской живописи и в свободные вечера принялся все это внимательно читать.

9 апреля, среда.

Продолжу дальше.

Это было то время, когда в советских учреждениях для укрепления коллектива всячески поощрялся и поддерживался совместный отдых сотрудников. Профсоюзы, которых теперь не слышно и не видно (кроме одного, постоянно появляющегося на экране телевизора человека с одутловатым лицом), наряду с другими мероприятиями организовывали и экскурсии «выходного дня». Часто эти экскурсии направлялись в подмосковные усадьбы, по Золотому кольцу или в более отдаленные старые русские города (в последнем случае ехали на 2-3 выходных или праздничных дня).

Путевки были либо вообще бесплатными, либо за них отдавали чисто символические деньги. Мы с Томочкой стали постоянными участниками таких маленьких путешествий.

Трудность состояла лишь в том, чтобы Дом культуры, в котором она работала заведующей библиотекой, соглашался перечислять стоимость путевок «Курчатовскому институту» – главному организатору экскурсий.

Вечер пятницы, наступают сумерки. На площади белорусского вокзала мы садимся в автобус уже полный знакомых людей. В окнах синяя, зимняя Москва. Все переговариваются, шутят, все полны ожидания праздника и от будущей поездки и оттого, что приближается Новый год.

Экскурсия рассчитана на три дня, мы должны посетить Вязники, Гороховец, Мстеру. Как выясняется это – новый маршрут, он еще только обкатывается и рядом с экскурсоводом на переднем сиденье размещается проверяющая дама из экскурсбюро.

Мы отрываемся от домашних забот, автобус мягко покачивается, глубокий снег скрывает подмосковные буераки и свалки. Вдруг хвойный лес обступает дорогу с обеих сторон. Томочка наклоняется ко мне и шепчет: «Сейчас витязь из чащи выедет».

Вспышки памяти. Ощущение счастья.

Вязники находятся больше чем в 100 км от Владимира. Поэтому приезжаем ночью. Городская гостиница, тепло.

Утром экскурсовод говорит об озерах, замерзших сейчас в 25-30 километрах от городка, среди соснового бора. Записываю их удивительные названия: Кшара, Санхр, Юхр, Печхор. Через 30 лет,

нахожу эти названия в сохранившейся записной книжке и несколько дней пытаюсь понять, что значат эти слова.

Понимаю и сразу вспоминаю Вознесенского:

«Ты молилась ли на ночь береза?
Вы молились ли на ночь,
запрокинутые озера,
Сенеж, Свитязь и Нарочь?»

А в Вязниках на базаре закутанные в платки бабушки продают домашние пирожки с самыми разными начинками. Пройти мимо просто невозможно.

Среди всех этих запомнившихся мелочей, постепенно, начинает проступать то, ради чего я веду рассказ.

В поселке Мстера, одном из центров русской лаковой миниатюры (еще есть Палех, Федоскино, Холуй) мы останавливаемся надолго. Пока основная часть экскурсантов выбирает себе колечки, браслеты, серьги, изукрашенные цветами и птицами, мы, несколько человек, подходим к экскурсоводу. И он, несмотря на предупреждающие взгляды дамы из экскурсбюро, начинает подробно рассказывать о дореволюционной Мстере, об ее иконописцах, и вообще, о старых владимирских селах, славившихся этим искусством.

Жили в них зажиточно, но с приходом советской власти промысел стал быстро умирать. В тридцатые годы иконы уже никто не покупал, и двое мастеров из Мстеры были откомандированы в Москву, изучать лаковую живопись на папье-маше, чтобы потом обучить односельчан.

Один из них - Евгений Васильевич Юрин живет совсем близко (собственно, в Мстере все недалеко). Он стал Народным художником РСФСР. Мы просим экскурсовода показать дом и попросить хозяина посмотреть его изделия.

В комнате полумрак, только яркая лампа на столе. На нем же лежат пудреницы и шкатулочки, наверное, приготовленные для продажи. Пока все их рассматривают, мы с Томочкой видим в книжном шкафу, поставленную за стекло небольшую доску. Нет, не икону. Изображение церкви, знаменитой церкви Покрова Богородицы на Нерли.

14 апреля, понедельник.

Несколько дней я начинал писать и все стирал. Никак не найду слов, чтобы описать наше впечатление от миниатюры Юрина.

Пересмотрел альбом с фотографиями Покрова на Нерли. Рисунки на сайтах Интернета.

«Самый совершенный храм, созданный на Руси, и один из величайших памятников мирового искусства», утверждает энциклопедия. Я много раз его видел, летом, зимой, осенью. И с энциклопедией полностью согласен.



Мстера. Церковь во имя Богоявления Господня

Церковь была построена по приказу Андрея Боголюбского, в память о его походе 1164 г. в Волжскую Болгарию. В этом походе князь приобрел славу, но потерял неизмеримо большее. От ран умер его сын - юный Изяслав.

Из окон ныне разрушенного княжеского терема в Боголюбове была видна эта белокаменная церковь, расположенная при впадении реки Нерли в Клязьму, на лугу, посередине русской равнины. Летом, в зелени, а зимой в снегах стоит маленький стройный храм, как отрок в длинной белой рубашке, как вечно горящая белая свеча.

Существуют тысячи ее изображений. Мы, конечно, видели их и до, и после нашей поездки.

Но Юрьевская миниатюра особенным образом легла нам на сердце. И не только изображение самого храма. Но и легкий, золотой орнамент, возникающий из черноты доски и охватывающий храм. Необычный, выписанный какой-то сверхтонкой кисточкой, светящийся, как осенняя паутинка.

Художник стоял рядом, и видно было, что наш восторг ему приятен.

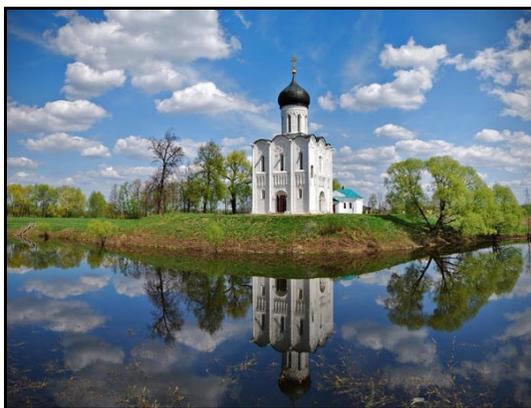
«Теперь уже так не напишу» - сказал он. «Слепну».

Я присмотрелся и увидел, что стекла его очков – это две толстых лупы, и еще одна большая лупа лежит на столе.

Продавать миниатюру он долго отказывался. И только Томины слова, что как же, наши мальчики такой красоты не увидят, и завязавшийся после этого разговор о детях и внуках, смягчили Евгения Васильевича. В результате была назначена цена – 50 рублей.

Мы вернулись в автобус, пересчитали свои богатства и выяснили, что двадцати рублей (заметных по тому времени и по нашим зарплатам денег) не хватает. Тогда я снял шапку, обошел всех вернувшихся в автобус сослуживцев и с трудом, но добрал необходимую сумму. Томочка шла сзади и записывала кому и сколько мы должны.

На обратном пути и вечером дома я постоянно вынимал миниатюру и всматривался в нее. Потом собрал альбомы с иконами и стал их листать, не читая текста. Сидел и рассматривал, рассматривал иллюстрации. Мне казалось, что я начинаю понимать красоту и смысл этой живописи.



Церковь Покрова Богородицы на Нерли

17 апреля, четверг.

Грипп долго не мог проникнуть в наш дом. Томочка и я почти не пользуемся московским транспортом, мало ходим в магазины. Прошли те времена, когда каждый вечер наш дом наполнялся гостями. Теперь приходят только дети и близкие друзья. И визиты эти не очень часты. Поэтому, когда московские власти объявили об эпидемии, казалось, что чаша сия нас минует. И действительно, в начале апреля эпидемия официально кончилась.

А вот сегодня я, похоже, заболел гриппом.

Пока совсем не разболелся надо продолжить рассказ об иконах.

После поездки в Мстеру интерес к древнему русскому искусству в нашей семье все возрастал. Через Таню Коломейцеву (вспомните «Гатянин день») мы познакомились с научным сотрудником, точнее сотрудницей, Рублевского музея и стали постоянными его посетителями.

Чем мне кончить эти главы? Я не специалист, не искусствовед и не в силах сказать что-то новое о великом искусстве иконописцев.

Что же такое для меня, не верующего человека, икона? Это идея, почти всегда великая, общечеловеческая идея, переданная с помощью живописи.

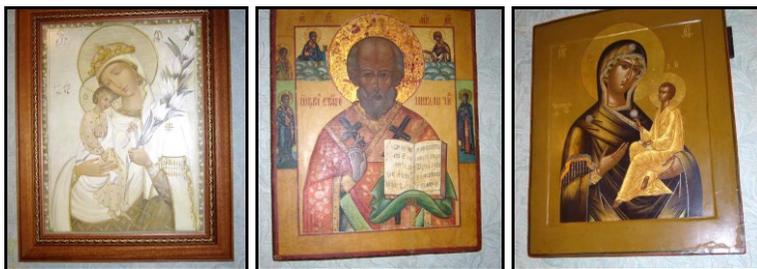
Идея материнства и идея милосердия, идея прощения и искупленья.

Торжество света и победа добра.

За многие века до нас, до сражений художественных школ, до «Герники» Пикассо византийский или русский иконописец нес нам выстраданную им ИДЕЮ.

Он нашел совершенно особые средства, чтобы выразить ее. Он призвал на помощь окружающую природу и она дала ему все для работы. Деревянные доски и растительные краски, цвета осенней листвы и уединение для молитвы.

«Икона – это окно, через которое Господь заглядывает в твою душу»



Иконы в нашей спальне

20 апреля, воскресенье.

Вербное воскресенье. Моя любимая тетя, тетя Ира, сестра моего Отца в этот день как-то прочла мне стихи, которые я сразу же, запомнил.

«Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.
Огонечки теплятся,
Прохожие крестятся,
И пахнет весной».

И сразу же понял, что читать его лучше только дома, в узком семейном кругу. Было мне тогда лет 6 или 7.

И вот какое забавное событие. Дня два назад, ночью, я не мог спать из-за сильного кашля, отправился на кухню, пил горячий чай и одним глазом читал Блока. Томочка, уставшая от ухаживания за мною, бесконечного кормления людей и кошек, и тысяч других домашних дел, и кошки, тоже замученные своей полезной деятельностью (сон, еда, мелкие склоки из-за места на кресле, снова еда, сон и т. д.), спали.

Много раз, точнее, много десятков раз просматривал я этот томик страницу за страницей. И вот же, только сейчас обнаружил, что стихотворение «Вербочки» написал Блок. Обнаружил перед вербным воскресеньем и почти через 60 лет, после того, как его выучил.

Что я помню про тетю Иру, Ирину Александровну Кутлер (Боровую)?

Я любил ее все то время, на которое пересеклись наши жизни. Практически с моего рождения и до ее смерти – 41 год. Я люблю ее и сейчас и часто взвешиваю свои слова и поступки сообразно тому, как бы оценила их она.

Я расскажу про нее в этих записках, только немного позже.



Любимая всей нашей семьей Тетя Ира. Мы сидим за столом, а она смотрит на нас со стены со своего портрета. Уже много, много лет

21 апреля. Понедельник.

Свободное утро. Только что поднялся наверх, после размолвки с Федей. Дело в том, что «кошка Федя» обладает «истинно немецким» характером. Он яростный ревнитель порядка, регламента и традиций. Аккуратность, прежде всего. При этом Федя использует самые разные способы для осуждения нашей безалаберности. Так моя задержка в ванной и, соответственно, небольшое опоздание с завтраком вызывает недовольное порывивание. Не вымытый сразу же туалетный поддон осуждается визгливыми криками. А еще более существенные наши ошибки, например, беспричинное ссаживание с любимых Томиных колен, может привести к полному разрыву дипломатических отношений на время до полудня. При этом мордочка от нас отворачивается, уши прижимаются, а на лбу поднимается хохолок из шерсти, вид становится горький и одинокий. И никакие извинения в это время не принимаются.

Сегодня произошло относительно небольшое нарушение регламента. Все сели завтракать, но пришедшая (как обычно) Люда не принесла себе стул из соседней комнаты, а села на Федину табуретку. И негде стало сидеть и урчать. Федя сначала трогал меня лапой, а я сразу не отреагировал, занятый разговором. Пришлось громко заорать. После чего стул принесли, и все вернулось к привычному расписанию.

Итак, свободное утро и можно заняться воспоминаниями.

Конечно, мое и Томика увлечение иконами было далеко не самое важное дело в тогдашней разнообразной и интересной нашей жизни. Если даже исключить такие первенствующие темы, как семейные дела и работу, то останется еще очень и очень многое.

Например, преподавание в Школе Естественных наук, созданной нами (несколькими сотрудниками «Курчатовского института») для особенно способных к физике и математике школьников.

Или постоянное общение с самыми разными и, по большей части, интересными людьми.

Или собирание, а точнее сказать – доставание, любимых книг. Об одном этом можно написать целую повесть, может быть я когда-нибудь на это и решусь. Несмотря на грипп, будем оптимистами.

В нашей жизни присутствовали как бы параллельные течения, иногда одно становилось более бурным, иногда другое.

Что касается общения с людьми, то среди множества дорогих, дружеских и просто приятных лиц, я сейчас вспомнил одно, тоже в какой-то степени связанное с нашим увлечением древнерусским искусством и историей.

Прошло относительно немного времени после той памятной поездки в Мстеру, и Мама могла торжествовать. Я начал разделять ее восхищение иконами, правда, далеко не всеми и только с точки зрения живописи.

И словно для закрепления этой победы, среди ее гостей появился высокий, полный и очень скромный человек, представившийся Евгением Алексеевичем Кармановым. Мама успела шепнуть нам, что он занимает какую-то должность в Патриархии.

Я уже писал, что в ее доме часто появлялись люди, связанные, так или иначе, с церковью, в том числе и священники. К сожалению, подавляющее большинство из них не производили впечатления глубоко верующих людей. Как сказал бы Ходжа Насреддин – «Лица их не были отмечены печатью благочестия». Зато другие печати проглядывали достаточно явно.

Карманов вошел, познакомился с гостями и сел за стол недалеко от нас. Уже не помню темы общего разговора, только помню свое впечатление, возникшее, когда он начал говорить. Убеденность и доброта, звучали в каждом его слове. Позже, уже у себя дома, когда мы с Томочкой проверяли все ли в порядке в спальне у спящих мальчиков, она вдруг сказала: «Необычный человек этот Евгений Алексеевич, наверное, очень хороший».

Хотя и у Мамамы мы встречались несколько раз, и позднее Карманов был много раз у нас дома, и я ездил к нему на работу, сведений о жизни Евгения Алексеевича у меня немного, он не любил о себе говорить. Постепенно стало нам известно, что рос он совсем не в религиозной семье и впервые прочитал Евангелие уже в возрасте 20 лет. Это полностью преобразило жизнь молодого человека. Он поступил в духовную семинарию, окончил ее и был принят в Ленинградскую Духовную академию, а после окончания академии защитил диссертацию и стал кандидатом богословия.

Как-то так сложилось, что еще студентом академии Евгений Алексеевич начал работать в редакции «Журнала Московской Патриархии». К моменту нашего знакомства его должность называлась так: «ответственный секретарь «Журнала Московской Патриархии».

Наши первые разговоры касались книг. Книги окружали Евгения Алексеевича всюду. В небольшой однокомнатной

квартире, в которой он тогда жил, по приблизительным подсчетам, находилось около семнадцати тысяч книг (!) и хозяин передвигался между ними по строго заданным проходам, точнее сказать щелям. В его рабочем кабинете в редакции они тоже теснились повсюду. Сидя на гостевом стуле, я как-то пытался протянуть ноги под стол и сразу же повалил стопку папок и книг, которые там примостились. А дух, содержание, вся главная (а часто и просто вся) информация, содержащаяся в десятках тысяч книг, сосредотачивались в голове Евгения Алексеевича и, благодаря чудесному устройству его памяти, в нужный момент моментально оказывалась доступной.

Каждый раз, посещая Карманова на его работе, я испытывал легкий холодок – не очень-то хотелось, чтобы в моем, столь закрытом институте, узнали об этих визитах. Вроде бы так и не узнали.

Что бы попасть в редакцию «Журнала Московской Патриархии» надо было пройти внутрь стен Новодевичьего монастыря, подняться по высокой лестнице на крыльцо Успенской церкви и повернуть в дверь направо, сообщив постоянно пребывающему в сенях человеку – «Мне в редакцию, к Карманову». При первом посещении я ожидал увидеть, что комнаты и обстановка редакции будут соответствовать такому далеко не бедному учреждению, как Московская Патриархия, но ошибся. Все не отличалось от некоего усредненного типа московских редакций. Основными его чертами были теснота и ветхая мебель. И только однажды, когда мое посещение случайно совпало с приездом редактора журнала архиепископа Волоколамского Питирима, когда вдруг распахнулись обычно запертые двери его кабинета и мимо меня, прижавшегося к стене коридора, сопровождаемый какими-то молодыми людьми в шелковых рясах, прошествовал будущий митрополит, я мельком увидел большое и хорошо обставленное помещение. Мне стало обидно за маленькую комнатку Карманова, человека, несшего на своих плечах не только ответственность за качество всех материалов журнала, но и ведущего постоянную защиту этих материалов от недремлющего ока «надзирающих органов».

В тот раз я пришел к Евгению Алексеевичу за приготовленным в подарок для Мамы церковным календарем. Эта процедура повторялась несколько лет – как только из печати выходил новый церковный календарь Карманов звонил нам и через меня передавал его Маме. Она очень радовалась, держала календарь постоянно на виду, справлялась в нем о праздниках и

именинах. Просто купить его в церкви тогда было очень трудно из-за малых тиражей.

Сидя на гостевом стуле, я раскрыл календарь на страницах с фотографиями иерархов православной церкви и стал выпытывать у Е.А., кого из них он близко знает и что о них думает. Здесь я получил предметный урок, как надо относиться к сослуживцам. Карманов знал очень многих и говорил о каждом что-то хорошее. «Добрый..., философского склада ум..., прожил нелегкую жизнь, но сердцем нисколько не ожесточился..., постоянно преодолевает телесную немощь ...» – было очевидно, что для себя он далеко отодвинул их недостатки, даже, возможно, пороки и хочет всячески поддержать и утвердить светлые стороны.

Было, правда, одно исключение. Когда я сам указал на одного из архиепископов и спросил:

«А вот этот человек, самый молодой из них, чем-то особым, наверное, отличается?»

Е.А. помолчал и вдруг сказал: «Ну, он прекрасно знает службу».

Я хорошо запомнил этого человека.

Через некоторое время он стал главой православной церкви. Мы постоянно видим его по телевидению в золоте и сиянии драгоценных камней, рядом с выдающимися демократами, благословляющего то Ельцина, то Путина. Как и имена других правителей России, его имя сопровождают компрометирующие материалы и разоблачительные статьи в прессе.

А я всегда помню тихий и предостерегающий голос Карманова.

Пожалуй, он оказался прав, если только слово «служба» понимать расширительно и не относить его только к служению Богу.

22 апреля, вторник.

У болезни есть свои преимущества. Ты как бы получаешь индульгенцию и не чувствуешь неловкости, когда отлыниваешь от работы. А в то же время, можно постараться преодолеть чехарду мыслей, подстегиваемых высокой температурой, и тихонько писать.

Именно Карманову я впервые рассказал о прозрачном Старичке и его очень добром Христе. И Евгений Алексеевич, ни на минуту не задумавшись, назвал книги, которые пересказывал мне Старичок много лет назад, а позднее даже принес кое-какие из них почитать, хотя и предупредил, что не все из них признаются церковью за достоверные и полезные. Я начал читать «Евангелие

детства», а потом отложил его. Отложил, чтобы не разрушить, не повредить этой книгой, полной жестоких сцен, далекую детскую сказку.

Вообще Евгений Алексеевич спокойно давал книги из своей библиотеки. В те времена это считалось среди книжников большой неосторожностью, а профессионалы собиратели, любили цитировать слова Анатоля Франса: «Никому не давайте своих книг, иначе вы их уже не увидите. В моей библиотеке остались лишь те книги, которые я взял почитать у других».

Благодаря Карманову я познакомился с некоторыми трудами православных философов и редкими изданиями по иконографии. Самое удивительное заключалось в том, что для Евгения Алексеевича не был препятствием ни один иностранный язык, на котором была напечатана книга. Я как-то хотел, но постеснялся спросить его, сколько же языков он знает. А в это время Е.В., легко перескакивая с сербского языка на греческий, а затем с болгарского на румынский, переводил мне с листа какие-то тексты, относящиеся к балканской школе иконописи. Однажды он принес, по-видимому, интереснейшую книгу о христианстве на немецком языке и очень удивился, когда я сказал, что не знаю его.

Ну, разговор о моем «языкознании» отдельная и печальная тема.

Неоценима была помощь Карманова при расшифровке церковнославянских и греческих надписей на иконах. Помню, как он объяснял мне значение слов и букв надписи на иконе со Спасителем: «Здесь часто кроме инициалов ИС ХС, что значит имя — Иисус Христос, ставятся греческие буквы омикрон, омега, ню, что значит «Сущий», то есть имя Бога, которое было открыто еще в Ветхом Завете. А на листах раскрытой книги надпись из Евангелия от Матфея, из 11 Главы, - «Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененные и Аз упокою вы».

Иногда он рассказывал что-нибудь очень интересное из истории Православной Церкви и потом, много лет спустя, «бродя» в интернете я наткнулся на документы, подтверждающие эти рассказы. От Е.А. я узнал впервые о той ночной встрече Сталина с руководителями Церкви в сентябре 1943 г., о которой написал выше. Он с большим почтением отзывался о митрополите Сергии, ставшем незадолго до своей смерти Патриархом.

Тогда по приказу Сталина под резиденцию Патриарха отдали прекрасный особняк в Чистом переулке, совсем близко от моего первого дома. Раньше там помещался посол Германии. Много раз мы, мальчишки, с любопытством наблюдали, как из

черных больших машин выходили бородатые люди в рясах и проходили в двери особняка. Был ли среди них Сергей? Мог ли я его видеть? Не знаю.

Но хорошо помню, как опустив глаза за толстыми очками, пребывая в горькой задумчивости, стоит этот уже очень пожилой человек в своих золотых и фиолетовых одеждах на эскизе Корина к его ненаписанной картине.

В наши светлые демократические времена приходится часто слышать в адрес Сергея всяческую хулу за его мирное и разумное сосуществование с Советской властью.

Последний раз мы с Томочкой видели Евгения Алексеевича в 1981 г. Для меня начиналась многолетняя эпопея поездок на Украину. Сначала сооружалась подземная нейтринная лаборатория на Ровенской АЭС, потом пришло время Чернобыля.

Карманов попал в 52 городскую больницу с диагнозом – инфаркт. Мы привезли ему лекарство, поговорили с ним и его женой и выяснили, что благодарное начальство, узнав об инфаркте, тут же уволило Евгения Алексеевича с должности, которую он занимал 20 труднейших лет. Перевело в рядовые сотрудники.

Инфаркт не только физическое, но и огромное моральное потрясение организма. В моих скитаниях по больницам я два раза лежал в соответствующих палатах и видел, как ломались после инфаркта люди, прожившие очень нелегкую жизнь и сумевшие раньше сохранять мужество и оптимизм в самых критических ситуациях. А здесь еще этот бесчеловечный удар.

Евгений Алексеевич, на мой взгляд, не сломался, остался прежним. Добрым и спокойным.

Понеслись годы командировок.

Мы еще несколько раз разговаривали по телефону. Карманов перешел работать в Отдел внешних церковных сношений.

Однажды, когда я очередной раз находился в Чернобыле, Томочка прочла мне по телефону строчки, опубликованные в его, таком любимом, журнале.

«В воскресенье, 20 сентября 1998 года, в Центральной клинической больнице Московской Патриархии во имя святителя Алексия, Митрополита Московского, после продолжительной и тяжелой болезни на семьдесят первом году жизни скончался один из старейших тружеников Синодальных отделов Русской Православной Церкви Евгений Алексеевич Карманов».

"Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененные и Аз упокою вы".

И еще.

«Срок ли приблизится к часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты воспрять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную».

(М.Ю. Лермонтов «Молитва»).

24 апреля, четверг. Чистый четверг.

От постоянного сидения перед монитором болят и слезятся глаза. И ноги затекают. Я прервал работу, походил по комнате, стал думать над своими записками и понял, что мне очень хочется рассказать еще об одном человеке, имеющем отношение к церкви, а больше всего, к Чернобылю. Точнее к чернобыльской аварии, семнадцатая годовщина которой приближается и приходится в этом году на послезавтра, на страстную субботу.

В чистый четверг поговорим о достойных и чистых людях.

Осенью 2000 г. мне в лабораторию в Чернобыле позвонил Олесь Сич – американец, украинской национальности, мой ученик и хороший друг и, справившись о здоровье, объявил, что ко мне направляется «делегация» из США, состоящая из журналиста и фотографа.

К посещению разного рода журналистов мы с трудом привыкли, чтобы не сказать притерпелись. Подавляющее большинство из них внимательно слушает твои объяснения, записывает все на магнитофон, задает масса вопросов, со всем соглашается и все понимает, а потом (это если повезет) присылает посмотреть материал, с которым неизвестно, что делать. Все что можно, и все, что нельзя, в этом материале перепутано. Приходится садиться и писать статью заново.

Это, как было сказано, если повезет. А если статья сразу идет в печать, без проверки, то потом долго бегаешь и всем объясняешь, что ты на самом деле говорил. И хорошо, если отделаешься простым выговором от начальства.

Приехали американцы без переводчика (это при моем убогом английском) и объявили, что их цель – статья в специальный выпуск U.S. News & Word Report (есть такой довольно известный журнал). Посвящен этот выпуск будет двадцати американским «Действительным героям». А на мой вопрос, кого же они в Чернобыле назначили на роль действительного американского героя, корреспондент указал на меня.

Ответ напрашивался сам собой. И я, помогая себе жестами и мимикой, постарался им объяснить, что у меня есть две веские причины не попадать на страницы уважаемого журнала. Во-первых, потому, что я не американец и, во-вторых, потому что не герой.

Первое возражение было снято тем, что, оказывается, допускается присутствие небольшого процента не американцев. Процентом десять. Например, уже назначен герой из Бангладеш.

Что касается второго возражения, то тут завязался долгий разговор, взаимопониманию в котором мой английский ничуть не способствовал.

Я приводил свои доводы, корреспонденты свои и все больше я понимал, что мы с ними не только говорим на разных языках, не только относимся к разным поколениям, но и еще, что-то более глубокое не позволяет нам до конца понять друг друга.

Может быть опыт, история наших народов.

Спорил, а про себя повторял пришедшие из далекого уголка памяти стихотворные строки:

«Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, –
Ни приметы, ни следа».
(А. Твардовский)

Спорили мы в моем кабинете, такой обжитой за полтора десятилетия комнате, повидавшей так много разных интересных людей.

В 1988 г., поскитавшись по совершенно не приспособленным для работы зданиям в Чернобыле, мы уговорили Правительственную Комиссию разрешить переделать двухэтажный корпус технического училища (старинной постройки) в современную лабораторию. Несколько месяцев пришлось совмещать работу на «Укрытии» с руководством строительством. Но, грех жаловаться, быстро и хорошо была осуществлена эта переделка военными строителями Средмаша.

Мебель привезли из «мертвого города» – Припяти, дезактивировали, отлакировали в потертых местах.

А я стал неожиданным обладателем настоящего кабинета. С приемной, со столом для заседаний, письменным столом, красивыми книжными шкафами и портретом Курчатова на стене.

С длинными занавесками и кондиционерами на трех больших окнах.



Здание лаборатории в Чернобыле, где я проработал два десятилетия

И это у научного сотрудника, привыкшего писать и считать в самых непригодных местах, делить свой стол с коллегами, раскладывать бумаги на горизонтальных частях установок, а чертежи на полу.



Мой кабинет видел самых разных посетителей. На фотографии – я принимаю делегацию из Японии и рассказываю им о работах на «Укрытии». Очень вежливые люди, но в их вопросах видна твердая убежденность – в Японии такой аварии, как в Чернобыле, никогда быть не может.

Но не думайте, что кабинет был самой красивой комнатой в отремонтированном здании.

Самыми красивыми были лаборатории.

И «Курчатовский институт» и другие учреждения Москвы, Киева, Ленинграда помогли нам оборудовать их новой аппаратурой. Такой, что когда целая толпа, приехавших из МАГАТЭ (Международное Агентство по атомной энергии) в 1990г инспекторов, после двух дней хождения по этажам и подвалу, по десяткам отремонтированных и прекрасно оснащенных помещений, собралась в конференц-зале, приговор был единодушным: «Очень хорошие лаборатории, хорошие, по самым высоким Европейским меркам».

Правда, к настоящему дню безнадежные и безденежные годы перестройки и торжества демократии уже свели наши усилия почти на нет.

Итак, мы сидели в кабинете, еще сохранившем, благодаря стараниям женщин из нашего Отделения, остатки былой уюта, пили чай и все говорили и говорили о героях.

Американцы подошли к делу, как сейчас говорят, системно. У них был список качеств, которыми должен был обладать «настоящий герой». Список, игравший роль некоего «сита», просеивание через которое якобы позволяет безошибочно выбрать претендента. Оказалось, что, опросив научных сотрудников, нескольких крупных лабораторий и университетов США, применив «сито» к названным ими специалистам, удалось вычислить меня. И отловить с помощью Сича.

Тут я как мог им возражал. Говорил, что, вряд ли кто на свете знаком со мной лучше, чем я сам. И это знакомство дает мне твердую уверенность, что на роль героя я не гожусь. А по ходу дискуссии приводил примеры чернобыльцев, которые больше подходили к этой роли и легче бы прошли системный отбор. Называл самых разных людей. И, наконец, сам для себя сформулировал еще одно условие, одно качество, которого не было ни в «американском сите», ни, тем более, у меня.

И рассказал им о человеке, который этому условию удовлетворял.

Чернобыль 1986 года.

Город без жителей. Большая часть домов с заколоченными дверьми и ставнями на окнах. Но встречаются и дома, в которых наоборот - все распахнуто, окна разбиты, а в глубине можно видеть разбросанные вещи. То ли хозяева покинули дом так

поспешно, то ли кто-то пытался обосноваться в нем, то ли это последствия мародерства.

На улицах люди в темной рабочей спецодежде, напоминающей одежду заключенных, многие в белых масках - респираторах. Военная техника. Постоянно проезжают поливальные машины, струями воды осажая пыль.

Недалеко от здания, в котором обосновалась Правительственная Комиссия стоит белая каменная церковь. Утром, по дороге из общежития, я часто делаю небольшой крюк и прохожу мимо нее. Какое-то она внушает спокойствие, как-то притупляет ощущение безнадежности исходящее от погибшего города. К сожалению, двери церкви закрыты, да и подойти близко к ней нельзя. Всюду колючая проволока, а там, где она прерывается - шлагбаум, часовые. Вокруг церкви разместилась военная часть. Но на паперти лежат охапки свежих цветов. И сколько бы раз на протяжении осенних дней 86 года я не заглядывал сюда, цветы всегда лежали.

Следующий раз я вернулся в Чернобыль весной 1987 г. Зима была снежной, а весна – поздней. Когда я приехал, еще везде лежал снег.

С утра мы уезжали на станцию и пытались всевозможными способами приблизиться к скоплениям ядерного топлива, оставшегося в разрушенном блоке. Надо было понять его опасность и попытаться взять его под контроль. Но, чем дальше в лабиринты радиоактивных развалин проникали разведывательные группы, тем труднее и опасней была их работа. Вечерами, на Правительственной Комиссии, я докладывал о полученных за день скромных результатах. И пытался поднять вопрос о том, что пришла пора перестать сжигать людей (сжечься на нашем жаргоне означало сильно облучиться), остановиться, придумать и применить другие методы проникновения к топливу.

Этот день запомнился мне двумя событиями.

Во-первых, вечером на заседании Правительственной Комиссии не было ее Председателя, который хорошо был знаком и с нашей группой, и с нашей работой, и со мною. Вел ее какой-то важный чиновник, иногда приезжавший в Чернобыль из Москвы. Он с самого начала стал раздражаться, а мое сообщение вообще вывело его из себя.

«Как же так!» - кричал он - «Вот военные сообщают, что в этом коридоре 5 тысяч рентген в час, а Вы сейчас говорите, что восемь тысяч!» (цифры я точно не помню, но порядок – тысячи рентген в час, помню хорошо).

«Что же это за наука? Где точность? Надо немедленно перемерить!»

«Но ведь в этом коридоре все равно делать ничего нельзя. Что при 5, что при 8 тысячах нельзя заходить туда, за несколько минут получаешь смертельную дозу» - стал робко возражать я.

«Если трусите, так прямо и скажите»

Отсутствующий Председатель тоже часто бывал очень резок в своих оценках. Но, таких слов здесь не слышали никогда. Поэтому все сидевшие в зале, одетые в ватники, иногда с нарисованными на плечах звездами вместо погон, кашляющие, с красными от недосыпания глазами люди замолчали. Стало совсем тихо.

Я воспользовался этой тишиной, поскольку тоже еле сдерживал кашель и не мог говорить громко. И попытался объяснить ситуацию.

«Измерения проходят так. Наш сотрудник бежит с удочкой. На конце лески – ТЛД (дозиметрическая таблетка). Он ее забрасывает в этот коридор, а сам прячется за угол, за бетон, на десять секунд. Потом бежит обратно, выхватывает таблетку, замечает время. Но ведь там – развалины, глыбы бетона, арматура. Очень легко упасть. Просто замедлить движение. Что же будет с человеком, ведь мы его сожжем».

На что получил ясный ответ:

«Правительственная Комиссия Вас откомандировывает в Москву. Пусть присылают замену».



Разведчик внутри «Саркофага»

После заседания многие подходили ко мне и уговаривали не обращать внимания на слова чиновника. Надо дожидаться приезда Председателя.

Но, все равно, можно себе представить, с каким чувством выходил я из здания ПК и шел к нашему общежитию.

А ночь, в особенности для меня, городского жителя, была удивительно красива. Тихо. Яркая, большая луна, звезды, ветки деревьев, покрытые снегом. Снег закрыл грязные колеи, а тень спрятала разоренные хаты. В ватнике было совсем не холодно.

В нашей комнате в переулке Островского, в выгородке из шкафов, над Бабушкиной кроватью висел вышитый коврик. На нем изображена была зима, вечер, сельская церковь, окончание службы. Женщины в тулупчиках стоят на паперти. А в окнах церкви желтые огоньки свечей. Столько раз смотрел я, засыпая, на этот коврик. И, прикинув ухом к своей любимой подушке, слышал как бы хруст шагов по снегу. Равномерный и негромкий звук. Много времени должно было пройти, чтобы я догадался, что это я слышу, как стучит пульс у меня в висках, стучит мое сердце.

И украинская зима вдруг напомнила мне этот коврик, и загадочный звук шагов.

Я выбрал дальний путь и пошел мимо церкви.

Никаких военных вокруг нее уже не было. Слабый желтый свет виделся в окнах. Дверь была полуоткрыта. Я тихо проскользнул в эту дверь.

В церкви, около аналая, освещенный несколькими свечами, в темной одежде стоял невысокого роста старик и молился.

То, что это священник я понял сразу. По тому, как он негромко, но как-то очень привычно произносил слова. Читал раскрытую книгу и иногда подпевал себе дребезжащим голосом.

Алтарь был почти не освещен, по нему и по стенам двигались тени.

Почему он в темном облачении? Какое-то слабое воспоминание из детства, связанное с нашими с Варюшей походами в церковь, подсказало мне, что, это значит, что уже начался Великий Пост.

А больше никого в церкви не было.

Я проскользнул обратно и пошел своей дорогой.

Таким вторым, необычным событием был отмечен этот день.

25 апреля. Страстная пятница.

Конечно, рассказывая американцам, я не касался того, что произошло на Правительственной Комиссии. Нет, только эпизод в церкви. Я с трудом вспомнил, как звучит молитва – «грауег», а на слове «священник» повествование и вовсе остановилось. В голове

все время вертелось «аббат», но я боялся, что это относится к монастырю, к черному духовенству. В единственном имевшемся словаре по научно-технической лексике про священников ничего не нашлось.

Пришлось изображать что-то и только после того, как я начал помахать воображаемой кадильницей, мои собеседники радостно закричали: «Parish Priest, Priest!».

Я набираю этот текст, а события следующего утра, после заседания Правительственной комиссии, ясно встают перед глазами

Прежде всего, я позвонил в институт. Директору института, академику Анатолию Петровичу Александрову. Ему я был обязан прямо и без промедления сообщать любые важные чернобыльские новости. И, в особых случаях, общаясь с Александровым или его первым заместителем и членом ПК, академиком Валерием Алексеевичем Легасовым, имел право воспользоваться правительственной связью.

Этот был большой белый телефонный аппарат с золотым гербом.

Он два года (86 и 87) стоял в нашем штабе в одной из комнат здания Правительственной Комиссии, а потом переехал в мой кабинет, в лабораторный корпус. Чтобы не вызывать ненужного интереса у посетителей телефон поставили на низкой тумбочке, позади письменного стола и он стал практически невидимым для посторонних глаз.

После 1988 г. ситуация в Чернобыле и на «Укрытии», как принято говорить, стабилизировалась, я по телефону не звонил и он стоял молча.

Уже и Украина обрела самостоятельность, и учреждение наше стало украинским, а меня и нескольких сотрудников «Курчатовского института» по просьбе Б.Е. Патона – Президента Академии Наук Украины прикомандировали к этому учреждению. Называлось оно МНТЦ и я возглавил в нем Отделение ядерной и радиационной безопасности.

Телефон все стоял. И вдруг однажды громко и яростно зазвонил.

Я очень испугался, вскочил, еле нашел трубку и, хотя уже начал соображать, что скорее всего это проверка связи, но от волнения даже не представился, как полагалось, а пробормотал что-то типа: «Что еще случилось?».

Оказалось никакая не проверка.

Очень вежливо помощник Президента России поинтересовался состоянием безопасности «Укрытия». Не может ли произойти повторный выброс активности из разрушенного реактора? Не заденет ли тогда радиоактивное облако Россию?

Я, как мог, его успокоил, все подробно рассказал, а по окончании разговора, как и полагалось, сообщил о звонке директору МНГЦ.

Что тут началось! Разразился целый скандал. Что ж это такое? Российский Президент может просто позвонить в самый центр независимой державы и получить напрямую, не через МИД, не через Правительство сведения о таком важном украинском объекте?

За что же боролись?

Но больше всего обижались чиновники, находящиеся в Зоне на вахте. Подумать только. Единственный телефон правительственной связи в Чернобыле, такие возможности открываются, и вдруг у какого-то прикомандированного москаля. И никто об этом не знает, и стоит аппарат практически под столом.

Тут же пришли люди из СБУ, и с телефоном я простился.

Итак, я позвонил Анатолию Петровичу. Рассказал ему, что мне предложено из Чернобыля уехать, и получил спокойный ответ:

«Я Вас в Чернобыль командировал, я и буду отзывать. Если у кого-то есть какие-то претензии к курчатовцам, пусть пишет в институт официальную бумагу. Не тратьте на это нервы. Как там наши работы на станции?..».

Конечно, после таких слов настроение мое исправилось, обедать мы пошли радостные, а подходя к столовой я вспомнил вчерашнего священника и вдруг подумал: «А что же он ест, где живет?»

На все вопросы ответили женщины на раздаче.

Да, они Батюшку хорошо знают. Конечно, талонов на питание у него нет, кто ему даст талоны. С другой стороны, сколько он съест? Здесь и суп, и горячее бачками выбрасывают, не жалко ему тарелку дать.

«В общем, подкармливаем. Но ведь какая трудность – он скоромного вообще не ест. А мы все на мясном бульоне, с мясной подливкой. Кашу на воде ему поварили варят. Овощи дают. Чай он с хлебом пьет. И все уговариваем, не поститься, слабый он, старый, здесь молодые и здоровые и те только по вахтам работают.

Живет? Точно не знаем. Вроде бы в оставленном доме, ему хозяева эвакуированные разрешили».

Прошло еще какое-то время. Опять вечером я шел мимо церкви. И опять он молился в пустом храме.

Когда я снова приехал в Чернобыль, было лето 1987 г. И в церкви появился какой-то народ. Несколько человек женщин. То ли из вахтовиков, то ли из немногих жителей, самовольно вернувшихся в окрестные села. Теперь служба шла в присутствии прихожан. Батюшка еще более исхудал, служил почти шепотом, часто и долго кашлял.

Иногда, когда я опаздывал приехать с «Укрытия» к обеду и сердобольные женщины пускали меня в уже закрытую столовую, я видел его, сидевшего в уголке и медленно евшего что-то ложкой. Глаз он не поднимал, и я стеснялся подойти к нему и поговорить. За что себя очень корю.

«Ну и что, спросили мои американцы, Вы именно его считаете героем, почему?»

И я начал им объяснять.

После аварии долгие годы подавляющая часть непрофессионалов, попадающих в Чернобыль, испытывала настоящий ужас перед радиацией. Не помогали никакие разъяснения, никакие авторитеты, никакая информация щедро появившаяся в популярных и специальных брошюрах. Невидимая, неосязаемая опасность, разрушающая тебя изнутри, казалась неизмеримо страшнее, чем была в действительности. Я очень хорошо понимаю этих людей. Нечто подобное испытал и я, впервые работая с сильным радиоактивным источником. Но к моменту аварии кроме специального образования за моими плечами появились долгие годы работы под руководством прекрасных учителей. И я научился достаточно быстро оценивать реальную угрозу, а в критических случаях интуитивно определять временные и пространственные границы, переходить которые было нельзя.

Что же можно сказать о старом человеке, страшно далеком от всех этих научных и инженерных проблем ядерной энергетики? Как измерить ужас, поселившийся в его душе?

«Я ощущаю постоянный давящий рефрен, страшный звук невидимого метронома, разрушающий психику» – так описал мне свои ощущения один молодой, спортивного вида журналист, когда спешно покидал Зону.

А старик священник остался.

Правительство в этот период высоко оценивало нашу работу. Страшно подумать, в день посещения блока (а я его посещал практически ежедневно) нам платили зарплату в 7 (!) раз

большую, чем в Москве. А день, проведенный в самом Чернобыле, оценивался втрое больше, чем в Москве.

Он не получал никаких денег, питался подаением.

Я уверен, что церковное начальство не знало о нем ничего. Иначе бы насильно вывезло.

Почему он остался? Почему служил в пустой церкви, молился за сжигающих себя, не верующих в Бога людей?

И опять теперь спросить не у кого.

Объяснив все это, я сказал американцам, что их список достоинств не полон. Что настоящего героя характеризует еще одно важное качество и, затем, постарался перевести на английский фразу, которую помнил чуть ли не с юности (помоему, она принадлежит Ларошфуко).

«Высшее геройство состоит в том, чтобы совершать в одиночестве то, на что люди обычно отваживаются лишь в присутствии многих свидетелей».

Лето прошло. А осенью в Москве я получил бандероль с несколькими экземплярами, довольно толстого журнала. Номер был посвящен «Действительным героям». Я выступал под №12, приводились фотографии, в тексте встречались обычные неточности и ошибки, но, как было сказано еще в начале этой истории, я к этому привык.



Обложка журнала и страница, на которой рассказывается о герое №12

Одна вещь заставила меня сразу и бесповоротно преисполниться глубокой благодарностью к журналистам. На небольшом черном квадрате, в середине страницы был помещен как бы независимый короткий рассказ.

Начинался он так: «... Когда я в 1987г. снова приехал в Чернобыль, я заглянул в церковь... Было темно, горело несколько восковых свечей. И было совсем пусто. Никого. Только старик священник...»

26 апреля, суббота. Страстная суббота. Завтра Пасха.

Болею, температура держится. Сильно ослабел от постоянного кашля. Пользуясь бесконечным Томиным сочувствием, тихо канючу и выпрашиваю разные блага. Например, кусок свежей белой булки с маслом.

Обожаю простой хлеб, больше чем икру, любую рыбу, любое мясо, любые сладкие блюда, больше всего. Казалось бы, объехал столько стран, от США до Японии, был членом Правительственных делегаций, ел в очень дорогих и престижных ресторанах, а все изыски променяю на горбушку свежего «Столичного» батона, намазанную сливочным маслом.

Любишь то, что ел в детстве. А в детстве хлеб был лучшим деликатесом. Я уже не говорю о куске хлеба с маслом.

Воспоминания детства чаще всего выглядят, как старый немой фильм. Черно-белое изображение, рвущаяся пленка, непонятные стертые кадры, потом пустое полотно. Но вдруг, на каком-то месте возникает цвет, сцены наполняются звуком и смыслом. К сожалению, бывает это не часто.

Самое первое мое собственное, а не почерпнутое из рассказов старших, воспоминание тоже, в сильнейшей степени связано с едой. Эвакуация. Барак в степи под Ульяновском. Фанерная выгородка, принадлежащая нам с Бабушкой и вмещающая топчан, большой ящик, он же стол, два маленьких ящика – стулья и печку-буржуйку. Кусок внешней стены барака и часть окна, попавшие в выгородку – под толстым слоем льда. На улице лютый мороз, - 40⁰. Освещено все коптилкой – блюдце, наполненное какой-то черной жидкостью и маленький огонек, прикрепившийся к фитилю. Коптилку и, особенно, фитиль трогать строго запрещено. Мама уже от нас уехала. Я играю чурочками, двигаю их по расстеленному на полу одеялу и разговариваю за них. А Бабушка все хочет, чтобы я учил какое-то стихотворение. И я ей говорю в большой досаде: «Ну, зачем все учить и учить, вот тетя Марина говорит, мы все равно до весны не доживем. Есть нечего будет».

Это правда, такие слова были произнесены в коридоре, в ответ на мое щебетанье о весне и тепле.

И тогда Бабушка страшно на меня рассердилась. Поэтому я, верно, и запомнил эту сцену.

Мы выжили.

У Бабушки оставалась в ту пору еще одна не проданная дорогая вещь. Бриллиантовые серьги, подаренные ей отцом. Прадед, Евгений Карлович Кнорре, купил их дочери в честь рождения внука – моего отца. Эти серьги, обмененные на картошку, позволили продержаться достаточно долго, дожидаться весны, дожидаться приезда Папы.

Наташа Боровая так пишет в своих записках: «Сколько раз я девочкой слышала описание этих сережек: на «машинках», крупный бриллиант около уха, цепочка из мелких бриллиантов и снова крупный бриллиант».

А мне иногда кажется, что я их помню. Даже не сами серьги, а словно сияние у Бабушкиной головы, когда она их примеряла.

Я любил, сидя у нее на коленях, класть голову на ее плечо, утыкаться лицом в волосы, сохранившие еще кое-где свой первоначальный, золотисто-бронзовый цвет. На сердце становилось очень спокойно.

После нашего с Бабушкой возвращения из эвакуации в Москву жить стало, конечно, легче, но все еще было очень и очень голодно. Папа жил с нами и занимался проектированием, каких-то сверхсекретных объектов. Каких – об этом он никогда не говорил, даже по прошествии многих десятков лет. Он получал рабочую карточку, по которой полагалось 500 г хлеба (до сих пор помню!), а мы – иждивенческие (300 г.). Других продуктов по ним тоже полагалось много меньше. К тому же, далеко не всегда эти продукты полностью выдавали, в конце месяца, когда карточки менялись на новые, оставались десятки неиспользованных талонов. Мы с Варюшей бегали из магазина в магазин, она ставила меня в одну очередь, сама стояла в другой в надежде, как тогда говорили – «отоварить карточку», получить хоть что-нибудь на цветные талоны с надписью мясо, крупа, жиры. Мне тогда уже было лет 6. В очереди стояли и другие дети, правда, в основном, постарше. Вели мы себя тихо, иначе взрослые могли рассердиться и из очереди выгнать. Стояли долго, часами.

На рынке можно было что-то купить, но стоило все огромные деньги. Я помню, что Бабушка как-то сказала, что на Папину месячную зарплату можно купить четыре буханки хлеба, а на ее пенсию только четверть буханки.

Случаи, когда человек терял карточки или когда их крали (а иногда и отнимали), были равносильны самоубийству или убийству.

Я не очень хорошо помню, как выглядела продуктовая или промтоварная карточка тех лет, но представляется, что на ней были обозначены литеры – «Р» или «С», или «И». Рабочая, служащая, иждивенческая – соответственно. Наверное, это так, иначе, почему бы удивлялась Бабушка, когда Папа отдал ей карточку с неизвестным литером «Д». Потом вдруг оказалось, что талоны этой карточки отовариваются в первую очередь и на них иногда дают даже сливочное масло. На все вопросы Папа отвечал кратко – «Не знаю. Выдали, я взял».

Прошло несколько месяцев. Однажды, когда я руководил под столом наступлением бумажных солдатиков на вражескую крепость, я услышал интересный разговор. Бабушка, сидя в кресле, стала обсуждать со своей еще гимназической подругой, тетей Катей, Екатериной Николаевной Тереховой, которая приехала к нам в гости, карточные проблемы и спросила ее, что означает литер «Д». А Е.Н. работала в подмосковном местечке Сходня врачом. И, хотя по специальности она была окулистом, в военные годы, когда доктора мужчины и часть докторов женщин были мобилизованы в армию, ей приходилось выполнять и обязанности терапевта, и невропатолога и вообще, лечить всех страждущих. Она знала все, что касалось медицины, и поэтому сразу ответила – «У нас такие карточки выдаются донорам. После того, как они сдают кровь на станции переливания. «Д» – означает донор».

Вечером, когда Папа пришел с работы, Бабушка, как всегда красиво накрыла стол, аккуратно разложила тарелки, положила на оставшиеся старинные подставки ножи и вилки, поставила салфетки в кольца, подогрела на плитке нашу жалкую еду, села напротив него и заплакала. На моей короткой памяти она плакала второй раз. Поэтому, хотя я ничего и не понял, но спрятался за занавеску и тоже горько заплакал. Папа о чем-то говорил с Бабушкой, утешал ее, потом пришел ко мне, поднял высоко-высоко, к самому потолку, и мы с ним стали говорить о чем-то хорошем. Слезы высохли, я попросил, чтобы он нарисовал мне бумажного солдатика – старинного воина.

А потом, через много лет, мы узнали, что Папа, еще молодой человек, обладающей необычайной природной силой, после сдачи крови не мог дойти утром до ближайшей станции метро. По дороге ему приходилось много раз присаживаться и отдыхать.

27 апреля, воскресенье, Пасха.

Снова вынужденный выходной. Уходя грипп нашел мое слабое место – обожженные в Чернобыле бронхи. Любая попытка

говорить наказывается приступом кашля. Что же, нельзя говорить – будем писать.

Пасха, начинается святая неделя – можно опять вспомнить о вкусной еде. Через четыре-пять лет после войны, когда жизнь наша начала налаживаться, я это почувствовал в полной мере. Начиная с чистого четверга, совершался сложный ритуал выпечки куличей, окраски пасхальных яиц, приготовления творожной пасхи с цукатами. Хотя Бабушка и не верила в Бога, и не постилась, но традиции чтит свято.

А в голодные военные годы...

Пасха..... Вот, среди пустых кадров начинает снова проступать наша комната в переулке Островского. Я сижу у окна за маленьким письменным столом, спиной к двери. Пишу по Бабушкиному приказу двадцать раз фразу «Лень мать всех пороков». Наверное, был невнимательным на занятиях и сделал ошибки в диктанте. Я сознаю свою вину и всячески стараюсь, чтобы крылатая фраза не сползала со строчки и не украсилась кляксой. Бабушка у большого стола вяжет на спицах очередную кофточку. Лень – мать всех пороков обходит ее далеко стороной. Она всегда работает, я не помню, чтобы Бабушка в эти годы отдыхала. И больше всего вяжет, вяжет, вяжет.

Я пишу и оглядываюсь, чтобы не пропустить момента, когда части кофты будут прибиты небольшими гвоздиками к доске. Тогда надо будет набрать в рот воды и сильно дунуть на них. Вода должна мелкими брызгами замочить всю вязку. Зачем это делается, я объяснить не могу, но сама процедура очень мне нравится и называется – «растяжка».

Бабушка нигде не училась вязать, но делала это талантливо и ее слава вязальщицы постепенно стала распространяться по Москве. Поэтому среди заказчиц попадаются важные дамы - артистки, балерины, художницы, жены известных военных. Я помню, например, молодую даму, которая задавала мне веселые вопросы, и носила удивительное имя - Леокадия. Она только начинала свою блестящую карьеру в Большом Театре и вскоре стала очень известна – певица Леокадия Масленникова.

Расплачивались заказчицы продуктами. Бабушка никогда заранее не оговаривала оплаты, говорила: «Если понравится, принесете чего-нибудь», и внешне никогда не показывала, если это «чего-нибудь» оказывалось уж совсем незначительным.

Одна важная генеральша, во время обсуждения фасона все время порывалась рассказать нам, какой шикарный паяк получает ее супруг. Названия продуктов пролетели мимо меня, ни одного из них я не знал, но вот удивительные слова «свиная отбивная»

почему-то поразили воображение. «Я эти свиные отбивные уже видеть не могу» – воскликнула заказчица.

Я дождался, пока она ушла, и сказал Бабушке:

«Надо попросить ее принести эти свиные. Может быть они все-таки съедобные?»

«Может быть» – ответила Бабушка – «но просить не будем».

Я с огромным нетерпением ожидал часа расплаты, но, отбивные так и не обнаружились. Генеральша принесла немного муки.

«Ничего страшного», – утешила меня Бабушка. «Скоро Пасха и мы испечем лепешки на соде. Это уж, конечно, вкуснее ее отбивных».

По-моему это была весна 1944 г.

1-3 мая.

В майские праздники мы с Томочкой традиционно ездим на кладбища. Их четыре.

Во-первых, далекое Химкинское. Здесь могила Валечки, моей первой жены.

Во-вторых, Новодевичье кладбище, на котором похоронены оба моих Дедушки (с Папиной и с Маминой стороны), обе Бабушки и Папа.

Тетя Ира похоронена почти в центре теперешней Москвы – на Миусском кладбище.

На этом же участке похоронен ее муж - Дядя Коля и его родные.

Мамина могила у самых ворот Введенского (бывшего Немецкого) кладбища.

Шестьдесят лет назад Бабушка велела мне выучить прекрасную латинскую фразу «Amor vincit omnia» – любовь побеждает всё.

Как хочется мне сейчас, чтобы моя любовь помогла мне рассказать о них.

Новодевичье кладбище знакомо мне с послевоенных лет. Однажды, придя как обычно в воскресенье, тетя Ира долго совещалась с Бабушкой, о чем-то они спорили и что-то решали. Оказывается, Бабушка упрашивала ее повезти нас на кладбище, на могилу Дедушки Саши. А Тетя боялась, что пробудится от спячки Бабушкино недомогание – боязнь пространства.

Ехать надо было на трамвае, через Девичье поле и потом еще заметное расстояние идти пешком. Узнав о такой интересной поездке, я стал Тетю уговаривать ехать, обещая со своей стороны полную моральную и даже физическую поддержку.

И мы поехали.

В трамвае Бабушке стало не очень хорошо, она побледнела, крепко сжала мне руку и стала просить: «Тусенька, отвлеки меня, говори что-нибудь, говори, пожалуйста!». Меня не надо было долго уговаривать, я сразу стал ей пересказывать какую-то только что прочитанную книгу, а стоявший рядом человек в военной форме стал высказывать обидные сомнения в том, что я говорил. Лица его совершенно не помню, какую книгу пересказывал, тоже не помню, а вот, то, что человек был в форме – помню.

Я стал спорить и, чтобы аргументы были убедительными, старался перекричать шум трамвая, военный тоже начал кричать, какие-то тетки, приняв его за моего родственника, который сейчас начнет меня наказывать, стали громко за меня заступаться. Трамвайная публика их активно поддержала, указывая ему в том духе, что хотя он и фронтовик, но мальчонка, небось, тоже натерпелся и наголодался.

Сейчас вряд ли может повториться такая сцена, а тогда, после всего, что вынесли, после того, как все вместе выжили, каждому было дело до каждого. Не было совсем чужих людей, тем более, совсем чужих детей.

Историки пишут, что после Куликовской битвы, когда столько было побито народа и столько сирот осталось, Великий Князь Дмитрий Иванович Донской узаконил обращение детей «Дядя» и «Тетя» к незнакомым взрослым. Чтобы русский ребенок всегда мог обратиться за помощью, чтобы чувствовал себя членом огромной семьи.

Когда мы выходили из трамвая, Бабушка практически забыла о своей болезни, а Тетя продолжала улыбаться.

Первое мое впечатление от Новодевичьего – кусты, лебеда, заросшие дорожки и заросшие могилы. С восточной стороны маленькая застекленная оранжерея, можно купить цветы, но для нас - дорого.

Подошла женщина, которая убирала могилу неподалеку. Стала рассказывать, что сюда, с других кладбищ привозят для перезахоронения знаменитых людей, места еще есть, но скоро, как она выразилась, «будут уплотнять».

Кто бы мог угадать в этом, относительно небольшом кладбище, огромный теперешний мемориал?

Дедушкина могила вся была в отцветших ландышах.

Тогда она была единственной могилой моих близких на Новодевичьем.

Потом, к первым четырем участкам кладбища (наше место на четвертом), которые появились за пределами монастырской стены еще в начале XX века, стали прибавляться другие. В середине 50-х с юга образовалась «Новая», а после очередного расширения в конце 70-х – и «Новейшая» территории.

Наше место «уплотнили», на месте скамейки, которая раньше стояла внутри ограды, похоронили чужих людей.

В 1970 г. на доске Дедушкиной могилы кроме надписи «Александр Алексеевич Боровой» прибавилась надпись – «Елена Евгеньевна Боровая».

Солнышко мое, Бабушка.



Бабушка. В далекие послевоенные годы

А в 2000 г. умер Папа – Александр Александрович Боровой.



Папа – Александр Александрович Боровой. Семидесятые годы

Мы с Томочкой постояли, положили цветы на холмик и тихо, мимо прекрасного памятника Ф.И. Шаляпину, который

сидит, откинувшись на спинку скамейки, мимо плит с фамилиями знаменитых, а иногда и знакомых людей, двинулись к другой могиле – родителей моей Мамы.

7-8 мая, среда и четверг.

Тянутся праздничные дни. Работаю, но мысли постоянно возвращаются к этим воспоминаниям. И, конечно, скачут, с одного места на другое, из одного десятилетия в другое. Столько и о стольких еще надо успеть рассказать, и постараться быть понятым.

Итак, мы с Томочкой пошли к следующей родной могиле. С 4-го участка старого кладбища на 3-й.

Седой, худенький человек, одетый в форму морского офицера – такой запомнилась мне внешность моего второго дедушки, Дедушки Ильи – Маминого отца. После того, как Мама ушла от нас, его редкие визиты (в мой день рождения) оставались ниточкой, долгие годы связывающей меня с Маминой семьей. Он звонил в дверь, входил с извиняющейся улыбкой и сразу же начинал вытирать о коврик свои ботинки. У Бабушки, которая твердо требовала, чтобы никакие контакты с Мамой не поддерживались, не хватало духа совсем прекратить мои свидания с ним.

Приходя поздравить меня, Дедушка Илья приносил что-нибудь съедобное. После войны это был пирог с вареньем, так называемая «плетенка». Вид и запах этого пирога, который можно будет скоро попробовать, оказывал на меня самое пагубное действие. Я становился невнимательным и большинство бесед с Дедушкой напрочь исчезли из моей памяти, в то время как внешний вид плетенки помнится во всех подробностях.

Помню, что о всех наших общих родственниках он говорил в превосходных степенях. Если какой-нибудь троюродный брат, которого я никогда не видел (и так, по всей видимости, уже и не увижу) получил высшее образование, то в рассказе Дедушки он обязательно возводился в звание Профессора. Все были талантливы, редко когда на периферии семьи мелькали просто очень способные люди.

Когда, после его ухода, я обращался к Бабушке за разъяснениями по поводу такой концентрации дарований, она всегда говорила: «Я их мало знаю, но из тех, кого встречала, Дедушка Илья самый добрый и хороший человек. Он очень много горя перенес и ему хочется, чтобы все были лучше».

Со временем, каким-то непонятным путем я стал разбираться, когда Илья Григорьевич говорил правду, а когда сильно преувеличивал. Так, я верил ему полностью, когда он рассказывал про Ирочку – мою единоутробную сестру, дочь Мамы

от второго брака. Я точно знал, что она хорошая девочка, действительно способная и, главное, любит Дедушку. Также точно я чувствовал, что его жена – моя Бабушка Вера Андреевна, никаким образом не походит на образ доброй и кроткой женщины, который рисовал ее супруг.

Когда я очень несмело спросил об этом, у Бабушки она прямо сказала, что в жизни не встречала более плохого человека, и что развод моих родителей во многом «ее заслуга».

А еще я чувствовал, что в жизни у Дедушки была какая-то тайна, что он пережил какое-то большое несчастье, говорить о котором не хотел.

Чем старше я становился, тем более это чувство подкреплялось уже определенными логическими выводами. Складывая разрозненные фразы, которые я слышал от него или от моей любимой Бабушки, я стал понимать, что тайна эта носила название «тюрьма» или, как он сам несколько раз называл ее – «академия». При этом не подразумевалась та «академия», в которую его, 16 летнего юношу, поместила царская полиция за участие в революционной работе. О ней он рассказывал совершенно открыто, с чувством гордости. Вещественным доказательством «эффективности курса обучения» служила сломанная жандармами и неправильно сросшаяся нога, а также умение очень быстро перестукиваться, которому он меня научил.

Нет, была еще и другая «академия», о которой говорить было нельзя.

Прошло много времени. Незадолго до своей смерти Мама рассказала мне все, что знала об этом периоде жизни Дедушки и передала мне его документы.

И вот сейчас я сижу за своим столом и в который раз, очень бережно открываю старую потрепанную папку со всегдашней типографской надписью «ДЕЛО» и чернильной припиской «о реабилитации».

На первой странице потертая «Справка».

Постановлением Пленума Верховного суда СССР от 12 октября 1956 г.

ПРИГОВОР от 15 января 1938 г....

в отношении Рыраховского Ильи Григорьевича, ...

отменить За отсутствием В ЕГО ДЕЙСТВИЯХ состава преступления

За бумагами, вшитыми в Дело, стоят следующие события.

Август 1937 г. Илья Григорьевич работает в системе мурманского отделения Главсевморпути. По доносу некоего Арцыбашева его арестовывают и, как написано в бумагах Комиссии по реабилитации, «недопустимыми методами допроса и издевательствами требуют признания вины». Дедушка, прошедший «жандармскую академию», не сдается и никаких бумаг не подписывает, ни своего признания, ни обвинений против других подследственных.

Суд приговаривает его к высшей мере наказания.

Дедушку отправляют для приведения приговора в исполнение (и, наверное, с надеждой все же получить нужные признания) в Ленинград, в знаменитые Кресты.

Мама вспоминала: «В Мурманске вели к вокзалу под конвоем, в ручных и ножных кандалах. Я шла сзади, плакала, видела он еле идет, догадывалась, что били».

В Крестах одиночка и новые допросы. Не подписывает. Каждый день ожидает расстрела.

Мама рассказывает: «Я все дни стояла у Крестов. Но со смертниками свиданий не давали. В очереди говорили – приговоренных к смертной казни не кормят, они из списков вычеркнуты. Иногда уголовникам удается им на ниточках хлеб спускать к окну».

Из справки следователя: «Признательные показания дать отказывается».

Мама вспоминает: «Дедушка Илья никогда не рассказывал, как от него добивались, чтобы подписал бумаги. Только однажды, когда тяжело болел, с очень высокой температурой, вдруг сказал: «Галочка, я умереть не боюсь, я много раз уже умирал». Я ему – «Папочка, что ты такое говоришь? Бог с тобой» А он тихо – «Знаешь, в Крестах был такой коридор, вроде буквы «Г». Идешь впереди, сзади охрана, но перед тем, как повернуть, охрана отстает. Ты поворачиваешь, а из отверстия в стене... Стреляли в затылок, крови почти нет. Мы, смертники, это знали. Меня на допросы, ночью, через этот коридор водили. Много, много раз».

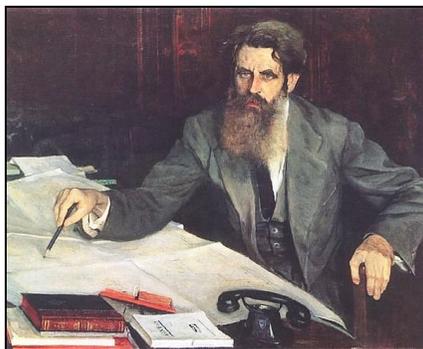
Начальником Главсевморпути был в 1937 г. Отто Юльевич Шмидт.

Академик, главный редактор Большой Советской Энциклопедии, полярник, крупный математик, астрофизик, через несколько лет после описываемых событий предложивший новую теорию возникновения солнечной системы.

Видел его я только на фотографиях – черная борода, чем-то напоминает Курчатова.

В 1937 г. Шмидт руководил знаменитой экспедицией на северный полюс, получил за это звание Героя Советского Союза и второй орден Ленина.

Но ни в одной из его биографий не сказано, что в следующем году он совершил не меньший подвиг – бесстрашно вступился за своих арестованных сотрудников. И отчаявшись добиться чего-нибудь от соответствующих органов, обратился с письмом к Сталину, а потом и попал (!) к нему на прием.



О.Ю. Шмидт. Портрет кисти М.В. Нестерова

Вот суть маминого рассказа.

Сталин принял Шмидта, посмотрел список и сказал, что получил от него письмо с перечислением этих фамилий. Он, Сталин, дал поручение проверить материалы дела. Выяснилось, что обвинение полностью соответствует действительности, а обвиняемые сознались в своих преступлениях перед народом и партией. Академик не разобрался в своем окружении.

«Вы все понимаете, когда дело касается звезд» – сказал вождь – «А когда дело касалось наших земных вопросов, этим людям удавалось Вас обманывать».

«Неужели все сознались?» – помертвевшим голосом спросил ученый.

Сталин еще раз взглянул на бумагу. Случилось невероятное: вождя подвела его на самом деле выдающаяся память.

«Нет, не все» – раздраженно сказал он.

Подождал к телефону, что-то сказал в трубку и, дождавшись ответа, уточнил: «Один не сознался».

После этого Сталин взял синий карандаш, подчеркнул фамилию в списке и показал листок Шмидту.

«Вы действительно можете ручаться за этого человека?»

И, получив утвердительный ответ, написал на полях против фамилии Деда:

«ПРОВЕРИТЬ. ВОЗМОЖНО – ОГОВОР».

Из папки: «В результате вновь открывшихся фактов по решению Прокуратуры Союза приведение приговора в исполнение в отношении И.Г. Рыраховского было приостановлено».

Смертную казнь заменили пятнадцатью годами лагерей.

Но настойчивый академик, вновь пробился к Сталину.

В результате Дедушка был освобожден, но полностью не реабилитирован и в партии не восстановлен.

Окончательно все обвинения были сняты только в 1956 г.

Я помню, как он пришел ко мне, радостный, вручил Бабушке кулек с яблоками и разложил на столе бумаги. Здесь были документы персонального пенсионера Союзного значения, орденские книжки, удостоверение почетного работника Севморпути и очень странная, на мой взгляд, бумага. Согласно ей гражданин Рыраховский отныне мог бесплатно ездить на судах морского флота СССР.

Дедушка остался пить чай. Выглядел он неважно и в первый раз в жизни пожаловался на недомогание. Сказал, что ослабел и, что у него болит желудок.

Однажды в нашей квартире раздался звонок, и медицинская сестра одной из подмосковной больницы сообщила, что к ним в тяжелом состоянии привезли Илью Григорьевича Рыраховского. У него запущенный рак поджелудочной железы. Больной в сознании и очень просит меня скорее приехать. Сестра тоже советовала торопиться.

Я успел застать его живым.

В коридоре пожилая женщина врач предупредила, что Дедушка испытывает страшные боли, наркотики не действуют. Она шла рядом со мной и говорила: «Он почти не стонет, такой терпеливый, такой скромный».

В палате... Он действительно не стонал, только слезы иногда выступали, говорил с трудом, невнятно, и сумел мне отчетливо сказать только одну фразу: «Тусенька, не бросай Галочку (мою Маму), помирись, прости ее».

Как члена партии с дореволюционным стажем его похоронили на Новодевичьем кладбище.

И на этом кладбище три года назад произошло с нами странное событие.

Надо сказать, что, посещая могилу Боровых, я (каюсь) в течение нескольких лет не доходил до могилы Рыраховских. Очень уж горько становилось, не хотелось больше оставаться на кладбище. Что до уборки Дедушкиной могилы, то я полагал, что об этом должна заботиться Мамина дочь от второго брака, уже упоминавшаяся Ира.

Единственная наследница всего Мамино и Дедушкиного движимого и недвижимого имущества.

Но вот, в грустном 2000 г., после того, как мы впервые увидели новую доску на могиле Боровых, доску с именем моего отца, повинувшись какому-то порыву я пошел на 4-й участок. И не смог отыскать Дедушкину могилу.

Была середина московского лета. Клочок кладбища, примыкавший к стене монастыря у башни, производил совершенно запущенное впечатление. Трава на могилах сильно отросла, закрыла плиты и невысокие памятники. Мы с Томочкой исходили 4-й участок вдоль и поперек.



Единственная оставшаяся у меня фотография Дедушки Ильи.
Он уже на пенсии, гуляет со своим другом (Дедушка слева)

Я искал и думал о нем.

Вспоминал, как в детстве, когда традиционный пирог уже съеден, Дедушка пьет чай и рассказывает об одном родственнике –

почти профессоре, а я потихоньку беру и надеваю его морскую фуражку с красивой кокардой. Дедушка называл эту кокарду – «краб». И отправляюсь в переднюю к зеркалу. А Бабушка, также тихонько, продолжая слушать Илью Григорьевича, делает мне страшные глаза.

Так прошел почти час.

Наконец, потеряв всякую надежду, стоя по колени в траве, я сказал Томику: «Видно Дедушка рассердился на меня и не хочет видеть».

На что Томик ответила: «Раньше сердился, а теперь простил. Посмотри, на что ты положил руку».

Я стоял, опираясь на доску, на которой были написаны имена двух Рыраховских, Дедушки и его жены, моей второй бабушки.

9 мая, пятница, День победы.

Великий день для нашей страны.

Сколько раз в длинном и темном коридоре квартиры на Островском мы – моя двоюродная сестра Ира (младше меня на три года), соседская девочка Лида и я, играли в войну. Из вооружения у нас был древний трехколесный велосипед и две табуретки. Велосипед переворачивался и взгромождался на табуретки, так, чтобы руль и седло опирались на них. В таком положении можно было крутить педали руками, поворачивать руль, изображать рев мотора, стрельбу и бомбометание. На время игры всем присваивались воинские звания. Маленькая Ира становилась маршалом Жуковым, я, в силу относительно высокого роста – маршалом Рокоссовским. Лиде ничего не оставалось, как стать Коневым. Игра была достаточно шумная и обычно одна из наших соседок, делившая (с помощью ветхой китайской ширмы) комнату с Лидой и Лидиной мамой, скоро ее прерывала.

«Нечего здесь войну устраивать» - ворчала она. «Сколько народа побило и еще сколько побьет. А вам – шум, игра. На двор, на двор идите».

И Бабушка сразу выходила и забирала нас с Ирой в нашу комнату. А Лида, тихо пререкаясь, удалялась на свою половину жилплощади.

Но, однажды, когда эта соседка начала нас привычно разгонять, я, в запале игры, закричал: «Подождите, подождите чуть-чуть. Сейчас ведь наша победа наступит, мы сейчас фашистов победим». Лида тонким голосом добавила – «Папа тогда к нам вернется». И соседка сначала замолчала, а потом ушла на кухню.

«Жди меня, и я вернусь
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера».

(К. Симонов)

Сегодня я, как всегда, рано встал и готовил еду котам и нам. Потом пошел в спальню, Томик спала тихо-тихо, как ребенок. Я думал о Победе и о том, как много лет, даже много десятилетий назад, далеко от Москвы, в маленьком шахтерском городке пятилетняя Томочка бегала на вокзал, встречала поезда с демобилизованными.

Ждала, когда никто больше уже не ждал. Никто у нее не вернулся. Ни Мама, ни Папа.

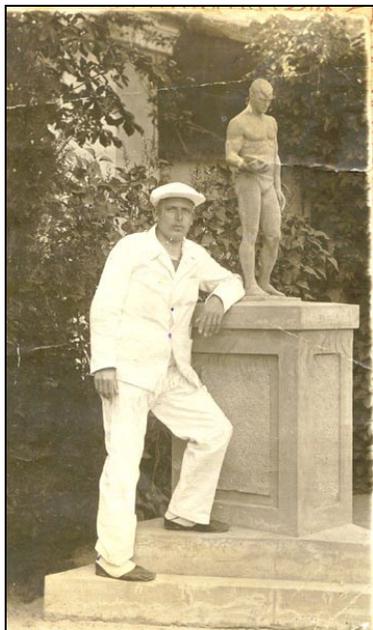


Томочкина Мама

Александра Сергеевна Шмелева, врач, совсем молодая женщина, мать троих маленьких детей. Ушла добровольцем на фронт в июне 1941 г., оставив детей на попечение своей маме, Томиной Бабушке.

Погибла в Польше, защищая поезд с ранеными красноармейцами от прорывавшихся из окружения бендеровцев весной 1945 г.

Вечная память!



Томочкин Папа. Шмелев Федор Платонович, военный юрист, ушел на фронт вместе с женой в июне 1941 г. Погиб чуть позже своей жены от рук бендеровцев. Больше фотографий у нас не сохранилось

Вечная память!

14 мая, среда.

В этот день нас навещали наш внук и внучки. Виталик – младший сын и его жена Лариса приехали из Каширы и привезли троих (из четырех возможных) детишек. (Вот я так пишу «детишек», а ведь старшей – Марине, которую в этот раз оставили в Кашире, 19 лет). Самый младший Андрюша, двухлетний крепенький боровичок, удивительно похожий внешне на нашего старшего сына, тоже Андрея. Говорит Андрюша еще с трудом. Длинные слова и фразы заменяются удобными сокращениями. Так при виде входящего кота Федора, малыш, желая привлечь внимание к этому необыкновенному событию, начал дергать Тому за руку и говорить ей:

«Мяу пришел, мяу пришел».

Федя сразу все понял и взобрался на прадедушкин шкаф.

20 мая, вторник.

Разговаривал с Сашей (внучкой) о поэзии. Потом пошел наверх и, вместо того, чтобы радостно придумывать какие риски надо нам учитывать при выполнении контракта, стал вспоминать прошлое.

Что касается системы управления рисками, то это – очередная придумка наших заказчиков, свято верящих в параграфы и статьи типовой формы контракта, разработанного для них какой-то западной фирмой. По этой форме к отчету по рискам еще надо прибавить отчет о том, как мы будем строить взаимодействие между собой и с заказчиком, программу качества и т.д., и т.п.

Можно подумать, что контракт выполняется десятком организаций и связан с выпуском большого количества какой-то продукции или крупным строительством.

На самом деле он выполняется 5-6 научными сотрудниками и несколькими техниками и должен окончиться выпуском отчета, листах на 150. Взаимодействие между нами давно сложилось за десятилетия совместной работы. Взаимодействие с заказчиком зависит от его платежеспособности. А действительный риск, заключенный в проекте, только один. Он состоит в том, что рекомендованная нами система контроля (мониторинга, как ее называет заказчик) может не выполнить своей задачи и слежение за поведением радиоактивных материалов, сосредоточенных в черномыльском «Саркофаге», будет малоэффективным.

Но Бог с ним, с риском. Вернемся к поэзии.

Хорошую живопись я научился понимать и любить далеко не сразу. Об этом я уже писал.

С музыкой у меня тоже не простые отношения и, если я сумею, то напишу об этом позднее.

Поэзию я полюбил сразу, почти с того момента, как себя помню. И любовь эта со временем не ослабела. Я заставлял Бабушку по несколько раз читать мне стихи, а потом повторял их. Влезал на стул, стоящий под старенькой тарелкой-репродуктором, и стоя, прикинув к нему ухом, слушал поэму Симонова «Суворов» или «Василий Теркин» Твардовского, которые передавали тогда по радио.

А уж когда свободно начал читать и получил самостоятельный (сначала, правда, ограниченный) доступ к

Дедушкиной библиотеке, то читал всех поэтов подряд, начиная с Апухтина и кончая Надсоном, который, по выражению Владимира Маяковского – «подзатесался» между ним и Пушкиным, и которого следовало отправить «куда-нибудь на «Щ». К сожалению, самого Маяковского в Дедушкиной библиотеке не было и о его предложении отправить Надсона подальше, чтобы не отвечивал между двумя великими русскими поэтами, я узнал, учась в старших классах школы.

И предложение Владимира Владимировича мысленно поддержал.

Особенно я зачитывался Алексеем Константиновичем Толстым.

Бегал вокруг стола и декламировал часто не понятные, но от этого не менее нравившиеся строки. «Я государев шурин, мне невместно быть ниже Салтыковых» – торжественно произносил я, обращаясь к буфету. «Боже мой, Тусенька, какая неразбериха у тебя в голове» – сокрушалась Бабушка, занимаясь своим вязаньем.

22 мая, четверг.

Неразбериха царила ужасная, но постепенно, с годами, как-то все улеглось и для всего нашлось свое место. Может быть, мне так нравилась поэзия потому, что я очень легко, с голоса, запоминал стихи?

В мои детские и юношеские годы на пути знакомства с поэзией, в особенности с поэзией русского «серебряного века», стояли серьезные преграды.

Дело было не только во всеобщем книжном дефиците. В печати, в наших школьных учебниках, практически не упоминались фамилии Ахматовой, Цветаевой, Бальмонта, Белого. Трудно было достать сколько-нибудь полный сборник Есенина. И уж совсем под суровым запретом находились книги расстрелянного Гумилева и погибшего в лагере Мандельштама.

Поэтому способность сразу запоминать понравившиеся стихи была далеко не лишней.

Помню, как осенним, ясным днем ехали мы из института вместе с моим товарищем Витей Ходелем. Ехали по бульварному кольцу на знаменитом трамвае «А», который все называли «Аннушкой».

Совсем другая была тогда Москва – малоэтажная, тихая.

Иногда деревья подходили совсем близко к колее, можно было протянуть руку в окно и коснуться листьев. Мы говорили о поэзии, читали что-то, и он неожиданно назвал имя - Мандельштам.

А я сознался, что ни стихов этого поэта, ни даже самой фамилии, не слышал. Тогда Витя, наклонившись к моему уху, шепотом, стал читать строки, которые абсолютно поразили меня. Трудно это описать.



«Аннушка» едет по бульварному кольцу

И придется воспользоваться довольно потертым выражением - «струны души», чтобы сказать, что стихи Мандельштама попали в какой-то необыкновенный, сильный резонанс с этими моими струнами.

Когда примерно через полчаса чтение закончилось и стало ясно, что надо выходить, я умолил Витю еще раз проехать все кольцо и еще раз все сначала повторить.

И вот я на всю жизнь запомнил многие стихи Осипа Эмильевича Мандельштама, великого поэта, сошедшего с ума в пересыльном лагере под Владивостоком и умершего там.

«За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей»
(О. Мандельштам)

30 мая. Пятница.

Весна кончилась. Послезавтра наступит лето. Солнышко, настроение хорошее и вспоминаются институтские шалости.

Весна заливала
Водой тротуары,
Звенела веселой песнею.
И солнце стирало
С доски интегралы,
И в воздухе пахло сессией.

В институте, на скучных лекциях и семинарах мы с Сашей Шубиным писали стихи. Каждый имел право написать по две строчки. Первый куплет начинал, например, Шубин и тогда мне приходилось мучиться с рифмами в последних строках.

Потом наши роли менялись. Большей частью эти вирши не получали широкого признания, но иногда они удавались и тогда листок передавался из рук в руки и процесс сопровождался приглушенными смешками.

Я помню какие-то отрывки (не удивительно, если принять во внимание их качество).

«Торчала Лиза у доски,
Все помирали от тоски ...»

Это – на лекции по физике. Лиза – наш преподаватель (полное имя приводить не буду), симпатичная женщина, которой Бог дал многое, но на физике ее везение кончилось.

На политэкономии, когда обсуждались два подхода к какой-то проблеме, и преподаватель вызвал двух наших товарищей, чтобы они, изображая сторонников того и другого подхода, горячо спорили, а аудитория их рассудила:

«...И вот столкнулись два бойца,
Со звуком тухлого яйца...»

Некоторые стихи до посторонних ушей не доводились. Например, про «любимого» всеми Никиту Хрущева.

«...Сияй же ярко над страной
Своею лысой головой!
С тобой всегда мы видеть рады
Твою наперсницу – Загладу,
И целовать портрет на стенке
Мичуринца – Т.Д. Лысенки».

Тем, кто не жил в это время, вряд ли известна Заглада (это – фамилия). Никита Сергеевич откопал ее где-то на Украине, где она выращивала кукурузу, и уверился в ее непререкаемой мудрости. После этого Заглада начала с помощью телевидения постоянно учить нас, как надо сажать эту знаменитую культуру, как надо вообще работать в полях и на заводах, заниматься наукой, писать музыку и т.п.

Бог ей судья!



Александр Павлович Шубин, Саша Шубин –
мой институтский товарищ и мой друг

Я легко и часто писал шутливые стихи в стенгазеты, стихотворные поздравления родным и друзьям, но, к счастью, всегда понимал, что это все далеко от того, что можно называть поэзией. И раньше, и теперь, перечитывая эти свои сочинения, сохранившиеся благодаря усилиям Томочки, я не могу насчитать среди них больше, чем 5-7, которые бы мне сильно нравились. Да и то, отдельные строфы. Вот, например:

Я вернулся. И значит мы снова вдвоем.
Яркий свет, ликование дня.
И весь мир существует во имя твое
И дыханием славит тебя.

Что касается настоящей поэзии, то в ответ на мое преклонение и любовь она всегда оставалась верным другом и старалась, как могла, помочь мне в жизни.

Надеюсь, что представятся случаи поговорить и об этом.

20 июня пятница.

Не писал два десятка дней. Потихоньку приближается конец июня – очень холодного в этом году у нас и одуряюще жаркого в западной Европе. Глобальное потепление.

Вечер. Перечитал все, что до сих пор написал и ужаснулся. Какая маленькая часть жизни уместилась на этих 50 страницах. Сколько людей и событий осталось за их рамками. Сколько долгов осталось у меня перед этими людьми. А сколько дней у меня осталось, чтобы хотя бы попытаться их отдать?

Я в долгу перед бродвейской лампомпонией,
Перед Вами багдадские небеса,
Перед Красной Армией,
Перед вишнями Японии,
Перед всем, о чем не успел написать.

Это – Маяковский. Дней у великого поэта оставалось совсем мало и, у меня такое чувство, что он об этом догадывался.

Сижу и думаю о своей жизни. Удалась она или нет? И что такое удалась, по отношению к уже почти прошедшей жизни? Сравнить ведь не с чем, невозможно проиграть другие варианты, вернуть назад шахматные фигуры.

Поставим вопрос по-другому, получал ли я от нее удовольствие, приносила ли она добро другим людям, насколько нужен я им был?

Быстро, просто не ответишь. Может быть, в конце этих записок станет яснее?

(продолжение следует)



Дмитрий Бобышев
Я в нетях
Человекотекст, книга 3
(продолжение. Начало в №12/2013 и сл.)
Местная знаменитость (окончание)



же в первом семестре мной заинтересовался журналист Джон Долан, – молодой, светлоглазый, внимательный. Встречался, разговаривал, расспрашивал о многом и очень точно вышел на главное: как я всё это совмещаю? Не раскрывая своих секретов, я дал ему понять о скрытых возможностях сознания, которые могут непредсказуемо быть мобилизованы. Оказалось, что я могу сочинять стихи, занимаясь при этом чем-то ещё.

«Я и сейчас это делаю», – привёл он мою фразу в конце статьи.

Когда материал был уже готов, меня пригласил фотограф из «Милуокского Журнала», иллюстрированного ежемесячника, – наподобие советского «Огонька» по формату. Его студия занимала целый этаж брошенного промышленного здания поблизости от одного из цехов «Астронавтики». Там же за выгородкой он и жил со своим компаньоном. Штативы, трубки, членистоногие осветительные приборы, сетчатые, как стрекозиные крылья, экраны, и посередине – стул, на который меня посадили. Залили электричеством. Ну, думаю, скажут «Чииз», щёлкнут, и всё. Не тут-то было! Начался настоящий фото-сеанс художника-профессионала. Провозился он часа полтора, думал, заставлял меня менять позы, поворачивая мне голову так и эдак, а компаньон занимал разговорами. Но чем дольше, тем я более каменел. Пока маэстро фотографировал, он сменил две катушки плёнок – и всё ради одного снимка!

Прихожу я однажды на работу, а за моим столом сидит Барбара – простая американская тѣханца лет за 50 – грубоватая и прямая, которую Норма Зелазо уже не раз обещала «в шутку» уволить. Увидев меня, Барбара объявила громогласно на всю контору:

– А вот и он, самый знаменитый мужик в нашей паршивой «Астронавтике»! Я первая хочу получить автограф.

Тут и я впервые увидел статью напечатанной. Реакция вокруг была шоковой и не только положительной. Кто-то как бы поперхнулся, и уж во всяком случае очередь за автографами не выстраивалась. Но в дверь стали заглядывать многие любопытные из других отделов. А рядом, но через проход – бывший морячок, работавший у нас техником, угрюмо надулся.

– Ты ему завидуешь, Терри? – подначила его Полетта.

– Конечно. Я ведь тоже из себя что-то представляю. Занимаюсь спортом, плаваю с аквалангом. А статья – о нём. Почему? – простодушно выложил своё недовольство морячок.

– Как можно сравнивать поэзию и спорт? – обернулась ко мне Полетта.

– Всё можно сравнивать. Просто – статья означает, что я пишу стихи лучше, чем он плавает. Вот и всё.

– А мне нравится этот портрет, – кинула она реплику в другую сторону, перелистывая журнал.

– Портрет человека с проблемами, – огрызнулся парень, выходя.

Интриганка удовлетворённо хмыкнула.

– Ты одна из этих проблем, Терри! – крикнул я вдогонку.

Хорошо, что я успел ему резко ответить, а то «человек с проблемами» здесь понимается как наркоман или сильно пьющий. Чем же так нехорош оказался портрет? Нет, на самом деле он был хорош, добротен психологичен, я на нём получился вполне *homo sapiens*, но вовсе не такой уж *homo prosperitas*, то есть «преуспевающий». Публика тут привыкла видеть изображения знаменитостей с победительными улыбками, в то время как моему фотохудожнику эти стандарты давно опротивели.

Настоящие проблемы или, говоря по-русски, разные жизненные неурядицы и передраги были уже на подходе. Однако, не перевелись ещё и хорошие новости.

Две литературы или одна?

Меня пригласили на большую конференцию под тем же названием, что и эта глава. Состоялась она в мае 84-го года, устраивал её и оплачивал все расходы Лос-анджелесский Университет Южной Калифорнии, куда должны были прибыть «все-все». Почему ж не поехать на такой представительный эмигрантский форум, затесавшись на равных в число его знаменитостей? «Астронавтика» отпустила, и вот я в аэропортовском «челноке» мчу в гостиницу среди субтропического цветенья. Олеандры живой изгородью отделяют дорогу от встречных полос. Вдоль тротуаров цветут китайские розы таких размеров и такой неистойвой пунцовости, будто они

нарисованы шальной кистью Марины Азизян. Когда-то я посвятил этому женственному чудовищу Ленфильма 64 строчки любовных иллюзий и разочарований под говорящим названием «Скелет Амура». Четыре раза по четыре четверостишия. Но сейчас я не любовник – ботаник! Растительные впечатления переполняют меня, и дело тут совсем не в стройнейших калифорнийских пальмах.

Вот с краю куртины вижу мощные короткие, как римские мечи, листья и узнаю: это ж – «воловий язык»! Чуть ли не целую жизнь назад, ещё в семилетке я подобрал на полу симпатичный отросток боночком, – им беспечно футболили мои одноклассники в перемену. Посадил его дома в горшок, и он стал благодарно расти, загибаясь зелёными языками на две стороны. Дал боковые отростки. Я рассаживал эти бочонки, дарил. Один саженец-ветеран спустя десятилетия обнаружился на подоконнике у Гали Руби, в сумрачном климате Васильевского острова. А здесь они – роскошествуют, всюю цветут.

Или вот этот сорняк на обочине – разросся, засинеглазился. Да это же – традесканция, чьи чохлые плети привычно свисали на ленинградских окнах и никогда не цвели. Я перевёл однажды по заказу стихи одного эстонского поэта, где он с гордостью описывал, как у него зацвела традесканция единственным цветком. Я вообразил небольшой писательский кабинет с сосновой светлой мебелью, чуть подтенённой лаком, запах канифоли и бумаги, окошко всё в изморози и яркое февральское солнце, вызвавшее в висячем растении синее восклицание счастья. Мой перевод, однако, не понравился.

– У меня никогда не было своего кабинета! – передавали мне обиженную реплику автора.

А здесь традесканция вольно цветёт по канавам.

Большая аудитория в школе Анненберга уже почти заполнилась, и народу всё прибывало. «Именинники» конференции скапливались у президиума, переминаясь, – никто не решался садиться за стол первым. Признанные знаменитости смешивались в небольшой толкучке с теми, кому это признание ещё предстояло или самим присутствием здесь было обещано. По этой вертикали зазвучала между ними перекличка вполголоса:

– А Солженицын приехал?

– Нет. Говорят, что из-за Александра Янова.

– Не понимаю, кто такой Янов?

– Будет делать доклад – всё поймёте.

– А Бродский?

– Тоже отказался.

– Господи, а он-то из-за кого?

Вопрос повис в воздухе.

Вот к подиуму подошёл с небольшой свитой Андрей Синявский: борода лопатой, глаз сильно косит в сторону то ли с любопытством, то ли с подозрением... С ним Марья Розанова, супруга – типичная московская дама и одновременно душа парижских интриг и расколов. И – уже известная нам Вера Данам, восторженная переводчица «Андрюши», теперь уже не того, а другого, Андрея Донатовича... А кто этот постаревший мушкетёр, который остался невредим после сражений «В окопах Сталинграда», после сталинской ласки и хрущёвской брани? Виктор Некрасов по праву первым занимает место в президиуме, за ним следует беловолосый Войнович с румяным лицом, победитель бюрократа и создатель эпической «Иванькиады», далее – тёртый до галечной круглости Алешковский, сочинитель нецензурного «Николая Николаевича» и насмешливой песни про Иосифа Виссарионовича, «большого учёного».

За ними на подиум поднялись молодые таланты: Саша Соколов, автор задумчивой «Школы для дураков», овсянный набоковским благословением, а на взгляд – вполне хоккеист, забивший победную шайбу; Эдуард Лимонов – очки и чуб, ореол скандала, белый пиджак прямо на чёрную майку с латинскими литерами, засученные рукава – вылитый автопортрет из романа «Это – я, Эдичка»; Алексей Цветков, брадато-бровастый, своим хмурым видом (даже – прихромом) похожий на сказочного кузнеца... Я сел на свободный стул между Аксёновым и Довлатовым.

И тут же стало ясно, кто здесь главная знаменитость: Синявский выступил с основополагающим докладом, хотя с первых слов оговорился, что нет у него основополагающих идей. Но карту литературы начал кроить, как Меттерних – Европу. И – когтить, и расклёвывать эти самые идеи: сначала в «Континенте», в статье, где Юрий Мальцев нашёл, что кроме противостоящих одна другой литератур – официальной и неофициальной, подпольной – имеется ещё третья, «промежуточная», и определил её как литературу полуправды, компромисса. Мальцев неправ, Мальцев плох и вреден, его оценка узкая, ко многому неприложимая, и вообще напоминает советское отношение к аполитичным писателям «вроде Пастернака и Анны Ахматовой».

Следующая мишень для нападок – конечно, Солженицын. Две-три цитаты, и его основополагающие идеи стали неотличимы от Пролеткульта. Уже и никакой Янов не нужен.

Досталось и старой эмиграции – и Георгию Иванову, и Ивану Шмелёву – за их неприятие авангарда и приверженность к столбовой дорожке. Вывод: литературе нужны не протоптанные пути, а окольные тропы для прогулок. (Ясно – кого и с кем: «с Пушкиным», конечно...) Аплодисменты.

Председательствующий Карл Проффер, владелец издательства «Ардис», объявляет дискуссию по докладу, и наш вытянутый вдоль просцениума стол превращается в круглый. Исходя из того, что многие писатели любят поговорить, а русские традиционно растекаются словом по дереву, Проффер наводит железную дисциплину: пять минут на выступление, и ни секундой больше.

Аксёнов: Диссидентщина – не литература, а соцреализм – тем более. Мальцев неправ, ругая «литературу аксёновых и бондаревых» с маленькой буквы и во множественном числе. Общий критерий литературы – художественность.

Алешковский подготовился, – признаётся, что не может читать без бумажки. Но бумажку забыл, выступает так. И всё же говорит, как по писаному, хотя и оправдывает непечатную лексику. Ведь лексика индивидуальна и, на его взгляд, это – «наиважнейший компонент художественного исследования и творческого акта». А если ты необычен, тебя объявляют безнравственным. И стало быть, Синявский прав – никаких пресловутых столбовых дорог!

Бобышев явно не готовился, о чём теперь горько сожалеет. Он не против прогулочных аллей, даже самых уединённых, но напоминает не о том, что всех здесь разъединяет, а, наоборот, о том что связывает – это русская культура, которая, даже на индивидуальных путях, всегда являлась поиском и утверждением универсальной истины.

Боков, издатель журнала «Ковчег» поступает тонко: он берёт и зачитывает из своего авангардного сочинения несколько абзацев, какие-то рассуждения о языке, пока его не прерывает Проффер. Боков останавливается на полупhrазе. Дочитать можно в «Ковчеге».

Довлатов явно очень хорошо подготовился. Он сравнивает литературный процесс (всё-таки не процесс, наверное, а ситуацию) век назад и сейчас. Тогда была верноподданническая литература (Лесков), самиздат (Грибоедов) и тамиздат (Герцен). До удивления похожая ситуация существует и сейчас. Так и будет всегда.

Карл Проффер, дойдя до соответствующей буквы, произнёс:

– Наум Коржавин. Но он, кажется, не приехал.

– Нет, я здесь, – отозвался из зала Коржавин. – Я просто не сразу нашёл это здание.

И неудивительно: он был почти слеп. На носу сидели сильнейшие диоптрии со шнуром, чтоб их не потерять; лысину покрывал джинсовый картуз. Все радостно оживились.

– В президиум, в президиум, Эммочка! – загалдели писатели.

Эммочка вышел на подиум, но за стол не сел и вступил тут же в спор со всеми, невзирая на регламент, на одёргивания Карла: против Мальцева и Синявского, против толерантности и даже против художественности. Но – за живую правду! И сел обратно в зал.

В течение трёхдневной конференции он сделал несколько порывистых выступлений. Один раз сравнил Довлатова-журналиста с редактором популярной дореволюционной газеты «Копейка», который на вопрос губернатора о её направлении, простодушно ответил: «Кормимся, Ваше превосходительство!» Довлатов этот эпизод честно зафиксировал дважды: в заметках «Литература продолжается», появившихся сразу же после, а потом и в повести «Филиал».

А другой эпизод он подредактировал. Вот как было записано «по горячим следам»:

«Затем он обидел целый город, сказав:

– Бобышев – талантливый поэт, хоть и ленинградец».

В повести это иначе. Коржавин, что уже является псевдонимом (его фамилия Мандель), получает там ещё один. Бобышев тоже ярко преображается:

«Затем Ковригин оскорбил целый город. Он сказал:

– Иосиф Бродский, хоть и ленинградец, но талантливый поэт...»

И всё-таки Ковригину ли, Коржавину не удалось перескандалить всех. Это сделал Лимонов. Он объявил, что отрекается от «литературы идей», слагает с себя звание русского писателя и выходит из эмигрантского гетто в открытый мир коммерческих отношений. И – пустил картонную стрелу в «вермонтского отшельника»:

– По моим сведениям, сыновья Солженицына увлечённо читают мой роман, запершись от отца в уборной.

Конечно, Лимонов талантливый писатель, но и провокатор тоже, – это ему определённо надиктовала эстетика московского андеграунда 70-х годов: все громкие инсталляции и перформансы без провокаций не обходились. Кстати, Синявский

тут же использует схожую тактику. Но мне лично больше, чем скандальный «Эдичка», нравились саморазоблачительные повести «Подросток Савенко» и «Молодой негодяй». После многих идейных демаршей Савенко (это его настоящее имя) расплевался с Западом и обрёл последнее прибежище – патриотизм, но в крайне вызывающей форме. И – уже не как писатель, а как предводитель молодёжной оппозиции. Бунтарские выходки его «лимоновцев» носят эстетский характер: ударить чиновника по лицу розой, швырнуть в его двубортный костюм майонезом, спровоцировать нападение на себя...

Сейчас я как будто листаю книгу Дюма «20 лет спустя», а точнее было бы назвать её «30 с лишним». Но зачем нам оттуда, из тех времён, когда мы обсуждали «будущее литературы», так уж торопиться в её свершение, которое определённо наступило сейчас? Захлопнем-ка затрёпанный ещё в детстве переплёт и вернёмся в на три четверти заполненный зал калифорнийского форума.

Там бесшумно работают кондиционеры, источая прохладу, а в раскрытые двери проникает весёлое майское тепло. Ведётся синхронный перевод, многие сидят в наушниках. Василий Аксёнов рассказывает «О себе»...

– Есть ли вопросы к выступавшему?

Из задних рядов поднимается темноокая стройная дама в просторных колеблющихся одеждах. Она и сама заметно трепещет, голос её прерывается. Боже мой, да это же Ася Пекуровская, красавица ленинградского филфака, с которой ещё в давние времена меня познакомил Бродский, а она потом привела ко мне Довлатова, её тогда будущего, а теперь уже бывшего мужа. Но совсем не Довлатов её сейчас интересуется:

– Василий Павлович, в вашем творчестве было по крайней мере одно изменение. От хрустально-чистых рассказов вы перешли к чему-то близкому к символизму. Чем вы объясняете это?

Говорит она путано, долго... И уж совсем непонятно, в чём смысл вопроса? Аксёнов и хрустальная чистота? Нет, что угодно, но не это. Аксёнов и символизм? Нет, что-то и тут не так, намёки её о другом... Озадаченный докладчик пытается найти вежливую форму ответа. Ася, волнуясь одеждами, выходит из зала. Мне её жалко. Работу потеряла и теперь ищет, что ли? Или – дела сердечные? Дождавшись конца следующего выступления, я сам выскальзываю из зала.

Сражённая Ася навзничь лежит перед зданием на бетонной скамье.

– Что с вами, Ася? Вам плохо?

– А-а, Дима... Живот болит.

– Принести вам что-нибудь из аптеки? Или проводить вас?

– Ничего не надо, само пройдёт. Спасибо.

Я возвращаюсь в зал к выступлениям американских издателей и славистов. Они предупреждают эмигрантов о сложностях здешней жизни.

– Если собака укусит человека, это не ново. Вот если человек укусит собаку, это будет новость! – говорит Роберт Кайзер, автор книг о России и русских.

Подобное суждение я слышал потом не раз. Звучит плоско, но похоже на правду. Пожалуй, из всех участников конференции один лишь Лимонов укусил эту злобную собачонку!

На следующее утро Ася подошла сама. Выглядела прекрасно, пригласила с собой на завтрак. Мы сели в кафетерии за столик, и тут же к нам подсел Довлатов. Враждебно косясь на меня и даже не поздоровавшись, он с места начал убеждать Асю в своей неизменной приверженности и даже требовал от неё тут же пойти к нему в номер. У меня горячий сэндвич с омлетом не лез в горло.

– Знаете что, разбирайтесь тут сами, а я пошёл, – отодвинул я тарелку.

– Нет, нет, пожалуйста, Дима, не уходите. Прошу вас, оставайтесь.

Я всё же ушёл, – зачем это мне? Ясно, что прекрасная дама захотела использовать меня как заслон от назойливого Сергея, а он в очередной раз «штурмовал прехорошенькую крепость». Взял ли он её? В повести «Филиал» она сама сдалась, но кто ж его знает? Это ведь беллетристика...

Апогея наше собрание достигло в последний день, когда всех гостей отвезли двумя автобусами на приём в Беверли Хиллс, миллионерский район Лос-Анджелеса. Пока ехали вверх, наша хозяйка и устроительница Ольга Матич рассказала историю особняка и поместья, куда мы направлялись. Это был щедрый подарок Кинематографической школе при Университете – от восхищённого магната. Действительно, школа вырастила множество звёзд для Голливуда, и когда она отделилась, вся усадьба осталась собственностью Университета. Миновав въездные ворота, автобусы ещё довольно долго с медленной грацией виляли между пальм, кипарисовых стен и причудливо-пышных клумб, пока не подвезли нас поближе ко входу. Мы прошли через итальянское патио с фонтанами и скульптурами и,

достигнув самого дворца, вступили в иллюзорное голливудское празднество и погрузились как бы внутрь экрана.

В просторных залах, декорированных тропическими цветами, фланировала нарядная публика, официанты разносили шампанское. Откуда-то со стороны до моего слуха донеслась живая музыка. Я шагнул туда, и навстречу вышла – нет, может быть, и не электрическая женщина, даже не совсем «соименница зари», но в тот момент в неё внезапно воплотившаяся Эллендея Проффер, – по лучшим ирландским образцам и лекалам белозубая, пышноволосяя, рослая и даже, кажется, чуть навеселе.

– А вот и Бобышев! Я давно хотела познакомиться, – сказала она по-русски.

И с этими словами она совсем не по-здешнему, а – сочно и вкусно – вlepила мне поцелуй прямо в губы. Сопровождавшая её дама, сухая и воблистая, в ужасе вытаращила глазки. Надо сказать, я тоже был удивлён: что бы всё это значило? Издательница «Ардиса», которая долгое время игнорировала меня, и вдруг – такие милости? Да ничего это не значило, как и вся голливудская иллюзия.

– У вас было много возможностей раньше, Эллендея.

– Я знаю. Мы и сейчас не уделяем вам должного внимания, но этому мешает один человек. Вы понимаете, о ком я говорю?

– Думаю, что да.

– Он важен для нас. И пусть он не слишком нас любит, но мы его – очень.

Ну как ей ответить, когда она признаётся, что не может распоряжаться в своём издательстве? Подруга, словно гувернантка – воспитанницу, отвела её в сторону от нежелательного знакомца.

Люди толпились у стола с лёгкими закусками и напитками. Я взял вина и пошёл туда, откуда звучала музыка. Оркестр, занимая лишь малую часть полукруглого обзорного балкона, играл что-то сладостное из Мендельсона. Внизу светились и переливались, мерцали, сияли, посверкивали огни мегаполиса. Город Ангелов! Солнце уже село в тучевую грядку, и океан вдаль выглядел тёмной непроницаемой полосой.

Музыка смолкла. Но группки беседующих этого не замечали, разговоры становились всё оживлённей. Вцепившись в поручни балкона, я вглядывался в зарницы, вспыхивающие там, в глубине туч на горизонте. В такой же позе «вперёдсмотрящих» я заметил ещё несколько соотечественников. Ручаюсь, что в их головах, как и в моей, эпически шумела походная песня времён Гражданской войны. Очень удачно композитор Дмитрий Покрасс приделал советские красные слова к белогвардейскому маршу

«Дроздовского славного полка», и эта песня запала в душу многим ещё со школы.

Последняя строчка звучала удивительно уместно, даже пророчески: «И на Тихом океане свой закончили поход».

Да, так и получилось. Но только с другой стороны океана.

Находки и утраты

Постепенно созревала в уме затаённая, но великая идея, одна из тех, ради которых я и совершил трансокеанский перепрыг. Она входила в ещё более грандиозное понятие личного счастья, за которым тянулись из своих стран многочисленные неудачники и разные отпетые личности, вроде меня. И неудивительно – стремление к нему оговорено как одно из основных прав человека в здешней Конституции. Однако без той составляющей счастья было бы обманным, а мечты оставались пустыми иллюзиями. Называлась она одним коротким словом: Париж.

Нет, это не только мой вычур, не у меня лишь, выходца из культуры, ориентированной на Францию, была такая проба американской свободы – поездка в Париж. Доказательством тому – множество парижей, деревушек и городков, рассеянных по многим штатам, общим числом до 20-ти, не считая трёх Новых, а также Западного и Южного Парижа. Один был поблизости в штате Висконсин. Можно было бы, конечно, подъехать и сфотографироваться на фоне дорожного указателя, но уж очень хотелось его Настоящего. Однако, денежки поджимали.

Какой же это был год? Наверное, спустя полтора года после нашего прибытия на берег Великого озера, о котором я позволю себе привести здесь стихотворную зарисовку. Она открывала цикл «Звёзды и полосы», посвящённый моей драгоценной супруге О. С.-Б., а называлась Озёрная полоса. Пушу-ка её внутри текста, чтобы не перебивать описания наших прогулок.

От массивного синего
до совсем невесомого серого
все тона водяной окоём
затопил переливную зеленью селезня.
Полоснул серебром через весь
пересвет с полуюга до севера,
с краю искру нанёс,
распустил паруса посреди
неохватного зеркала-сверкала...
Средиземно раскинулся –

не океан –

Мичиган.

А бывает и розово озеро.

К нему мы часто ходили – полчаса туда, взглянуть с высокого берега на ширь, на даль, на переливы оттенков, и – обратно. Сходили по первому снежку и после домашней встречи Нового Года с головами, чуть шумевшими от пузырьков полуночного шампанского. Маша осталась смотреть утренние мультики. На улицах и на дорожках прибрежного парка – ни души. Несмотря на морозец, от озера сквозило сыростью.

– Хороший хозяин собаку не выгонит, – поёжилась Ольга.
– Пойдём-ка домой...

– Нет, смотри, тут следы. Кто-то уже бежал!

И с этими словами я заметил на снегу какой-то блестящий предмет.

– Гляди, что я нашёл.

– Да брось, это какая-нибудь дрянь.

– Нет, тяжёленькая... И вот тут проба.

Это было массивное золотое ожерелье, из тех, что стали носить мужчины. Но нацеплять на себя столько драгоценного металла для утренней пробежки – это уже слишком. «Такого модника мне не жалко» – подумал я, опуская находку в карман. И сказал Ольге, красуясь своей удачей:

– Я не обманулся в Америке. Здесь, действительно, золото валяется прямо на улице, только не ленись подбирать.

Вернувшись домой в весёлом расположении духа, я спросил:

– Маша, ты веришь в Деда Мороза? Ну, в Санта Клауса?

– Нет, конечно, не верю. Я что – глупая?

– А вот смотри, какой подарок он мне сделал!

– Что это? Как ты взял?

– Золото. Нашёл на снегу.

– Это не твой. Ты не мог взять не твой, – сказала вёдливая девочка.

Возник педагогический казус. Действительно, я ведь присвоил чью-то (или всё же ничью?) собственность. Каким я выгляжу в глазах ребёнка? «Удалой я иль просто удачливый?» – как скаламбурил некий поэт. Ситуация разрешилась через несколько дней. Ольга, каждый вечер внимательно просматривавшая объявления в местной газете, вдруг произнесла:

– Вот оно! «Потеряно золотое ожерелье в парке у озера. Нашедшего просим вернуть за вознаграждение. Телефон...»

Для меня утешением было бы полюбоваться на самого модника, но он прислал за пропажей жену. Мы как раз в это время отобедали, и я в свой черёд мыл посуду. Рассыпавшись в благодарностях, женщина протянула мне вознаграждение:

– Это за вашу честность.

Не глядя, я сунул банкноту мокрой рукой в карман джинс. Думал, что от силы – двадцатка, ну, пятьдесят... А посмотрел – я таких денег, чтоб были одной бумажкой, никогда и не видел. Это означало, что Дед Мороз подарил-таки мне поездку в Париж. Но с этим приходилось теперь обождать.

Год по всем приметам обещал быть незаурядным.

Здесь я должен буду разделить моё повествование надвое. Одну, более счастливую полосу, оставлю на потом, и она потянется чередой забавных случаев и встреч, а другая, более мрачная, начнётся сейчас.

Меня ограбили

Получилось так, что я остался на выходные один. Ольга улетела в Нью-Йорк на предзащиту, а Машу взяла заодно на свиданье с отцом, в соблюдение условий их развода. Я решил насладиться вольностью как таковой, – побыть спокойно одному, вздохнуть полной грудью, сходить просто так в кино...

Вообще-то я прежде снобировал кинематограф, считал его не искусством. Но тут в университете показывали советскую мелодраму «Москва слезам не верит», – о ней писалось и говорилось много глупостей, и уже это, отталкивая, всё равно привлекало. Перед Ольгой я, может быть, принял бы прежнюю позу и не пошёл, а в одиночестве решил, что как раз и схожу. Фильм оказался затяжной, двухсерийный. О его содержании, равно как о степени фальшивости сказать ничего не могу, – последующие события стёрли впечатления из моей памяти.

Когда я подходил к дому, всё здание было погружено в сумрак, ни одно окно не горело. Я протянул руку к входной двери, но она отворилась сама. Пятясь, оттуда выходила человеческая фигура, держащая что-то тяжёлое в обеих руках. Глядя с пол-оборота и сзади, я увидал, что это негр (ах, извините, афроамериканец), а выносит он что-то похожее по размеру на мой телевизор. Дальше между нами произошёл абсурдный диалог. Я спросил:

– Могу ли я помочь вам (Кен ай хелп ю)?

– Нет, спасибо. Я доставляю покупку, но никого нет дома.

По-прежнему держась спиной ко мне, он вошёл обратно в парадную, я – за ним. Отворачиваясь от меня, он сделал вид, что рассматривает имена на почтовых ящиках.

– Может быть, Майкл живёт этажом выше?

– Да, возможно...

Негр потащил свою ношу наверх. Никакого Майкла там, разумеется, отродясь не было, но мы оба по-своему оттягивали неизбежное. Я отворил дверь к себе и увидел, что там всё перевёрнуто вверх дном. Угол, где стоял телевизор, был пуст. Повернувшись назад, я услышал дробный топот ссыпавшегося по ступенькам негра и его тень, распахивавшую дверь наружу. Разгоревшись от гнева, я эту дверь толкнул, чтоб его прищемить. Но пневматическое устройство замедлило движение, и он выскользнул.

Я – тут же – за ним.

Из густого сумрака щерилась образина (сама – этот мрак!) белками расширенных глаз, блеском зубов. Жест его руки, начавшийся откуда-то снизу, продолжился – навскидку – в меня! Я отшатнулся назад за дверь, и опять её упругость замедлила меня.

Мне почудилось, что грабитель держал нечто в руке, скорей всего – нож, но точно я не сумел разглядеть, – возможно, приняв за оружие лишь угрожающий жест. Я постоял, вцепившись в ручку двери, минуту, другую. Всё было тихо. Выглянул – бандит исчез. Поднялся на верхнюю площадку. Там стоял мой телевизор с аккуратно утопленной телескопической антенной и перевитым вокруг неё шнуром. Хоть что-то я отстоял...

Одежда, постельное бельё, книги, содержимое ящиков – всё было вывернуто и валялось на полу вместе с осколками стекла и черепками. Пропали деньги, чековые книжки, кредитки, какие-то ольгины украшения. Накатило чувство испоганенности. Я вызвал полицию и стал звонить по круглосуточным номерам в банки – закрывать кредиты. Полиция всё не ехала, и я начал прибирать то, что ещё недавно считалось жильём, а стало местом преступления. Сверху принёс телевизор, поставил. Вряд ли они будут искать на нём отпечатки пальцев. Освободил проход в кухню, заглянул туда и отшатнулся. Рядом с задней дверью зияла дыра в стене, словно пробитая пушечным ядром, на полу валялись куски штукатурки. И только тут на меня навалился страх от вторженья, но не животный, не нутряной, а какой-то – от мозжечка до копчика – позвоночный, иррациональный. Я-то воспринимал эту стену монолитной, а она была ослаблена встроенным снаружи шкафчиком для молочника, оставшимся с патриархальных времён, и опытный домушник этим воспользовался.

Прибыла полиция, два ленивых богатыря, которые неторопливо заполнили протокол, и никаких попыток определить

следы преступника не предприняли. Сказали, однако, что если я помню приметы, то могу поискать грабителя по их картотеке.

Они ушли, а страх остался. Но и жажда мести – тоже.

С утра (а это было воскресенье), так и не позавтракав, я отправился в полицию. Разговаривая со мной, дежурный бросил себе в рот мятную жвачку, но мне не предложил. Определив категорию разыскиваемого (раса, пол, приблизительный возраст), он выдал мне три длиннейших картотечных ящика со снимками криминалов – всего, наверное 500, а то и 600 фотографий, – это только по одной категории... И я должен из них определить единственного!

Африканские лица в Америке очень разнообразны в силу смешения рас, – бывают и выразительные, и яркие, но при этом они в большинстве не теряют сходства с несколькими общими типами. Однако здесь – по определению – были, что называется, человеческие отбросы, помойка... Таких грубых, тупых и свирепых морд, харь и образин я никогда больше не видел. Да и – в таких количествах! Наглотавшись глазами этого мрака, впусив его в себя галлонами и баррелями, я выбрал, наконец, одного, показавшегося мне тем самым, единственным подозреваемым. Увы, после короткой проверки оказалось, что – нет, не тот. У этого – надёжное алиби: тюрьма. Он заканчивает свой срок и, хотя ему дают иногда погулять, в минувшую субботу он сидел под замком.

Значит, тот гуляет, как и многие, ему подобные? Это ещё прибавило мне подозрительности – в дополнение к чувствам беспокойства и страха, которые я испытывал. Ещё долгое время впоследствии на меня накатывали приступы тревоги, тесноты и загнанности совершенно без какого-либо повода. Как объяснил врач, таковы симптомы психологической травмы, типичные для жертв нападений. От них в конце концов помогли не силачи-полицейские и не их пенитенциарная система, а успокоительные таблетки.

Но я не признался врачу в ещё одной травме, последствия которой остаются, может быть, и посейчас: не могу видеть чёрные лица без того, чтобы невольно вспомнить черты того криминала, – ищу их с беспокойством даже у симпатичных афроамериканцев, а приметив кого-либо из них на улице, в первую очередь смотрю, не представляет ли он опасности. То, что мой обидчик был чёрным, это ведь не случайность, это – статистическая закономерность, увы. В результате всего вышеизложенного и неизжитого, расовые отношения у меня неизгладимо неровны и нервны. При этом я не расист, а вернее – изо всех сил не желаю быть таковым, подобно множеству белых американцев. Высокий процент преступности у

чёрных объясняю последствиями рабства, так же точно, как худшие стороны русских – наследием крепостничества.

Издатель отрывного календаря Николай Мартьянов, о котором я уже упоминал ранее, делил население Нью-Йорка на две категории: «белинских» и «чернышевских». Надеюсь, это – скорей литературная, чем предосудительно расовая шутка. Но я и сам провожу делительную черту между людьми, – так же, как полиция, государственные службы и газетные хроникёры. Американский парадокс: нация одна, а расы разные.

Большие перелёты

Я уже предупреждал, что дальнейшие события могут пойти параллельными временными потоками, не пересекаясь. Встряски и стрессы сказались на свойствах памяти и нарушили однолинейность происходящего. Будущее немного споткнулось о прошлое, и некоторые эпизоды куда-то вывалились или перепутали последовательность.

Как бы то ни было, а главным событием оказался тогда приезд моей матери, чтобы навестить непутёвого «блудного» сына. А заодно и взглянуть, наконец, какова она, пресловутая Америка и вся западная жизнь, о которой она имела представление (помимо газетного) лишь со слов своей старшей сестры, а моей тётки Лидии, бывшей замужем за легендарным дядей Тимом, советским торговым представителем в Америке в запредельные, сталинские времена... Да ещё – по моим телефонным звонкам и открыткам, в ту пору особенно частым, чтобы эту поездку устроить как можно лучше и показать ей воочию, насколько мне здесь хорошо. Вот из-за этого «хорошо» я и заключаю, что приезжала она до моего травматического столкновения с бандитом, потому что потом было бы всё поплоче.

Через канадскую падчерицу «Катюши», ездившую в Союз, удалось перебросить денег на билет; сговорились мы и с добрейшими Гирсами, что они встретят мать в Нью-Йорке и оставят у себя передохнуть после полёта. Отловить им её (или ей – их) в пестроте указателей и людском коловращении аэропорта Кеннеди было непросто, потому что в лицо они друг друга не знали. Едва дозвались через диспетчера по радио. Но дальше всё происходило распрекрасно. Гирсы её принимало по-родственному, даже с особой деликатностью: из её комнаты убрали портрет Государя императора, чтобы не смущать советскую гостью.

А на меня с её приездом нахлынула ностальгия, но какая-то сладкая, воспоминательная. Буханка чёрного (ленинградского!) хлеба благоухала на обеденном столе и была главным деликатесом

среди множества вкуснейших яств, наготовленных Ольгой. Этот хлеб являлся чистой контрабандой, ибо по таможенным правилам нельзя было ввозить никакую еду, но мать прошла границу без проверки. Армянский коньяк с тремя звёздами был уже не столь интересным приложением к пахучему караваю.

На следующий день был выходной, и я проснулся значительно позже обычного.

– Где мать?

– Взяла «Русскую Мысль» и отправилась к озеру, – ответствовала Ольга.

Я к тому времени закрыл подписку на «Новый Американец», – слишком уж они «обрайтонбичились», и отдал предпочтение их парижскому конкуренту. Однако, не заблудилась бы, не растерялась бы мать в незнакомом месте! Пока я собирался идти на поиски, она и явилась – тихая, без газеты. Не знаю уж, что её напугало, но первопроходческая храбрость исчезла, и в следующие дни её нельзя было уговорить выйти из дому.

Наконец, повезли её в супермаркет, чьим красотам я поздней посвятил оду. Едва взглянув, мать заторопилась назад:

– Показуха!

В чём-то она была права. Не в том, конечно, что ради неё туда навезли столько продуктов, а в том, что мы действительно хотели ей показать, как «хорошо» мы живём, убедить её в здешнем довольстве, богатстве...

Повезли и в торговый молл посмотреть все роскошества мод и ширпотреба. Ольга уговорила меня примерить кожаную куртку «пилот бомбардировщика» (право же, я сопротивлялся!) и, как только я предстал перед зеркалом, тут же выложила свою отдельную от наших общих кредитку – специальную для модных магазинов. Тут уже не только мать, но я и сам поверил в нашу зажиточность.

Появился для этого и другой повод.

Большие перелёты (продолжение)

Поездка в Париж давно уже созревала в наших семейных планах, но постепенно она преобразовалась в идею «командировки» по литературным делам. Славинский уже давно заманивал отправиться туда вместе, но сложным маршрутом через Лондон. Он сулил мне и выступление на БиБиСи с записью почему-то в парижской студии. А там уже Горбаневская предлагала приют у себя. За «Континентом» и «Русской Мыслью» оставались кое-какие долги. И Ольга дала «добро» на единоличную поездку.

– А ты?

– Я там бывала не раз.

– А как же мама?

– Не бойся, мы с ней прекрасно поладим.

И вот я разгоняюсь на золотистой Голде, чтобы попасть в чикагском О’Хэйр на толчковую ногу, и непомерно, тысячемильно вытянувшись телом на восток, приземлиться в лондонском Хитроу. Эти великие аэропорты, выстроенные не просто из стекла, стали и бетона, а, кажется, из пространства и времени, сами напоминают огромные корабли для странствующих землян, да и только ли землян? Вон там, на переходе от одного терминала к другому, в баре с маняще-тревожным названием «42 параллель» – кто это сидит в неоновой полутьме – не пришелец ли из номерной, как засекреченный объект, туманности? Не персонажи ли «Звёздных войн» потягивают там коктейли, передыхая между трансгалактическими рейсами? И совершенно не напрягая фантазии, которая сама рассказкалась, как резвое дитя, среди запретельных фигур можно разглядеть и более знакомые черты наших орбитальных путешественников: покойного, но всё ещё молодого Васю Аксёнова, оказавшегося здесь на полпути к Луне в компании – с кем же? – с Юрой, Юрочкой Гагариным. И – запросто с ними беседующего Андрюшу Вознесенского, который, надо отдать ему должное, воспел именно эти аэропорты, – хоть и самохвално, и дерзко, но по архитектурному преимуществу верно.

Не ожидал я, что мой вполне оперившийся английский встретит какие-то затруднения на земле Соединённого Королевства! Однако же, так и случилось. Непросто было дать разъяснения молодой халде в таможенной форме по поводу моего «белого» паспорта. Лишь потом я догадался, что говорила она со мной не на английском, а на «кокни», лондонском уличном диалекте.

Всё ещё находясь в людской пестроте Хитроу, я позвонил Славинскому на Сэндвич Стрит и получил инструкции:

– Спускайся в подземку и жми по прямой!

И вот – встреча друзей-шестидесятников (а также – пятидесятников и семидесятников):

– Ну, старик, ты – такой же, нисколько не изменился!

– И ты, я гляжу, всё тот же!

А ведь и жильё в общем-то схоже с тем, что было у него там, только с положительной поправкой. Квартирка небольшая, но вместительная, как многое тут у них в Англии, – про дворцы не скажу, но – и вагоны метро, и такси, и палисаднички с кренделями ползучих роз. И основное занятие всё то же: трёп на глобальные

темы, только вместо советских колотушек и тумачков здесь ему отвешивают какие-никакие фунты стерлингов с профилями королевы. Ай да Славинский, ай да я сам, – жизнь уже удалась, хоть прибавь к нашим годам ещё 50, а побываем в Париже, так и сейчас помереть не зазорно!

Но этот момент счастливо отсрочен по крайней мере на 3 дня, – БиБиСи загрузили моего друга срочной работой. Что ж, зато есть время на Лондон! И я пустился бродить по великому городу. Я был закоренелый враг туризма, поэтому никакие экскурсии, сколь бы питательно–информативны они ни были, меня не устраивали. Это, конечно, не исключало посещения музеев и некоторых достопримечательностей, но главным было вдохнуть воздух города, увидеть его краски и очертания и, хоть недолго, пожить параллельной жизнью с его обитателями, надеясь, что какие-то крупинцы нового опыта осядут в памяти или в написанных строчках. Нет, только не с путеводителем Бедкера и парой ресторанных меню в руках, как у авторш хвастливых каникулярных очерков... А вот сверить часы у себя на запястье с циферблатом Большого Бена, это – другое дело, это и даёт то самое чувство, о котором я говорю. Проехать из конца в конец на верху двухэтажного автобуса, ощутив «леворукость» уличного движения. Пошутить с расторопной официанткой, подающей тебе светлый пенный «лагер» в ёмком и стройном стакане.

После этого можно уже указывать дорогу, как пройти к Национальной галерее и Трафальгарской площади (это там же, всё – в том же месте!) группке растерянных американцев, вываливших из отеля «Президент», где в своё время останавливалась Ахматова.

(продолжение следует)



Тамара Майская и другие Памяти С.С. Белокриницкой Составление и публикация А. Раскиной



двадцатьдевятого декабря 2013 года умерла Сильвия Семеновна Белокриницкая.

Сильвия Семеновна была известной переводчицей с английского, немецкого, шведского, датского и голландского языков. О ее работе как литературного переводчика, о мытарствах переводчиков до падения железного занавеса, о долгожданной свободе, в конце концов пришедшей, о вечных переводческих проблемах, не зависящих от политической ситуации, Сильвия Семеновна рассказывает подробно в прекрасном интервью, которое взяла у нее в 2003 году скандинавист Александра Поливанова: <http://norse.net.ru/scan/10070301.html>.



Сима Белокриницкая

Но судьба Сильвии Семеновны определяется не только ее литературной деятельностью. Эпоха проехала по ней без жалости. Сильвия Семеновна родилась в 1928 году, а в 1937 ее родителей арестовали (отца расстреляли, а мать умерла в лагере).

Жила у родственников, к которым долго привыкала; не могла в начале 50-х найти работу – евреев никуда не брали, – задыхалась в гнетущей, безысходной атмосфере последних сталинских лет. Сильвия Семеновна рассказывала, что в 1952 году ей стало так невыносимо, что она загадала: если, когда ей исполнится 25 лет, ничего не изменится, она жить не будет. 25 лет ей исполнилось 15 марта 1953-го, а 5 марта, как известно, умер Сталин.



Сима с отцом Семеном Белокриницем, 1936 г.

Оттепель, диссидентское движение, перестройка, развал Советского Союза – всё это было частью ее жизни, захватывало ее в свой водоворот, составляло ее главный жизненный интерес. В конце интервью с А.Поливановой Сильвия Семеновна объясняет, почему она в 1991 году не пошла на презентацию книги шведского автора, которую она готовила: «...Я уже оделась, но так и не пошла, потому что в эту минуту разваливался Советский Союз, и я просто не смогла оторваться от телевизора!»

Наталья Шеманова, двоюродная племянница Сильвии Семеновны и очень близкий ей человек, подробно описала ее жизненный путь – по ее рассказам

(см. <http://www.urokiistorii.ru/history/people/51976>).

Добавим, прежде чем предложить читателю подборку материалов, посвященную Сильвии Семеновне, что нелегкий ее путь освещался даром дружбы, которым она была наделена в полной мере.

Добавим, прежде чем предложить читателю подборку материалов, посвященную Сильвии Семеновне, что нелегкий ее путь освещался даром дружбы, которым она была наделена в полной мере.



Сима с родителями, Семеном Белокриницким и Верой Барац



Сима Белокриницкая в семье Раисы Барац, сестры ее матери

Она сохраняла дружеские связи более чем полувековой давности, которые не прерывались даже с отъездом друзей за границу. Друзья Сильвии Семеновны скорбят о ее кончине.

Светлая ей память!

Тамара Майская Памяти подруги

Сильвия Семеновна Белокриницкая была моей близкой подругой. Познакомились мы в 1945 г. в МГУ (это был последний год, когда евреев принимали в Университет) на филологическом факультете. Мы учились на одном романо-германском отделении, на одном курсе и даже в одной группе.

Сима вспоминала, как была удивлена, что вместе с ней учится девочка (это я), которая так же, как она, читала роман Поля Бурже «Ученик». Между нами произошёл разговор, как у доктора Вернера и Печорина в «Княжне Мери». Сима что-то сказала остроумно значимое из этого романа, я ей так же остроумно значимо ответила.



Сима, 1934 г.

Мы стали закадычными друзьями. Только мне Сима рассказала, что у неё репрессированы родители. Сима родилась в Харькове в 1928 г. Отца арестовали в 1937 г. и расстреляли. Мать через полгода попала в лагерь и там умерла. Через много лет Сима получила денежную компенсацию за своих погубленных родителей. В моём самиздатском киносценарии тех лет «Наши гости расходятся», где действующие лица были названы своими именами, есть фраза, относящаяся к Симе: «У Симы была не только комната, у неё случайно была даже мебель, ибо месяц назад она получила пять тысяч — компенсацию за своего расстрелянного отца».

Родственники, у которых Сима жила, переехали в Москву. Хотя они её воспитали и относились к ней, как к родной дочери, жизнь у Симы была нелёгкая. Впоследствии родные выделили ей комнату, и она жила одна.

К нам примкнула моя подруга Эрика Увен, у которой родители были старыми большевиками. Отец — латышский стрелок, охранявший Ленина.

Мы были молоды и интересовались всем. Вели разговоры на политические, исторические, этические, эстетические,

литературные темы. Делиться мыслями мы могли только друг с другом. Мы не были советскими людьми.

Много лет спустя я не могла пройти без содрогания мимо старинного здания на Моховой. Там не устраивались свободные творческие дискуссии, там никто не спорил о путях развития науки или искусства. Зато там устраивались комсомольские собрания, на которых разбирались персональные дела юношей и девушек, пытавшихся хотя бы на дюйм уклониться от свыше установленной нормы. Там все боялись друг друга, и каждый самого себя.



Сима

Наше поколение было поколением, увядшим на корню. Нам не дали возможности развиваться.

За пять лет обучения мы пережили разгром культуры.

Жданов обозвал Ахматову «монахиней и блудницей». Её выгнали из Союза Советских Писателей и обрекли на молчание. Выгнали из ССП также Зощенко за рассказ «Приключения обезьянки». Сочли это клеветой на советскую действительность. В постановлении о журналах «Звезда» и «Ленинград» изничтожили Хазина за его пародию на «Евгения Онегина».

Потом был разнос в биологии. Посадили учёных генетиков. Стгноили в тюрьме замечательного ботаника, профессора Николая Вавилова. Бал правил безграмотный агроном Лысенко. И наконец появилось «Сталинское учение о языке», отрицающее учение Марра. Пострадал наш профессор Чемоданов, по учебнику которого мы учились. Мы должны были изучать сталинскую бредятину.

Сима пыталась себя и нас подбодрить: «Ему (т.е. Сталину) – 70, нам – 20. Мы его переживём». Сталин умер, а в нашей жизни мало что изменилось. Не хочу спорить с теми, для кого была «оттепель». Просто мы перестали бояться, что нас в любой момент могут посадить ни за что. И это уже было хорошо.

Между тем курс наш был интересный. Из него вышли люди, которые потом стали знаменитостями. Вместе с нами учился Лев Гинзбург, отличный переводчик немецкой средневековой поэзии. Он был влюблён в Симу. Сима ему отказала. Несмотря на это, он посвятил ей сборник стихов. Концовку одного стихотворения я запомнила:

«Но останется в сердце занозой
Изумительная харьковчанка
С душой Кармен и умом Спинозы».

Училась у нас на курсе Валя Мамонова (впоследствии её сын Пётр Мамонов стал актёром, певцом, лидером). Сима с ней дружила. В университете Валя была советской правоверной девочкой. Поработав несколько лет в Радиокomitee, где кругом была сплошная фальшь и ложь, Валя стала такой же «контрой», как и мы. Потом уже, работая в шведской редакции, она помогала Симе: делилась с ней переводами.

Сима, Валя и ещё одна наша сокурсница Таня Величко стали изучать факультативно шведский язык. Я над ними посмеивалась: «На извечный русский вопрос «Что делать?» отвечают: «Учить шведский». Посмеивалась я зря. Это потом стало их профессией.

Учились у нас на курсе и другие, ставшие потом известными, люди. Не буду перечислять.

На пятом курсе на нас свалилась новая напасть. Началась борьба с космополитами. По существу — это было дикое проявление антисемитизма. С факультета выгнали всех хороших преподавателей еврейской национальности. Их место заняли «жлобы», с которыми ни одна интеллектуальная девочка не хотела знаться. Кое-кого ещё и посадили: прекрасного преподавателя западной литературы Пинского. Арестовали нашего сокурсника Геннадия Файбусовича. Впоследствии он стал писателем. Живёт в Германии и пишет под псевдонимом Борис Хазанов.

На пятом курсе было распределение на работу. Рассчитывать на хорошую работу еврейке, да ещё с репрессированными родителями не приходилось.

Нас всех посылали в «тёмутаракань» преподавать немецкий язык. Я назначения не подписала, от чего имела

большие неприятности. Сима назначение подписала. Я ей сказала: «поедешь тогда, когда тебя вызовут. Не надо уподобляться зайцу, который бежал к волку, чтобы тот его съел». Сима меня послушалась. Никто её не востребовал.



Сима с двоюродной сестрой Майей

Сима устроилась на работу в районную библиотеку. Знаменательным в этой работе было то, что она читала лекции по русской литературе рабочим на заводах и стройках. (Кстати, эти лекции организовывала я, так как работала в то время в культотделе того же райисполкома.) Здесь же она познакомилась и подружилась с симпатичной женщиной Надей (фамилии не помню). Они общались вплоть до того момента, когда Надя уехала в Израиль. Но и потом Надя Симе звонила, интересовалась её жизнью, рассказывала, как счастлива в Израиле.

Хочу здесь рассказать то, о чём, кроме меня, никто не знает. Ещё в университете, в самые жуткие сталинские годы Сима вела в тетрадке личный (она не давала его никому читать) дневник. Назвала его «Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Дневники и всегда-то опасно было вести – часто личные дневники фигурировали как доказательства неблагонадёжности в политических процессах! – а уж в те времена тем более. Но Сима, преодолевая страх, дневник свой вела. И вдруг, сразу, как умер Сталин, уничтожила его. Я так жалею, что она со мной не посоветовалась: я ни за что не дала бы ей его уничтожить. Уж сколько лет прошло, а мне всё так же жалко симиною юношеского дневника...

В 1957 г. Сима поступила в заочную аспирантуру Института языкознания. Ещё в аспирантуре она поступила на работу в Институт точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) в Лабораторию машинного перевода. В 1959 г. в эту лабораторию пришла семнадцатилетняя тогда Саша Раскина. Она стала Симе верным другом. Через много лет, когда Сима заболела и перестала выходить на улицу, а Саша уехала в США, она регулярно Симе звонила, навещала, когда приезжала в Москву, выписывала специально для Симы литературные журналы «Знамя» и «Звезда», которые Сима с удовольствием читала.

Сима не любила лингвистику (в своём интервью она назвала это ненавистью), эта работа ей не нравилась, как и работа в Институте русского языка, куда она перешла. Но там она подружилась с будущей правозащитницей Ларисой Богораз и её тогдашним мужем Юлием Даниэлем, общалась с Костей Бабицким, который вместе с Ларисой Богораз выразил протест против ввода советских войск в Чехословакию, подписывала письма в их защиту.



Сима Белокриницкая

Отдушиной в те годы для Симы была работа в спецхране. Там она читала запрещённые книги немецких писателей и писала на них рецензии. Содержанием каждой прочитанной книги Сима делилась со мной.

Случайно ей попала книга рассказов Генриха Бёлля (эта была значимая случайность), Бёлля в Советском Союзе широко печатали. Сима перевела три рассказа. Перевод одобрили высокие профессионалы, дали ей перевести ещё три рассказа. Мать Саши Раскиной, писательница Фрида Вигдорова, разнесла эти рассказы по редакциям. Их напечатали. После этого Сима поверила в свои переводческие способности.

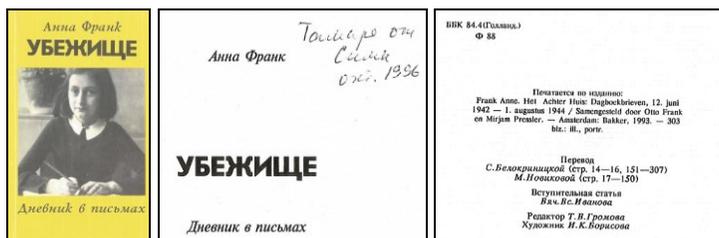
Сима переводила с английского, немецкого, голландского, шведского и датского. В том, что читатели Советского Союза заинтересовались книгами шведских писателей, есть, наряду с другими скандинавистами, и её заслуга.

У меня есть несколько подаренных мне Симой книг, с её полным, либо частичным переводами: «Красный Бук» с голландскими рассказами, «В мире гость» Пера Лагерквиста, «Немой фотограф Турель» Отто Ф. Вальтера, «Убежище (дневник в письмах)» Анны Франк. Впервые дневник Анны Франк был опубликован в Советском Союзе в 1960 г. с предисловием Ильи Эренбурга. Последний вариант, в котором одной из переводчиц была Сима, был дополненным. Туда вошли части дневника, которых не было в первом варианте.

Хотя Сима была очень успешна в своих переводах, она считала, что переводчиком стала случайно. Она говорила, что если бы она окончила школу в период гласности и перестройки, то начала бы изучать историю и стала бы политологом.

Политкой мы все трое: Сима, я и Эрика интересовались всегда. Читали «Хронику текущих событий», самиздат и тамиздат, которыми нас снабжали биолог Сергей Мюге и его жена Ася Великанова, свояченица Кости Бабицкого.

После суда над Иосифом Бродским, на котором присутствовала Фрида Абрамовна Вигдорова, и записала втайне от судьи (писала, не опуская глаз, а потом расшифровывала написанное) всё, что там творилось, она устроила читку записанного в доме у Симы. Мы были одними из первых, кому Вигдорова поверила свою крамольную запись.



Свобода в области культуры, которой после смерти тирана ждала я и многие другие, не появилась. Достаточно вспомнить дело Пастернака, ссылку Иосифа Бродского, арест Синявского и Даниэля.

Я писала киносценарии и рассказы «в стол». Сима была моим первым, главным, а иногда и единственным читателем. Если бы не было у меня такого заинтересованного читателя, как Сима

Белокриницкая, неизвестно, смогла ли бы я продолжать свой нелёгкий подпольный труд. Великое ей за это спасибо.

Последним местом симиной работы было издательство «Прогресс». Здесь Сима была абсолютно на своём месте. С радостью редактировала, считая, что каждый текст нуждается в редакции, писала предисловия к книгам, переводила.

Когда у Симы был «звёздный час»: членство в Союзе писателей, поездка на конференцию в Швецию, меня уже в Советском Союзе не было. Я эмигрировала в 1974 г. В 1992 г., в период гласности и перестройки, я приехала в Москву и привезла Симе в подарок свои книги «Погибшая в тылу» и «Корабль любви», изданные в США. Многие из этих книг Сима читала раньше в моих рукописях.

Я приезжала в Москву ещё два раза. Разумеется, в это время мы с ней общались. Потом я приезжать больше не могла, а Сима заболела и не выходила на улицу. Я старалась её радовать красивыми американскими новогодними открытками, звонила ей в день её рождения. Меня Сима регулярно поздравляла открытками с днём моего рождения. Меня радовало и одновременно поражало её хорошее расположение духа. Она всем интересовалась. Читала журналы и книги, смотрела телевизор, слушала скандальное радио «Эхо Москвы».

29 декабря 2013 г. Сильвии Семёновны Белокриницкой не стало.

Февраль 2014 г.

Людмила Стефанчук **Родная душа**

*Не следует говорить всей правды,
но следует говорить только правду.*

Жюль Ренар

*«Никакой правды не бывает без выдумки!
Напротив! Выдумка спасает правду,
для правды только и существует выдумка»*

Михаил Пришвин

Татьяна Максимовна Литвинова – дочь бывшего наркома иностранных дел – рассказала мне, что её мать – жена М. Литвинова, англичанка Айви Лоу, закончив писать воспоминания о нём, изрекла: «И теперь я уж больше никогда не буду верить мемуарам». Но я буду писать только правду.

Я не принадлежала к числу близких друзей Сильвии Семёновны Белокриницкой. Она была близкой подругой моей сестры и часто бывала в нашем доме. Я болталась среди Тамариных подруг как младшая сестра (бесплатное приложение), прислушиваясь к интересным разговорам. Со временем разница в

возрасте «сокращалась» (я моложе Симы на пять лет), сестра в 1974 году покинула Россию, уехала в США, оставив мне в наследство круг своих замечательных друзей. И я всё ближе узнавала Симу. Мне нравилось в ней всё: блестящий ум, почти афористичные высказывания, чувство юмора и, что особенно близко и понятно мне, самоирония, ироническое отношение к фактам окружающей действительности. Чтобы не быть голословной, приведу один пример её афористичности. Так, одного своего близкого знакомого, который казался многим, да и ей, «гулякой праздным» – а его посадили за инакомыслие, послав как диссидента в лагерь на пять лет – она окрестила «генералом делла Ровере». Генерал делла Ровере – герой кинофильма режиссера Росселлини о событиях, случившихся в Италии в годы второй мировой войны. Чтобы добыть сведения о подпольных организациях, гестаповцы сажают в камеру политзаключенных мошенника, выдав его за одного из руководителей Сопротивления генерала делла Ровере. Потрясенный мужеством и стойкостью политзаключенных, мнимый генерал обретает ранее потерянное чувство собственного достоинства и вместе со своими сокамерниками, пройдя через все муки и истязания фашистского застенка, идёт на смерть. По-моему, Сима кратко, но ёмко высказалась о своём друге, который не собирался быть героем, но стал им.

Её поразительная самоирония сложилась в процессе преодоления жизненных трудностей. Что бы могло служить более надёжной защитой от выпавших на долю унижений?

Мне, может, как никому, знакома её жизненная одиссея. Я, как и Сима, как и многие евреи в то время, столкнулась с трудностями в устройстве на работу, превратившись в результате из филолога-пушкиниста в историка, исследователя Новой Зеландии.

Как-то раз Сима дала мне на редактирование один из своих переводов (я в то время состояла литературным редактором в журнале «Азия и Африка сегодня»). Конечно, мне нечего было делать с её текстом, он был безукоризненным, и те малые поправки, которые я сделала, вряд ли улучшили его стилистику. Но я была очень горда тем, что она обратилась ко мне. Сима придавала огромное значение поиску точного, звонкого слова. Помню, как она была довольна, когда нашла русское выражение для доносящегося звука взрыва – «вдалеке бабахнуло». Она говорила, опять же афористично, что для хорошего перевода не обязательно в совершенстве знать (мне это тогда казалось кокетством) иностранный язык, с которого ты переводишь, а вот

русский – обязательно. Оказалось, это чистая правда. Наша знаменитая переводчица Нора Галь пишет в своей книге-руководстве для переводчиков и редакторов «Слово живое и мертвое» (настольная книга Симы): «Переводчику важно владеть в совершенстве *своим* языком – пожалуй, важнее, чем языком, с которого он переводит. Ибо сказанное на чужом языке надо понять и почувствовать, а на своем – еще и выразить, творчески воплотить, что подчас несравнимо труднее». Напомню, что Нора Галь дала Симе «путевку в перевод» (см. замечательное интервью Симы с А. Поливановой: <http://norse.net.ru/scan/10070301.html>).

Она чувствовала в себе призвание быть политологом. Мне ж приходилось, хотя бы по долгу службы, заниматься политическими проблемами, и в этой области её анализ – человека, всерьёз интересующегося политикой, был крайне ценен и поучителен для меня. Разбираться в политике её довольно рано заставили жизненные обстоятельства: расстрел отца, арест и смерть в лагере матери, шок от всего пережитого. Это не она вошла в политику – политика вошла в неё. Она, памятуя, что смерть Сталина спасла ей жизнь, рассылала многим из своих друзей 5 марта поздравительные открытки.

Когда главенствующим для характеристики человека стал «пятый пункт», она, естественно, заинтересовалась «еврейством», созданием государства Израиль, причинами развёртывания в Германии (да и в других странах) Холокоста. Жгучий интерес к этим проблемам она сохранила до конца жизни. Уже в постсоветское время в газетах, особенно еврейских, которые Сима по её просьбе покупал соработник, в других средствах массовой информации обсуждался вопрос о непризнании отдельными народами самого факта существования Холокоста. Особенно преуспел в этом непризнании интернетский сайт «Русское агентство новостей». Сведения, добытые в Интернете, ей поставляла я (Сима компьютером не владела и не хотела его у себя поставить). Помню, что особенно жаркое обсуждение вызвала у нас напечатанная всё на том же злополучном сайте статья главного редактора журнала «Наш современник», поэта Станислава Куняева. Он ввязался в дебаты о Холокосте и разместил на указанном сайте статью под названием «Жертвы и жрецы холокоста». Дело в том, что я с ним в одно и то же время училась на филологическом факультете по Отделению русского языка и литературы. Даже проходила в один и тот же день и час вступительное собеседование. Там мы с ним и познакомились. Он казался застенчивым, милым мальчиком. Сима никак не хотела

поверить мне, что в годы обучения ничего такого не было, он казался добрым, дружелюбно настроенным, порядочным человеком. Я рассказала по телефону содержание статьи Симе, и мы одновременно и в унисон составили о ней обоюдное мнение. Статья поражает эрудицией, хлётко, талантливо написана (не зря он учился на филолога). Но она произвела на нас, мягко говоря, удручающее впечатление. Станислав Куняев высказался по всем ключевым вопросам: истории, политики, православия, и т. д. Его взгляды оказались полностью противоположны нашим. Такого мракобесия я не ожидала от прежнего сокурсника. С грустью отнеслись мы с Симой к тому, что Куняев раскрывал (в скобках) еврейские псевдонимы, что практиковалось в официальных газетных материалах и статьях в худшие времена травли евреев как космополитов, расцвета антисемитизма, высшей точкой которого стало «дело врачей».

Слава богу, это «дело» не было доведено до конца, поскольку неожиданно (до сих пор не верится, что так повезло) умер главный управитель и вдохновитель его – Сталин. Уж он бы точно довёл его до логического конца – показательного процесса (а таких много на его счету), высылки всех евреев из Москвы, т.е. попытался бы (вслед за Гитлером) окончательно решить «еврейский вопрос». Моя сестра Тамара Майская в то время, когда большинство студентов прильнуло к приёмникам, «обливаясь слезами», а я поспешила домой, не на шутку опасаясь, что вот-вот начнутся еврейские погромы, выразила наше общее настроение, сказав подруге, которую встретила на улице: «Пойдём к нам пить шампанское. Тиран умер!».

Сима интересовалась не только историей и культурой евреев, но и конкретной политикой государства Израиль. Оно было создано в мае 1948 года, когда Сима училась в университете. Конечно, все мы приветствовали появление его на карте мира. Наконец-то евреи могли на что-нибудь опереться. Но я твёрдо знаю, что она (как и я) никогда не собиралась эмигрировать туда. Мне кажется, что она в принципе была за ассимиляцию евреев.

Недавно ушёл из жизни Ариэль Шарон. Он был наш современник. Сима всегда восхищалась его деятельностью, особенно в сфере военной стратегии. Она горячо одобряла его политику создания еврейских поселений на территориях, которые многими рассматриваются как арабские, признавала его заслуги в увеличении поселений в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, успешному содействию в расселении репатриантов в «городах развития» на этих территориях. Не сомневаюсь, что её бы порадовало, с какой благородной простотой, как торжественно,

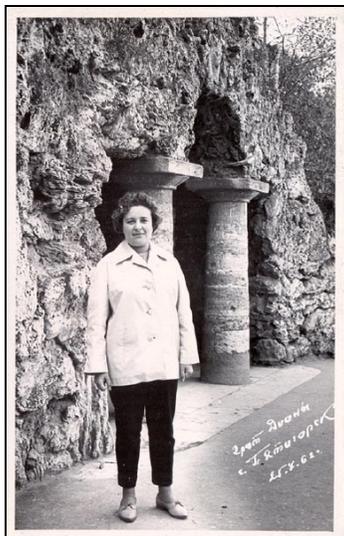
в присутствии представителей 20 государств похоронили этого замечательного государственного, политического и военного деятеля.

Как водится, платой за разнообразную талантливость была её приверженность к затяжным депрессиям, от которых она избавилась лишь на склоне лет. Осмелюсь рассказать эпизод, не слишком хорошо (а, называя вещи своими именами, просто скверно) меня характеризующий. Однажды в январе 1964 года, придя к нам в дом, она, как случилось не раз, начала жаловаться на жизнь, заявила, что хочет умереть. Через энное количество времени вдруг заторопилась домой, объясняя, что сейчас орудует Мосгаз. Это был Ионесян – один из первых советских серийных убийц, представлявшийся работником «Мосгаза» для проникновения в квартиры жертв. Я возьми и скажи «А чего тебе, ты же жить не хочешь?» Она обиделась и, по-моему, год не разговаривала со мной.

Я горько задним числом пожалела о своих словах. Ведь она могла подумать, что я упрекаю её в трусости. Её, которая при своей отвратительной анкете (там были и репрессированные родители, и уже ставший гибельным для устройства на работу пресловутый пятый пункт, катком прошедшийся по интеллигенции, особенно гуманитарной), подписывала письма в поддержку политических заключённых, против советского вторжения в Чехословакию, письмо протеста против процесса Гинзбурга-Галанскова. Боялась, но преодолевая свой страх, не будучи сама диссиденткой, ободряла и поддерживала своих «инакомыслящих» друзей. Их было немало в отделе академического Института русского языка, где она в то время работала. Там царила доброжелательная атмосфера, не в пример той, в которую ей пришлось окунуться, работая в издательстве «Прогресс», а впоследствии в «Радуге». Поэтому-то она и проработала там восемь лет, несмотря на то (она этого не скрывала), что не любила лингвистику. Перед подачей плановой работы, даже отчётов волновалась, чувствуя, как ей казалось, свою «неполноценность». Но она была разносторонне способной, могла осилить и эту науку. Просто у неё не было вкуса к занятиям структурализмом. И это, по всей видимости, тяготило её.

Унынию, которому она нередко предавалась, немало способствовали конкретные жизненные обстоятельства. Помню, как мой муж (у него был каллиграфический почерк, и он подрабатывал в Библиотеке для слепых, где работала Сима, которая и помогла ему получить эту работу) рассказывал о

гнетущей обстановке, царящей там. Одинокие забытые бытовыми неурядицами женщины стремились, во что бы то ни стало, устроить свою личную жизнь, т. е. выйти замуж. На какой-то миг они заразили Симу своими мечтаниями, и она тоже стала подумывать о замужестве, хотя раньше твёрдо понимала, что это – не её удел.



Сима Белокриницкая, 1962 г

В университетские годы к ней «сватался» ставший впоследствии знаменитым поэт-переводчик Лев Гинзбург. Он посвятил ей замечательное стихотворение, из которого, к сожалению, я помню только одну строку: «Изумительная харьковчанка с душой Кармен и умом Спинозы». Когда я позднее бестактно спросила, не жалеет ли она, что «упустила свой шанс», она со свойственным ей остроумием ответила, что «теперь бы всё равно развелась». Она ненавидела заниматься домашним хозяйством. Но только теперь, прочитав у её двоюродной племянницы Наташи Шемановой подробные сведения о симиной биографии, до конца поняла корень, основу этой безытности. Она же с ранних лет потеряла свой дом. Уют и обстановку милого, родного дома она не пыталась, да и не могла воссоздать.

Семью Симе заменяли друзья. Их было много – всех не упомнишь. В круг её друзей входили такие яркие личности, как Лариса Богораз, которая приняла участие в знаменитой

демонстрации протеста 25 августа 1968 года против ввода советских войск в Чехословакию, состоявшейся на Красной площади, за что и получила четыре года ссылки в Иркутскую область. Коллегой Симы был Константин Бабицкий, серьезный лингвист. Хотя он понимал, что, если он присоединится к друзьям, на его научной карьере будет поставлен жирный крест, он, как и Лариса Богораз, вышел на площадь. С Юлием Даниэлем Симу связывали особенно тёплые, доверительные отношения. Он, как известно, загремел в лагерь за то, что под псевдонимом Николай Аржак опубликовал свои произведения на Западе.



Ю.А. Айхенвальд с женой В.М. Герлин, 1989 г.
Фото из архива Е.Ю. Шиханович

Они были молоды, талантливы, и, несмотря на мрачную действительность, окружавшую их, умели радоваться жизни, по крайней мере пока были на свободе. Нередки были посиделки на квартире Юры Айхенвальда, расположенной недалеко от станции метро Автозаводская. По четвергам «открытый» дом устраивался и у известного диссидента крупного биолога Сергея Мюге, талантливого автора очень искренних, полных грустного юмора воспоминаний о своих злоключениях, судьбах друзей, вообще о диссидентстве, названных «Улыбка фортуны», выполненных одновременно в стиле плутовского романа и высокой трагедии. Он был мужем Аси Великановой, и она рассказывала, что, познакомившись с ним, прыгала на одной ножке, приговаривая: «Как хорошо, что ты сидел и потому у тебя так много интересных друзей!» Жизнь его действительно походила, как я уже заметила, на авантюрный роман: фронт, бесконечные отсидки, психушка, эмиграция.

Айхенвальд был сыном известного экономиста Александра Юльевича Айхенвальда, видного члена бухаринской

оппозиции, находившегося с 1933 года в заключении и впоследствии расстрелянного; внуком ещё более известного литературного критика и эссеиста Юлия Исаевича Айхенвальда, высланного в 1922 году из России. Юра и сам был в 1949 г. сослан в Караганду. Симулировал психическое заболевание и «лечился» в психушке. Вернувшись в Москву, восстановился в Педагогическом институте, закончил его и все свои силы отдавал детям, пытаясь в то страшное время научить их свободно мыслить. В 1968 году он и его жена подписали письмо в защиту А. Гинзбурга и Ю.Галанскова и были уволены из школы. Они сумели доказать незаконность действий властей, их постановили принять в школу обратно. Но Юра уже твёрдо решил уйти оттуда и вплотную заняться литературной деятельностью: писал стихи, рассказы, делал переводы. Собирались, гоняли чай. В качестве «угощения» подавалось в лучшем случае сухое печенье. Но было очень интересно. Юра был настоящим поэтом. Нам с Симой особенно нравилось стихотворение, где два раза повторялся почти тот же самый куплет: один раз в связи со смертью, другой – в связи с жизнью.

Просто смерть,
И кисть винограда,
И под кожицей свежий сок,
Никому ничего не надо
В самой дальней из всех дорог.

<...>

Просто жизнь,
И кисть винограда,
И под кожицей свежий сок –
А потом ничего не надо,
В самой дальней из всех дорог.

Старались не отставать от него и другие. К. Бабицкий исполнял под гитару песни Ю. Даниэля и свои собственные. Больше всего Симе нравились стихи, где чувствовался прорыв, тяга к свободе. Хотелось воли во всем: в деятельности, мыслях, в простом человеческом поведении, хотелось побывать за границей. Она ведь так любила менять обстановку, узнавать новое, знакомиться с людьми. Но она была невыездной. Только в 1989 году ей удалось, как она выразилась в интервью с А. Поливановой, «прорвать железный занавес» и всё же попасть в Швецию с делегацией. Второй раз в Швеции она была через год. Два выезда за границу за всю жизнь. А она ведь была специалистом по шведскому языку и литературе и могла бы значительно больше

преуспеть в своей области, если бы встречалась с коллегами, имела возможность не понаслышке знать и изучать полюбившуюся ей страну. Не зря народная мудрость гласит: «Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать».

В последние годы открылись возможности посмотреть мир. Но она была уже не та. Мучили болезни, диабет, сердце, Появилась одышка, головокружение. И она годами, уже будучи на пенсии, сидела в своей однокомнатной квартире, не в силах спуститься, а тем более подняться на свой пятый этаж. Грустно, печально всё это. Старость в нашем «процветающем» богатом государстве особенно безрадостна. Вот последний куплет песни «Цыганки» К. Бабицкого на слова Ю. Даниэля, который она, по моему, запомнила сразу.

Отвечаю я цыганкам: «Мне-то по сердцу
Вольной воли заповедные пути.
Но не кинуться, не двинуться, не броситься,
Видно, крепко я привязан – не уйти!»

Творческий тандем Ю. Даниэля с К. Бабицким был на удивление удачным. Последний куплет «Бутылочки» тоже трогал Симу, наверное, своей безнадёжностью.

Соберутся корабли всех морей:
Вон плывет письмо отправленное,
Подбирайте-ка бутылку поскорей!
У судьбы моряцкой выпрошенный,
Открывается конверт из стекла:
Ждет моряк, на скалы выброшенный,
Два столетья, чтобы помощь подошла.

Вот характерное напутствие Ю. Даниэля своим друзьям из Новогоднего марша-декларации:

...Не сдайся бессилью и горечи,
Не дайся неверью и лжи –
Не все лизоблюды и сволочи,
Не все стукачи и ханжи.

Шагая дорогами чуждыми
В какой-то неведомый край,
Друзей имена, как жемчужины,
Как четки перебирай

Будь зорким, веселым и яростным

И выстоишь, выстоишь ты
Под грузом невзгод многоярусным,
Под ношей твоей правоты.

Таких людей уж нет, и вряд ли появятся в ближайшем будущем. Они были бессребрениками и всегда были готовы помочь друг другу. Это отчётливо видно из симиной беседы с А. Поливановой. Приведу историю, случившуюся непосредственно со мной. Сима, когда появилось место в аспирантуре Института русского языка, в котором она работала, предложила мне поступать туда в аспирантуру. Принесла ряд книг для ознакомления (не помню каких). Помню только, что те книги, которые я поняла, были самыми простыми. На сложные, как я поняла, я не тянула. Я – не идиотка и поступать в аспирантуру, естественно, не стала (у меня была единственная работа в университете по лингвистике – что-то о неологизмах Маяковского). В лингвистике я понимаю, как свинья в апельсинах. Но Сима искренне хотела помочь мне. Наверное, не одной мне. Я уже упоминала, как она едва-едва устроившись, наконец, на постоянное место в Библиотеке для слепых, тут же помогла моему мужу получить дополнительный заработок.

Помню, как по моей просьбе Сима потратила целый вечер на выполнение моей просьбы. Мы с моей сокурсницей, Элей Вертоградской, зашли к ней. Эля тогда работала во ВГИКе, преподавала русский язык иностранцам. Так вот, Сима диктовала ей, что называется, с листа, свой перевод с немецкого языка книги, которую мы принесли. Не помню, что это была за книга и почему она нуждалась в срочном переводе, но Сима тут же (не задавая лишних вопросов) согласилась помочь не знакомому ей человеку. А сколько было таких случаев и таких людей, проходящих с просьбами!

В мае 2005 года мне довелось побывать у друзей в Эссене и Амстердаме, т.е. в странах, чей язык и культуру так успешно изучала Сима. По возвращении я поведала Симе и сидящей рядом с ней Соней Фридлянд (в своём интервью с А.Поливановой Сима назвала её переводчиком-корифеем с немецкого языка) свои непосредственные впечатления об увиденном. Не знаю, может, у меня, как у немалого числа евреев, подсознательно недоброе отношение к Германии и немцам, но я заявила, что мне абсолютно не понравилась Германия, особенно её «отрывистый», «стреляющий» язык. Заключила я свой рассказ риторическим вопросом: «И эта занюханная нация хотела завоевать мир?» Они

были в шоке, особенно Сима. Подруги пытались образумить меня, но я была непреклонна. Зато, какой восторг вызвала у меня, ленинградки «Северная Венеция». Я, конечно же, посетила в Амстердаме Музей Анны Франк и с удовлетворением убедилась, что экскурсовод знал фамилию Белокриницкая: ведь в симином переводе вышло второе издание дневника Анны Франк.

Я была и остаюсь яркой противницей возвращения Германии «трофейного» искусства. Мы не раз обсуждали с Симой эту проблему. Мы также не раз обсуждали вопрос, как относиться к обещанным Германией компенсационным выплатам евреям за понесённые ими материальные (духовные невосполнимы) потери в ходе Второй мировой войны. Эту компенсацию, кстати, по посланным ей мною справкам, давно получила в Америке моя сестра. Я решительно считала и считаю, что немцы обязаны каждому из нас выдать обещанную сумму в 2,5 тыс. евро. Я люблю, как и Сима, путешествовать, а я не так богата. Да и потом – это дело принципа. Сима как-то колебалась. Она уже не могла по состоянию здоровья путешествовать, но в деньгах нуждалась даже больше, чем я. Однако у неё было стойкое нежелание заполнять любые анкеты. Но я настояла, и она с помощью соработника из еврейского фонда заполнила довольно подробную анкету и послала её, как требовалось, в организацию “Claims Conference”. С тех пор мы почти каждый день в разговорах по телефону упоминали о своих несбывшихся мечтаниях. Сима умерла, не дождавись ответа “Claims Conference”. Я его получила 15 апреля 2013 года с уверением, что они не позднее, чем через полгода начнут осуществлять свои выплаты в России. Я думаю, что российские евреи, в отличие от евреев, живущих в других странах, никогда не получают эти жалкие 2,5 тыс. евро. В первую очередь, из-за противодействия российских чиновников, которые ничего не делают либо из зависти, либо просто не хотят себя утруждать. Да и нет никакой гарантии (и служащие “Claims Conference” это отлично знают), что чиновники не употребят всю полученную сумму на свои личные нужды.

Симину квартиру на пятом этаже хрущёвки часто посещали люди. Она была общительна, развлекала и утешала собеседников. Ею восхищались многие, о чем свидетельствует обширный круг её друзей. Но знаете, есть такой анекдот: приходит пациент к врачу. «Доктор, мне так плохо, замучила тоска, помогите». – «Ну чем я могу Вам помочь – это депрессия. Впрочем, в город приехал клоун, необычайно смешной, всех веселит. Попробуйте сходить на его выступление, может, ваше

настроение улучшится». – «Да, да, доктор, конечно, но этот клоун я».

Я была у Симы в начале декабря. Порадовали чистота и порядок в доме: квартира не была захламлена ненужными, старыми вещами. Наконец-то восторжествовала справедливость (правда, с опозданием на десятки лет). Ей, уже старой и больной, стали помогать по хозяйству социальные работники из Фонда помощи репрессированным, из еврейского благотворительного центра «Шаарей Цедек» и даже из собеса.

Несмотря на все превратности злополучной судьбы, она смогла в конце жизни избавиться от самого тяжкого греха – уныния, оставаясь до последнего часа человеком с ясным умом и открытым сердцем. Она сумела внести весомый вклад в развитие искусства перевода, оставить заметный след в литературном процессе. Честь ей и хвала!

Но самое главное – она оставила глубокий след в сердцах своих друзей.

Любимый ушёл человек в мир иной.
Всегда оставался самим он собой.
Умел, как никто, удержаться в седле.
Не это ли главная цель на земле?
Не прогибался под горькой судьбой,
Скажи после этого, что не герой!

И в заключение – несколько слов в оправдание себе, почему, как я понимаю, надо писать заметки об умершем, если хочешь сохранить светлую память, оставить представление о нём своим потомкам. В письме от 7 января 2014 года мой друг-историк Ирина Михайловна Смилянская (специалист по истории науки), зная, что я занята воспоминаниями о Симе, писала мне «Мой совет (еще "страна советов"): пишите небольшие, впрочем, и большие тоже воспоминания о тех, кого Вы знали и кто оставил след в нашей жизни. У Вас это получается. Я как человек, занимающийся историей науки, знаю, как ценно найти подобные воспоминания. Будьте здоровы. И.С.». И в ответ на мои жалобы, что они получаются слишком личные: «Людочка! Воспоминания – очень личное дело, и от себя никуда не уйдешь, иначе будет исследование, реферат или что-то подобное. Пишите! И.С. 12 января 2014 г».

Вот я и написала – только то, что я доподлинно знаю.

И опять же, поскольку я люблю поэзию, хочется завершить мои очень личные воспоминания строчками Василия Андреевича Жуковского:

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: *их нет*,
Но с благодарностью: *были*.

Февраль 2014 г.

Александра Раскина Сима, как я ее помню

Мы познакомились с Симой в конце 1959 г. Я только той осенью поступила на вечерний филфак МГУ и должна была работать. С огромным трудом, хотя и на временную должность, удалось Вяч.Вс. Иванову, замечательному лингвисту и замечательному человеку, взять меня лаборантом в лабораторию машинного перевода ИТМиВТ (Института точной механики и вычислительной техники), которой он тогда заведовал. Евреев в этот институт брать не хотели ни за что, но как-то они всё же понемножку просачивались – вот и Сима, например. Мне было 17 лет, Симе 31, но, странным образом, мы подружились. Сима меня сразу же взяла под свое крыло, и благодаря этому я избежала многих сложностей, неловкостей, конфликтов, попавши в сложную взрослую среду сразу из кокона семьи и школы.

Потом уже, поработав в разных местах, я вывела такую формулу: когда приходишь на новое место, то сперва кажется, что все вокруг очень хорошие люди, очень хорошо друг к другу относятся и очень хорошо относятся к тебе. Прежде всего, и довольно скоро, выясняется, что не все хорошо друг к другу относятся; потом что не все такие уж хорошие; и уже в последнюю очередь – что не все любят тебя.

Сима, объясняя мне, что к чему в сложной динамике рабочего коллектива, помогла мне довольно быстро и почти безболезненно пережить этот шок.

Мне повезло: у меня была очень квалифицированная наставница. Сима превосходно разбиралась в людях и ситуациях, всегда давала четкие и образные им (и людям, и ситуациям) определения.

Когда я пришла в лабораторию, Сима уже дружила с Феликсом Дрейзиным.

Феликсу было 24 года, он кончил филфак МГУ, куда приехал из Ташкента; у него была очень нелегкая судьба, и сам он был, хоть и ярким и талантливым, но очень нелегким в общении,

очень нетерпимым человеком. Всё его раздражало, чуть ли не все казались ему лживыми или, на худой конец, неискренними (иногда не без оснований); претензий к Советской власти у него было множество, и он с трудом сдерживался, чтобы не вести «антисоветских» разговоров при всех.



Лаборатория машинного перевода в ИТМиВТ (1959-1960).

1-й ряд (слева направо): Т. Николаева; американец Энтони Бут;
заведующий лабораторией В.В. Иванов;
немножко вверх, в очках, М. Ефимов.

2-й ряд: слева – Г. Тарасова; С. Белокриницкая.

3-й ряд: А. Раскина, Л. Быкова; Ф. Дрейзин; В. Воронин; Т. Захарова;
К. Бабицкий (в профиль)

Но с Симой (а потом и со мной) он себя не сдерживал. Я потому так подробно пишу про Феликса, что такие непростые и, как говорится, «сердитые» молодые люди, как он, тянулись к Симе, она как бы притягивала их к себе собственной трудной судьбой, собственной неудовлетворенностью окружающим миром, жгучим интересом к общественной жизни. Еще когда она в середине 50-ых работала в библиотеке для слепых, в ее орбите появился совсем молодой тогда Илья Габай, будущий диссидент и арестант, а тогда студент Педагогического института, из компании Визбора, Кима, Якушевой и сам поэт. Я помню одно его четверостишие про его профессоров-языковедов во время XX съезда:

Всё рушилось, катилось,
Являлась святость блефом,
А ими фрикативность
Решалась как проблема.

К Габаю я еще вернусь, а сейчас вернемся к Феликсу. Сначала мы дружили втроем: Сима, Феликс и я, но с Феликсом было дружить очень трудно, он всё вокруг себя разрушал, ссорился со всеми, даже со своими искренними доброжелателями, и в конце концов, рассорившись со всеми, уехал учителем в узбекский кишлак, где больше года не задержался и мотался сперва по России, а потом по разным материкам и умер уже в Америке – в 54 года¹.

А мы остались дружить вдвоем с Симой.

Сима дружила со мной не как с маленькой девочкой, а как со взрослым человеком. Я, наверно, не всегда соответствовала, но старалась. Сима ходила в Спецхран читать немецкие книги, которые она реферировала, и часто мне что-то из них пересказывала. Помню, как она поделилась со мной своим удивлением, что, мол, часто у западных писателей читаешь про 50-летнюю женщину что-нибудь вроде «ее полные округлые руки», «ее открытое летнее платье», и т. д. Я тоже подивилась, но, боюсь, что мы воспринимали это по-разному: Сима – с надеждой, что еще есть лет двадцать впереди, а я – с удивлением, что такое пишут про старушек.

Но потом я как-то подросла, а Сима в старушку не превратилась, и разница в годах не исчезла, конечно, но как-то стерлась.

Подругой Сима была замечательной. Люда Стефанчук рассказывает, как она пришла к Симе со своей подругой (Симе не знакомой) и попросила перевести для нее кусок из немецкой книги с листа. И Сима, даже не спрашивая, зачем, села и целый вечер переводила с листа. Ну – это службишка, не служба. Да, конечно, не каждый будет так выкладываться, да еще для незнакомого человека. Но вот что Сима сделала для меня.

Мама моя умерла в августе 1965 г. Я тем летом кончала университет. В июне – сессия, а мама уже лежала и не вставала. Я забросила все занятия, но как-то «на автопилоте» всё сдала, кроме немецкого. Немецкий мы начали учить в январе, и я его забросила, еще не создав немецкого фундамента. В сущности, почти и не начала язык учить. А экзамен был такой. Надо было дома прочесть первые 30 страниц неадаптированной (!) немецкой книги – как сейчас помню, «Лиззи» Вайскопфа. На экзамене

¹ Феликс оставил след сразу в трех культурах: русской, еврейской и американской. В 1990 г., уже после его смерти, в США вышла его книга на английском языке: “The Russian Soul and the Jew: Essays in Literary Ethnocriticism”.

преподавательница могла ткнуть пальцем в любой абзац, и мы должны были его прочесть, перевести и знать все слова. Мы должны были также принести тетрадку, куда мы выписывали новые слова, и преподавательница могла назвать любое слово оттуда, а мы его должны были перевести. Обязательно надо было завести и принести такую тетрадку, чтоб было видно, что ты работал дома с текстом. Что делать?

Ну буквально: «Ты знаешь китайский?» – «А когда сдавать?» – Сдавать надо было через четыре дня. Я кинулась к Симе. Приходила к ней домой три дня подряд и сидела у нее целый день. Сперва ничего не могла ни правильно прочесть, ни, тем более, перевести. Слова я в словаре не смотрела: Сима служила мне словарем, и это была огромная экономия времени. По ходу дела она говорила мне, что и как надо перевести и очень коротко и сжато объясняла, почему именно так.

Я всё это в себя впитывала, отключила себя от окружающего мира: только Сима, я и немецкий. На второй день уже меньше было новых слов, на третий – и того меньше, и уже многое я сама могла переводить. Тридцать страниц мы к концу третьего дня добились, весь четвертый день я всё повторяла и задалбливала слова из тетрадки. На пятый день пошла и сдала экзамен. Нет, не на 5, а на 4. Но надеяться-то я могла только на тройку – ведь с нуля, в сущности, начинала.

Я считаю, что Сима совершила просто подвиг. Во славу нашей дружбы.

И вот тут я плавно перехожу к лингвистике. Все вспоминают, что Сима не любила лингвистику, да Сима и сама это говорила в нескольких интервью (см., например, <http://norse.net.ru/scan/10070301.html>). Говорят, что вкуса у нее не было к лингвистике. Я позволю себе не согласиться. Я считаю, что Сима была лингвистична до мозга костей, изумительно чувствовала слово, глубоко понимала, как какой язык устроен и как что надо переводить, какие когда подыскивать конструкции и структуры. Она всё это знала, понимала и чувствовала. Но она хотела этим знанием и пониманием пользоваться: если нужно переводить, то переводить; если нужно меня в три дня немецкому научить, то научить, – а формулировать закономерности, описывать их математическим (часто псевдоматематическим) языком, рисовать графы и таблицы, давать новые определения грамматическим категориям и т. д. – ко всему этому у нее не было вкуса. Как Онегин «рыться не имел охоты в хронологической пыли бытописания земли», так Сима не имела охоты рыться в лингвистической пыли (да еще в какой-то якобы «структурно-

лингвистической») бытописания языка. Или, если обратиться не к Пушкину, а к Габаю, то не хотела она «фрикативность решать как проблему».

Ярким примером такого лингвистического наукообразия была так называемая «аппликативная модель» Симиного заведующего сектором в Институте русского языка С.К. Шаумяна. Немудрено, что к работе в рамках этой модели у нее не было вкуса. Помню, как Шаумян еще до создания этого сектора, в 1960 г. делал доклад в нашей лаборатории машинного перевода. Когда Шаумян ушел, Феликс сказал: «Да будь я и негром преклонных годов, всё равно бы я это не понял».

А что Сима была необыкновенно способна к лингвистике, так это не только мое скромное мнение. Наш патриарх языкознания А.А. Реформатский, у которого Сима в конце 50-х училась в заочной аспирантуре, говорил о ней: «Вот ведь как, работала в какой-то библиотеке, никому не известная, а взяла и расцвела там для структурной лингвистики!»

И чутье, и понимание в этом плане у нее были очень сильные. В 1961 году Сима перешла из ИТМиВТ в только что образовавшийся в Институте русского языка сектор структурной лингвистики. Туда же перешел и Ю.Д. Апресян, еще не слишком известный тогда широкой лингвистической общественности. Сима мне очень скоро сообщила: «Имей в виду, Апресян – гений. Попомни мои слова, он будет знаменитый, не меньше Мельчука». Игорь Мельчук был у нас лингвист номер один, мы все на него молились, и я подумала: «Ну, это Симахватила!» А оказалось, что нет. Наберите в Google Ю.Д. Апресян, и убедитесь сами.

И еще я хочу высказать соображения, которые пришли мне в голову, когда я читала воспоминания о Симе ее подруг Тамары Майской и Людмилы Стефанчук. Они обе упоминают ситуации, в которых Сима чего-то боялась или чего-то испугалась.

Вела всё самое страшное время при Сталине личный дневник, а когда Сталин как раз умер, вдруг «испугалась» и уничтожила его. Так ведь что удивляться, что молодая девушка, на глазах которой в детстве увели отца, а потом и мать, и оба погибли, и травму эту не залечишь, она уже навсегда, – вдруг испытала острый приступ страха, когда Сталин умер! Кто знал, как это всё обернется, как себя поведет «сброд тонкошеих вождей»? Не тому надо удивляться, что Сима уничтожила дневник, а тому, что в самые страшные годы вела его.

Или вот письма подписывала. Оказалась в самой горячей точке: в ее секторе было целых два участника демонстрации на Красной площади в августе 1968 г.: научный сотрудник

Константин Бабицкий и аспирантка Лариса Богораз. Общественная жизнь захватила и закружила ее. Сима понимала, что это опасно. Рассчитывала свои силы, профессиональной диссиденткой не становилась, но рядом с диссидентским движением была всегда: туда рвалась ее душа. Помню, она рассказывала мне, как где-то в 70-х годах профессиональный, можно сказать, диссидент, друг Сахарова и арестованный два раза – в 72-м суд приговорил его к психушке, а в 83-м уже к лагерю – математик Ю.А. Шиханович пригласил ее на домашний концерт Галича. Не вживе, а в записи, но всё равно это была возможность послушать Галича на хорошей тогда еще редкой технике. Сима пошла и была потрясена: в маленькую двухкомнатную квартиру набилось человек 60 народу. А среди них ведь и стукачи, небось, есть. Это не избранный, узкий круг друзей, а такой уже контингент, куда может кто угодно затесаться. Но ведь не ушла Сима, осталась слушать Галича. На этом ее испытания не кончились. Во время концерта зазвонил телефон, и Шиханович взял трубку. И Сима услышала, что он говорит: «А мы сейчас тут Галича записи слушаем. Нас тут человек 60 собралось. Приезжай!» Сима с большим юмором рассказывала, как теперь у нее уже не оставалось сомнений, что прослушивавшие телефон Шихановича кагебешники сейчас нагрянут и всех повезут в кутузку. Но – не нагрянули. А Шиханович, как мне потом рассказывали, после концерта, когда все ушли, сказал домашним: «Ну вот, теперь бы еще такой концерт Окуджавы устроить – и можно садиться!»

Но это – герои, железные революционеры. Идущие на Голгофу. Нам до них далеко. И кто не чувствует в себе сил вступить в их когорту, и не должен себя насиловать: это делается только по призванию, и не всех нас требуют к этой священной жертве.

Так надо ли удивляться, что Сима сидела там, слушала Галича и боялась? Нет, не надо. Она абсолютно обоснованно боялась: в этот раз не пришли кагебешники, а в другой пришли. Повторяю: удивляться надо, что боясь, Сима поехала на этот концерт, и боясь же, не ушла с него после пресловутого телефонного звонка.

Мы хотели читать – и читали, получали и передавали Самиздат и Тамиздат. Боялись, но читали. Не читать – не могли.

Мы хотели слушать Галича. Это было опасно. В Одессе посадили Рейзу Палатник за то, что при обыске у нее нашли кассету с песнями Галича. Но не слушать Галича – мы не могли.

Сам Галич ожидал в любое время ареста. И боялся его. Железным человеком он не был, но не петь не мог.



Ю.А. Шиханович и А.Д. Сахаров на даче Сахарова в Жуковке, 1977 г.
Фото из Архива Сахарова (Москва)

Да и железные люди, бывало, имели предел. Илья Габай, про которого я уже говорила, стал диссидентом, был арестован, отсидел два года, вернулся в Москву, и через какое-то время опять к нему начали подбираться, опять замаячил впереди арест. Он этого не выдержал и покончил с собой: выбросился в окно.

Еще раз повторяю: мы жили в страшное время. Не в такое страшное, как наши родители, но, если не сидеть тихо (без Самиздата, Тамиздата, без «вражеских голосов», без общения с иностранцами и т. д.) – так очень даже бывало страшное время. И не то странно, что мы боялись чего-то, а то странно, что, боясь, и читали, и слушали, и с иностранцами общались. Хотя не всем и не всегда это сходило с рук.

И я счастлива за Симу, что она дожила до времени, когда можно было читать, что угодно, и слушать кого угодно – и не бояться. Дай только Бог, чтоб это время не кончилось!

Февраль 2014 г.

Разговор поколений

Беседа Сильвии Семеновны Белокриницкой с ее двоюродным внуком Иваном Шемановым о споре лириков и физиков, ноябрь, 2013 год.

- Как я читал, спор физиков и лириков начался в 1959 году. Это совпадает с вашими воспоминаниями?

- Да, примерно так. Это сочетание – физики и лирики – ввел Борис Слуцкий. У него было стихотворение: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне». Действительно, так оно и было. По этому поводу была какая-то дискуссия в «Комсомольской правде», но, как всегда, а особенно в те времена, все дискуссии кончались тем, что «победила дружба». «Мы возьмем с собой в

космос ветку сирени» – вот такой был лозунг. Ну, а на бытовом уровне это проявлялось в том, что физики стали в нашем обществе какой-то кастой. Масса секретности, они заполняли какие-то анкеты, потом образовался институт ФИЗТЕХ, уже сугубо элитарный. Ужасно почетным казалось все это. Особенно проявлялось это в отношении к ним женщин. Мои знакомые сокурсницы очень ценили, если у них были друзья в компании физиков, а если выходили замуж за физиков, были сугубо счастливы, что мужья у них физики. Но, конечно, была другая часть, которая оппонировала этой точке зрения. И к этой части относилась я. Я интуитивно считала, что, наоборот, гуманитарные науки и люди, занимающиеся ими, это что-то более тонкое и более нужное и что это еще когда-то себя проявит. И как мне кажется, сейчас мы как раз и имеем дело с тем, что эта точка зрения подтвердилась. Потому что, как у Ильфа было в записных книжках: мол, все ждали, когда будет радио. И что же, радио есть, а счастья нет. И вот теперь мы живем и видим, что да – физики, да – достижения, да – был всплеск тогда, может быть, даже всплеск сейчас – но счастья все равно нет. И сейчас как-то все больше умных людей говорят, что 21 век будет век гуманитарный и что именно на путях гуманитарных знаний можно ожидать какого-нибудь прорыва. Ну и, кроме того, чисто бытовой момент. Эта каста была исключительно самодовольна. Вот у них был такой шуточный гимн физфака, переделанная «Дубинушка». Начиналось это так:

Тот, кто физиком стал,
Тот скучать перестал,
На физфаке не жизнь, а малина,
Только физики соль,
Остальное все ноль,
А философ и медик – дубина.

Ну и дальше по тексту – в общем, довольно остроумная песня. Но хуже всего было то, что они действительно так считали. Они считали, что только физики – соль, остальное все – ноль. И в бытовом общении с ними это всегда проявлялось.

- *Вы помните какие-нибудь случаи из жизни, из вашего личного опыта?*

- Из моего личного опыта я могу только сказать, что моя сестра училась на физфаке и замуж вышла за своего сокурсника. И я общалась иногда с его приятелями, ездила в поход с ними. Вот в это время я и ощущала такое вот отношение и такие настроения.

Кроме того, у моих подруг были мужья физики, инженеры. Среди них я это чувствовала.

- *Но некоторые физики тогда стали своего рода нравственным стержнем советского общества. В каком-то отношении они стали пророками в своем отечестве. Как Андрей Сахаров, например, или Петр Капица. Как вы относитесь к этому? Что это значит по-вашему?*

- Физики такого крупного масштаба, как Сахаров, были нужны государству. Собственно, мелкие физики тоже были нужны. Они были прикормлены. В их почтовых ящиках платили гораздо больше, чем за ту же работу в любом другом учреждении, каком-нибудь промышленном. Как сейчас стало ясно, для того, чтобы заниматься физикой, нужна свобода вообще, а не только в области физики, и это стало ясно и нашему государству. Им позволяли какие-то вольности: что-то читать, что мы не читали, что-то смотреть, устраивать какие-то выставки – запрещенных художников, которых мы не видели. И это в какой-то мере способствовало их развитию. Шире кругозор, больше думали, имели какие-то материалы, для того чтобы сравнивать. Ну и, кроме этого, дух веет там, где захочет. То, что был Сахаров... но был и Солженицын тоже. Среди гуманитарных ученых многие были повыбиты, были академические дела какие-то, когда профессуру гуманитарную уничтожали. На философском теплоходе кого-то выслали. В основном гуманитариев.

- *Ну это немного раньше было.*

- Да, это немного раньше, но из кого могли вырасти эти люди, у кого они могли учиться?

- *Как вы говорите, это была некоторого рода государственная идеология, связанная с утилитаризмом.*

- Да, конечно.

- *Из наиболее ярких примеров, которые лежат на поверхности, это фильм Михаила Ромма «Девять дней одного года», где воспевается подвиг физика, научное достижение, которое может привести к какому-то прорыву, который сделает жизнь более комфортной. То есть во имя комфорта он совершает свой подвиг.*

- Честно говоря, я этот фильм смотрела давно и никогда не пересматривала. Поэтому уже не очень его помню. Ну вот, среди тех, кто занимался физикой, были и самоотверженные люди, которые действительно совершали научные подвиги. Это так и было. А кроме того, государственной идеологией создавался имидж именно такого физика, именно такого святого служения.

Точно так же, как образ Штирлица должен был создать образ разведчика.

- В аналитической литературе по поводу этого спора как важной части массовой культуры Советского общества 60-х годов высказывалась мысль, что физика еще и потому воспевалась, что гуманитаристика как наука неточная полностью себя дискредитировала во времена сталинизма. И легкость обращения власти с ней дискредитировала ее как саму науку. А в физике речь идет всегда о точных формулах и формулировках. И то, что люди знали от них, это была искренность и невозможность лжи. И этим объясняется, почему физики из самого высокого эшелона, как раз о которых мы говорили, диссидентствовали и стали идеалами для своего поколения. Они были образцом для шестидесятников, которые в целом чувствовали потребность в искренности, в правде, вопреки некоторому советскому официозу, видели в физике подкрепление своих надежд на эту искренность, а в гуманитаристике видели теневую игру, бесконечную работу с властью.

- Одним из символов «оттепели», была статья об искренности в литературе, кажется, автор был Померанцев, и опубликована она была в «Новом мире». То есть потребность искренности в литературе и возможность и необходимость этой искренности была ясна не меньше, чем в физике. Но действительно, так получилось, что гуманитарии скомпрометировали себя во времена сталинизма очень здорово. Тут ничего не скажешь, и, конечно, это было плохо. Да, конечно, физика точная наука, но это не значит, что не надо прорываться к искренности в гуманитарных науках. Сейчас именно об этом и идет речь. И к этому стремятся.

- Как я понял, дискуссия началась в «Комсомольской правде» и здесь она проходила изначально. Это было замечание инженера Полетаева по поводу заметки Ильи Эренбурга по вопросу о том, насколько важно для советского человека духовное развитие вообще. Там говорилось, что женщина, которая написала Эренбургу письмо, жаловалась, что ее возлюбленный не уделяет достаточного внимания Блоку, насколько я помню. Эренбург критиковал тех, кто недостаточно уделяет внимания поэзии, а инженер Полетаев ему отвечал, что, действительно, мы живем во времена, когда это все не актуально. Но симптоматично даже другое. Полетаев был кибернетиком, а кибернетика тогда вышла из тени, в момент «оттепели». И даже не ядерная физика, и не теоретическая физика, которой занимались Сахаров, Ландау, а именно кибернетика, наука об

управлении информацией, заняла главенствующую роль. И в тот момент была попытка все подвести под кибернетику, попытаться все объяснить управляемыми системами информации. Вы помните это?

- Я помню это хорошо, потому что я как раз работала в Институте точной механики и вычислительной техники и занималась машинным переводом. И кибернетика не просто вышла из тени – она стала разрешена, потому что она ведь была до этого полностью запрещена. И я присутствовала на всех этих собраниях, академик Берг нам покровительствовал. Я как раз тогда этим занималась: структурной лингвистикой, кибернетикой. И мы читали эти книги, и я читала, правда, довольно мало понимая. Очень боролись за главенство кибернетики и действительно считали кибернетику наукой наук. Но лично мой служебный опыт в этом институте кончился тем, что три года я там проработала, а потом наше направление закрыли, потому что тогда еще не было материальной базы для машинного перевода и для лингвистики, связанной с математикой. Компьютеров не было. У нас в институте, где я работала, была вычислительная машина, которая занимала целый этаж. И никакого выхода не было от этой работы. Мы писали какие-то алгоритмы, что-то делали, но воплотить это во что-то практическое, так, чтобы действительно могли переводить таким образом – это стали делать только через много лет. И наше направление закрыли, и мы все пошли странствовать кто куда. Я до сих пор считаю, что кибернетика красивая наука. Однако это не значит, что я согласна со всеми высказываниями кибернетиков. Мне, например, говорили, что академик Лаврентьев как-то тоже неуважительно высказался о гуманитарных науках и о тех, кто ими занимается. Так что на таком высоком уровне тоже это было.

- Вы все подробно рассказали. Еще один вопрос. В чем заключался кастовый разрыв между физиками и остальным населением?

- Я бы сказала, что в основном это высокие зарплаты. Подкупленная часть всегда была за власть, за идеологию. Хотя мы говорили, что и среди физиков были диссиденты, но вот даже муж моей сестры был не против режима, хотя по его биографии он вполне мог оценивать советскую власть так же, как я. Это было типично. Или просто не хотели думать. Хотели лучше пойти в кино, ни на что не обращать внимания.

- Среди ваших друзей насколько сильны были антисоветские настроения в 60-х годах? Насколько это обсуждалось?

- В 60-х годах, после «хрущевской оттепели», уже обсуждалось на все сто процентов. Мы были неосторожны, я много боялась... В университете нет, в университете все молчали. Было очень опасно. У нас с нашего курса и посадили кое-кого. Но это было в 50-е годы. Хотя и там у меня нашлись люди, которым я как-то рискнула довериться, и оказалось, что они думают так же. А были и другие, с которыми я начинала дружить, а в какой-то момент мы натыкались на разговоры об идеологии и о советской власти. И тут был конец. Я понимала, что придется эту дружбу прекращать. Потому что нельзя говорить.

Я помню, что, когда я была на первом курсе, со мной познакомился Алик Есенин-Вольпин, который был тогда в аспирантуре или на последнем курсе – он был старше намного, и он учился на мехмате. Там у нас была галерея, где все гуляли и все разговаривали, и он любил тоже гулять по этой галерее. И он маленькой девочке-первокурснице говорил всякие такие вещи. Провожал домой, и я была в ужасе, что он нес, с моей тогдашней точки зрения. То есть я тоже так думала, но мне было так страшно, но и вместе с тем было очень интересно.

Потом, когда я стала работать в самой обычной советской массовой библиотеке, все как-то говорили, не стесняясь, всё, что хотели. Почему так было, я не знаю, но это было так. Я сама была неосторожна и на неосторожных людей натыкалась. А в 60-е годы я уже начала работать в Институте русского языка – это вообще был рассадник демократии и самиздата. Вот там была аспирантка Лариса Богораз, там был младший научный сотрудник Костя Бабицкий, и другие люди, говорившие то, что хотели. Дальше, когда я перешла работать в издательство, там уже надо было держать язык за зубами – и крепко. Это была нормальная советская идеологическая организация.

- То есть, могли узнать и уволить?

- Именно так. Был у нас такой Лен Карпинский, зав. редакцией научного коммунизма. У него то ли обнаружили самиздат в ящике служебном, то ли он написал какую-то статью в журнал «Вопросы мира и социализма». В общем, у него было персональное дело, и его уволили. И директора, который в свое время привел его и на собрании пытался защищать, тоже уволили. Так что у нас там все было сурово.

- А как вы относились к Есенину?

- Я о нем не слышала ни в школе, ни в университете. Книг его не продавали, и в библиотеках их не было. Я познакомилась с Есениным только тогда, когда я устроилась на работу, уже после смерти Сталина, в библиотеку для слепых. Там был один товарищ,

который знал много хороших стихов, любил читать и хорошо читал, в частности, несколько стихотворений Есенина. Из этих стихотворений я помню только одно, в котором у собаки отобрали щенков. Хорошее стихотворение. А так мне Есенин чужд совершенно: и как личность, и мотивы его творчества, за исключением мотивов тоски и плохого настроения. Эти темы я у всех поэтов любила.

- *Просто странно. Зелинский популяризовал стихи Есенина. Странно как-то. С одной стороны он травит Пастернака, заступает за физиков, а с другой стороны, он популяризирует Есенина.*

- Он был очень интеллигентным человеком и принадлежал к довольно видным деятелям, к хорошим. Но он как-то прогнулся под власть.

- *Все же интересно. Почему он выбрал Есенина и не выбрал Пастернака? Мне кажется, что Пастернак несомненно более талантливый, чем Есенин. Несоизмеримо талантливее. А он почему-то решил защищать Есенина.*

- То, что Пастернак более талантлив, чем Есенин, сейчас это уже банальность. Это обычная истина, это все знают. Но тогда, в те времена он мог этого и не знать. Не понять. Пастернак в общем-то сложный поэт. Он не прост.

- *Но у Пастернака есть поэтические переводы – Шекспира, Гете, даже если не считать его стихов. Это огромный пласт и замечательные переводы.*

- Да, хотя он относился к переводам так же, как Ахматова: они относились к ним, как к поденной работе. Но эти переводы очень хорошие.

Я вот себе представляю: может быть, они все хотели, искренно хотели поверить, слиться с народом. Нам всем так «повезло» в кавычках, что мы уже знали, что все это гроша ломаного не стоит, а они-то не знали. Тот же Пастернак в какой-то момент думал, что надо подавить в себе зародыши, грубо говоря, интеллигентности и идти с народом и искать его правду, понимать его. И поэтому, может быть, Зелинский популяризировал Есенина.

- *То есть сам Зелинский испытывал похожие проблемы.*

- Да, все они. Как Корней Чуковский и Пастернак на I съезде писателей восхищенно между собой говорили о Сталине. Вряд ли Чуковский и Пастернак для виду говорили между собой. Наверно, у них и вправду что-то было. Хотя они себя накачивали, заставляли себя думать именно так.

- *Да, действительно. Я тут читал статью о том, как переводить Платонова на английский. Даже не статья, а*

стенограмма с какой-то конференции. Там написано, что Платонова очень легко переводить на английский. Поскольку английский язык более тяготеет к абстрактности, а у Платонова много абстрактностей, то его легко переводить. Там же приводятся слова Бродского, который писал послесловие к «Котловану» на английском языке в 1973 году и он там сказал: «Благ язык того народа, на который нельзя перевести эту книгу».

- Но, с другой стороны, я не представляю, как можно переводить книги, не зная реалий, о которых идет речь. И как можно англичанину передать реалии, которые содержатся в романах Платонова.

- *Но он считает, что эти реалии и от современного русского человека ускользают. Предыдущим поколением они понимаются, но современному человеку все это совершенно непонятно. Масса-единица-ноль. Это непонятно.*

- Как же тогда переводить?

- *Вероятно, с развернутым комментарием. Проблема просто адаптации литературы – насколько она живая. Мне кажется, что Платонов – очень живая литература. Она по-другому интерпретируется, чем обычно: эти его канцеляризм.*

- Эти его канцеляризм. Эта стилизация под стиль той эпохи. Не нашей уже, а до нас. Но мы ее с детства помним. Вот так же у Трифонова. Я очень люблю Трифонова, но думаю, что его могут любить только наши современники, и причем дети репрессированных. Потому что у него намеки на это везде где-то рассыпаны, но человек, который не знает этих реалий, он их не поймет.

- *В моем кругу популярны Ерофеев и Довлатов из литературы того времени.*

- Но я, один раз прочитав Ерофеева, больше читать не хочу. Я не люблю пьянство. Мне нравится Солженицын. Но скорее он не писатель, а публицист. Вот «Раковый корпус» у него – это художественное произведение.



Борис Гасс Встречи с Александром Межировым Фрагменты из книги¹



секретарь Союза писателей, завидев меня с Эдиком Елигулашвили² в холле, несказанно обрадовался.

– Ребята, к нам едет небезызвестный молодой поэт, потенциальный переводчик с грузинского Александр Межиров, сделайте доброе дело, встретьте его на аэродроме, обласкайте и отвезите в гостиницу. Номер забронирован.хлопот у вас с ним будет мало, зато пользы для грузинской литературы очень даже много.

С того дня мы крепко подружились с Сашей.

Интересный он человек, Александр Межиров. Крупный поэт с чутким литературным слухом и поразительной памятью, он способен сутками читать наизусть стихи, процеженные сквозь сито его тонкого вкуса. Он приобщил нас к поэзии Цветаевой, Пастернака, Ахматовой, Мандельштама. Он поддержал в начале пути Евтушенко, Ахмадулину, Вознесенского, горячо рекомендовал их нам в переводчики. Впрочем, это не помешало ему написать впоследствии стихотворение (не знаю, опубликовано ли) с таким началом:

Понаделал я игрушек –
женек, беллок и андюшек...

Помню, Женя подарил Саше при мне свою книгу «Обещание» с припиской «исправиться».

Пути их, к сожалению, разошлись, хотя и Белла, и Женя всегда с теплотой и благодарностью говорят об Александре Межирове.

Когда на одном из литвечеров Беллу спросили, как она относится к резкой статье о ней и Евтушенко, напечатанной

¹ Борис Гасс «Люблю товарищей моих», Израиль, 2012.

² Тбилисский литератор, друг автора.

Межировым, она ответила: «Не знаю, что пишет Саша прозой, но я его нежно люблю».

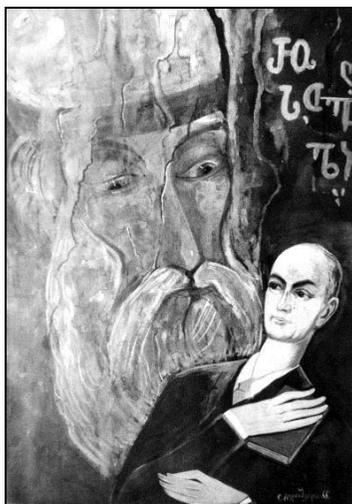
Краткое отступление.

Сашина страсть к чтению стихов однажды привела к умильному исходу. Как-то на Верийском спуске у него отлетела подмётка. Саша заглянул к холодному сапожнику (который шьет неутепленную обувь), и пока тот чинил ботинок, Межиров читал вслух стихи о Грузии.

Закончив работу и получив «гонорар», сапожник вдруг снова приладил ботинок и торжественно вбил ещё один гвоздь:

– Это за поэзию!

Мы долго сидели в гостинице, обменивались литературными новостями, Саша, конечно, читал стихи. Прервал нашу беседу телефонный звонок. Первый секретарь СП Грузии Ираклий Абашидзе пригласил нас всех к себе на хаши. Что и говорить, для нас это была большая честь.



Ладо Гудиашвили
Портрет Ираклия Абашидзе у фрески Руставели
Фото картины – подарок И.Абашидзе автору

Под конец застолья Саша шепотом предложил мне свозить в Мцхета Эдуардаса Межелайтиса с супругой. Оказывается, они ещё в Москве договорились о встрече в Тбилиси. Я обрадовался случаю познакомиться с замечательным литовским поэтом.

На этот раз мы решили изменить маршрут и показать гостю вместо Свети Цховели развалины древней крепости Самтавро – музей под открытым небом.

Тамошний сторож дядя Миша, наш «хранитель древностей», словоохотливый старик с цепкой памятью, показывал, рассказывал, читал надписи.

Межиров долго разглядывал древнюю скульптуру, и все не мог понять, на каком языке выбита надпись. Дядя Миша подсказал: на арамейском. Саша воскликнул: «На том самом языке, на котором Понтий Пилат допрашивал Христа!» Наш сторож в тон ему, но, почему-то обращаясь к Межелайтису, сказал:

«Запомните, вы стоите на земле, которая никогда не знала еврейских погромов!»

Мы поехали на плато фуникулера. Саша Межиров увлеченно читал новые переводы, Межелайтис с грустинкой в голосе заметил:

– Ираклию Абашидзе везет больше моего. Саша любит переводимые им стихи. А вот Борис Слуцкий жалуется, будто переводил мои стихи, мучимый бессонницей и головной болью...

Через несколько лет Межелайтис интеллигентно вспомнил о нашей встрече и прислал мне свою книгу «Карусель».

«Дорогому другу Борису Гассу – на добрую память о Тбилиси с чувством благодарности, уважения и симпатии.

*От сердца! Ваш Э. Межелайтис
Вильнюс
04.V.1967 г.»*

Саша «таинственный человек», всякий раз без предупреждения возникал в Тбилиси. И частенько привозил с собой то одного, то другого молодого русского поэта, снабжал нас новыми кадрами переводчиков грузинской поэзии.

Однажды он «по секрету» сообщил мне с Эдиком о визите гонимого властями удивительного художника Юрия Васильева.

– Представляете Юрино состояние, сказал он, широко раскрыв и без того огромные глаза. – Едва появилась о нем статья с репродукциями в «Лайфе», его исключили из Союза художников, начали преследовать. Юра запуган, подавлен, надо его подбодрить!

А тут как назло вдоль перрона выстроились военные, видно, встречали важную особу. Саша запаниковал: «Юра может возомнить Бог знает что, надо его спасти»...

Поезд остановился, грянул военный оркестр. Юра вышел из вагона розовощекий, улыбающийся, он даже не обратил внимания на строй солдат!

В Тбилиси Юра принялся «шлепать» портреты друзей. Изобразил он и Сашу Межирова.



Ю.Васильев. Портрет Александра Межирова

С того дня начались Сашины казни – он объявил войну собственной внешности: изменил прическу, стал поджимать губы, щурить глаза... «Вот она, действенная сила искусства!» – смеялись мы.

В дальнейшем мои с Сашей отношения, пожалуй, наиболее точно определил сам Межиров в дарственной на книге стихов:



«Дорогому и доброму Борису – дружески, сердечно, почтительно».

Мы часто встречались, много ездили по Грузии, ночи напролет читали стихи, говорили о литературе, Саша тепло

принимал меня в Москве, и все же наши отношения не переросли в короткую, тесную дружбу, носили оттенок почтительности.

Так мы держали дистанцию до самого приезда Межирова в Израиль.



Александр Межиров и Борис Гасс в Герцлии

А на другой день после встречи Саша вдруг предложил: «Давай будем на "ты", понимаешь, на этой земле я не могу быть с тобой иначе. Помнишь, как я дружил с Фейгиным³, и все же до самой его смерти мы оставались на "вы", но на этой земле вот не могу»... Затем Саша подарил мне свою новую книжку, и когда я прочитал первые слова «Родному Борису», то понял, что холодок почтительности в наших отношениях исчез окончательно. Впрочем, улетучился холодок, а почтительность осталась.

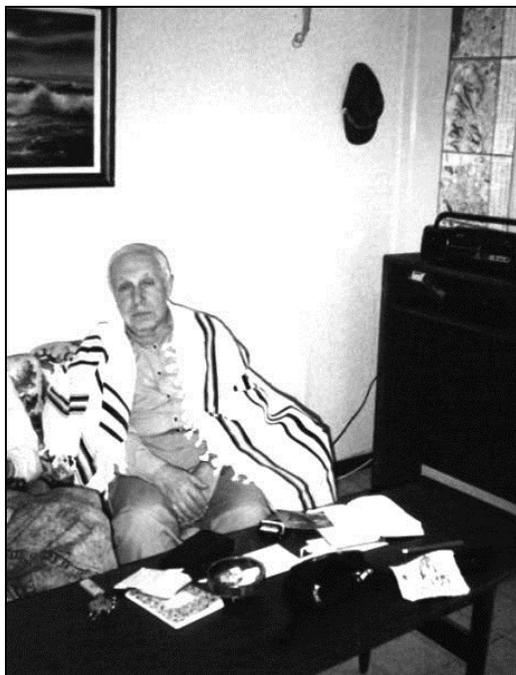
Саша выглядел уставшим, сильно постаревшим. Он успел уже побродить по Тель-Авиву, «ни минуту не присел, всю ночь на ногах», вот мы и решили посидеть у него в номере, болтали до поздней ночи.

Сашин номер в гостинице был крохотный, но Межиров словно в оправдание сообщил, что здесь жил Сергей Михалков.

Спустя пару дней мы поехали в Крестовый монастырь. Саша говорил о первых впечатлениях от Израиля, «я просто в шоке, никогда не испытывал такого», я же осторожно

³ Эммануил Фейгин, 1913-1985, тбилисский литератор, писавший по-русски.

процитировал «некрещеный, необрезанный». Межиров удивился: «Откуда ты знаешь это мое новое стихотворение?» Пришлось напомнить автору, что оно было недавно напечатано в «Огоньке»...



А. Межиров в Израиле

В прежние времена провести с Сашей день было все равно, что прочитать антологию русской поэзии. Но в тот день я не услышал от Саши ни одного стихотворения. И памятуя его слова об Иосифе Бродском: «Знаешь, почему он не приезжает в Израиль? Боится, что потом не сможет писать стихи», – я со страхом подумал, не произойдет ли нечто подобное и с самим Межировым. Но этого не случилось, Саша даже в Израиле написал несколько стихотворений.

Войдя в храм Крестового монастыря, Саша молча подошел к фреске Руставели. Я расчехлил аппарат и попросил его стать ближе к колонне. Саша категорически отказался: «Что ты, Боря, разве я могу фотографироваться рядом с Руставели?!» Скольких я снимал на фоне этой фрески, и только Саша Межиров не посмел приблизиться к портрету великого старца.

Уже покидая Крестовый монастырь, я решил подарить Саше какой-нибудь сувенир и купил у предприимчивого сторожа-араба серебряный маген-давид. И лишь значительно позже осознал всю потешность ситуации – я дарю «некрещеному, необрезанному» русскому поэту купленную у араба в грузинской церкви еврейскую шестиконечную звезду...

Больше мы не встречались.

Как несправедливо жестоко обходится порой судьба с человеком.

Александр Межиров, способный часами читать наизусть стихи в кругу друзей, на склоне лет потерял память... Воистину, «артиллерия бьёт по своим».

Отчаянный солдат, возивший на грузовике под обстрелом хлеб и продукты в блокадный Ленинград, умер на чужбине в доме престарелых.

Александр Межиров уже в США так подытожил свою жизнь:

Ты прожил жизнь... Там прожил, где тебя
Всегда любили, ненавидя люто,
И люто ненавидели, любя, –
Так надо было небу. Не кому-то.
Ты избран был не кем-то. Избран им,
Служить ему – и только, – и за это
Был ненавидим всеми и любим
По воле неба и Его Завета



Семен Резник

Против течения

Академик Ухтомский и его биограф

Документальная сага с мемуарным уклоном
(продолжение. Начало в №12/2013)¹

Глава тринадцатая. Голиков

1.



Николай Васильевич Голиков был всего на два с половиной года старше Василия Меркулова, но в университет поступил раньше на пять лет. И настолько же раньше стал специализироваться по физиологии. Придя в лабораторию Ухтомского желторотым юнцом, он заявил: «Я буду работать здесь!»

Ухтомскому эта нахрапистость не понравилась. Но от щуплого паренька веяло такой неприкаянностью и сиротством, что он пригласил его к себе домой – погреться.

Алексей Алексеевич уже жил не один – к нему перебралась Надежда Ивановна Бобровская, бывшая служанка умершей сестры Лизы. Она уверенно взяла в свои руки его нехитрое домашнее хозяйство.

Когда продрогший студент, подрабатывавший сколачиванием ящиков на Сенном рынке, пришел к профессору, в квартире было почти так же холодно, как на улице. Надежда Ивановна поставила на еще не остывшую кухонную плиту низенькую скамеечку, на которую тот и взобрался, а Алексей Алексеевич пристроился рядом с плитой и, по своему обыкновению, стал неторопливо расспрашивать.

Николай Голиков родился в семье учителя царскосельской гимназии. Дедом Голикова по матери был Константин Алексеевич Яшумов, состоятельный и почтенный предприниматель, поставщик мясных продуктов для императорского дворца. В семье родилось восемь детей, из них выжило четверо. В революцию собственность семьи была

¹ Сокращенный вариант. Полная версия статьи на сайте журнала «Семь искусств»: <http://7iskusstv.com/2014/Nomer6/SReznik1.php>

конфискована. Мать не смогла перенести лишения и умерла в 1918 году в возрасте 34 лет. Пятидесятилетний отец, овдовев и оставшись без пенсии, вынужден был нищенствовать в прямом смысле этого слова: ходил с котомкой по дворам и просил подаяния. Детей он рассовал по сиротским приютам, но Николай из приюта сбежал и вернулся к отцу – с твердым намерением продолжать учебу. Гимназия, в которой он раньше учился, а еще раньше преподавал его отец, теперь называлась единой трудовой школой. В ней давали бесплатный завтрак. Ради второго завтрака Николай поступил в реальное училище, посещал его во вторую смену. Еще он подрабатывал на скотобойне, где расплачивались ведрами крови забитых животных. Таков был питательный приварок к обедкам, которые приносил отец.

Учеба давалась Николаю легко, в 1921 году, когда ему едва исполнилось 16 лет, он окончил школу и поехал в Петроград – поступать в Военно-медицинскую академию, так как мечтал стать врачом. По малолетству его не приняли, и тогда он подался в Питерский университет, где возрастных ограничений для поступления не было. Как мы помним, будущая писательница и математик И. Грекова тоже поступила шестнадцатилетней.

Николай жил сначала у тетки, но не поладил с ее мужем и оказался на улице. Не одну холодную ночь пришлось ему провести под мостом, среди бездомных бродяг, пока получил место в студенческом общежитии.

В лаборатории Ухтомского студент Голиков работал с увлечением и азартом, Алексей Алексеевич мог сполна оценить его способности и преданность делу. В 1926 году он окончил курс и поступил в аспирантуру при физиологической лаборатории в Петергофе. Лаборатория входила в состав Естественного-научного (позднее Биологического) института, созданного по инициативе А.А. Ухтомского, А.С. Догеля и других профессоров университета. Институт располагался в бывшем дворце герцогов Лейхтенбергских. Связь с городом была непростой, поезда ходили долго и нерегулярно, но для аспирантов имелось общежитие, в котором и поселился Голиков. Многие сотрудники тоже жили при институте, он представлял собой «до самой войны своеобразную семью ученых, островок интеллигентности, и тем самым как бы негласно противостоял укреплявшемуся тоталитарному обществу»².

2 Г.Г. Кошелева, М.В. Владимиров. Заметки к биографии Н.В. Голикова. svetlitsa.spb.ru/Texts/NVG_BIO.htm

Окончив аспирантуру, Н.В. Голиков стал работать старшим научным сотрудником Петергофского института и одновременно ассистентом Ухтомского на кафедре физиологии ЛГУ. С 1932 года он исполняет обязанности доцента и сам читает несколько лекционных курсов. В 1934 году в советской науке вновь вводятся ученые степени, отмененные революцией; Голикову, по совокупности работ, присуждается степень кандидата наук. (В 1944-м он защитит докторскую диссертацию). На его счету большое число научных публикаций – в русле работ школы А.А.Ухтомского. О том, какое место он к тому времени уже занимал в науке, говорит тот факт, что на XV международном съезде физиологов 1935 года – первом таком съезде в России – он выступил с тремя докладами.

Еще аспирантом Николай Голиков женился, – на гувернантке детей профессора Догеля. Семья быстро росла.

«Увеличение семьи вынуждало Н.В. работать по совместительству, и он читал лекции в институте им. Лесгафта, во II Медицинском институте (который он одновременно закончил, получив, наконец, диплом врача, о котором так мечтал с детства), консультировал в отделе Патологии ВИЭМ, с большим научным интересом руководил лабораториями электрофизиологии то в Нейрохирургическом ин-те им. Поленова, то в Психоневрологическом ин-те им. Бехтерева (законодательство тех лет разрешало институтам принимать совместителей только на 2 года, вот Н.В. так и работал по 2 года: то в одном, то в другом)» – сообщают его биографы³.

Одна из обязанностей Н.В. Голикова состояла в демонстрации опытов на лекциях А.А. Ухтомского (как когда-то сам Ухтомский ассистировал Н.Е. Введенскому). Тогдашняя студентка Г.Г. Кошелева с большим юмором вспоминает:

«Звенел звонок, входил А.А., и начиналась лекция. При первых же словах лектора сидевший за кафедрой человек удовлетворённо закрывал глаза и спокойно, благодушно погружался в сон. Это поражало и вызывало интерес. Мне прошептали, что это – доцент кафедры физиологии Николай Васильевич, что студенты прозвали его “спящей красавицей”, и что он проводит демонстрации опытов на лекциях А.А.

Во время лекции было очень интересно наблюдать, как Н.В. внезапно (и своевременно) просыпался, вставал, в руках его появлялось животное, поблизости оказывалась аппаратура, и он уверенно и быстро показывал всё, что требовалось. Случалось, он

³ Там же.

слишком увлекался пояснениями к очередному опыту, и только почувствовав едва заметное раздражение А.А., который не любил, чтобы демонстрации затягивались, со вздохом садился и погружался в прежнее сонное состояние. Если демонстраций на лекции не было, то Н.В. вроде бы и не просыпался вовсе.

Но надо сказать, что на протяжении долгих лет многие, как и я, имели возможность убедиться, что “сон” Н.В., изредка даже сопровождавшийся лёгкими всхрапываниями и настигавший его на всех заседаниях, конференциях, симпозиумах, съездах и собраниях, непостижимым образом способствовал тому, чтобы всё, сколько-нибудь достойное внимания, никогда не ускользало от него и надолго оставалось в памяти. Его выступления с тонким анализом заслушанного (а выступал он почти всегда) обнаруживали присущий ему дар сразу схватывать основное и видеть перспективы дальнейших исследований»⁴.

Что касается лекций самого Н.В. Голикова, то, как вспоминает та же мемуаристка, «как-то особенно, празднично, говорил Н.В. о закономерностях межцентральных взаимодействий. Он увлечённо и подробно рассказывал историю создания А.А. [Ухтомским] учения о доминанте, анализировал механизмы её формирования и её исходы, рассматривал принцип доминанты как общий и основной принцип в работе нервных центров во всех возможных аспектах. И с особой торжественностью говорил Н.В. о новых, развиваемых с 1936 г. представлениях А.А. о физиологическом покое, как о торможении “иной”, ещё мало изученной природы»⁵.

2.

Годы войны выявили незаурядный характер Н.В. Голикова. Больной, доживающий последние месяцы Ухтомский не мог и не хотел покинуть блокадный Ленинград; тяжелое дело эвакуации кафедры, то есть оборудования, сотрудников и остававшихся еще студентов, легло на плечи Голикова. В ленинградской больнице умирала его жена; он должен был ее оставить на попечение еле передвигавшего ноги Алексея Алексеевича. Известие о ее смерти он получил в Саратове, куда перебралась кафедра. Через две недели после прибытия в Саратов кафедра возобновила научную и преподавательскую работу. Лаборатории Ухтомского с первых дней войны переключились на оборонную тематику – проблемы травматического шока. В Саратове, под руководством Голикова,

4 Г.Г. Кошелева. Из воспоминаний о Николае Васильевиче Голикове.

http://svetlitsa.spb.ru/Texts/NVG_GGK.htm

5 Там же.

эти работы были продолжены. В короткое время удалось получить ценные для спасения раненых результаты.

Тем не менее, после смерти Ухтомского, заведующим кафедрой Голикова не утвердили. Основная причина – его натянутые отношения с секретарем парторганизации университета. Предпочтение было отдано профессору Л.Л. Васильеву. Если у Николая Васильевича это решение вызвало обиду, то он никак ее не показывал. Он не пытался перейти на более высокую позицию в другой университет или в академический институт. 20 лет, до смерти Л.Л. Васильева, он оставался в скромной роли второго профессора кафедры. Свою задачу он видел в том, чтобы оберегать и развивать научное наследие Ухтомского. К его памяти он относился с сыновней трепетностью. Об этом свидетельствует эпизод, сохраненный для нас той же мемуаристской – Г.Г. Кошелевой.



Профессор Николай Васильевич Голиков

Когда, после снятия блокады, университет вернулся в Ленинград, Николай Васильевич посоветовал ей поступить в аспирантуру по кафедре физиологии, и она пошла поговорить об этом с новым завкафедрой Л.Л. Васильевым. Тот был любезен, но предупредил, что в аспирантуре всего два места; на одно из них он берет свою ученицу, а на второе есть 11 претендентов, так что ей придется участвовать в очень жестком конкурсе. Обескураженная Кошелева пошла домой к Голикову, передала содержание

разговора и спросила совета: не лучше ли ей подать на кафедру биохимии?

«Произошло нечто неожиданное и даже невообразимое: Н.В. взъерошился, усы и брови встали дыбом, он вдруг стал выше ростом и, сверля меня глазами, начал кричать в полный голос: “Вы!!! Вы!! Вы можете так себя вести? Вы знали А.А. и работали у него! Он так к Вам относился! А Вы? Куда идти? Что это? Вы на это способны? Как можно?!” Это был взрыв. Я была совершенно уничтожена. В щёлку двери выглядывали из соседней комнаты испуганные дети. Не помню, как я выскочила из квартиры. Очнулась на мосту Лейтенанта Шмидта; сбавив шаг, дошла до дому. Пришла в себя, и тут меня осенило: вот в чём беда! Алексей Алексеевич! Н.В. чувствует себя виноватым, что не смог исполнить его волю, удержать в своих руках кафедру...

Позже я поняла, что Н.В. давно уже принял решение никогда не бросать кафедру. И в самом деле, ни тогда, ни после он совершенно не проявлял интереса ни к каким самым заманчивым предложениям, а предложений этих было не мало»б.

3.

Верность Голикова памяти учителя и его школе подверглась жестокому испытанию в самые тяжелые для биологической науки годы. С санкции и при одобрении Сталина, в августе 1948 года состоялась печально знаменитая сессии ВАСХНИЛ, на которой подверглась разгрому классическая генетика, а учение Лысенко, демагогически названное мичуринским, было объявлено самым передовым, материалистическим, марксистско-ленинским, единственно верным. Н.В. Голиков тяжело переживал эти события, оказывал посильную помощь уволенным генетикам и ясно предвидел, что в физиологии вскоре тоже появится «единственно правильное учение», коим станет «материалистическое» учение И.П. Павлова. Упреждая события, он стал писать статьи о «материалистической» сущности школы Введенского-Ухтомского и ее полном соответствии учению Павлова.

В 1950 году, по образцу сессии ВАСХНИЛ, разразилась Павловская сессия двух академий (Академии Наук и Академии Медицинских Наук). Голиков выступил на ней с теми же тезисами. Это было одно из немногих выступлений, в котором никого не клеймили и не разоблачали. Как вспоминает ученик Ухтомского М.А. Аршавский, «в дни Павловской сессии представители школы Ленинградского университета (Битюков, Голиков и я), поскольку

б Там же.

школу хотели переключить на павловские рельсы, решили пойти к Т.Д.Лысенко, который в то время фактически возглавлял биологическую науку. Мы решили убедить Лысенко оказать противодействие уничтожению целого научного направления – школы Введенского-Ухтомского. Добиться свидания с ним было нелегко. Но, когда мы пришли к Лысенко, нас поразила его фраза: "Что же вам от меня надо? Вас много, а я один". Это говорило об его вере в собственную непогрешимость. Когда мы ему изложили свою просьбу, он сказал: "Вы занимаетесь ерундой, вся физиология должна перейти на павловские рельсы, все животноводство. Всех коров, свиней надо кормить по звонку, по лампочке, чтобы они знали, что делать; тогда мы решим проблему животноводства". Это показывало убожество его взглядов, с одной стороны, а с другой – понимание важности воспитания автоматов. Тем не менее, многие годы в животноводстве применялись "павловские" методы. Это была нелепость, невежество»⁷.



Трофим Денисович Лысенко

К Павловской сессии мы еще вернемся, но вопрос о том, как Голикову и другим ученикам Ухтомского удавалось сохранять его наследие, – за пределами нашего повествования.

После смерти Л.Л. Васильева в 1964 году Н.В. Голиков возглавил кафедру физиологии Ленинградского университета и

7 М.А. Аршавский. О сессии двух академий.
<http://www.ihst.ru/projects/sohist/memory/arsh94os.htm>

руководил ею около 20 лет. Последние годы был консультантом. Он умер в 1988 году.

Глава четырнадцатая. «По Копернику»

1.

2 апреля того самого 1927 года, когда на митингах в Ленинградском университете студентов накачивали ненавистью к не вполне пролетарским писателям, таким, как Лев Гумилевский и Пантелеймон Романов, а сын Чан Кайши метал громы и молнии в собственного отца, А.А.Ухтомский выступил на заседании студенческого научного биологического кружка ЛГУ. Название доклада «Доминанта как фактор поведения».

Когда ученые анализируют сложный процесс, объяснял Ухтомский, то они стремятся разложить его на простые составные элементы. В физиологии нервной деятельности первичным элементом является рефлекс. Нервная система в целом – это агрегат огромного числа элементарных рефлекторных реакций. Постоянство этих реакций служило отправным пунктом в научном анализе. Ученые долгое время как бы не замечали те случаи, когда раздражение нервных окончаний вызывало «не ту» реакцию, которая ожидалась. Но такие факты накапливались, игнорировать их становилось все труднее. Тогда к ним стали относиться как к аномалиям, отклонениям от нормы.

Алексей Алексеевич подчеркивал, что научная школа, к которой принадлежал он сам, то есть школа Введенского, придерживалась иной точки зрения. Введенский и его ученики исходили из того, что рефлекторная реакция на одни и те же раздражения зависит от внешних и внутренних условий, в которых она протекает. Одно и то же воздействие в разных условиях может вызвать прямо противоположную реакцию, возбуждение может перейти в торможение. Это не отклонение от нормы, а такая же норма. Рефлекторная реакция организма – это производное от ряда независимых факторов, одни из них вызывают большее, другие меньшее действие. То воздействие, которое вызывает наибольшее, решающее действие, будет *доминирующим*. Другие воздействия ответной реакции не вызовут, а только усилят то, которое *доминирует*.

Ухтомский привел ряд конкретных примеров, когда под воздействием предшествующего возбуждения или по другим причинам возникают «не те» рефлексы, то есть нервная система не реагирует или «неправильно» реагирует на данное внешнее раздражение. К тому времени им и его учениками было проведено много опытов на высших теплокровных животных (собаках, кошках), на земноводных (лягушках) и на моллюсках; в

литературе были описаны опыты на медузах, оказавшихся – в силу своей примитивности – особенно удобной моделью для демонстрации закона доминанты.

Ухтомский выделил четыре основных признака доминанты. Во-первых, повышенная возбудимость нервного центра; во-вторых, его способность накапливать возбуждения, пересылаемые из других центров; в-третьих, способность стойко поддерживать возбуждение; и, в-четвертых, поддерживать его достаточно длительное время. Именно это наблюдалось в его первом опыте 1904 года, когда раздражение двигательного аппарата животного усилило реакцию предвозбужденного центра дефекации. Аналогичные процессы происходили и в других опытах, о которых он рассказал.

Важное место в докладе Ухтомского уделено критике представлений о том, что деятельность нервной системы сводима к законам физики и химии, в особенности к закону наименьшего действия, который гласит, что система, выведенная из равновесия, стремится вернуться к нему с наименьшими затратами энергии. Ухтомский доказывал, что к живой природе этот закон не применим. Эту мысль он развивал с особым пафосом и страстью, словно тут было задето что-то очень важное для него лично. Позднее закон устойчивого неравновесия живых систем был строго обоснован и сформулирован Э.С. Бауэром – венгерским биологом и революционером, который стал видным советским ученым, а затем – жертвой сталинского террора. Бауэр был одним из руководителей венгерской революции 1919 года, после ее поражения бежал из страны, работал в Вене, Геттингене, Праге, затем был приглашен в СССР. В 1935 году он издал фундаментальный труд «Теоретическая биология», в котором писал:

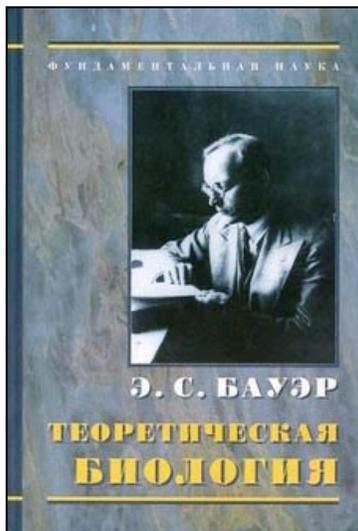
«Живые системы никогда не бывают в равновесии и исполняют за счет своей свободной энергии постоянно работу против равновесия, требуемого законами физики и химии при существующих внешних условиях».

В 1937-м Бауэр был арестован, в начале 1938-го – расстрелян.

Задолго до появления его классического труда Ухтомский говорил студентам:

«Правило – “уравновешенная нервная система действует в направлении наименьшего сопротивления” – фактически постоянно нарушается и, к нашему счастью, поведение может

быть направлено в сторону наибольшего сопротивления, когда это нужно»⁸.



Книга, посвященная 110-летию Э.С. Бауэра. М., «Росток», 2002

Почему – *к нашему счастью?* Эта оговорка, столь неуместная в научном докладе, очень важна для Ухтомского. Он ни на минуту не забывал, сколь мал и незначителен тот «всплеск волны» в хронотопе, который составляет отдельную человеческую жизнь; но он также помнил и постоянно повторял, что каждый такой всплеск уникален; он не исчезает бесследно, он вносит свою струю в общее течение жизни. Каждый человек – активный участник исторического процесса, имеющего хотя и не ясный для нас, но безусловный сакральный смысл. Потому принцип наименьшего действия для Ухтомского – личный враг. Он означает самоуспокоение, самоудовлетворение, заикленность на сложившихся представлениях, что отгораживает человека от живой реальности, делает его близоруким, даже слепым, не замечающим самое ценное, что есть на земле, – *лицо другого человека!*

«Общий колорит, под которым рисуются нам мир и люди, в чрезвычайной степени определяются тем, каковы наши доминанты и каковы мы сами», – говорил Ухтомский. «Наши доминанты стоят между нами и реальностью». «Я думаю, что настоящее счастье человечества <...> будет возможно в самом

⁸ А.А. Ухтомский. Избранные труды, 1978, стр. 78.

деле только после того, как будущий человек сможет воспитать в себе эту способность переключения в жизнь другого человека <...> когда воспитывается в каждом из нас доминанта *на лицо другого*. Скажут, что пока это только мечта. Ну, пускай мечта будет все-таки поставлена. Человек очень сильное существо: если он начинает серьезно мечтать, то это значит, что рано или поздно мечта сбудется»⁹.

Глава пятнадцатая. Иван Павлов и его команда

1.

Иван Петрович Павлов и Николай Евгеньевич Введенский принадлежали к одному поколению, и жизненные пути их во многом были сходными. Оба были выходцами из семей провинциальных священников, оба окончили духовную семинарию, оба были воспитаны на идеях Писарева и Чернышевского, оба с юности посвятили себя науке, оба, хотя и не одновременно, окончили Санкт-Петербургский университет (Павлов еще и военно-медицинскую академию), оба стали крупнейшими физиологами. Но если Введенский был тщедушным, тихим, стеснительным, незаметным, то крепкий, кряжистый, решительный Павлов принадлежал к тому типу характеров, которых везде, где они появляются, сразу становится «слишком много».

Боевитый и целеустремленный, с огромным зарядом энергии, Павлов был ярко выраженным экстравертом: то, что возникало у него в уме, сразу же появлялось на языке. Во всё, к чему он прикасался, он вкладывал огромную страсть. Даже в любимую свою игру – городки – он играл с неистовым азартом и очень не любил проигрывать. Чуть ли ни с кулаками набрасывался на противников, обвинял их в нарушении правил, жульничестве и других смертных грехах, хотя противниками часто были его сыновья или ближайшие друзья. Служанка кричала его жене Серафиме Васильевне:

– Бегите скорее, а то они убьют друг друга!

В работе Павлов был столь же неистов и азартен, костил помощников за любую промашку – действительную или мнимую. В полемике был резок, невыдержан, не щадил ничего самолюбия. Качества невозможного самодура и деспота непостижимым образом сочетались в нем с широким демократизмом. Высшим

⁹ Выписки из доклада А.А.Ухтомского на заседании студенческого биологического кружка Ленинградского университета 2 апреля 1927 г. А.А. Ухтомский. Избранные труды, 1978, стр.63-90.

авторитетом для него был только его величество факт. Факты – воздух науки, перед лицом фактов нет патрициев и плебеев, перед ними все равны: академики и школяры, профессора и студенты, друзья и враги. Он мог страстно отстаивать какую-то идею, а назавтра громогласно назвать ее чепухой, ибо опыты ее не подтвердили. Он был очень требователен к сотрудникам, при их малейшей оплошности выходил из себя, но не терпел лести, угодничества, подобострастия. Лекции он читал ярко и увлеченно, но разрешал и даже поощрял в любом месте себя перебивать. Если затруднялся ответить на вопрос, так прямо и говорил, что не знает, и приглашал студента придти в лабораторию и вместе поставить эксперимент для получения ответа. Когда студент приходил, к опыту все было готово: дорожка своим временем, он дорожил и чужим. Лекции его сопровождались демонстрациями опытов, которые тоже тщательно готовились. И горе было ассистенту, если при демонстрации возникала заминка. Профессор буквально свирепел, тут же, в переполненной аудитории, мог обозвать своего ассистента (часто уже немолодого почтенного ученого) тупицей, болваном и неучем. Но был отходчив, и если выяснялось, что был неправ, сразу это признавал и приносил извинения. Л.А. Орбели, ставший позднее крупнейшим представителем школы Павлова, вспоминал, что по началу, когда работал в лаборатории Павлова волонтером, без оплаты, отношения у них были самые великолепные. Но как только Павлов зачислил его на штатную должность, начались придирки.

«Ивану Петровичу нужно было ассистировать при операциях; он работал то левой, то правой рукой (он был левша), перекидывал пинцеты, нож из правой руки в левую, значит, ассистирующему очень трудно было за ним угнаться. Оперировал он великолепно, но из-за каждого пустяка ругался:

– Ах, вы мне это сорвете, вы мне все испортите, пустите, вы не так держите»¹⁰.

В конце концов, Орбели попросил поручить ассистирование кому-то другому, а самому снова перейти на положение волонтера. Озадаченный Иван Петрович помолчал, потом спросил:

«– Это вы что, господин, из-за того, что я ругаюсь?»

– Да, вы ругаетесь, значит, я не умею делать так, как нужно.

10 Л.А.Орбели. Воспоминания, М., «Наука», 1966, стр. 55

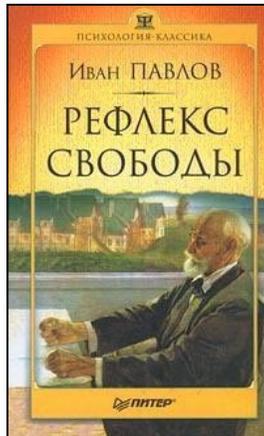
– Эх, это у меня просто привычка такая; я не могу не ругаться, а вы относитесь к этому... Вы, когда входите в лабораторию, чувствуете запах псины?

– Да, чувствую.

– Так и рассматривайте мою ругань как запах псины. Вы же из-за запаха псины не бросаете лабораторию»¹¹.

Орбели остался, но другие не выдерживали и уходили навсегда. Невозможно подсчитать, сколько талантов потеряла из-за этого наука. А может быть, и не потеряла. Может быть, уходили те, у кого не был развит «рефлекс цели», без которого, по убеждению Павлова, в науке ничего не добиться.

Однако столь же высоко, как «рефлекс цели», он ценил «рефлекс свободы». Его главная претензия к большевикам состояла в том, что их «диктатура пролетариата» подавляла «рефлекс свободы», превращала народ в рабов, с которыми можно строить египетские пирамиды, но не общество свободных и счастливых людей.



И.П. Павлов «Рефлекс свободы». Одно из последних изданий.

На обложке репродукция портрета И.П. Павлова кисти М.В. Нестерова.

Чуткостью к окружающим Иван Петрович не отличался. У него был старинный приятель, бывший соученик, работавший врачом в Воронеже. Приезжая изредка в Петербург, он навещался к Павлову, и они тихо беседовали в его кабинете, пили чай, вспоминали молодость. Во время одной такой беседы вдруг поднялся шум, ругань; старый врач, как ошпаренный выскочил из кабинета, быстро спустился по лестнице, дрожащими

¹¹ Там же, стр. 56.

руками накинуд пальто и бросился к выходу. Оказалось, что он спросил Ивана Петровича, как тот относится к загробной жизни, существует она или нет. Рационалист до мозга костей, Павлов ответил, что все это чепуха, врачу стыдно задавать такие вопросы. Приятель второй и третий раз подвел разговор к тому же предмету, и тогда Павлов вспылил, сказал, что у него нет времени на пустую болтовню, и велел убираться.

«На следующий день Иван Петрович приходит мрачный, блеее полотна, и хватается за голову:

– Что я наделал! Ведь этот доктор ночью покончил с собой. Я, дурак, не учел того, что у него недели три тому назад скончалась жена, и человек искал себе утешения; если существует загробная жизнь, то он все-таки встретится с душой умершей жены. А я этого всего не учел и так оборвал его»¹².

Орбели свидетельствует, что Иван Петрович всегда готов был оказать помощь нуждающемуся человеку, *если его об этом просили*. Сам он, поглощенный наукой и своими мыслями, помощи не предлагал, просто не думал об этом.

Зато неумение держать язык за зубами делало Павлова бесценным учителем и научным руководителем.

«Вся его умственная деятельность целиком протекала на глазах его сотрудников, и мышление вслух, думание вслух составляли его характернейшую черту, – свидетельствовал Орбели. – <...> Он выкладывал свои мысли в тот момент, когда они возникали, и давал возможность всем окружающим проследить за всеми разветвлениями этих мыслей, за всеми колебаниями, которые эти мысли претерпевали, пока не оказывались законченными. И в этом собственно заключалось особенно большое обаяние его и отсюда главным образом возникало влияние его на окружающих»¹³.

Еще более выразительно о том же рассказано в воспоминаниях ученицы Павлова, Марии Капитоновны Петровой:

«Всякая новая научная мысль, пришедшая ему в голову, сообщалась и нам, работавшим у него, у него не было от нас научных секретов. Увлекаясь каким-нибудь вопросом, он умел заинтересовать им и каждого своего сотрудника. С юношеским задором и горящими глазами, безгранично, до самозабвения любящий свою науку, бегал он от одного сотрудника к другому, сообщая пришедшую в его голову мысль для объяснения или освещения интересовавшего его в эту минуту научного факта. Он

¹² Там же, стр. 79.

¹³ Там же, стр. 74.

не пренебрегал никаким мнением, пользуясь общим думаньем. Со свойственной ему страстностью стремился к новой очередной задаче, проявляя в то же время колоссальную волю и выдержку. Он преклонялся только перед фактами, мало считаясь с теориями, которых, как он выражался, можно выдумать очень легко сколько угодно и так же легко и отбросить, факт же остается всегда фактом»¹⁴.

2.

Октябрьский переворот и последовавшая разруха – это были *факты*, понятие Павловым как ужасное бедствие для страны, народа, русской науки, культуры, интеллигенции. В этом он не был оригинален: так восприняла революцию почти вся научная элита. Чуть ли ни единственным исключением был «депутат Балтики» К.А.Тимирязев. Но ученая братия Петрограда, как помнит читатель по цитируемому письму Ухтомского, лишь тихо уповала на то, что «придут союзники, и барин нас рассудит». То есть ограничивалась пересудами в своей среде, не отваживаясь на открытый протест. Павлов же, при его темпераменте, не мог держать свое негодование при себе. Были у него и личные мотивы воспринимать происходящее с особой остротой. Двое из трех его сыновей, оба боевые офицеры, отправились на Дон к Корнилову; один из них, Виктор, погиб (то ли в бою, то ли умер от тифа), второй, Всеволод, воевал в армии Деникина и эмигрировал с ее разгромленными остатками; он вернулся только в конце 1920-х годов.

Денежная часть Нобелевской премии, положенная Павловым в банк, была реквизирована декретом о национализации банков. При одном из чекистских обысков у Павлова была изъята Нобелевская медаль, вместе с ней и другие золотые медали, полученные за научные достижения. Павлов воспринял это как глубокое оскорбление со стороны дорвавшейся до власти шпаны.

Безоглядная смелость Павлова подогревалась и тем, что, по его понятиям, ему уже нечего было терять. В 1919 году ему исполнилось 70 лет, а он (как объяснил 15 лет спустя в письме наркому здравоохранения Г.Н. Каминскому) считал, что таков «срок дельной человеческой жизни»; и так как вне дела, т.е. вне науки, жизнь для него не имела смысла, то он говорил себе: «Черт

14 М.К.Перова. Мне хочется приподнять завесу... Публикация Н.В. Успенской. «Природа», 1999, № 8.

с ними! Пусть расстреляют. Все равно жизнь кончена, а я сделаю то, что требовало от меня мое достоинство»¹⁵.

По сложившейся традиции, профессора Военно-медицинской академии вступительную лекцию каждого семестра посвящали «общим вопросам», и Павлов с кафедры честил «диктатуру пролетариата», не стесняясь в выражениях. Его обращения к властям с просьбой отпустить за границу, не надо понимать буквально. Он мог бы уехать без разрешения, как это сделали многие другие: граница далеко еще не была на замке, железный занавес не был опущен. Более того, как следует из письма А.В.Луначарского Ленину от 21 июня 1920 года¹⁶, Павлову дважды *предлагали* уехать. Была бы у него уверенность, что где-нибудь в Швеции, Англии или Америке будет возможность развернуть исследовательскую работу с должным размахом, он не промедлил бы дня. Но преклонный возраст делал его неперспективным, зарубежные друзья ничего определенного не обещали. Так что просьбы о «разрешении» эмигрировать были скорее удобным предлогом для того, чтобы высказать вожакам революции то, что накопело на душе. Он считал и прямо им говорил, что «продельваемый над Россией социальный опыт обречен на неприменную неудачу и ничего в результате, кроме политической и культурной гибели моей Родины не даст. Меня безотступно гнетет эта мысль и мешает мне сосредоточиться на моей работе»¹⁷.

3.

Власти никому не спускали и куда меньшей дерзости. Но в отношении Павлова они повели себя совершенно иначе. Как написал В.И. Ленин Петроградскому градоначальнику Г.Е. Зиновьеву, «отпускать за границу Павлова вряд ли рационально, так как он и раньше высказывался в том смысле, что, будучи правдивым человеком, не сможет, в случае возникновения разговоров, не высказаться против Советской власти и коммунизма в России. Между тем ученый этот представляет такую большую культурную ценность, что невозможно допустить насильственного удержания в России при условии материальной

15 Письмо И.П. Павлова министру здравоохранения Г.Н.Каминскому в ответ на поздравление с 85-летием. Цит. по: «Протестую против безудержного своевластия». Переписка И.П.Павлова с В.М. Молотовым. Публикация В.Самойлова и Ю. Виноградова. Комментарии М. Ярошевского. «Советская культура», 1989, 14 января.

16 <http://lunacharsky.newgod.su/lib/lenin-i-lunacharskij/142>

17 Цит. по: Н.А. Григорян. Общественно-политические взгляды И.П.Павлова, «Медицинская газета», 1989, 12 апреля, стр. 81.

необеспеченности. Ввиду этого желательно было бы, в виде исключения, предоставить ему сверхнормальный паек и вообще позаботиться о более или менее комфортабельной для него обстановке не в пример прочим»¹⁸.



Лаборатория И.П. Павлова в Институте экспериментальной медицины («Башня молчания»)

О том, как Иван Петрович прореагировал на эту «заботу партии и правительства», мы знаем из его письма В.Д. Бонч-Бруевичу (гл. восьмая). Но настойчивые попытки убажить Павлова продолжались. 24 января 1921 г. вышло постановление СНК, подписанное Лениным, «Об условиях, обеспечивающих научную работу академика И.П. Павлова и его сотрудников». О том, каковы тогда были эти условия, красноречиво говорит записка Е.Э. Енчмена – эмиссара, специально посланного в Петроград для ознакомления с состоянием лаборатории И.П. Павлова и выяснения на месте ее конкретных нужд. В записке сообщается, что огромное здание лаборатории Павлова в Институте Экспериментальной Медицины (так называемую «башню молчания») «пришлось совершенно закрыть и заморозить из-за отсутствия дров». Что в лаборатории осталось два сотрудника из 25: остальные мобилизованы в Красную армию. Электрическое освещение не работает, опыты проводятся «при освещении лучиной, зажигаемой у сломанной железной печки (нет даже свечей и керосиновой лампы)». Корм для собак настолько некачественен, что все животные (около ста) подошли; с трудом

¹⁸ В.И. Ленин, ПСС, т. 51, стр. 22.

раздобываемые новые собаки тоже дохнут, «а лучшие живут за счет академического пайка сотрудников»¹⁹.

Таково было положение уже ПОСЛЕ того, как Ленин приказал Зиновьеву обеспечить Павлова всем необходимым!



Академик А.Н. Крылов: «Иван Петрович, возьмите меня к себе в собаки!»

На декрет Совнаркома Павлов отреагировал тем, что снова отказался от «усиленного пайка» для себя и своей семьи, но не мог не принять помощи для налаживания лабораторных исследований. В «башне молчания» заработало электричество; были завезены дрова, а также пилы, топоры, напильники и другой инвентарь; возвращались сотрудники, вне очереди демобилизованные из армии; подопытных животных стали снабжать доброкачественным кормом. Эти привилегии «*в виде исключения и не в пример прочим*» вызывали ревнивые чувства у ученых коллег. Известный кораблестроитель и знаменитый острослов академик А.Н. Крылов, встретив однажды Павлова на улице, добродушно спросил:

– Иван Петрович, могу я вас попросить об одолжении?

– Конечно, – ответил Павлов.

– Возьмите меня к себе в собаки!

Шутка была не без яда. Помрачневший Иван Петрович сказал:

– Вы умный человек, а такие глупости говорите, – и прошел мимо.

¹⁹ Цит. по: В. Есаков. И академик Павлов остался в России. «Наука и жизнь», 1989, № 10, стр. 116-117.

Павлов не мог не чувствовать двусмысленности своего положения и с особой настойчивостью показывал, что привилегии не могут заткнуть ему рот.

Постановление, подписанное самим Ильичем, стало для Павлова охранной грамотой. Оставлять его острые критические высказывания без ответа власти не могли, в полемику с ним вступали и Троцкий, и Бухарин, и Луначарский, но это была именно полемика, а не чекистский застенок и даже не цензура.

В предисловии к своему труду «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных», изданному в 1923 году, Павлов высказал резко-негативное отношение к большевистской революции. Когда готовилось второе издание книги, Н.И. Бухарин просил, даже заклинал его «не ссориться с революцией» и удалить это место из предисловия. Павлов ответил решительным отказом:

«То ли кровь, то ли 60-летняя привычка в лаборатории, только мне было бы стыдно перед собой, если бы я промолчал, когда надо было говорить, или бы говорил не то, что думаю. Поэтому я не могу согласиться на то, чтобы я выкинул в старом введении место о революциях. Революция для меня – это действительно что-то ужасное по жестокости и насилию, насилию даже над наукой; ведь один ваш диалектический материализм по его теперешней жизненной постановке ни на волос не отличается от теологии и космогонии инквизиции»²⁰.

Книга была переиздана без каких-либо изъятий.

4.

В «ухаживание» за Павловым была вовлечена добрая половина государственной и партийной верхушки: Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Луначарский, нарком здравоохранения Семашко, другой нарком Каминский, предсовнаркома Молотов, закулисно и Сталин (Молотов пересылал ему письма Павлова и согласовывал с ним свои ответы). Все водили хоровод вокруг Ивана Петровича, а он не унимался:

«Я Вам посвящаю все свое внимание, мое время, мой труд, и надеюсь, на то, что от догматизма марксизма или коммунистической партии вы освободитесь, когда вы действительно войдете в науку, потому что наука и догматизм несовместимы. Наука и свободная критика – вот синонимы»²¹.

20 Цит. по: Тодес. И.П. Павлов и большевики.

<http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/viet/1998/3/26-59.pdf>

21 Цит. по Н.А.Григорян. Общественно-политические взгляды И.П.Павлова, Вестник АН СССР. 1991. № 10, стр. 80.

Это 1923 год. Сказано в лекции студентам, когда среди них уже заметный процент составляли партийцы и комсомольцы, обязанные верить, что «учение Маркса всеильно, потому что оно верно».

А вот что он писал в декабре 1934-го председателю совнаркома В.М. Молотову:

«Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До Вашей революции фашизма не было <...> Да, под Вашим косвенным влиянием фашизм постепенно охватит весь культурный мир <...> Но мне тяжело не оттого, что мировой фашизм попридержит на известный срок темп естественного человеческого прогресса, а оттого, что делается у нас и что, по моему мнению, грозит серьезною опасностью моей родине <...> Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. <...> Человеку, происшедшему из зверя, легко падать, но трудно подниматься. Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственным причаемым участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими *человечно*. И с другой стороны. Тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного *человеческого* достоинства. Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной полосы нашей жизни (а их легион), я терзаюсь ядовитым укором, что оставался и остаюсь среди нея. Не один же я так чувствую и думаю?! Пощадите же родину и нас»²².

В промежутке между этими двумя демаршами Павлов вел себя столь же вызывающе.

В 1925 году он ушел в отставку из Военно-медицинской академии, с которой был связан 50 лет. Это был протест против чистки студентов «неправильного» происхождения, в особенности выходцев из семей духовенства. Павлов заявил, что он сам сын священника и потому считает себя тоже «вычищенным». Много месяцев его отказывались уволить, исправно привозили ему домой жалование. Он поил чаем посыльного и отправлял назад – вместе с жалованием. Когда стало ясно, что старика не уломать, руководителем кафедры утвердили Л.А. Орбели.

Без работы Иван Петрович не остался – ведь он параллельно возглавлял «башню молчания» в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ) и лабораторию физиологии

22 АПРФ. Ф.3. Оп.33. Д.180. Л.47–50. Цит. по:
<http://www.ihst.ru/projects/sohist/document/letters/pav95ist.htm>

Академии Наук, которую в конце 1925 года превратили в Институт.

Но в Академии Наук тоже шли преобразования, с которыми Павлов не мог мириться. Для советской власти Академия Наук была буржуазным учреждением, постоянно делались попытки ее перестроить, объединить с Коммунистической академией, а то и вообще ликвидировать. Президент академии А.П. Карпинский и непременный секретарь С.В. Ольденбург кое-как держали оборону, объясняя новой власти, что Академия Наук не ведет подрывной работы, что она вообще вне политики. Она только дорожит своими традициями, статусом, независимостью. Это, однако, объяснить большевикам было трудно: по их понятиям, никто не мог быть вне политики. Кто не служит пролетарской власти, тот служит буржуазии. Кто не с нами, тот против нас.

Когда страна, после гражданской войны и военного коммунизма, стала понемногу оживать, в ход пошли методы кнута и пряника. На Академию посыпались щедроты: усиленные пайки, повышенные зарплаты, все более широкое финансирование исследований, превращение маленьких академических лабораторий в институты с расширяющимся штатом сотрудников, новым оборудованием, закупаемым на валюту, снаряжением дорогостоящих экспедиций. За эту отнюдь не чечевичную похлебку от академиков требовали согласовывать с властями тематику исследований, отзываться на нужды народного хозяйства, брать в сотрудники предпочтительно коммунистов, комсомольцев, выходцев из «рабочего класса и трудового крестьянства», хотя бы неподготовленных и неспособных к научной работе. Академия вынужденно шла навстречу этим требованиям, но особого рвения не проявляла. Это воспринималось как противодействие «классово враждебных элементов».

В 1928 году было принято и широко разрекламировано решение совнаркома удвоить общее число академиков, но поставлено условие: часть открывавшихся вакансий должна быть предоставлена коммунистам и «марксистам» – по спущенному сверху списку. В списке стояло, например, имя выдающегося геолога И.М. Губкина, против его избрания вряд ли можно было возразить. С грехом пополам достойным звания академика можно было считать биохимика А.Н. Баха, хотя его революционные заслуги были куда более значительными, чем научные. С натяжкой можно было считать ученым историка-марксиста М.Н. Покровского или энергетика Г.М. Кржижановского – партийно-государственного деятеля, известного, главным образом

тем, что он возглавлял разработку «ленинского» плана электрификации (ГОЭЛРО). На худой конец, можно было считать научной деятельностью старого революционера Д.Б. Рязанова, возглавлявшего институт Маркса и Энгельса, где сосредотачивались материалы по революционному движению. Но Н.И. Бухарин, Н.М. Лукин, В.М. Фриче, М.А. Деборин были, в лучшем случае, талантливыми партийными публицистами, а не учеными.

Согласно уставу, новые академики избирались тайным голосованием, причем для избрания требовалось не меньше двух третей голосов. Как заставить академиков голосовать за тех, кого они не могли даже считать учеными? В прессе началась кампания давления и запугивания. Газеты грозили Академии карами, требовали вообще отменить тайное голосование, ибо только враги могут скрывать свои голоса от советской общественности. К президенту академии Карпинскому и неперемному секретарю Ольденбургу засылали эмиссаров, их вызывали на ковер в Кремль. Попытки объяснить, что не в их силах заставить академиков голосовать так, как нужно властям, не действовали.



Неперемный секретарь Академии наук С.Ф. Ольденбург

Карпинский и Ольденбург собирали общие собрания Академии, уговаривали коллег войти в положение, быть послушными. В.И. Вернадский, желая сгладить конфликт, предложил проголосовать за кандидатов-партийцев списком, а не за каждого в отдельности, но И.П. Павлов резко возразил: «Как можно такое предлагать? Это же лакейство!»

На другом подобном собрании Павлов вышел из себя. Он резко заявил, что вообще не понимает, зачем их собрали; большевиков не надо бояться, им нужно дать отпор! Где наше достоинство, где достоинство Академии! Коль скоро у них в руках власть, то пусть они *назначат* академиками всех, кого пожелают,

– сделал же полоумный римский император Калигула сенатором своего жеребца! Большевики могут сделать то же самое. Но как можно требовать от академиков голосовать против своей совести!? Это не выборы, а профанация. Это унижительно!

Никто другой не мог и помыслить говорить вслух нечто подобное, но большинство в душе соглашалось с Павловым. Видя, что Академия на краю гибели, С.Ф. Ольденбург запальчиво возразил Ивану Петровичу:

– Вы можете так говорить, вам позволяется, вас не тронут, вы в привилегированном положении, вы идейный руководитель их партии, большевики сами об этом говорят.

В словах Ольденбурга была доля правды: привилегированное положение Павлова объяснялось не только его мировой славой, но и тем, что большевики пытались оприходовать теорию условных рефлексов. Для них это было учение, подтверждающее «диалектический материализм». Н.И. Бухарин, считавшийся теоретиком партии, настойчиво проводил эту мысль. То была чистейшей воды демагогия. Павлов по своему мировоззрению был позитивистом и сцаентистом, то есть считал, что только наука и просвещение, а отнюдь не классовая борьба, выведут человечество на дорогу к лучшему будущему. Научно для него было то, что основано на точных экспериментах и подтверждено фактами, а не хитроумными рассуждениями, какими бы «диалектическими» и «материалистическими» они не казались. Бухарина это не смущало. Павлов, по его словам, выступал против диалектического материализма потому, что с ним не ознакомился, он-де – стихийный марксист, только сам этого не сознает.

После стычки с Ольденбургом Иван Петрович, покинул заседание и общих собраний Академии Наук больше не посещал.

В январе 1929 года состоялись выборы новых академиков. Несмотря на принятые меры, три кандидата из партийного списка двух третей голосов не набрали: Фриче, Деборин и Лукин. Над Академией нависла грозная туча. Газеты писали, что Академия нанесла удар по рабочему классу, хватит с ней нянчиться, пора ее ликвидировать. Карпинский направил письмо в Совнарком: он униженно просил позволения провести повторное голосование по проваленным кандидатурам – с участием новоизбранных академиков. Это было вопиющим нарушением Устава, но вопрос стоял ребром: либо Устав, либо само существование Академии. Совнарком долго хранил молчание, держа всех в напряжении, затем милостиво разрешил провести новое голосование. Все трое теперь получили нужные две трети голосов – если, конечно,

результаты не были подтасованы. Павлов в этой комедии не участвовал. Зато, выступая на заседании, посвященном столетию со дня рождения Ивана Михайловича Сеченова, сказал:

«Мы живем под господством жестокого принципа: государство, власть – все, личность обывателя – ничего. Без Иванов Михайловичей с их чувством достоинства и долга всякое государство обречено на гибель изнутри, несмотря ни на какие Днепрострой и Волховстрой»²³.

В письме в Совнарком от 20 августа 1930 г. Павлов протестовал против ареста в Москве академика Прянишникова и в Ленинграде профессора Владимирова. Не просил за них, а именно протестовал, заметив, что если Прянишников делал иногда «резкие заявления», то «они неизмеримо менее вредны (если только вредны, а не полезны), чем рабское “чего изволите” – зло и гибель правителей»²⁴. После этого демарша оба ученых тотчас же оказались на свободе. Был ли вообще арестован Д.Н. Прянишников, я сомневаюсь: ни в каких других источниках сведений о его аресте не встречал. В наиболее полном списке репрессированных членов АН СССР значится: «**Прянишников Дмитрий Николаевич** (1865-1948) ≈ агрохимик, физиолог растений, растениевод. Чл.-корр. Петербургской АН с 1913, академик АН СССР с 1929. По непроверенным сведениям, арестован не позднее августа 1930, вскоре выпущен (источник ≈ заступническое письмо академика И.П.Павлова)»²⁵. Не исключено, что поводом к заступничеству стал непроверенный слух.

5.

Между тем, «ухаживания» за Павловым продолжались. Расширялась его лаборатория в Институте экспериментальной медицины, рос Институт физиологии Академии Наук, земельный участок в Колтушах, выделенный ему еще в 1923 году под питомник для подопытных животных, стал быстро растущей биостанцией. Здесь возводились просторные корпуса, виварии, создавались новые отделы, закупалось новейшее оборудование, рос штат сотрудников, которым создавались роскошные (по советским стандартам того времени) условия жизни и работы. Достаточно сказать, что для научных сотрудников строились

²³ Цит. по: «Протестую против...», «Советская культура», 14 января 1989 г.

²⁴ Там же.

²⁵ Сб.: «Трагические судьбы: репрессированные ученые Академии наук СССР», М., «Наука», 1995. Интернетверсия. В книжном варианте того же списка ссылка на письмо И.П. Павлова отсутствует.

уютные двухквартирные коттеджи с палисадниками; каждому предоставлялась отдельная квартира «из расчета увеличенной нормы жилой площади от 12-15 кв. метров на человека + 18 кв. метров дополнительной площади»²⁶. Для семьи Павлова в Колтушах был выстроен особняк. Это в то время, когда большинство населения Ленинграда, Москвы и других городов ютились в коммуналках, часто в сырых полутемных подвалах или бараках, а «нормой» жилплощади, для многих недосыгаемой, было 6 кв. м на человека.

С еще большей заботой партия и правительство относились к созданию «лучших в мире» условий для подопытных животных. Собак не только отменно кормили, для них были оборудованы специальные бани и сушилки, так что попасть к Павлову в собаки действительно становилось вожаделенной мечтой. Колтуши превратились в «столицу условных рефлексов». Уже после смерти Ивана Петровича, в 1939 году, Биостанция стала Институтом физиологии имени И.П. Павлова – под руководством Л.А. Орбели.



Дом-музей И.П. Павлова в Колтушах

Особенно настойчиво «приручением» Павлова занимался новоизбранный академик Н.И. Бухарин. Он навещал Павлова в его институтах и дома. Заводил оживленные беседы на самые разные темы, удивляя обширностью познаний и широтой интересов. Иван Петрович коллекционировал бабочек, в его коллекции были очень редкие экземпляры; и вдруг оказалось, что Бухарин и в бабочках

²⁶ Из проектного задания на строительство Биостанции в Колтушах. Цит. по: А.С. Мозжухин, В.О. Самойлов. И.П. Павлов в Петербурге-Ленинграде, Л., «Лениздат», 1977, стр. 264

знает толк! Милые хитрости начали действовать, сердце ученого, перешагнувшего 80-летний рубеж, стало потихоньку оттаивать. Он «с интересом» прочел подаренную Бухариным книгу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» и нашел доводы автора разумными, хотя не одобрил полемических грубостей и передержек.

Интересно сопоставить мнение Павлова с оценкой куда более «социально близкого» большевикам А.М. Горького: «Получив книгу Ленина, – начал читать и – с тоской бросил ее к черту. Что за нахальство! Не говоря о том, что даже мне, профану, его философические экскурсии напоминают, как ни странно – Шарапова и Ярморкина²⁷, с их изумительным знанием всего на свете, – наиболее тяжкое впечатление производит тон книги – хулиганский тон! И так, таким голосом говорят с пролетариатом, и так воспитывают людей “нового типа”, “творцов новой культуры”»²⁸.

Правда, это мнение было высказано еще до революции, в разгар борьбы Ильича с «богоискателями и богостроителями», к коим принадлежал и сам Горький. Но даже с поправкой на этот фактор, нельзя не видеть, насколько благосклоннее Павлов отнесся к «философскому» труду вождя революции.

Если раньше Павлов считал большевистский эксперимент обреченным на провал, то теперь стал высказываться осторожнее: эксперимент еще не завершен, будет ли он успешным, покажет будущее. Чем была вызвана такая перемена? На этот счет есть разные мнения – от того, что Павлов был все-таки подкуплен властями, до того, что он был ими обманут. Я думаю, что объяснение лежит в иной плоскости.

Павлов страстно верил в науку и просвещение, а большевистские власти, ставившие целью «догнать и перегнать», невольно должны были ускоренными темпами развивать науку, технику, готовить кадры, способные ею владеть. Известная писательница и переводчица Рита Райт-Ковалева в молодости работала у И.П. Павлова. Она запомнила, как он сказал при ее первом посещении Колтушей в 1929 г.:

«Вы должны отдать должное нашим варварам в одном – они понимают ценность науки»²⁹.

27 Второстепенные дореволюционные публицисты консервативного толка.

28 Цит. по: Павел Басинский. Страсти по Максиму
<http://lib.rus.ec/b/93381/read>

29 Цит. по: Тодес. Ук. соч.

Он твердо знал, что власть большевиков – это власть варваров; но надеялся, что благодаря науке их правление со временем сделается более цивилизованным.

Примерно в то же время, Павлов, по пути на очередной Международный конгресс физиологов, остановился в Париже, где навестил старого знакомого В.М. Зернова. Иван Петрович пришел к нему с сыном, всегда его сопровождавшим, и своим другом из института Пастера профессором С.И. Метальниковым. Разговор был доверительный, не для посторонних ушей. Когда речь зашла о причинах смерти Ленина, Павлов сказал, что лично знаком с учеными, которые исследовали мозг Ленина; от них он знает, что в годы управления Россией вождь мирового пролетариата страдал от прогрессивного паралича мозга – последняя стадия сифилиса. Это и стало причиной его предсмертной болезни. «Советский строй он сравнивал с тремя самыми страшными болезнями: сифилисом, раком и туберкулезом. По словам Павлова, советская система страшна тем, что она старается духовно разложить человека»³⁰. Иван Петрович говорил, что сам он защищен от репрессий, так как Ленин завещал «беречь Павлова», но «он опасается, что после его смерти правительство отомстит его сыну»³¹.

В перестройке доминант Павлова немалую роль играло его ближайшее окружение, в особенности – его дама сердца Мария Капитоновна Петрова.

6.

Мария Капитоновна была дочерью священника и замуж вышла за священника. Но если отец ее был искренне верующим монархистом, то муж, по ее словам, «был полный атеист, но любил Христа как великого социалиста»³². Он был избран в Первую государственную думу, после ее разгона Столыпиным был ненадолго сослан в Черемнецкий монастырь под Лугой. Мария Капитоновна родила ему сына Бориса. Но позднее супружеские отношения разладились. Они продолжали жить дружно, одной семьей, предоставив друг другу полную свободу.

30 Запись В.М. Зернова от 6 декабря 1964 г. была обнаружена канадско-русским историком Д. Поспеловским в архивном фонде русской эмиграции им. Бахметева в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Она приведена в статье В. Флерова «Болезнь и смерть Ленина».

Ксерокопия статьи из журнала «Время и мы» имеется в архиве автора. К сожалению, на ксерокопии не указаны год и номер издания.

31 Там же.

32 Цит. по. Н.В. Успенская. Пролог к исповеди М.К.Петровой. «Природа», 1999, № 8.

После замужества Мария Капитоновна вела чисто светский образ жизни: балы, приемы, театры, роскошные туалеты. Но праздность ей скоро наскучила, она решила стать врачом и поступила в Женский медицинский институт. Студенткой посещала заседания Общества русских естествоиспытателей и врачей, где И.П. Павлов был председателем, но видела она его только издали – в президиуме или на трибуне.

Получив диплом врача, Мария Петрова стала работать в клинике профессора Г.А. Смирнова. Тот поручил ей проверить на животных действие некоторых лекарств, а его племянник Владимир Васильевич Савич, ассистент И.П. Павлова, привел ее в Павловскую лабораторию. Работа проводилась в течение двух лет в неурочное время, с 6 до 10 вечера. Так как Иван Петрович вел очень размеренный образ жизни и уходил домой ровно в половине шестого, то Марию Петрову он ни разу не встретил. Когда ее работа была закончена, она пришла к Павлову поблагодарить за предоставленную возможность. Тут только выяснилось, что о ее вечерних бдениях он ничего не знал!

С ноября 1912 года Мария Петрова начала работать в лаборатории Павлова уже в урочное время. Иван Петрович сразу же стал уделять ей столько внимания, что это вызывало ревность у других сотрудников.

Но отношения между ними были сугубо платоническими. Лишь через много месяцев, совершенно неожиданно, произошло бурное объяснение. Павлов признался, что давно уже не любит свою жену Серафиму Васильевну. Она очень предана ему, семье, родила и воспитала прекрасных детей, но она не разделяет его увлеченности наукой, а для него в этом смысл всей жизни. Однажды, придя домой после какого-то особенно удачного доклада, Иван Петрович стал возбужденно рассказывать о нем сидевшей в кресле супруге и вдруг заметил, что она... спит! Вот с этого времени он ее разлюбил. Мария Капитоновна, как он мог убедиться, столь же предана ему, как и его науке, и поэтому он ее полюбил и будет любить со всем пылом души. Он понимает, что это звучит странно, ему уже седьмой десяток, она годится ему в дочери. Но это так, и с этим ничего не поделаешь!

Мария Капитоновна всем сердцем отозвалась на его порыв.

В годы гражданской войны она потеряла мужа и единственного сына, воевавшего в Белой армии; но, несмотря на тяжелые утраты, она считала себя самой счастливой женщиной на свете. Ведь у нее был возлюбленный Иван Петрович и любимая

работа, которую она проводила под его руководством, вместе с ним и рядом с ним.

Из ее дневников-воспоминаний встает образ крайне экзальтированной особы, очень настойчивой, твердой в своих убеждениях, умевшей отстаивать их с большим напором и страстью.

Кроме Ивана Петровича она беззаветно любила еще одного человека – Иосифа Виссарионовича Сталина. Она считала его мудрым политиком, великим полководцем, заботливым другом и отцом советского народа. Павлов охотно с ней обсуждал не только опыты на собаках, но и весь круг вопросов, которые его волновали. Неизбежно всплывала тема большевиков и их вождя.



Профессор Мария Капитоновна Петрова

По свидетельству Марии Капитоновны, весной 1935 года, выздоравливая после тяжелой пневмонии, которой 85-летний Павлов проболел почти всю зиму, «Ив[ан] П[етрович] воскликнул: “А большевички желали меня уже хоронить, а я вот взял да и выздоровел”. И он назвал лиц, желающих его похоронить. Это А.Д. С[перанский], Л.Н. Ф[едоров], Н.Н. Н[икитин] и др. А.Д. С[перанского] он тоже считал большевиком»³³.

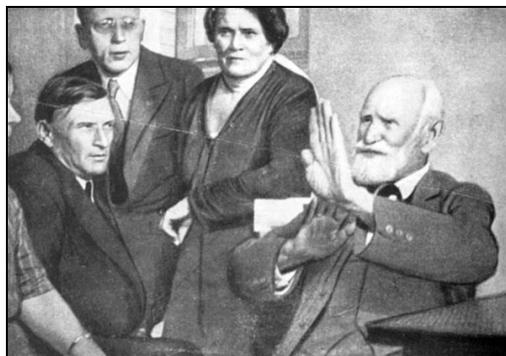
Услышав такое резкое и, по ее мнению, крайне несправедливое суждение, Мария Капитоновна «вся закипела от

33 Цит. по: Н.А.Григорян. Болезнь и смерть И.П.Павлова. «Природа», 1999, № 8.

негодования и в запальчивости ему сказала: не большевички, Ив[ан] П[етрович], вас хоронили! Столько внимания, любви и заботливости было проявлено к вам во время вашей болезни. Они любят вас и очень желали вашего выздоровления, несмотря на то, что вы ругатель их, но честно и открыто признающий все их положительные стороны»³⁴.

А.Д. Сперанский вступил в партию уже во время войны, но «беспартийным большевиком» он стал много раньше, так что Иван Петрович был прав, ставя его в один ряд с партийцами Л.Н. Федоровым и Н.Н. Никитиным. Схватки боевые с Марией Капитоновной из-за «большевичков» у него, вероятно, происходили и раньше. От наступления Иван Петрович все чаще переходил к обороне, постепенно отступая со своих бескомпромиссных позиций.

В 1932 году, во время XIV международного конгресса физиологов в Риме, Павлов предложил следующий конгресс провести в СССР. Это была сенсация! Международные конгрессы физиологов проводились каждые три года; Москва, стремясь выйти из политической изоляции, давно предлагала свое гостеприимство, но Павлов был категорически против. При его колоссальном авторитете это имело решающее значение. И вдруг – такой крутой поворот!



Слева направо: В.В. Яковлева, И.П. Разенков,
Л.А. Андреев, М.К. Петрова, И.П. Павлов. 1935 г.

Не исключено, что проведение конгресса в СССР он рассматривал как шаг на пути постепенного цивилизования

³⁴ Там же.

варварского режима. Или уступил нажиму ради своих близких, которые, после его кончины, останутся в полной власти того же режима.

По свидетельству М.К. Петровой, «в 1935 году, в свою последнюю поездку за границу перед Всемирным физиологическим конгрессом, он по дороге в Англию, чтобы очень не утомляться после болезни, остановился в Риге (вместе со своим сыном Владимиром Ивановичем) у одного партийца. Когда разговор коснулся политического положения нашего Советского Союза, он сказал: “Счастье Вашей партии и нашей родины, что во главе у нас стоит именно Сталин”. Иван Петрович по своей привычке приходит ко мне на другой день своего возвращения из-за границы, рассказывая обо всем, коснулся и этого. Сейчас Владимир Иванович подтвердил это, сказав, что это было мною записано буквально слово в слово, так как он сам присутствовал при этом разговоре»³⁵.

Не знаю, в какой мере можно верить такому свидетельству, но вряд ли это чистая выдумка. В семье Павлова, по понятным причинам, М.К. Петрову не жаловали, но старший сын Ивана Петровича Владимир Иванович составлял исключение: он с ней поддерживал самые добрые отношения.

7.

На проведение XV международного конгресса физиологов было ассигновано два миллиона рублей – по тем временам огромная сумма. Открытие Конгресса и первое пленарное заседание (9 августа 1935 года) проходили в Таврическом дворце. Шесть дней шли секционные заседания, было заслушано 485 докладов на пяти языках. Рабочими языками конгресса были русский, английский, французский, немецкий и итальянский. Работала бригада первоклассных переводчиков, кресла были оборудованы техникой для синхронного перевода. По окончании рабочих заседаний всех участников конгресса, с максимальным комфортом, перевезли в Москву. Заключительное пленарное заседание состоялось в Большом зале консерватории, затем был устроен торжественный прием в Кремле. Президент конгресса 85-летний И.П.Павлов, увенчанный короной «старейшины физиологов мира», подняв бокал с пенящимся шампанским, сказал:

«Вся моя жизнь состояла из экспериментов. Наше правительство тоже экспериментатор, только несравненно более

35 Воспоминания М.К. Петровой. Весна 1944 г.
http://www.infran.ru/vovenko/60years_ww2/petrova7.htm

высокой категории. Я страстно желаю жить, чтобы увидеть победное завершение этого исторического социального эксперимента». Сказав это, он под бурные аплодисменты провозгласил тост: «За великих социальных экспериментаторов!»³⁶

А ведь письмо Молотову, в котором он обвинял «социальных экспериментаторов» в том, что они «сеют не революцию, а фашизм», было написано всего за несколько месяцев до этого тоста! Оно было реакцией на волну репрессий, обрушившихся на ленинградцев после убийства Кирова, когда десятки тысяч ни в чем не повинных людей были арестованы и высланы без следствия и суда, только из-за «неправильного» происхождения. В ответном письме, согласованном со Сталиным, Молотов «удивлялся»: как это Павлов позволяет себе «делать категорические выводы в отношении принципиально-политических вопросов, научная основа которых [ему], как видно, совершенно неизвестна». Он заверял, что «политические руководители СССР ни в коем случае не позволили бы себе проявить подобную ретивость в отношении вопросов физиологии, где Ваш научный авторитет беспорен». Трудно сказать, чего в этом ответе больше, – цинизма или лукавства. Главари большевиков отнюдь не стыдились вмешиваться в научные проблемы, хотя ничего в них не смыслили, – в генетику, агрономию, педологию, во многие гуманитарные области. Правда, до физиологии их щупальца тогда еще не дотянулись, но то было вопросом времени. Фундаментальная разница была в том, что физиологи экспериментировали на собаках, лягушках, морских свинках, тогда как власть проводила свои вивисекции на миллионах живых людей.

Павлов, с присущей ему настойчивостью, снова написал «мноغوуважаемому Вячеславу Михайловичу». Он ручался своей головой, «которая чего-нибудь да стоит, что масса людей честных, полезно работающих, сколько позволяют их силы, часто минимальные, вполне примирившихся с их всевозможными лишениями, без малейшего основания (да, да, я это утверждаю) караются беспощадно, не взирая ни на что, как явные и опасные враги правительства, теперешнего государственного строя и родины. Как понять это? Зачем это? В такой обстановке

³⁶ Павлов И.П. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1951, т. I, стр.19.

опускаются руки, почти нельзя работать, впадаешь в неодолимый стыд: “А я и при этом благоденствую”»³⁷.

Это письмо датировано 12 марта 1935 года. Обращает на себя внимание наивный вопрос: «*Как это понять? Зачем это?*»

А за тем, что большевистским экспериментаторам мало было заставить людей *примириться* с их диктатурой. Цель их была в том, чтобы «*выработать коммунистического человека из материла капиталистической эпохи всеми методами, начиная от расстрелов*», как формулировал хорошо разбиравшийся в бабочках академик Бухарин. Живого, любящего, думающего, радующегося, страдающего человека требовалось превратить либо в робота-энтузиаста, заранее готового ликовать от любого начинания и от каждого слова вождей, либо в мертвеца. Потому, кстати, большевики не *назначали* своих жеребцов сенаторами или академиками – по примеру безумного императора Калигулы: им надо было добиться, чтобы сами академики *избрали* указанных им жеребцов.

Однако в отношении Павлова продолжала действовать охранная грамота Ильича. Ссориться с ним было нельзя. На второе письмо Молотов ответил в примирительном тоне и разъяснил, что Ленинград припограничный (!) город, потому-де в нем приняты «специальные меры против злостных антисоветских элементов». При этом он признавал, что возможны «отдельные ошибки, которые должны быть выправлены».

Павлов ухватился за это признание и написал главе правительства еще несколько писем – последнее за два месяца до смерти. Он указывал на «отдельные ошибки» в отношении безвинно пострадавших людей, которых лично знал и за которых ручался. Круг этих лиц очень широк. Это и родственники жены его сына; и два сотрудника его лаборатории с семьями; и два сына 80-летней старухи, оба инженеры-путейцы – их мать Павлов знал с юности, еще по Рязани; и вдова археолога, работавшего в Эрмитаже; и бухгалтер, подрабатывавший преподаванием немецкого языка; и 77-летняя племянница И.М. Сеченова, «лишенка» из-за того, что была вдовой генерала, хотя муж ее вышел в отставку еще в 1905 году и почил в 1918-м.

ВСЕ ходатайства Павлова незамедлительно удовлетворялись. Это, вероятно, тоже послужило стимулом поднять тост «за великих социальных экспериментаторов».

37 «Пощадите же родину и нас». Протесты академика И.П.Павлова против большевистских насилий // Источник. 1995. №1(14). С.138-144, Цит. по: <http://www.ihst.ru/projects/sohist/document/letters/pav95ist.htm>

8.

Большевики распорядились его тостом очень умело – такие шахматные партии они разыгрывали по-гроссмейстерски.

В начале февраля 1936 года 86-летний Павлов снова простудился и заболел пневмонией, на этот раз оказавшейся роковой. Проболев меньше месяца, он скончался в Колтушах 27 февраля.

Будучи до мозга костей рационалистом и атеистом, он пожелал, чтобы его отпели в церкви. Это был его последний протест против варварства. Но и в этом власти его переиграли. Церковная служба в Колтушах прошла незаметно, почти по секрету. А затем «гроб с его телом передали большевикам. Большевики перевезли его в Потемкинский дворец и там выставили в большом зале. У гроба был установлен почетный караул из научных работников вузов, втузов, научных институтов, членов пленума Академии и т.д. Стояли по четыре человека по углам стола с гробом, и этот караул сменялся каждые 10 минут. Вдоль стены зала стоял караул из матросов, державших в руках винтовки с примкнутыми штыками "на караул". Это была внушительная картина: мертвая тишина, старики у стола с гробом и застывшие, как бы бронзовые фигуры матросов», – свидетельствовал один из участников церемонии³⁸.



Николай Иванович Бухарин

У свежей могилы Н.И. Бухарин произнес речь, в которой бесстыдно прихватизировал великого ученого:

38 И.Мюллер. К характеристике академика И.П.Павлова. «Вестник первопроходника», 1963, № 27. <http://vepere.ru/publ/24-1-0-185>

«Павлов наш целиком, и мы его никому не отдадим!».

Сам Бухарин уже был на грани превращения из «любимца партии» в заговорщика, террориста, шпиона, изменника родины, но именно он заложил основы мифа, превратившего своеобразное, единственное, ни на кого не похожее *лицо* великого естествоиспытателя в густо загримированное *олицетворение* того, что нужно властям.

Одну из первых попыток соскоблить коросту из затвердевшего грима предпринял Василий Лаврентьевич Меркулов – в комментариях к двухтомнику под названием: «Летопись жизни и деятельности академика И.П. Павлова». Первый том был посвящен дореволюционному периоду – он вышел в свет без препятствий³⁹. Второй том не появился. «Этот прекрасный том» был обнаружен «в материалах личного архива Меркулова»⁴⁰.

Вторую попытку предпринял известный историк науки В.Д. Есаков в 1972 году – в докладе в Комиссии по документальному наследию И.П. Павлова. Опубликовать доклад удалось только 17 лет спустя, в разгар горбачевской гласности.

9.

А.А. Ухтомский высоко ценил работы Павлова и его школы – это видно, например, из его большой обзорной статьи «К пятнадцатилетию советской физиологии (1917-1932)»⁴¹. Достижениям школы И.П.Павлова и дочерних школ (Орбели, Сперанского, Разенкова) в ней уделялось больше места, чем школе Введенского-Ухтомского. Алексей Алексеевич подчеркивал, что эти две школы, как две команды проходчиков, роют туннель с разных сторон навстречу друг другу, и близок час, когда они соединятся.

Вместе с тем в дневнике Ухтомского есть такая запись, сделанная уже после смерти И.П.Павлова:

«Традиция И.П.Павлова сложилась явочным порядком. Персональное влияние этого прекрасного труженика собирало около него людей и завязывало в коллектив лиц, подчас очень различных между собой. И это давало многим счастье чувствовать себя не одинокими и иметь возможность говорить от лица “мы”. И

39 «Летопись жизни и деятельности академика И.П. Павлова», Составители Н.М. Гиреева и Н.А. Чебышева; комментарии В.Л.Меркулова. Том 1, Л., «Наука», 1969.

40 Д. Тодес. Павлов и большевики.

<http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/viet/1998/3/26-59.pdf>

41 А.А.Ухтомский. Собрание Сочинений, т. V, стр. 30-119. Первая публикация «Физиологический ж-л», 1933б т. 16, вып. 1.

не столько открытия И.П.Павлова, вносящиеся им в науку новые понятия, новые пути анализа – создали ему его положение, сколько *моральное значение его лица, как работника и собирателя работников*. Мы знали, что пока И.П. жив, сложившаяся около него группа корректируется в своем поведении его лицом, и из морального страха перед И.П. невозможны для участников группы те подлости, которые доступны этим людям, как индивидуальностям, каждому в отдельности. <...> Со своей стороны я считал бы нужным поддерживать и сейчас коллективность работы около имени И.П. Павлова, ибо оно и посейчас заставляет *совеститься* его учеников, *обуздывает* и сейчас их поведение, а затем *сохраняет очень много намеченных задач*, ожидающих нового таланта»⁴².

Из этой записи видно, что Ухтомский относился к Павлову без подобострастия, хотя высоко ставил его нравственный авторитет. Неприятие у него вызывало равнодушие, даже презрение Ивана Петровича к философии, в особенности к диалектике. В значительной мере это объяснялось тем, что коммунисты агрессивно навязывали философию «диалектического материализма» как обязательную догму. Но Ухтомский, с юности высоко ценивший и почитавший диалектику Гегеля, полагал, что Павлов вместе с пеной выплескивает ребенка.

«И.П.Павлов говорит, что диалектическое мышление есть удел сумасшедших или жуликов! – писал он в дневнике. – Всемирная история убеждается в том, что оно является еще особенностью исключительных умов среди человечества. Нет ничего удивительного в том, что не принадлежащий ни к одной из трех названных категорий академик Павлов оказывается совершенно некомпетентным в вопросе о диалектике и склонен всецело ее отрицать»⁴³.

О скептическом отношении Ухтомского к некоторым сторонам «учения Павлова» говорит и такая запись:

«Одно из самых вредных настроений человека – это *иллюзия всепонимания!* Работники по условным рефлексам [школа Павлова] переживали это внутреннее убеждение, что они до тонкости понимают те силы, которые управляют текущим внутренним миром человека и мотивами его поведения. Не понимая хорошенько своих ближайших опытов на собаках, они

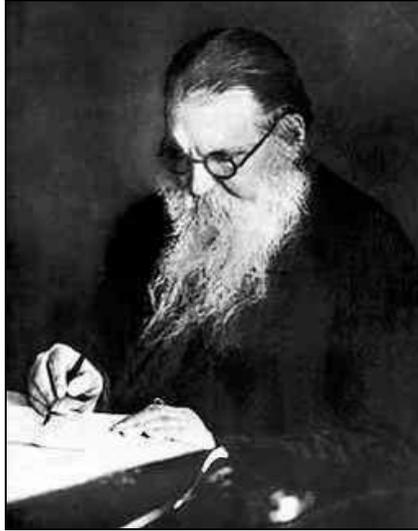
42 А.А.Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 283. Дневниковая запись от 26 января 1937 г.

43 Там же, стр. 267-268. Дневниковая запись не раньше 1930 и не позже января 1937 г.

храбро перерабатывали свои умозаключения на внутренний мир человека. И это делало их *невеждами по преимуществу*»⁴⁴.

Если Ухтомский, отдавая должное достижениям Павлова и его школы, относился со скептицизмом к их претензиям на всезнание, то павловцы не оставались в долгу. Разница была в том, что он свои претензии высказывал в дневнике, иногда в письмах к двум-трем доверенным корреспондентам, а они, обладая большой властью в науке, не пренебрегали активными действиями. Особенно это обнаружилось при подготовке и в ходе XV международного конгресса физиологов.

Приличия, конечно, были соблюдены. В повестку дня первого пленарного заседания был включен доклад Ухтомского "Физиологическая лабильность и акт торможения", ставший одним из ключевых. Три доклада, как мы помним, сделал Голиков. Выступали с докладами и другие ученики Ухтомского.



Академик А. А. Ухтомский за рабочим столом

Однако «И.П.Павлов и еще более Л.А. Орбели принимали все зависящие от них меры к тому, чтобы оттеснить нас и университетскую физиологию от сколько-нибудь заметного участия в Конгрессе, – жаловался Ухтомский Фаине Гинзбург. – В Организационный комитет от нас не было введено никого! Орбели

⁴⁴ Там же, стр., 294. Дневниковая запись не раньше 30 января и не позднее 4 ноября 1937 г.

доказывал везде, где мог, что в Университетскую лабораторию конгрессистов пускать не следует; наконец, во время самого Конгресса он делал все, что мог, для предотвращения поездок к нам и вникания в нашу работу. Очень странно и загадочно наблюдать поведение этих господ в отношении нас! Со своей стороны я предпочитал вести себя и наши дела так, как будто мы совсем не замечаем подвохов и интриганства с их стороны! Вы знаете, что я со своей стороны всегда относился к О[рбели] дружелюбно и старался поддерживать его, когда у него бывали затруднительные условия»⁴⁵.

По свидетельству В.Л. Меркулова, «вообще ученики И.П. Павлова и Л.А. Орбели (in toto) в своей массе относились к моему учителю более чем сдержанно – и даже с ехидством!»⁴⁶. Василий Лаврентьевич вспоминал, как в 1962 году академик Е.Н. Павловский, крупный паразитолог, «огорошил» его, рассказав о том, что Иван Петрович Павлов, перед смертью, просил прощения «за то зло, что он причинил моему учителю»⁴⁷.

Сам факт не был новостью для Василия Лаврентьевича: он знал о «покаянии» Павлова еще от самого Алексея Алексеевича и от близких к Павлову физиологов. «Огорошило», видимо, то, что академик Павловский, относительно далекий от этого круга, тоже знал о покаянии Павлова и помнил о нем даже четверть века спустя.

(продолжение следует)



⁴⁵ Там же, стр. 650. Письмо к Ф.Г. Гинзбург от 27 января 1936 г.

⁴⁶ Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 17 ноября 1976 г.

⁴⁷ Там же.

Валерий Скобло

ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

ИЗ СТИХОВ 1968-1993 ГГ.

АВГУСТ 1968



се было ясно без газет.

От объяснений цепенел затылок.
Курили. Пили пиво. Солнце стыло
И таяло в зрачках. Кипел брезент.

Шоссе косило в лес. Асфальт дымился.
Шли в лес, и по грибы, и просто наугад.
Поодиночке расходились. Кто-то злился,
И кто - других, а кто себя ругал.

Валежник тлел, мешался с дымом запах
Грибов и ягод, мысли плавил зной...
А ветер рвался сквозь сосняк на запад –
Туда,

где танки шли

по пражской мостовой.

1968-1969

Так много нам на каждого дано,
Что трусить недостойно и грешно,
Что нам терять себя - не растерять,
Что в нас стрелять - и нас не
расстрелять.

И нам судьба своя не дорога:
Вернется неразменна и строга -
Меняй ее на воздух, хлеб, любовь,
Судьба тебя найдет в краю любом,
Судьба тебя подхватит на краю
И, если нужно, жизнь продлит твою.
Цена не высока: за стол и кров
Ты возвратишь стихи, свободу, кровь.
И не страшны бесчестье и позор,

...То кусок разговора
запишем - и вырваны двое из пут:
Ведь когда-то нескоро,
пусть через века - оживут.
Мы десант без возврата,
мы с вами и ночью и днем,
Не судьба виновата -
мы знали, на что мы идем.
Ни войны, ни тюрьмы
не страшитесь: вы будете все спасены.
...Среди мрака и тьмы
здесь останемся мы...
Только мы, только мы, только мы.
1974

Чахлый садик
в кольце новостроек - прекрасен,
Здесь гуляю я с дочкой,
и смысл бытия мне неясен.
Я живу для того,
чтоб гулять в этом садике с дочкой –
Вот ответ на вопрос:
пустота под непрочной его оболочкой.
А еще мне приснился отец,
как тогда, молодым и плечистым,
Он сказал: "Помолись за меня".
А при жизни он был коммунистом.
Я не верю ни в бога, ни в черта,
вообще, ни во что, но, а все же –
Не к добру этот сон,
холодок пробегает по коже.
На работе хандрит осциллограф
подряд уже несколько суток,
Я курю у окна
и окурки кидаю во двор института.
Я свободен, а в скобках –
т.д. и т.п., неужели
Вы подумать могли, что свобода –
лишь отпуск, четыре недели?
Я свободен по горло,
и по уши, и до макушки.
Бытие не бессмысленно - нет,

пустотело, не стоит и медной полушки.
Бутерброд с колбасой,
 что в газету жена завернула,
Весь нетронут лежит,
 чуть не падаю на пол со стула:
Что-то сердце кольнуло.
 Вся жизнь моя от сердцевины до края
Умещается в садик,
 где изредка с дочкой гуляю.
1974

КАНДИД, ИЛИ СТИХИ ПРОСТАКА
Что нас, может быть, выведет из тупика
И укажет дорогу –
Это точка отсчета, и взгляд свысока,
И презренье к итогу.

Неудача в любви, невезенье и грязь...
Я гляжу с беспокойством
На неявную, но очевидную связь
С социальным устройством.

Опуская детали, скруглив поворот,
Я предвижу усмешку,
Но ссылаюсь на то, что читатель поймет,
И всегдашнюю спешку.

Есть какой-то изъян или тайный порок
В целом и у системы –
Кто еще виноват в том, что ты одинок
И несчастлив, как все мы?

Я легко принимаю упрек в том, что я
Слишком прямолинеен:
Так честнее, чем пользы искать от вранья,
Что в избытке имеем.

Пусть нас мало, и мы пробиваемся врозь
И слабы... Ну и что же?
Ведь порядок вещей, весь прогнивший насквозь,
Должен быть уничтожен.
1975

Найти оправданье всему
нетрудно. Да только к чему?
Кому это нужно?
Как месяц назад, как вчера,
я жизнь проклиная с утра,
вставая натужно.
Оставив кусок колбасы,
с тревогой гляжу на часы
и плащ надеваю.
Вливаюсь в бурлящий поток
спешащих в положенный срок
в метро и к трамваю.
Вот я упакован в трамвай,
где страсти кипят через край,
и края им нету,
ладонью коснись - горячо...
Взглянув через чье-то плечо,
я впился в газету.
Скольжу по газетным листам,
ищу подтверждения там
все снова и снова:
Везде - то же, что и окрест,
глупец с переменою мест,
повсюду - хреново.
Но вот за изгибом реки
я вижу, мечтам вопреки,
(где Божия милость?),
родную контору. Цела!
Сверкающий кубик стекла,
а странно - мне снилось...
Охранница смотрит в упор,
в глазах ее грусть и укор,
вся гамма печали.
А что там в ее кобуре,
торчащей на мощном бедре, –
вязанье? Едва ли.
Пройдя сквозь пустой коридор,
вхожу я во внутренний двор
и шаг замедляю.
Я думаю, как оправдать
свое опозданье на пять
минут. И НЕ ЗНАЮ.
1975

Автобус сползает с откоса,
Снег бьет в лобовое стекло
И влево уносится косо.

К стихам потеряв интерес,
Душа путешествию рада.
Смотрю на дорогу и лес,
А большего мне и не надо.

И нету желанья в груди
Парить над дорогой и чашей
И думать про жизнь впереди...
Но только бы жить настоящей.
1978

Вскрик... Мельтешение теней...
...Вот стул и скомканная майка,
И рядом "Иностранка", в ней –
"Давай поженимся" Апдайка,

Что вечером, не дочитав,
Она была оставить рада,
Так и не выбрав: кто же прав
И за кого болеть ей надо.

За шторами глухая ночь,
Не долетает ни ползвучка...
Какую тень он гонит прочь
Во сне - теперь и вспомнить мука.

Он долго смотрит в темноту,
Пространство за окном огромно,
И переводит взгляд на ту,
Что рядом спит и дышит ровно.

Он будет ждать, и ночь в окне
Под ветром утренним истает...
Но что еще сказать, как не –
"Давай поженимся..." – не знает.
1979

В железной двери электрички
Прорезано окно.
Влетает ветер, задувая спички,
И в тамбуре темно.

В ночи огни, как искры в саже,
Как дальние костры.
Я чувствую плечо твоё –
и не подруги даже,
Скорей - сестры.

Все то, что было между нами,
отлетело,
Куда - невесть.
Но, может, то, что остается,
как душа от тела,
Любовь и есть?..
1982

Положим - уехать в Извару...
Ну, Рерих... махатмы... Тибет.
Ввязаться в обычную свару:
Музею здесь быть или нет.

Вода застывала в стакане -
Дрова забывал принести...
Какой-нибудь Сидоров станет
Ведущим тебе - на Пути,

А также Елена Иванна
С Еленой Петровной самой
Ведут из пещер Индостана
До этики самой живой.

...И свет, от себя отраженный,
Увидеть в глазах – у другой.
Увлечься - и взять ее в жены,
Увлечь и ее за собой.

Но дом – это тоже лишь вежа...
В апрельском сквозит ветерке,

Что это - чужое... помеха,
А надо шагать налегке...

Казалось - нет выше дороги,
Но вздрогнув, прозреть на краю:
Огонь, восстающий из Йоги,
Судьбу пожирает твою.
1990

На коротком теперь поводке поживи,
И, когда постучат тебе в дверь,
Ты узнаешь, что век, растворяясь в крови,
Оставляет лишь привкус потерь.
Ты прошепчешь: до лета б дожить, до тепла,
До июня с его ветерком...
Да в раскисший суглинок вся жизнь протекла
За сухим и коротким хлопком.
Но не мордою в грязь... Показалось на миг,
Что затылком о гулкий гранит...
Чтобы стынущим взором ты вечность постиг,
Упервшись в небесный зенит.
...И - прощай, дорогая эпоха!
Прошибает скупая слеза...
Ты хотел до последнего вздоха
Глядеть ей в глаза.
1991

Позабудь эту землю. Забудь
Окаянную эту землицу,
Чтобы взмыть в небеса, точно птица,
И отправиться в радостный путь.

Мощным взмахом расправленных крыл
Обрети ту - былую - свободу,
Подними же свой взгляд к небосводу,
Ты умеешь летать - ты забыл...

Ты здесь столько всего претерпел,
Что припомнить - и то уже мука,
Избавление, а не разлука
И не рабство - твой вечный удел.

А не можешь: увяз коготок,
Значит, ты, как и я, отщепенец,
Кто б ты ни был: еврей или немец -
Подыхай здесь со мною, браток.
1991

Когда, как говорится,
Тому лет двадцать мимо,
И полем, лесом, речкой
Мы шли с тобой к разлуке
От станции к поселку,
А ветер сосны гнул, -
Душа неумоимо
Летела поверх тропки,
Улавливая чутко
Подземный страшный гул.

Тектоника эпохи,
Подвижки и разломы...
Идем, след в след ступая,
Но сдвиг коры мгновенный -
И мы на кромках разных
Материковых плит.
Еще едва знакомы,
И, что нас ждет, не знаем,
И от того, что ждет нас,
Уже душа болит.

Лихое время слышит,
Как кровь шуршит под кожей,
Отчаянья и страха
Оно нам не прощает
На узенькой тропинке
Вдоль берега реки.
Гляди вперед без дрожи,
Пусть будет то, что будет.
...А впереди поселок,
Мерцают огоньки...
1992-1993

**Из цикла "Малая родина"
(Топография Петербурга)**

1

Трамвай N 6. Площадь Калинина, далее...
...Заводы, заводы, заводы,
Дальше больница, тюрьма...
Долгие, длинные годы
Кружу я дорогами этими,
Но не набрался ума.

2

Большая Зеленина улица, Малая Зеленина...
Глухая Зеленина... Слепая Зеленина...

Расскажи мне о правде,
что мы не сумели понять,
О невиданной правде
великих Зелениных улиц,
Тех Слепых и Глухих,
где бока нам успели намять,
На которых мы с нею,
наверное, и разминулись.
1993

**ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО
ДЕСЯТИЛЕТИЯ**

"А сила прежняя в соблазне..."

Б. Пастернак

Самое время - воспеть стабильность,
Вертикаль власти и все такое,
Изобразить на лице умильность...
...Горячий лоб потрогать рукою.

Здесь что-то не то, мы не так шутим,
Пора себя ушипнуть до боли.
Дело в какой-то глубинной сути,
А пустяки не играют роли.

Какая разница, что за лица,
В иерархии этой – какие рожи?
Когда под любого готовы стелиться.
ЖЭК ли, НИИ – и повсюду то же.

Все, что возможно, мы проиграли,

Впору сначала... но нет интереса.
Свечи погашены, пусто в зале...
Чужое время, не наша пьеса.
2004

ПОСЛЕСЛОВИЕ
к подборке стихов 1968-93-х годов

Жизнь, собственно, прошла в те двадцать пять лет.
Уж и не знаю – к счастью или несчастью.
Был я тогда мечтатель... простой валет,
А мнил себя козырной мастью.

Потом настали новые времена,
И другие выскочили на татами.
Сгинула та невиданная страна
С королями своими и впечатлительными вальтами.
2013



Валерий Черешня

Прозрачное время

Элегия памяти



сё, что было, случилось – было:
эта сумма движений, сумма
теплокровного гула, шума,
от вещей идущего пыла, –
навсегда в глаза твои вплыло,
растеклось и лавой застыло.

Взрывом памяти лаву поднимет,
и осколки взметнутся роем
острозубых мгновений-молний:
и опять рассекутся волны
бритвой скал, захлебнувшись пеной,
и плеснёт им закатной крови
красный бог, опускаясь за сценой;
и опять в идеальном повторе,
в нимбе света вечернего сыпком,
вдруг появится мальчик из моря
весь дрожащий...

С готовой улыбкой
мать стоит, распахнув полотенце,
чтоб обнять своё мокрое горе,
ветер важно вздувает сети
(хорошо мимоходом пропеть их),
а вокруг в молчанье суровом
берега полукруглым хором
собирают мгновенья эти
в складки тысячелетий.

Волоку сквозь прозрачное время
горстку «я» – непокорное племя:
первый песню гугнит в колыбели,
а второй затаился в постели,
поражённый растущей тенью –

неизбежностью исчезновенья,
злой любовью своей стреножен
третий бродит по кругу страсти,
а четвёртый баюкает счастье
озаренья случайного.

Сложен
из кусков, распадаясь на части,
лишь неясной мелодии верен,
ты вернулся на тот же берег,
чтобы солнце, впекаясь в темя,
выжгло глупость по имени «время»,
чтобы глаз, напитавшись простором,
не смущался обыденным сором,
чтоб душа положила в котомку
эту белую пенную кромку
и ушла бескорыстным вором,
всё оставив земным потёмкам.

ЭЛЕГИЯ СВОБОДЫ

Когда просыпался нигде, никогда,
зная, у тебя ни кола, ни двора,
ни прошлого, ни будущего – одна пустота-
немота перетекания из мига в миг,
вот, наконец, ты постиг:
без тебя ничего бы не изменилось,
так же продлилось.

Перестаёшь жевать времени силос,
не пятнаешь жизнь прикосновением,
удержанием, жадным трением,
зато всё осветлено свободным падением
бумажной ласточки, пущенной из окна, –
как послушно в провалы ныряет она,
как доверчиво отдаётся скольжению,
вольнопению,
вышивая свой путь по воздушной канве,
пока не приткнётся к траве...

Не для тебя, если честно,
песня птицы небесной, –
никогда ты не мог укрепиться в свободе,
возвращаясь к расчётливо жадной плоти,
возвращаясь к страхам, к уму,
так к привычной болезни льнут,

если она не смертельна,
а так, расслаблена и постельна, –
оправдание лени и сну,
утешенье идущих ко дну...
Да и как укрепиться в том,
что наплывает, как облако, в нём
не различишь ничего – и не надо,
только сердце родному радо,
только чувство поёт: вроде,
ты уже здесь, на свободе...

АМЕРИКАНСКАЯ ЭЛЕГИЯ

О, всего несколько строк, –
многим негде и притулиться
в этом маленьком городке
с холмистыми чистыми улицами.
Скрюченный прошлогодний лист
шаркает здесь чаще, чем прохожий,
зелень газонов, как пианист,
играющий слишком громко.
Ну, ещё понурые машины у обочин,
брошенные наспех, с обиженным выворотом колёс,
и домá, взасос
сглатывающие хозяев после работы.
В их нутре голо, как на античной сцене:
ужин, телевизор, пятнающий стены
дьявольскими отблесками цветных бедствий,
дети угомонились в детской.
Секс – всё реже и реже, эта усталость,
будто ты себе не ближний, а дальний,
не заснуть от зудящего «з-з-зачем?»,
комаром залетевшего в спальню.
Такой кровосос вполне истребим
пробежкой в дурмане тумана, утренним кофе,
работой, где ты совершенно незаменим, –
настоящий «профи».
Это всё.

Да, я забыл сказать
об одном дереве, растущем
так, словно ему никак не нужно стать,
только ветвиться гуще и гуще,
только так и остаться в твоих глазах:
Лаокооном, синь неба рвущим.

НА БЕРЕГУ (почти из «Фауста»)

Сел на песке и чертит круг,
а личный бес ему талдычит:
– И как ты умудрился, друг,
не прибыль получить, а вычет?
Опора в жизни всем нужна,
но выбрать посошок просодий
и жить, как глупая волна, –
накатит и в песок уходит?
К тому ж, у ясности в плену
расположился ты приятно
и промахнулся – глубину
находят в том, что непонятно.
Пойми же, юноше идёт
непредсказуемость порыва,
но старого слепца спасёт
лишь осторожность у обрыва.
Я проповедую, любя,
хоть знаю, что внушу зевоту...

– Уймись, нет спасу от тебя,
ты и зевок сведёшь к расчёту.
Поманишь напрягать весло,
одолевать судьбы течение,
и только ждёшь, чтобы снесло
на мелководье повторений,
а там ищи тебя, свищи...
Ты – мастер наведенья тени,
но ясность, как ни клевети,
а всё же – отсвет откровенья.
Любуйся: бликами слепя,
в себя светило принимает
морская бездна – для тебя
здесь места нет, твой профиль тает,
ты просто муть, как бес любой,
и пеной пользы озабочен...
А напитать песок водой
не так уж мало, между прочим.

СВОБОДА

Внезапно свобода повеяла,
дурацким тряся колпаком,
от скуки все звуки рассеяла
в пространстве, незнамо каком.

И ты собираешь по семечку,
сжимаешь их в потной горсти,
воистину, страдное времечко
тебе предстоит провести:
скрести озабоченно темечко,
пахать залежалую суть,
чтоб это случайное семечко
в достойную почву воткнуть.

Пока, преисполнен доверия,
стараясь увидеть в лицо,
сличая гармонию, меряя
с первичным её образцом,
пока вся душа наклоняется,
следуя за дрожащим ростком, –
свобода опять заявляется
с дурацким своим колпаком.

РАЗГОВОР С ДУШОЙ

– Что ты, дура, спишь, просыпайся,
смерть к тебе идёт, быстро кайся!

– Ваших бдений сны – вот что страшно,
смерть или не смерть – мне неважно.

Ты меня достал: зла, инертна...
Что мне смерть твоя? Я бессмертна.

Тело и душа... дальше – врозь им,
осень я люблю, просто осень:

слабенький раствор дней убогих,
голые стволы – в небо ноги

посуху идут синей течью,
посохом скребут ветра речи,

на груди воды – листьев плёнка,
тонко я люблю, там, где тонко

чувство чует мысль, пусть и рвётся,
сквозь разрывы свет так и льётся,

в этом свете-сне жить, купаясь,

всё, что я хочу, в этом – каюсь,

этим я хочу власть напиться,
то есть, долюбить и проститься.

ВМЕСТО ГРОЗЫ

Тучам зной даёт сгуститься
в нехорошее темно.
Небо хочет облегчиться,
но и это не дано.

Тесно-тесно, душно-душно,
так бывает, если врешь:
отвратительно натужно
и неправильно живёшь.

Горы туч висят, как гроздь,
грозен грома обмолот.
Облегченье от предгрозя –
ясный вечер – сам придёт.

И косящий луч проникнет
в щель ушедших облаков,
золотистый свет настигнет
оправданием без слов.

ПО СЛЕДУ ГОРАЦИЯ...

Грубая сила зимы стихает, земли оттаявшей духом
полнится грудь, как тогда, в чутко зверином детстве
возле богини фонтанной, застывшей холодным
испугом
в мраморном девстве.

В ссоре с порядком вещей, в соре листвы
прошлогодней
свой начинает богиня медленный танец круженья,
ответ бросает, босая, на плиты, а по подворотням –
крадкие тени.

В них узнаёшь всех ушедших, их быстрые метки:
вот обозначился профиль знакомый в велюровой
шляпе,

тянется тень, и за нею вновь тянешься выпасть из
клетки
времени – к папе.

Рядом другой силуэт наклонился, так виснет ветвями
ива над озером слёзным, и так безнадежно-покорно
в озеро жизни случалось глядеться испуганной маме,
с дном его сорным.

Грозно танцует богиня, такт отбивает с азартом,
дверь открывает без всякой отмычки любую,
будем играть с нею честно, хоть мечены карты,
в дудочку дуя.

Друг мой счастливый! Твой срок отплясала богиня.
Как ты любил этот танец, простое изящество линий,
тех, что выводит теперь только зимний закат на
могиле
инеем синим.

БИЛЬЯРД

Узкий косой прицел
жизнь до предела сузил.
Соудареньем тел,
их попаданьем в лузу,
как и гармонией сфер
ведает мудрая Муза.

Только бы ты попал,
движимый ловким даром!
Дар этот в мышцах спал,
дар этот дан тебе даром...
Только бы ум не мешал
отождествленью с шаром.

Грудью припав к сукну,
став продолженьем кия,
в омуте мути тону,
веки раскрыв, как у Вяя...
Будущее на кону, –
что там: Рахиль или Лия?

КАЛИФОРНИЯ

Взбираясь на холмы
цепочкою деревьев,
окрестность нам умы
вправляет, как умеет:

носи, как носим мы,
невинный глянec листьев,
терпи, как терпим мы,
холодных ветров свисты.

Цепляясь за подзол
корявыми корнями,
наращивая ствол
непешными слоями,

исколоты дождём,
всем воздухом горбаты,
по кромке туч плывём
в косматые закаты,

мы пьём их долгий свет,
сшивающий столетья,
и смерти смотрим вслед,
стареющие дети,

без страха и тоски
(не то, что ваши люди),
до гробовой доски,
которой мы и будем.

КОРОВА

Вот живёшь, как корова живёт:
в тайниках поворотливой туши
долговремя, как сено, жуёт
и теплом своим мокрое сушит.

Ум лохматым туманом плывёт
и тогда только в сердце вступает,
если брюхом телёнок идёт
или нож мясника нависает.

Щель заката, как рана, свежа,
и прореха в темнеющей рясе

облаков, словно тело ножа:
и кому оно впрок, моё мясо?

О старость, ты просто причуда
весёлого беса. С собой
ты видишься как бы оттуда,
покуда ведут на убой
сквозь узкую медленность жизни,
сбивая с понятий и ног,
а сверху на ниточке виснет
надеждой подвешенный бог.
Он сыплет густой и нелепый
словесно-растительный сор,
в тебе прорастает напевно
его обаятельный вздор,
и ты отмечаешь не к месту
вещей соразмерность и вес,
обычного облака тесто,
его гениальный замес.



Леонид Латынин

«Ничего не надо ждать»

1



приглашен был, сударь, вами
В живую жизнь и в целый свет,
На роль шута в червонной драме,
В последний акт, в кордебалет.

Как я играл, как плащ был ярок,
Как бубенцов был бешен звон.
Играл полвека без помарок
На свой особенный резон.

Как жаль, что не было партера,
Что сам театр сгорел давно.
Что на дворе стояла эра,
Пост театрального кино.

Царили там цари попроще,
Царицы бацали лихи,
И коз пасли в священной роще
В холщовых фраках пастухи.

И все равно – за все спасибо,
За жидкий чай, за крепкий ром.
За бенефис в грязи турксиба,
И за гастроли за бугром.

27 января 2014

2

Ничего не надо ждать,
Просто жить, как Бог пошлет,
В небесах летит кровать
В ней болит не мой живот.

Сяду рядышком на край,
Молча что-нибудь спою.
Нам с тобой не нужен рай,

Рано жить еще в раю.

Дальше праздно и грешно
Будем длить короткий век,
Где в избранниках сукно
Правит сонмищем калек.

Отдохнем и полетим
В край нездешний, мир иной.
Позади четвертый Рим,
Впереди - очередной.

Не гневись, что я не смог
Докричаться до небес.
Так решил, наверно, Бог,
Что не умер, а воскрес.
12 августа 2012

3

Шелест пары воздушных шагов,
Тень Жизели в прозрачном хитоне.
Под знакомую музыку слов
Расстаемся опять на перроне.

Только пальцы, о пальцы звеня,
Держат кольца, сидящие туго.
Ты зачем- то любила меня,
Не сходя с сумасшедшего круга.

Скоро занавес прянет с небес
И закроет прощальную сцену,
Где с тобою, а может и без,
Я плачу полугрешную цену

За скольжение в вальсе разлук,
В наваждении музыки речи.
За тепло оплетающих рук,
Обещавших короткие встречи.

Бей о ножку носком башмачка,
То взлетая, то падая снова,
Да под хрупкие речи смычка
Оброни, улетаая, полслова.
29 августа 2012

4

Начинается время обратное,
Превращается золото в медь.
Значит, солнце взошло предзакатное
И уже не опустится впредь.

Значит, жизнь еще дышит и молится,
Еще плачет, и ждет, и болит.
Значит, мчит еще с цокотом конница
По ристалищу мраморных плит.

Бьется сердце до гула кромешного,
Словно в гриву коня вплетено,
И за что меня, злого и грешного,
Не оставило нынче оно.

Еще пестует, кружит и мыкает
По простору... Была, не была,
Кто над нами смеется и гикает,
Натянув, как струну, удила.
28 сентября 2012

5

Актриса

Небо плакало долго и горько,
Лился дождь, торопясь на лицо,
И спешила озябшая полька,
Потеряв по дороге кольцо.

Сумасшедшая праздная дева
В желтых листьях опавших берез.
А когда- то была королева,
Доводившая душу до слез.

У наследника дел вереница,
У наследницы их кутерьма.
Перевернута трона страница,
Легким жестом сошедших с ума.

На столе золотая посуда,
И по стенам родни череда.
Не случится обратного чуда,
Ты уже не вернешься сюда.

Ты в своем зазеркалье остыла.
И живешь, не жива - не мертва.
Было царство, побыло и сплыло.
Не дожив до распада едва.
30 сентября 2012

6

Мясо, кости, шум дождя,
Ветер, бронза, рокот струн,
Есть у брачного вождя
На пиры двенадцать лун.

Вот он в длань берет пращу,
Вот он вывернул плечо,
Кровь стекает по плащу,
Медленно и горячо.

Что сказать тебе не в ор,
Чтоб пробить свинцовый лоб,
Этот век палач и вор,
Меньше вор и больше жлоб.

Разведи ладони глаз,
Размахни крыла навстречь,
Загляни на этот раз,
Где на дне мерцает речь,

Лавой движется дымя,
Освещая грешный путь.
Сумасшедшим помни мя,
Прочим, напрочь позабудь.
3 января 2014

7

Катится мир и катится,
Пора бы уже устать.
Слетает, как птица, платье
Медленно на кровать.

Женщина в пестрой шали
Танцует под потолком.
Крестик на белой эмали
С отколотым уголком.

Я звал Вас - любимой - годы,

Я ждал каждой встречи, как
Узник своей свободы,
Страждущий - Божий знак.

Падает солнце криво
С запада на восток.
За окном доживают Фивы
Свой семивратный срок.

И бережно, как когда - то,
Едва уснут сторожа.
Две повести, два заката,
Дрожа... Ворожа... Кружа...
30 ноября 2012

8

Г. Гачеву

Россия - сплошная Троя,
У Рима, как в горле кость.
Нас было на свете трое,
Из нас, я последний гость.

А прочие в жальной глине,
С поникшим к земле крестом,
Что было бы, Господи, с ними,
В месте ужо пустом.

Вот так же спали и пили,
Вдали от родимых мест-
А может скорее - или
Несли свой не божий крест.

Налью себе в миску водку
В нерусской ржавой глуши.
И вылью посуду в глотку
За упокой души.
7 января 2013

9

Ну что мне до разбитого ковчега,
До суеты мизерного вождя.
До майского серебряного снега,
И до февральского промозглого дождя.

До ваших пряных игрищ и разборок,
До петушинных розничных боев,

Мне надоел ваш пролетарский морок,
И морок тусклых, полумертвых слов.

И жесьть убогих песен и разгадок,
И пляски комариные рабов.
Европы нет, а есть ее упадок,
И строй имперских вапленных гробов.

Чего же я над этой мутью плачу,
Над королевской немощной четой,
А не над тем, что ничего не значу
Под мировой расплывчатой чертой.

21 апреля 2013

10

Зазывает зазывала, – поживи еще немного,
Поцеди в таверне пиво или лучше в кабаке,
В этой жизни невеликой от порога и до Бога,
Или лучше до тумана, что сереет вдалеке.

Я, конечно, не отвечу, самому пожить охота,
Посмотреть луне в гляделки сквозь волнистое пятно,
У меня еще не слезла с праздной мысли позолота,
У меня еще в стакане не отсвечивает дно.

Вот я рою жадно яму для мыслительного древа,
Вот веду по трубам воду к невысокому стволу,
Помогает в этом деле мне мерцающая дева,
А потом со мной садится к оловянному столу.

Как свежи и красны розы вдоль заката у калитки,
Как разумен птичий гомон у открытого окна.
И ползет со мной попутно жизнь со скоростью
улитки,

Только Богу издалека неотчетливо видна.

26 апреля 2013

11

Я покупаю время, обычно на местном рынке.
Туземцы его не ценят и продают за гроши.
Купленное усердно делю на две половинки,
Одну раздаю прохожим я на помин души,

В другой, что себе оставил, три наших коротких
минуты,

Недолгое полнолуние вдоль полусухой травы.
И птица, что прилетала, скинув медные пути,
Тайно от всех на свете, мимо мирской молвы.

Там золотая осень, ложе на дне оврага.
Запах полыни терпкий, красной рябины вкус.
И в этой нездешней доле тускло мерцает Прага
В раме обвивших шею темно- багровых бус.

В этой россыпи - нету праха от черт глагола,
Знаков вопроса, или - точек или тире.
В ней я свободен от власти здешнего полумонгола,
В самом любом, из сумрачных, месяце холодобре.

Ах, как замирает сердце, бедный птенец дрожащий,
Когда я перебираю этот купленный хлам
Только ко мне навстречу звуком глухим звенящий,
Скрипом тугим по коже, музыкой по губам.
1 июня 2013

12

*В День получения с нарочным книги
Юрия Ханона «Воспоминания задним числом»*

Начнем обратный круг, уже в который раз,
И снова не дойдем до смертного конца,
Закончит хоровод движение без нас,
И бабочку стряхнет летящая пыльца.

Приходит наугад самскары перепев,
Воздушен и легок, затейлив, как трава,
Опять разинул пасть одну двуглавый лев,
И скрылась в ней моя другая голова.

Что в имени моем тебе или ему,
Я мимо пролетел моей чужой страны,
Успев набить ботвой железную суму,
Под drobный звук псалма и бляенье зурны.

И вот опять сажу за праздничным столом,
И яства лезут в рот ликующей толпой,
Мне, выпив, закусить опять сегодня влом,
Особенно сейчас, особенно с тобой.

Лежит тяжелый том, и давит мне на грудь,
Как давит на плато тяжелый небосвод.

И все же я скажу, совсем не в этом суть,
А в том, что кто-то ТУТ из ТАМ, уже живет.
31 июля 2013



Лорина Дымова

К чему притворяться...



– Мир ароматный, воздушный, сквозной.
Светлых деревьев рисунок резной.
Дрозд обалдевший, охрипший, хмельной
жизнь воспевает!
Зыбкость, изменчивость, небо без дна...
– Полно, какая же в том новизна?
Разве бывает иною весна?
– Знаешь, бывает!

Душный, тяжелый, клубящийся зной,
лес и поля отдают желтизной –
все это вместе зовется весной
в дальних пределах.
Медленно тянутся вязкие дни.
Ни воробьиной весенней возни,
ни сумасбродств, ни бессонницы, ни
звезд ошалелых.

– Что предпочтительней?
– Ну и вопрос!
Ясно! Сияющей радуги мост,
россыпи звезд и ликующий дрозд,
лунное золото!
– Ах, мой дружок, какой ты смешной!
Дело не в том, что пылица и зной.
Просто той синей, безумной весной
мы были молоды.

Я согласна – обидь.
Я согласна – забудь.
Разлюби – я согласна.
Лишь бы звонкая боль, что меня оглушила,
была не напрасна.

Лишь бы в ночи, когда рассыпает луна
тусклых звезд запятые,
эта боль превращалась в мелодию сна
и стихи золотые.

Не казись. Улыбнись. Я ведь зла не коплю.
С легким сердцем прощайся.
Не печалься – я тоже тебя разлюблю.
Не печалься.
Но сначала дождусь, чтоб луна поднялась
из ночного колодца –
напишу под диктовку ее, что любовь умерла –
не вернется.

Я забуду тебя, как мучительный сон,
и наверное скоро.
Но останется музыка: звезд перезвон
И гудящие горы.
Мне для счастья довольно
Мелодии нашей разлуки.
Я тебе благодарна
За эти шемающие звуки.

Заколдованный круг

Ах, как странно звучит:
"Я отныне ничья", –
Отрешенно, спокойно
И даже не грустно.
...Возвращаются ветры на круги своя,
Возвращаются реки в забытые русла.

На небесное поле восходит звезда
И, колдуя, плывет над колодцами улиц.
Не грусти... Я вернулась к тебе навсегда.
Нет, на миг... Или нет...
Я к тебе не вернулась.

Не грусти... Мне назначено вечно идти
По петляющей тропке над черным ущельем.
Ты не слушай, когда прошепчу я:
"Прости..." –
Не бывает вины, не бывает прощенья.
Ведь любовь - это сладкий и краткий недуг.

Сумасшедший июль вышел из берегов.
Вынырни из-под него, воздух глотни и – вперед!
Уже наплывает другая жизнь. Ее наступает черед,
А ты не готов...
Морок стряхни или выпей пилюль –
Не вечно же будет властвовать в мире июль.
Сойдет наводнение, и наваждение пройдет,
Продолжит шествие по земле рассудительный год –
Готовься!

Что делать, в юности мы склонны к многословью,
Напичкан тысячами вздохов каждый стих.
Все чистые листы заполнены любовью,
И просто места нет для тем иных.

Но молодость пройдет, как свойственно сезонам,
Пора вопросов, тайн, загадок и грехов.
И мы подчинены уже другим законам,
Нам, честно говоря, вообще не до стихов.

И рвемся мы вперед, не осознав потерю:
Не до того – спешу, воюю, держись!
Но тикают часы. Мы открываем двери
В иной сезон. В совсем иную жизнь.

Ах, не горюй!
Там даже лучше, чем вначале,
Пустые небеса от суеты пусты.
Раздолье для души, раздолье для печали,
Вдобавок плед, камин и чистые листы.

И как поэт бы это ни скрывал
И как ни отрицал бы в возмущенье –
Он жаждет восхищенья и похвал,
Похвал, вам говорю, и восхищенья.
А мы, друзья, молчим и ни гу-гу,
Мы скупы на слова и на улыбку.
Я объяснить вам даже не могу,
Какую совершаем мы ошибку!
Он станет наркоманом и бомжом,
На пиджаке появятся заплаты,

Он станет водку пить, а не боржом,
И только мы в том будем виноваты.

Кто удачлив, расчетлив,
Кто трезв и умен,
Будет сладостно жить
До скончанья времен.
А когда завершатся его времена,
И погаснет очаг, и порвется струна –
То и дальше не страх, не обрыв, не раздрай –
А шумящий листвою комфортабельный рай.

Коли выбрать могли бы мы участь свою,
Непреренно бы все очутились в раю,
Средь цветов и веселых пичуг... Но увы,
Не умны мы и редко бываем трезвы,
И унынье в глазах, и в речах хрипотца...
Так чего же, друзья, мы хотим от Творца?

И вот мы добрались до ноября.
Он долго ждал в конце календаря,
Когда же мы устанем и остынем.
И вот дождался.
Хмуро и темно
Больное небо смотрит к нам в окно,
А было ведь улыбчивым и синим.

Ах, что за месяц!.. Долог и тягуч...
Промозглый ветер, вереница туч,
Грипп и хандра и прочие напасти.
Мир обезлюдел, и гостей не ждешь,
Нет ничего на свете – только дождь,
Он гасит мысль и остужает страсти.

Все эти охи, вздохи при луне!
Нет, это не о нас, не обо мне –
Какие-то истории чужие.
Но в жизни было много нояблей,
И не был ни один из них добрей,
И все же мы их как-то пережили?
Переживем и этот.

Под окном
Стоит ноябрь, закрашивает дом,
Дороги и деревья серым цветом.
Его картины полная мура,
Художнику на пенсию пора,
Но мы не смеем и мечтать об этом.

Ну зачем вперед смотреть:
Что там дальше, есть ли свет?
Нужно, братец, умереть,
Чтоб узнать, что смерти нет.

Из детства в юность через речку – по дощечке.
В неистовую молодость – по мостику.
И по мосту (ох, не хотелось!) – в зрелость.
И в старость тропкой-змейкой – по перешейку.
А дальше, Боже правый,
Нет переправы!..

Нас время захлестнуло,
Корабль идет ко дну.
Я в прошлое взглянула:
Неужто? Ну и ну!

Как много я хотела –
И все по мелочам!
Влюблялась то и дело
И верила речам.

Нарядные букеты,
Веселое вино,
Какие-то билеты
В какое-то кино.

Свиданья и поездки...
Костер на берегу...
Туманно и не резко,
И вспомнить не могу.

Всё и всегда сбывалось,

Пила и ела власть.
Все, в общем, удавалось –
А жизнь не удалась.

Признание – ей-богу, смешно, а умолчание – грустно,
И как запоздало открытие мое!
Совершенно не факт,
Что судьба моя говорила по-русски,
И может быть вовсе не там я искала ее.

Однажды мне кто-то звонил, бормотал торопливо.
Неясно – на шведском, китайском,
А может, был это санскрит.
А я все молчала и думала: экое диво! –
Не подозревая, что это судьба говорит.

ПЕСЕНКА

До-ре-ми, минор – мажор.
У меня есть ухажер,
Непонятен и нелеп,
Ест он только соль и хлеб.
Пробормочет что-нибудь –
Сразу вместо жизни – муть,
Моего коснется лба –
Сразу ясно: мне труба.
Говорю я: «Отвяжись!
Ты мою корежишь жизнь.
Горьки мне твои заботы,
Душны замки, мрачны гроты,
Не живется мне, не спится,
Право, лучше удавиться,
Раствориться в черном дыме –
Чтоб твое не слышать имя,
Одиночество...»

Да, все как раньше – только вполнакала,
В полрадости, в полгорести, вполсилы.
Случись бы это раньше – упрекала,
И не исключено, что голосила.

А так – смотрю, как вещи собираешь,

Простые и нехитрые трофеи.
Уходишь – это ведь не умираешь.
Возьми будильник, он тебе нужнее.

Я искала тебя среди встречных,
И среди поперечных искала.
Я хотела признаний сердечных
И страстей грозового накала.

Только вместо страстей и накала
Я, увы, повстречала нахала.
Я тебя, дорогой, повстречала.
Ах, судьба, что ж ты так подкачала!

ИЕРУСАЛИМ. УЛИЦА НУРИТ

И я хотела б – в прошлом веке и в поместье,
Иконный лик и в профиль, и анфас.
Но я живу не где-нибудь, а в этом месте,
И не когда-нибудь, а именно сейчас.

И я хотела бы, конечно, чтоб туманы,
Романы, и обманы, и шифон.
И чтобы на картине постоянно
Мерцал благоуханно-нежный фон.

И слушать, как из сада песня льется
И как звезда с звездой говорит.
...Ах, до чего невыносимо солнце
В июльский день на улице Нурит.

ЛЕСТНИЦА

К чему притворяться... Любила. И жаждала
крестные муки принять.

Бродила как тень. Разучилась молчать,
говорить,
улыбаться.

И глаз на тебя, как на солнце,
не смела поднять –

Боялась ослепнуть от взгляда...

К чему притворяться?..

Терзалась. Металась от боли и счастья,

от встреч и разлук
И разум теряла при мысли,
что надо расстаться.
Все в мире казалось пустым,
кроме жадных и ласковых рук,
И губ, и речей, и молчанья...
К чему притворяться?..

Потом долго-долго смотрела, не видя,
в туман,
на дорогу,
вослед...
Ни слова, ни звука, ни вдоха.
Что толку...
Все было.
Зачем повторяться?..

И лед вместо сердца.
И бездна.
И сумрак.
И бред.
И тьма позади, впереди, навсегда, бесконечно.
К чему притворяться?..

Прошла все ступени той лестницы вечной.
И вот тишина.
Медлительный день.
Шелестящая осень.
Печаль и свобода.
И память. И горечь.
И нет ни покоя, ни сна.
И солнце с прищуром твоим
равнодушно глядит
на меня
с небосвода...

ОГЛЯНУСЬ...

Молодые свиданья, надежды, мученья,
Безмятежные праздники, брошенный дом...
Все прошло
и уже не имеет значенья.
Если что-то и помню –
То верю с трудом.
Неужели ко мне, обо мне и со мною?

Это счастьем казалось?
А это бедой?
...И стоит равнодушное время стеною
Между нынешней мною
И той – молодой.
Не беда, что имеются в мире улики
Всех моих сумасшествий, страстей и обид:
Фотографии, пленки, прекрасные лики...
Равнодушное время, как лекарь великий,
Всех на свете утешит
И всех исцелит.

Тяжко катятся годы в бесшумном теченье...
Не сдержусь –
Оглянусь на холодную тьму:
Позади огонек – золотое свеченье...
Все прошло
И уже не имеет значенья.
Оглянусь –
И спокойно плечами пожму.



Борис Кушнер

Песни дороги

(Из новых стихов, январь – май 2014 г.)



чарование наива,
Увы, забытое давно... –
Офелия, русалка, ива,
Восход, закат – не всё ль равно?
Из знойной дали одалиски,
Из снежной близости – чай Мытищ, –
Пусть изощряется в изыске
Фальшивый гений, модный хлыщ.
Хоть яркой рифмы нам не жалко
Рассыпать щедро жемчуга,
Душе милей в траве фиалка,
В рассветном золоте снега.
4 января 2014 г., Pittsburgh

Стояла девушка с веслом
В совсем безводном парке.
Дома кругом пошли на слом –
Судеб-времен огарки.
Щека и нос, и пол-весла
Давно отбиты были.
Но всё-таки весло несла
Рука в кирпичной пыли.
В снегу заброшенный газон,
И ветер выл, неистов,
Про мрак души запретных зон,
Эзотерический резон
Упорства дев из гипсов.
5 января 2014 г., Pittsburgh

Дорога в снежной пудре,
Коварный скользкий путь.

Забудь о летнем утре,
И о весне – забудь.
Кругом тумана сода,
Зима – её вина.
Погоды непогода,
Девятая волна.
6 января 2014 г., Route 22, East

Разговоры с Тобой
Через черту.
Здесь вмешаться гобой
В метель-маяту.
Здесь вмешаться кларнетам,
Скрипкам, альтам...
.....
Наше вечное лето... –
Там.
6 января 2014 г., Route 22, East

Танго да фокстроты –
Власть Таити-трот –
Эти повороты,
Их невповорот.
И любой загадка,
Каждый тих, какмышь.
Да ухмылка гадка:
«В пропасть полетишь» ...
6 января 2014 г., Route 22, East

Отстать от жизни не желая,
И дрожью одолев испуг,
Природа, ночью неживая,
Вдруг пробуждается вокруг.
Чуть-чуть ослаб мороза молот,
Проснулся птицы камертон,
Змеёю уползает холод
В полярный ледяной затон.
И я вскричу: «Долой бескрылье!
В бокалы пламя дивных лоз!
Ведь старость вовсе не постылье,
Но праздник памяти и слёз».

8 января 2014 г., Johnstown

В инее ладони,
Ледяная высь.
Притомились кони,
Струны порвались.
Низи в клубах пара,
Облаков фаянс... –
Треснула гитара,
Вот и весь романс...
13 января 2014 г., Route 22, East

Реальность иррациональна
В портовом городе чужом,
Поверхность гавани зеркальна,
И парусники нагишом.
И ветер чайку то возносит,
То кубарем сметёт с небес... –
Так наша жизнь, ломая оси,
Уносит нас в дремучий лес.
17 января 2014, Baltimore

Миновавшая дата –
От печали я нем. –
Всё уходит в «когда-то»,
Навсегда, насовсем...
18 января 2014 г., Route 22, West

Сквозь пар свирепого мороза,
От изумления немой, –
Гляжу – к чертям любая проза! –
В полнеба радуга зимой!
24 января 2014 г., Route 22, West

И вспоминалось, вспоминалось –
Тот дом на тысяче ветров.
И запекалась неба алость,
И вот уже закат багров.
И перед нами две дороги,
И каждому идти своей...
Ну, что ж... Помедлим на пороге,

Пока любовь тоски живеЙ...
26 января 2014 г., Pittsburgh

ДЕНЬ ПАМЯТИ

День истекал. И замерзал закат,
Обязанный кровавым полотенцем.
Где пеплом стал мой неизвестный брат –
Майданек, Собибор или Освенцим?
Под сердцем резь настойчиво остра,
И ночь грозит потерей дара речи...
Где пеплом стала милая сестра,
И кто мастеровито сладил печи?
Искать ответ? Иные мастера
Прокладывают тропы к катастрофе.
Галдят толпой Европы доктора,
Радетели высоких философий.
27 января 2014 г., Johnstown

В каждом сердца такте
Расставанья искра... –
Жизнь в последнем акте... –
Г-ди, как быстро...
29 января 2014 г., Johnstown

ВАРИАЦИЯ 11-16

Стихов старинных пересуды. –
Аптека. Улица. Фонарь.
На кухне смрад и лязг посуды –
Вот так кончается январь.
Молчит звезда. Пылит дорога
Седой пылью соляной. –
Ах, не судите меня строго, –
Ничто не ново под луной.
31 января 2014 г., Route 22, West

ВАРИАЦИЯ 11-18

И вот февраль, весны предвестье, –
Расправить крылья и лететь.
Но сны – всё те же танцы бестий,
Лютует вагнерова медь.
И ни Эрота, ни Керуба,
Фортуна старой ведьмы злей,
И надоедливая туба –
Всё тот же Зигфрид-дуралей.
2 февраля 2014 г., Pittsburgh

Листаю старые стихи,
Порой неплохо, вроде.
Но рифма древняя «грехи»
Не зря на ум приходит.
За грешной Музой верхом,
С балкона и в рассвет.
Стихов, что рождены грехом,
На свете лучше нет.
В библиотеке жизнь тиха,
Сидишь, читаешь том. –
А стоят ли стихи греха,
Да мне ль судить о том?
5 февраля 2014 г., Johnstown

ВАРИАЦИЯ 11-19

Руки настезь – простору,
Смести гравитации дамбы!
Взлететь, оказаться там бы!
Да только пора закрывать контору –
Хореи, анапесты, ямбы.
Линкорам строф из фиорда
Не выйти в море эскадрами. –
Поэзия – не конвейер «Форда»,
Не Форт Мак-Генри под ядрами.
Не тлеть таланту-фонарику
Там, где нужен прожектор.
Пора, закрываю фабрику,
На выход – скорости вектор!
6 февраля 2014 г., Johnstown

Защитник всевозможных прав,
Его возвышенные речи... –
Да он же попросту кровав, –
В крови по плечи...
8 февраля 2014 г., Pittsburgh

По холмам сугробы прели,
Солнце, птицы – Б-же мой!
Неужели я в апреле? –
.....
Не проснуться бы зимой...
14 февраля 2014 г., Route 22, West

Мокрый снег копыта рыли,
Льда колючие куски. –
Эти кони вороные,
Сопричастники тоски...
Вам лететь в миры иные,
В край печали неземной...
Эй вы, кони вороные,
Неужели вы за мной?
14 февраля 2014 г., Route 22, West

Читаю книгу Берейшит,
Метель бесплотней привиденья.
И Тайна манит и страшит
Под снега мерное паденье.
Начало действий и времён,
И мир, как чистый лист бумаги.
И человек вдруг сотворён –
Венцом Б-жественной отваги.
16 февраля 2014 г., Pittsburgh

Взрывное таянье снегов
Под синим небосводом,
И свет рекой из берегов,
Раздолье птичьим одам.
Пусть это оттепель на час, –
Идут зимы резервы. –
Тепло – отдушина для нас,
Бальзам на наши нервы.
И вот пою я невпопад,
Как пел во время оно –
Про араратский виноград,
Хрустальный снег Хермона.
21 февраля 2014 г., Route 22, West

Вот так и смотришь в потолок
Под неумолчный свист из зала. –
Исчерпан шуток каталог,
А мудрость запоздала.
21 февраля 2014 г., Route 22, West

Гляжу, да так, что сердце жалко,
На птиц, кружащих в синеве,
И вижу – утро, луг, фиалка
И колокольчики в траве.
Зенит, купавшийся в озоне,
От солнца юного пьянел,
Я – Паганини-Лист-Бузони –
Весь в перезвонах кампанелл.
Пустеют памяти скрижали,
Их знаки времена смели,
Но всё же помню, как жужжали
В кустах шиповника шмели.
22 февраля 2014 г., Pittsburgh

ВАРИАЦИЯ 11-23 (СОНЕТ)

И снова ветер, как в начале,
И океана лик суров,
И знаки вновь обозначали
Судьбу, понятную без слов.
Во многом знании печали,
Для сердца слишком ярк свет,
И волны времени качали
Мой заблудившийся корвет.
Матросы спали на причале,
Аэроплана таял след,
И чайки яростно кричали,
Что правды в этом мире нет.

Всё так. Но сладки Музы сети
В моём неправильном сонете.
26 февраля 2014 г., Johnstown

И вспомнились разом чернильные парты,
В снегах Арарат, и Гарни, и Гехарт,
И пусть у метели поддельные карты,
Но факт непреложен – на улице март!
А март это неба и солнца потопы,
Кадрили грачей, хороводы детей,
Отчасти и нам возрождения опыт
При всей безнадёжности этих затей.
2 марта 2014 г., Route 22, East

Тщетно смотришь – ну и ну! –
Сквозь седую пелену.
И дороги хрупка нить, –
Поворот не различить.
А из рощи дух лесной:
«Умирать, так уж весной»!
2 марта 2014 г., Route 22, East

Небо вспыхнуло фатально
Из-за гуч, как из-за штор:
«Бесконечность актуальна» –
Шепчет ледяной простор.
Пусть себе! Пою беспечно,
Позабыв про докторов,
Славя свет, летящий вечно
В беспредельности миров...
3 марта 2014 г., Johnstown

Грядёт конец лесов побелке,
И в поле истончился лёд,
И даже часовые стрелки
Летят вперёд.
5 марта 2014 г., Johnstown

Бессмертных мудрецов сенату
Начальный ветер над гладью вод,
А мне бы Аппассионату,
Да так, чтоб рухнул небосвод!
Прости рояль, что я неистов,
Да ты и сам покою враг,
И наш напор сегодня листов,
Весенний паводок в овраг!
Мы рвём секретные конверты,
Звени, послание скворцов!
И оттого мы не бессмертны
На радость скучных мудрецов.
7 марта 2014 г., Route 22, West

ВАРИАЦИЯ 11-24

Бродит призрак красный
Снова по Европе,

Вежливо опасный,
Как змея в укропе.
Взоры ледовитые
Нового тирана.
Слухи ядовитые
Спозаранку-рано...
8 марта 2014 г., Pittsburgh

Послания бездонной сини
Я прочитал иероглиф:
Кругом отчаянье пустыни,
И пересох колодец рифм.
10 марта 2014 г., Pittsburgh

В чашах перезвоны,
Птичьих свадеб дым,
Почки и озоны,
Бес в ребро седым.
А над парком купол,
Голубой эфир...
И, вдыхая хвою,
Вдруг с судьбой лихою
Закрываешь мир...
11 марта 2014 г., Pittsburgh

ВАРИАЦИЯ 11-25 (ЭСКИЗ)

Голос из пустоты:
«Ты!» –
Basso profundo –
Твёрже корунда.
Что там корунд, алмаза!
Вспышка лилового глаза
Из подземелья.
Адского зелья
Клубы.
Медные трубы.
Призрак Гекубы
Прямо
Над трупом Приама.
Тошнота каруселья. –
Вот и конец веселья.
12 марта 2014 г., Pittsburgh

Он сочинял стихи запоем,
Мычал ночами напролёт
Про майскую грозу над полем,
Про плачущий апрельский лёд.
Дух – натяжение каната,
И полон рифмами карман,
Так что же *Basso ostinato*:
«Ты графоман... Ты графоман»...
Да хоть и так! Могучим зыком
Вознесть потоп и водосток! –
Так день и ночь стучит по стыкам
Экспресс «Москва-Владивосток»...
12 марта 2014 г., Pittsburgh

SIC TRANSIT

Из-за угла мороз ударил,
И лишь обрывки птичьих арий
Ещё кружатся в голове,
И снова иней по траве
Простёрся в искрах сединою,
И мыслью прежней, не иною
Больна смущённая душа, –
Что жизнь была так хороша,
Но вот и ей настала мера... –
Бессмертье – жалкая химера,
Мысль изреченная есть ложь –
Проходит всё, и ты пройдёшь.
13 марта 2014 г., Pittsburgh

Густа морозом синева,
Дерев гравюрна тень –
Картина эта не нова,
И песня эта не нова,
Как каждый новый день.
И всё ж при всей не новизне,
Под солнцем, под дождём,
Хоть наяву, и хоть во сне
Мы дня с надеждой ждём.
13 марта 2014 г., Pittsburgh

Не вижу счастья в модном новом,

От многословья жалок прок –
Ведь чтобы мир построить словом
И четырёх достанет строк.
17 марта 2014 г., Route 22, East

Г-ди, что за тьма
Жизни неинтересной.
И – как сойти с ума –
Тела тюрьма
Душе становится
Тесной.
20 марта 2014 г., Route 22, East

ВАРИАЦИЯ 11-27

Мокрого асфальта зеркала,
В них игра прямых, кривых и красок.
Не пастух, пастушка и подпасок, –
Импрессионистские дела.
Извлеку сонет из портмоне
Про пути, что красочны и мглисты.
И спую, что все Мане-Моне
Были записные реалисты.
20 марта 2014 г., Route 22, East

ВАРИАЦИЯ 11-28

Богаче графа Монте-Кристо,
Но без отмщения в груди
Судьба заядлого артиста –
Ведь он не врач – не повреди.
Он не боится Муз ущерба,
Расправит крылья и в полёт!
Жара ли холод, роза, верба –
Всё воспоёт.
А если кровь нахлынет горлом,
Дебют иль эндшпиль – всё одно,
Возьмёт канистру с хлороформом –
Вдохнул –
На дно.
20 марта 2014 г., Route 22, West

Влажный блеск асфальта,
Воздух-пирожок,
Луч – *mortale salto*

И стекла поджог.
Всё свежо и остро,
Как в семнадцать лет.
Ветер – *cosa nostra*
Иль в пылу поэт?
23 марта 2014 г., Pittsburgh

ВАРИАЦИЯ 11-30

Всё светлее и светлее.
Утра золотой пожар.
А шоссе – в лесах аллея
Прямо в раскалённый шар.
И летишь, глаза зажмурив,
И глаза прикрыв рукой. –
Ты, мятежный, просишь бури? –
Вечен будет твой покой.
24 марта 2014 г., Route 22, East

Кончался март. Весны разбег.
Зверья безумства, и, однако,
Зимы внезапная атака,
И в поле по колено
Снег.
26 марта 2014 г., Johnstown

Оазис. Лампа и кровать.
Здесь вечность неподвластна мигу.
Но как печально закрывать
Прочитанную за ночь книгу...
27 марта 2014 г., Johnstown

Мгновенна вспышка снежных призм, –
Луч время не морочит.
И стих такой же афоризм –
Тем лучше, чем короче.
27 марта 2014 г., Johnstown

Как будто будет жизнь другая, –
Судьба артиста – драма драм. –
Дарит огонь, себя сжигая,
По-метеорологически упрямым.

А критик хуже паразита, –
Смотри, какой отъел живот! –
Он не поэт, не композитор, –
Их понося, на них живёт.
28 марта 2014 г., Route 22, West

ВАРИАЦИЯ 11-31 (ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ)

Гляжу на мир. Сознания лупа.
По стёклам синяя река.
И всё так ласково и глупо
В день дурака.
Взираю высь, зрачки зажмурия, –
И в выси глупости завал.
И буря, скоро грянет буря! –
Как кто-то сдуру призывал.
1 апреля 2014 г., Johnstown

ВАРИАЦИЯ 11-32

Умом Израиль не понять.
Душой и кожей – тоже. –
Либералья тупая статья,
Восторженные рожи.
Миролубивей голубиц,
К бандитам лезут в братья. –
Зудящий рой самоубийц,
Святой Земли проклятье.
1 апреля 2014 г., Johnstown

Прошагать по гравию
Всю страну Муравию
Золотым шоссе.
Там луга с фиалками,
Омуты с русалками,
Дети с плачем-салками,
И глаза в росе...
3 апреля 2014 г., Johnstown

Мелко дождило. Серая взвесь.
Мир исчезает сразу и весь.
Мир исчезает вдруг без следа –
Серая в сером без формы среда.
В это бесформие молча лечу. –
Ветер подует – задует свечу.
4 апреля 2014 г., Route 22, West

Расколот миг. Из вышины
Аэропланый бред. –

.....

И во вселенной тишины
Растаял эха след...
6 апреля 2014 г., Pittsburgh

Маратов и Троцких возвышенный бред,
В праздничных смерть нарядах. –
Спаси нас Г-дь от беды из бед –
Свободы на баррикадах.
7 апреля 2014 г., Route 22, East

И в пасмурный рассвет гоня,
Пою: «Лети, моя телега»!
Опасность? Вспомни про коня,
Любимца Вещего Олега.
7 апреля 2014 г., Route 22, East

В литературе любят хлам
С листом лавровым пополам.
При сей приправе из приправ
Товарищ гений вечно прав.
Восторгом неделимым слит
Присяжных критиков синклит.
Циничен кто-то, кто-то глуп,
И сатана там варит суп.
8 апреля 2014 г., Johnstown

Поэт скрипел пером гусиным,
Нездешней силою влеком,
Он становился Б-жьим сыном,
Небесных сфер проводником.
Торнадо или дуновенье,
Всё возвышало малых сих. –
Ведь это Б-жье вдохновенье
Нам дарит формулу и стих.
9 апреля 2014 г., Johnstown

ВАРИАЦИЯ 11-34

Marlbrough s'en va-t-en guerre

Клавиатурою – глиссандо,
Густых аккордов двинуть рать.
Но шепчет вещая Кассандра:
«Тебе и гаммы не сыграть.
Не воспаряй в бренчанье громком
На самой дикой из охот.
Но вспомни, как смешон потомкам
Мальбрук, собравшийся в поход».
10 апреля 2014 г., Johnstown

ВАРИАЦИЯ 11-35

Сияет голова на блюде,
Семь покрывал придумал бес.
И любят Саломею люди –
Изыск её деликатес.
Невинные проделки Змея
Пусть разбирает скучный Кант. –
Взахлёб смеётся Саломея:
«Ах, Змей, ты жалкий дилетант».
10 апреля 2014 г., Johnstown

Лишь вдохновенью, не сноровке,
Не чтению самых умных книг
Дано в неожиданной зарисовке
Остановить летящий миг.
11 апреля 2014 г., Route 22, West

День бесприютно лишний,
Времени дроги.
Что-то совсем не слышно
Песен дороги.
Взвешена жизнь – невесома,
Фары – мечутся волки.
И ни вздоха, ни слова,
Рифмы умолкли.
14 апреля 2014 г., Route 22, East

Восток – кровавей Колизея,
И море неприступно вброд,
И с неба – слёзы Моисея:

«Жестоковыен мой народ»...
14 апреля 2014 г., Route 22, East

ВАРИАЦИЯ 11-36 (ПЕСАХ)

Пасхальный день. – Раздвиньтесь, воды!
По-пастернаковски мело... –
Так бремя внутренней свободы
Невыносимо тяжело.
Под снегом не пылит дорога,
Метелью занесло пути... –
Так обрести себя и Б-га
Трудней, чем море перейти...
16 апреля 2014 г., Нисан 16, 5774, Johnstown

В душе метель. Свирепо, люто
Иерихонский рог гудел. –
Недостижимость абсолюта –
Вот сочинителя удел.
17 апреля 2014 г., Johnstown

А строчка, как всплеснуть руками –
Нежданна, сладостна, нова. –
Так полыхнёт за облаками
Невиданная синева.
В аэроплане праздник зренья
И от восторга в сердце дрожь,
И голос Музы: «Озаренье!
Долой на костылях нудёж!».
Лишь время подлинный целитель,
Владелец тленья и костров, –
Будь лаконичен, сочинитель! –
Жизнь коротка для длинных строф.
18 апреля 2014 г., Route 22, West

Столетия гул. Тускнеет глянец,
Блеск ослепительных идей.
И ледяных скелетов танец, –
Скелеты в облике людей.
18 апреля 2014 г., Route 22, West

И даже в возрасте не раннем,

Но свет покуда не померк,
Пою с восторга замираньем
Тюльпанов первых фейерверк.
21 апреля 2014 г., Route 22, East

Расползшийся внезапно зной, –
Дороже жизни влага. –
Зима трясла пустой казной
Из чёрного оврага.
Лишь там на дне, где мир ничей, –
Со смертью в кошки-мышки, –
Спасались от огня лучей
Последние ледышки.
Стихом сегодня не блесну,
Печаль – тюльпан-фиалка.
Сто дней я призывал весну,
Теперь мне зиму жалко.
21 апреля 2014 г., Route 22, East

По горизонту бродили грозы
И было не по себе. –
Грозил разряды прозы
В разорванной прозой судьбе.
Гроза сегодня не поза
Природы отменно злой,
А в сердце игла-заноза –
Любимая стала золой.
25 апреля 2014 г., Route 22, West

А из зала запоздало
Кто-то всё же кликнул «Бис»,
Ты шепнула, Ты сказала:
«Неудаче улыбнись.
Жизнь печальней Лакримозы,
Путь заказан на Парнас.
Но – пусть видят наши слёзы
Только те, кто любит нас.
25 апреля 2014 г., Route 22, West

ЭПИТАФИЯ

Зарос травой могильный камень,
Лишь птица плачет на заре:

«Так даже самый гордый пламень
Угаснет в собственной золе».
27 апреля 2014 г., Pittsburgh

ЙОМ ХА-ШОА

Возрождение основ,
Юных душ вселенные. –
Вам же вечный сон без снов –
Спите, незабвенные.
28 апреля 2014 г., Нисан 28, 5774, Pittsburgh

Полёта дикая отвага,
По небу птица-ураган,
Внизу щетинится Чикаго,
И дышит бурей Мичиган.
Теперь смотреть пилоту в оба,
Здесь неуместен фантазёр –
Смертельны рифы небоскрёба,
Свинцовы зеркала озёр.
29 апреля 2014 г., А-320, Pittsburgh-Indianapolis-Chicago

Хор турбин поет осанну
Небу, скорости, крылам,
И в полёте к океану –
Счастье с солнцем пополам.
Пусть планета несчастлива
И в гадюках жизни рожь –
Глянeshь в зеркало залива:
«До чего же я хорош!»
29 апреля 2014 г., В-757-200, Chicago-San Francisco

Муза тенью за мной,
Небо разливом Оки,
И был бы здесь рай неземной,
Если бы не леваки...
2 мая 2014 г., [San Francisco](#)

Здесь не поможет лучший врач –
Здесь Смерть царит сама. –
Над Черным морем чайки плач,
Что мир сошел с ума.
3 мая 2014 г., [San Francisco](#)

Звёзды близко – рукой подать.
Пространство-время воочью.
Чудо полёта, его благодать
Над облаками ночью.
5 мая 2014 г., В-757-300, San Francisco-Chicago

ВАРИАЦИЯ 11-37

Мой аэроплан, золотые бока,
Глотает взхлѐб многомилье.
В парчовом убранстве внизу облака,
Разряжены, как Эскамильо.
Хосе, не пылай, как писатель Золя, –
За меру исполнится мера. –
В провалах дымит Карменсита-земля,
Игрушкой станет Тореро.
Жар-птица легла в заключительный крен,
Мгновенья падения сладки.
Кармен обернулась Терезой Ракен,
А драма – развязкой посадки...
6 мая 2014 г., Embraer-145, Chicago-Pittsburgh

И бесполезен всякий опыт,
Когда с лица ручьями пот
От суеты казѐнных хлопот,
Иль как там правильно – хлопот?
И не сорвать аплодисменты
Артисту, знавшему успех. –
Лови счастливые моменты,
Покуда сам счастливей всех.
7 мая 2014 г., Pittsburgh

9 Мая

Мы наши чарки выпьем молча,
За тех, кто в землю лёг, до дна...
Война, её повадка волчья,
Да будет проклята война.
Медалей звон, салютов горечь,
И фейерверков синий дым. –
Земной поклон – да сгинет сволочь –
Солдатам павшим и живым.
9 мая 2014 г., Pittsburgh

Опять Москва. Старинный сон.
Весеннее брожение.
И телевизор – Паркинсон,
Дрожит изображение.
И сам я весел, как щенок,
В бульваре многокрылом.
Зато теперь – проснёшься – шок. –
Дружки мои – в могилах.
9 мая 2014 г., Pittsburgh

Век затаился пауком,
И мы – его добычей.
И каждый к пауку влеком,
Таков людской обычай.
Не верят умный и кретин
Ни зрению, ни слуху. –
Так невесомость паутин
Обманывает муху.
9 мая 2014 г., Pittsburgh

И снова сердце защемило
От неожиданной тоски. –
Всё было просто, нежно, мило,
Как в мае ландышей ростки.
Так Северянина изыски
Просты, хоть каждый озарён... –
Рассвет. Лежу. Листаю списки
Моих утраченных времён...
11 мая 2014 г., Pittsburgh

НАРКОЗ

Ещё один эксперимент,
Кипенью дня – Морфей на смену. –
Запомню ль утро и момент
Иглы, вонзающейся в вену?
И невесёлый свет палат,
Тюльпан, тоскующий в стакане.
И юной медсестры халат,
Что белым парусом в тумане.
12 мая 2014 г., Pittsburgh

В парке клумбы алошь,
Визги малышей... –
Утро улыбалось
Просто до ушей!
В сини солнца блюдец –
Радость-мир-совет –
Как не улыбнуться
Самому в ответ.
13 мая 2014 г., Pittsburgh

Мой эндшпиль в партии с судьбой,
Закат, а не заря.
И чёрных мыслей разнобой,
Что было всё зазря.
Но между горестных замет –
Что ж, смейтесь, дураки,
Вдруг вспомнишь солнечный момент
Рождения строки.
13 мая 2014 г., Pittsburgh

Заоблачного плёса
Покой без зазывал,
Друзья мои, колёса,
Колонн зелёных зал.
Зелёное-рябое
Ущелье в толще гор.
А в сердце перебои? –
На то он и мотор.
Бетон весёлым гудом,
Мелодией прямой,
Я жив каким-то чудом –
Как славно, Б-же мой.
15 мая 2014 г., Route 22, East

И дышит за стеклом пейзаж,
Восторга дань взимая,
И красота на абордаж, –
Как небо неземная!
15 мая 2014 г., Route 22, East

По полю рассыпал маг
Солнечные зайчики,
Но твердит: «Сорняк!» – чудаки. –
Так про одуванчики?!
15 мая 2014 г., Route 22, West

С утра болела голова,
И сердце путало слова,
Что путать не пристало.
И, вправду, как мне дальше жить,
Коль разучился ворожить,
Когда душа устала...
19 мая 2014 г., Pittsburgh

Теперь ромашкам буйно цвести, –
От солнц – всплеснуть руками.
А мне и надпись не прочесть,
Так далеко Твой камень.
Дороги наши разошлись
Столетие назад.
И по утрам пустую высь
Буравит тщетно взгляд.
20 мая 2014 г., Pittsburgh

Чужих стихов я не люблю,
Хоть ямбом, хоть хореем.
Так боевому кораблю –
Сто выпелов по реям!
Я сам себе салют-парад,
Я сам огонь-пожары.
Чужих эскадр свинцовый град? –
На дно их, в тартарары!
Мы с Музой глазом не моргнём,
Всегда готовы к бою.
Тыходишь в Храм с чужим огнём?
Опомнись, Б-г с Тобою...
20 мая 2014 г., Pittsburgh

Гаммы – ралли на рояле,

Люта ночь и ветер лют.
Не во сне, в самом реале
Я швырну во тьму Этюд.
Сразу набело, не вчерне,
В небеса, не в кабинет, –
А гармонии вечерней
Гармоничней в мире нет.
20 мая 2014 г., Pittsburgh

Сен-Санс играет свой Концерт,
Но, Г-ди, как быстро!
Такой у Мастера концепт,
Такая Б-жья искра.
Орган регистрами богат,
Роялю люблю *Presto*.
Но ведь минор, но ведь закат,
Куда же вы, Маэстро!
Неукротим Сен-Санса нрав,
Ни паузы на завтра!
И он при этом в праве прав. –
Творец. Создатель. Автор.
20 мая 2014 г., Pittsburgh

Плыла, лицом закруглена,
По небу полная Луна,
В сиянье пепельно седом
Она благословляла дом,
Всех малых сих под крышей сей,
Чтоб петь им было веселей,
Чтоб огонь очаг, чтоб пух кровать,
Чтоб легче жить и умирать.
21 мая 2014 г., Pittsburgh

Ветер в парке листву расчёсывал,
Забавлялся шмелями-осами,
Запускал их в пике.
А из парка на улицу вырвавшись,
Забирался всё выше и выше и
Волны гнал по реке.
И течение шло на попятную,
Мост балладу гудел непонятную –

Не о том ли, что время безметренно,
А погода, как женщина, ветрена?
22 мая 2014 г., Pittsburgh

ВАРИАЦИЯ 11-38

Я гляжу в окно,
За окном кино,
Фарс-комедия.
Надо мною Змей –
Отвяжись, не смей,
Не из меди я!
Погубитель ты,
Яблочной мечты,
Напасть Евина.
Только в крик грачи,
Только в кровь ручьи,
Речи Ленина.
Череп мой тюрьма,
В нём прохожих тьма,
Каждый лучше всех,
Их сиятельства.
И Мефисто смех
Изо всех прорех,
Не разгрызть орех
Издательства.
23 мая 2014 г., Pittsburgh

ВАРИАЦИЯ 11-39

И опять не спится,
По карнизу птица
Скачет и кричит.
Адресат привета –
Робкого рассвета
Нежные лучи.

Это счастье птичье,
Что не без величья,
Покоряет сердце
Духа нищетой.
А рассвет за дело –
Небо загудело
Городской тшетой.

Щёки окон алы,

И грачи-нахалы
В суете сует.
Лязг помойных бочек –
Так порой заносчив
Молодой разносчик
Утренних газет.
24 мая 2014 г., Pittsburgh

ВАРИАЦИЯ 11-40

Утро в переулке,
У пекарни булки
Продают с лотка.
И в моё ущелье
Хлынуло веселье,
Жизни соль сладка.

А явленье сдобы –
Хлеб парной и кекс –
Не затем ли, чтобы
Нам ознобы в зобы,
Павловский рефлекс.

Брежу этим раем –
Золото да медь –
Память караваем, –
Вспомнить бы суметь. –
По Кольцу трамваем
Мчать, в зенит звенеть.
25 мая 2014 г., Pittsburgh

Составлено для портала Берковича 26 мая 2014 г.,
Pittsburgh



Петр Межирицкий Концерт



огда умирает на чужбине пожилой одинокий человек и беспризорный прах его погребают санитарного блага ради никем не оплаканный, это значит, что он оплакан много лет назад. Но легче от этого не делается...

Грузен был и широк армии бывшего Величества Николая Второго бывший подполковник Клавдий Сильвестрович Тёткин. И ростом соответственно. И лицом. И голосом. Смирный нрав его к концу войны был подточен трехлетним пребыванием в окопах среди терзаемого людского мяса. В развороченном сукне серых российских шинелей, зеленоватых австрийских, серо-зеленых немецких шевелились неразличимые по национальным признакам пастельно-фиолетовые кишки, судорожно пульсировали разорванные легкие, трепыхались в агонии доступные взорам сердца. Подполковник и сам дважды упал за веру, царя и отечество, однако не роптал, покуда две революции, крушение династии, пожары имений и зверства в тылу не сделали кровопролитие на фронте бесцельным. Где вера, где царь и отечество? Озясь от бессмыслицы, Тёткин в конце ноября девятьсот семнадцатого снял с фронта свою отдельную батарею, одним марш-броском отвел в лес и продуманно, небольшими группами, распустил по домам. Сам ушёл последним и осел в первом подвернувшемся городишке украинского Полесья. Жил там одиноко и скудно и, теряя в весе, блаженно и много, как медведь, спал.

Странной стала жизнь в городишке летом восемнадцатого года. Шумной она стала и призрачной. После многочисленных перемен власти с неизменным мероприятием, после коего пух и перья из подушек и перин оживляли своим полетом дуновение пахнущего лугами полесского ветерка, установилась революционная власть Ревком обосновался в доме на площади, выселив отсюда многодетную семью раввина. Штат ревкома состоял из председателя, черного и крючконосого, в кожаной куртке, двух солдат и матроса Гукова, заведующего отделом культуры. Других отделов в ревкоме не было. Председатель

пропадал на электростанции и сахарном заводе. Солдаты на крыльце ревкома засаленными картами играли в подкидного дурака, прерывая это занятие ради рейдов по городу, предпочтительно в районе рынка, где осанисто встряхивали на плечах сползающие карабины и не без выгоды наблюдали за порядком.

О Гукове Иване болтали разное. Внешность подстрекала к домыслам, один его рост чего стоил... Гуков шатался по городу, жевал травинку, маузер его в деревянной коробке сонно болтался сзади, и весь облик матроса в черном бушлате и бескозырке с надписью славянской вязью "Слава" казался воплощением вечности, снисходительно взирающей на суету людскую. Воистину суетой сует было копошение бывших, вышвырнутых из благоустроенной неги в жесточайшую нужду. В ней они по жизнестойкости, свойственной людской природе, пытались устроиться поудобнее, хоть самое слово *удобство* вызывало теперь на их лицах сардонические ухмылки.

Кроткий Клавдий Сильвестрович вёл жизнь голодную и праведную. Особняк на центральной улице, в котором он ещё зимой занял комнату, двухэтажный, с лепным фасадом и лепными же потолками, с высоким крыльцом, увенчанным шатровой кровлей, за год обветшал так, словно не домом был, а живым существом в переломном возрасте. Прежние владельцы наверняка не представляли возможным преобразование гармонии светлых анфилад без обрушения внутренних стен. Но дом распался без таких крайних мер. Просто, часть дверей заколотили, часть заставили мебелью, завесили пледами, скатертями, и прежняя прозрачная перспектива, сияющая амбразурами окон и бликами вошеного паркета исчезла, словно её и не было. Все стало малым, тесным и бледным, неведомо откуда возникли извилистые темные коридоры, а незаметные прежде задние лестницы стали входами, заменившими парадный. Кончилось прежнее время, началось новое. В новом убогом времени особняк за пестроту его обитателей пышно нарекли Парламентом.

Клавдий Сильвестрович занимал в Парламенте отдельную угловую комнату на втором этаже. Два окна выходили на главную улицу, одно в проулок, на древнюю – о трех куполах и с отдельно поставленной звонницей – церквушку за низкой решётчатой оградой. Дверь из его комнаты вела в кухню-коридор, которую он делил с соседкой визави, Еленой Ксенофонтовной Голубевой, красивой и грустной тридцатилетней дамой. Целыми днями она в своей комнатке вышивала гладью и крестом рыцарей на утомлённых конях и ожидающих их девушек в печально-розовых

амбразурах громадных и тёмных замков. Занятие коротало время и не было бесцельно: крестьяне за эти вышивки охотно отдавали муку, сало и овощи.

После полудня Елена Ксенофоновна обычно появлялась на кухне и певуче звала: "Клавдий Сильвестрович, ау!" Подполковник возникал мгновенно, словно поджидал у двери. В её проём виден был неуют холостяцкого жилища. Инкрустированный серебром и перламутром старинный туалетный столик завален был книгами, а на окрашенной коричневым лаком этажерке располагались грубые, зеленоватого стекла, стаканы, стопка чистого белья и револьвер.

Клавдий Сильвестрович колот лучину, раскладывал в печурке дрова, перемежая их для лучшего возгорания листками из гимназических учебников, и сообщал последние новости. Когда к древесно-бумажной композиции он подносил спичку, кухня наполнялась дымом. Подполковник открывал дверь на заднюю лестницу, огонь в печурке разгорался, дым рассеивался, Елена Ксенофоновна принималась за ножи, кастрюли и шумовки, а Клавдий Сильвестрович возвращался к своим занятиям.

Вставал он рано, после зарядки отправлялся на базар. Вернувшись, спал во избавление от голода. Вторично встав, брился, долго умывался и, отработав часок над развеской лимонной кислоты, продажей которой существовал, валился на диван и читал. Жильцы разобрали книги из библиотечной залы, ныне поделённой на клетушки. Тёткин предпочёл литературу историческую. Наткнувшись на что-то, по его мнению, знаменательное, спешил к соседке и зачитывал строки, привлекая его внимание. Елена Ксенофоновна, не прерывая готовки-вышивки, слушала и качала головой: исторические параллели не казались ей вескими.

По уговору, возникшему помимо слов, они, не связанные ничем, кроме грустного сочувствия друг другу, хозяйство вели совместно. Тёткина нужда научила добычливости, а Елену Ксенофоновну бережливости. Ели дважды – вскоре после полудня и поздно вечером, вопреки медицинской премудрости, но в соответствии с мудростью житейской. Так было равномернее, и ночами не будило ощущение голода.

После первой трапезы Клавдий Сильвестрович клевал носом, читал, потом стучался к Елене Ксенофоновне. Она вышивала, сидя на кушетке, накрыв пледом колени, а Тёткин за круглым, красного дерева столом раскладывал псыансы. Временами за этим занятием они пели вполголоса. У Клавдия Сильвестровича был мягкий бас-баритон, у Елены Ксенофоновны

сопрано, они хорошо звучали вместе. Елена Ксенофонтовна временами сбивалась, умолкала, прислушивалась к партнеру и вступала вновь, уже верно.

Чаще они просто беседовали в эти предвечерние часы.

Входить в комнату Тёткина Елена Ксенофонтовна избегала, и не по причине цирлих-манирлих, а вследствие одного случая.

Дело в том, что первопроходец Тёткин захватил предмет подлинной роскоши – граммофон, хотя пластинок к нему имелось всего две: арии из Фауста и русские военные марши. Постучавшись как-то и не получив ответа, Елена Ксенофонтовна приоткрыла дверь, из-за которой с неизбежным шипением нёсся "Встречный марш", весьма знакомый и ей, и увидела Тёткина. Он стоял спиной к ней влоборота посреди комнаты босиком, в бриджах, в расстегнутом кителе, раскачиваясь, сжав кулаки, глаза были закрыты и сквозь стиснутые веки катились слезы. От этого зрелища с Еленой Ксенофонтовной сделалась тихая истерика. С тех пор она стучалась к соседу лишь в утреннее урочное время и была с ним особенно предупредительна в дни, когда в комнате звучали марши.

От окон Елены Ксенофонтовны барабаны и купола церквушки оставались в стороне, а виднелось лишь крошечное церковное кладбище, на нём давно уже не хоронили, и скорбно светились сбрызнутые красноватым вечерним солнцем покосившиеся кресты на могилах. В непогоду тёмные кресты растворялись в тумане, и бледно светили стволами тонкие, сдавленные ветром березки.

Елена Ксенофонтовна рассказывала о петербургском житье, об отце, адмирале в отставке, о матери и незамужних сестрах, им всем удалось перебраться в Финляндию, а она не уехала, боясь потерять уже потерянного мужа, и о муже, инженере-мостовике, о предвоенных годах, о поездке в Англию и Америку, муж не признавал парижских развлечений.

Когда наступала очередь Клавдия Сильвестровича, он незаметно для себя сползал на войну. Начинать о другом, но любая тема, будь то воспоминания ученичества в кадетском корпусе или не всегда безвинные офицерские забавы – решительно всё венчалось военной судьбой какого-нибудь участника мирной истории, нередко столь страшно, что Клавдий Сильвестрович смолкал и на сомкнутых губах его читалось: "Да стоило ли бедняге, даже учитывая хорошее в его жизни, родиться на свет, чтобы мучиться несколько минут, но так незабываемо жутко?"

На закате наступал аттракцион дня. Елена Ксенофоновна надевала палевое платье и набрасывала шаль. Оттенённое шалью лицо её делалось так красиво, что у подполковника перехватывало дух. Сам он, в начищенных сапогах, в синих артиллерийских бриджах, в кителе без погон, подавал ей руку и вёл свою даму в городской сад. Там, среди свободно разросшихся в войну деревьев, в раковине, жалко оцетиненной завитками отслоившейся краски, каждый вечер играл первоклассный оркестр из петроградских и московских музыкантов. И каждый вечер после исполнения миниатюр Брамса, Сибелиуса, Бизе на эстраду поднимался заведующий культурой матрос Гуков и, не снимая бескозырки, заложив левую руку за широкий ремень, а правую свободно опустив вдоль тела, сильным и чистым тенором пел русские песни. Преобладал водный репертуар – "Не слышно шума городского", "Плещут холодные волны", "Раскинулось море широко", "Славное море, священный Байкал". Каждая песня исполнялась по-своему, даже тембр голоса менялся, слушатели застывали на узких скамьях. А Гуков под неистовые аплодисменты стоял, как изваяние, не меняя позы, озирая "осколки эскадры".

Среди обитателей Парламента у него были свои симпатии, в их числе московский златоуст, адвокат Ратнер-Консовский. Пока основная масса бомонда изнемогала, стараясь поддержать в сносном состоянии свой туалет, Ратнер-Консовский ещё весной обшил некогда заказанный у лучшего портного элегантный сюртук кусками дерюги, которую предварительно истрепал, словно в доброй чесальной машине. Лоскутные брюки, солдатские башмаки и изодранный шарф, каждая рванина которого расчётливо обмётана была прочной нитью, дополняли его наряд, ставший таким путем неуязвимым для времени. Шарф, кстати, завязан был узлом, какому позавидовал бы любой лондонский щеголь. Былых фавориток златоуста ничто так не уверило бы в необратимости перемен, как этот наряд. Но Ивана Гукова маскарад не раздражал. Выходя на эстраду, он неизменно обращался к сидевшему в первом ряду Ратнер-Консовскому, тремя пальцами приподнимал бескозырку и делал персональный, небывалый по сиволапости книксен. В ответ Ратнер-Консовский величаво кивал породистой седой головой.

Вокальный цикл завершался тем, что Гуков издевательски-возвышенно пел романсы, всегда в той же последовательности: "Средь шумного бала", "Я встретил вас, и всё былое..." и "Белой акации цветы запоздалые". Однажды некий Кротов, бывший товарищ министра в правительстве Родзянко, во время исполнения в знак протеста встал и направился к выходу,

возмущенно вздернув свой черный котелок. На миг, заглушив оркестр и солиста, прогремел выстрел, и дымящийся ствол гуковского маузера приглашающе прочертил г-ну Кротову траекторию возвращения. Бледный Кротов поднял с земли пробитый головной убор и неверными шагами вернулся на место. Излишне говорить, что Гуков не прервал пения, ни стреляя, ни возвращая маузер в его деревянное убежище. С мефистофельскими интонациями он пел ставший снова модным романс "Гори, гори, моя звезда".

– Дикий какой-то человек, – вздыхала Елена Ксенофоновна, опираясь на руку Тёткина, когда в густом сумраке они возвращались домой. – Идол. Но, боже, что за голос!

Они шли улицей, вглядываясь в неровности дороги. Застыли по сторонам ослепшие и оглохшие снаружи, но чутко настроенные изнутри домишки. Покорно вышагивали вдоль улицы столбы, связанные, как слепцы, телефонными проводами. Ветерок шелестел листвой. Вкрадчиво и сладко пахла акация, придавливая к земле аромат табачка и пионов. В эту первозданную ткань провинциальной ночи железным диссонансом вторгалось воспоминание об оглушительном стволе в руке Ивана Гукова. Но и Елена Ксенофоновна, и Тёткин сознавали, что, посреди океана бед, они, захлёстываемые, растерявшие навсегда удобства и достоинства прежней жизни, ежедневно хотя бы ненадолго, на час, не просто забываются, но чувствуют себя гордыми и даже бессмертными, потому что, несмотря на нестерпимость возникающих воспоминаний, устами этого матроса декларируется неуязвимость накопленного предками – ныне, и присно, и во веки веков...

– Нерон-кифаред, – бурчал Тёткин, поддерживая неуверенно ступавшую спутницу. – Вам холодно?

– Мне не холодно, мне стыло. Время нынче не дамское, господин полковник.

В середине июня прошли вялые дожди. Утра были туманные, прохладные, дни знойные, прогретые сквозь ослепительные, ватной плотности облака, а вечера подернуты грустным, искоса, светом багрового солнца, возникавшего ненадолго в синих тучах. Публика собиралась в сыром каре эстрадной площадки при зонтиках, при плащах, но собиралась неизменно в полном составе. Приволакивался даже бывший товарищ министра г-н Кротов. Оркестр был безупречен, Гуков неподражаем.

В эти-то дни и потянулись по городку слухи о приближении немцев.

В полдень, выполняя свои кухонные обязанности, Елена Ксенофоновна спросила об этом Тёткина. Клавдий Сильвестрович, коленопреклоненный перед печуркой, исполнял ритуал разжигания огня и многословно излагал новости, в реестре которых у него было и сообщение о появившихся на рынке пока ещё дорогих огурцах, и о прибытии к их пенатам нового эшелона беженцев из голодающих столиц, и о некой женщине, получившей весточку от своего уже оплаканного мужа (сию возвышенную ложь Тёткин вынашивал давно и счёл нужным изложить в этот именно день), и о матросе Гукове, который, оказывается, никакой не матрос, а певец, ещё в седьмом году осуждённый на повешение, каковое высочайше заменено было ему, эсеру-боевику, каторгой, с которой Гуков бежал с товарищем-уголовником, которого съел по дороге, или, напротив, тот пытался съесть Гукова в зимней тайге...

Клавдий Сильвестрович запутался в длинном периоде, приостановился и вопросом Елены Ксенофоновны о немцах застигнут был врасплох, поскольку именно слухи о немцах и пытался замять непривычным суесловием. Он поперхнулся дымом, закашлялся, поднялся с колен. На него грустно-испытующе смотрели окаймленные безнадёжностью глубокие серые глаза. Лгать без предварительной подготовки Клавдий Сильвестрович не был способен. Он отвел взгляд и сказал: мало ли какие носятся слухи... Елена Ксенофоновна удрученно перебирала очищенный картофель. Клавдий Сильвестрович промямлил: для страны разницы нет – немцы ли, большевики ли. Елена Ксенофоновна смолчала и стала мыть сковородку. Огонь в печурке разгорелся, оттуда вывалился уголек. Клавдий Сильвестрович дрогнувшими пальцами вбросил его обратно, закрыл дверцу и понуро ушёл в свою комнату.

Трапеза прошла в молчании.

Вскоре Клавдий Сильвестрович влетел к Елене Ксенофоновне, едва постучавшись, с "Изборником" в руках:

– Елена Ксенофоновна, матушка, ну-ка, будьте добры... – Раскрыл книгу. – Вот... «По сих же летех, по смерти братье поляне быша обидимы древлянами и другими окольными. И найдоше их хозаре сидящая на горах сих и в лесах, и реша хозаре: "Платите нам дань". Сдумавше же поляне и даша от дыма меч, и несоша хозаре сие ко князю своему и старейшим своим и реча им: "Се, налезохом дань нову". Они же реча им: "Откуда?" О ни же реча: "В лесе на горах над рекою Днепровською". Они же реча: "Что суть дали?" Они же показоша меч. И реча старци хозарьскии: "Не

добра дань, княже! Мы ся доискахом оружием одной стороною, рекше саблями, а сих оружье обоюдо остро, рекше меч. Си имуть имати дань на нас и на инех странах". Се же сбьются всё: не от своя воли рекоша, но от Божья повеления"». Видите? И тысячу лет назад тоже... древляне, хозаре... Монголы, тевтоны, поляки, шведы... Теперь большевики, немцы... И что? Не впервой!

Она глядела на Тёткина изломив брови, лицо её с видимым усилием разгладилося, она протянула Тёткину руку с единственным скромным обручальным кольцом и сказала:

– Спасибо, голубчик.

Тёткин осторожно поцеловал её пальцы.

Вечером, как всегда, отправились в концерт.

Слабый ветерок, дувший весь день, свалил тучи темным комом на севере и продолжал угонять за горизонт. Над крестами церквушки поголубело, солнце вызолотило барабаны и купола, над ними кружили птицы, было тихо, чисто и красиво. В темной зелени церковного кладбища молодой священник подбирал мёртвые ветви, опавшие с деревьев во время недавних дождей.

– Как мирно всё! – сказала Елена Ксенофоновна с внезапным страданием. – Как легко всем этим обмануться!

Тёткин смолчал. На третье утешение в течение дня он не нашелся.

Концерт начался своевременно, но публика казалась возбуждённой то ли переменной погоды, то ли слухами о перемене власти. Оркестр пополнился бежавшим из Ростова литаврщиком, и слушателей ждал сюрприз – траурный марш из "Гибели богов". Затем в хорошем темпе исполнены были "Фарандола", две миниатюры из "Арлезианки", несколько маршей Грига и странная – тихая, бурная, взрывоподобная и снова тихая – вещица какого-то современного француза, которого ни Елена Ксенофоновна, ни Тёткин не знали.

Публика блаженствовала.

В антракте Клавдий Сильвестрович угощал Елену Ксенофоновну конфетами из запечатанной коробки, по случаю купленными в то же утро.

Пауза затягивалась, Гукова не было.

Оркестранты сыграли марш из "Фауста".

Гукова не было. В публике началось движение. Елена Ксенофоновна вглядывалась в сумерки эстрадной раковины. На лице её появилось давешнее страдальческое выражение.

Оркестранты шептались. Зрители кое-где стали подниматься с мест. Они ещё не уходили, но маячили в ожидании.

Елена Ксенофоновна комкала перчатку. По её лицу Тёткин понял, что сейчас она расплачется. Он встал и торопливо поднялся на эстраду.

– "Сомненье" Глинки, – сказал он первой скрипке. Тот, долговязый и бородатый, благодарно закивал. – Пожалуйста, чуть пониже, да?

На людях пел он не впервые, но никогда не волновался, как нынче. Поймав взгляд первой скрипки, понял, что звучит хорошо, но, допев до конца, мысленно перекрестился: казалось, что забудет слова. Ему восхищённо аплодировали, а он не мог ни на чём остановиться, названия вращались вихрем, он не мог решить, что петь, взглядом искал Гукова, но того не было, и вдруг само выскочило – "Белеет парус одинокий". Оркестр заиграл краткий чекан вступления, и он не без юмора подумал, что шагает стопами Гукова: тот же морской репертуар.

Когда он окончил, кто-то захопал на эстраде, он обернулся и увидел Гукова. Матрос стоял рядом в своем вычищенном черном бушлате, ботинки надраены, маузер, как всегда, небрежно болтался сзади, и тускло и грозно светила выведенная на бескозырке "Слава". Тёткин попятился было со сцены, Гуков придержал его.

– Пардон, любезный, вахта не сдана. "Нелюдимо наше море" осилишь? Маэстро, прошу.

Строго говоря, Клавдию Сильвестровичу вовсе не хотелось покидать эстраду. Он распелся и положительно чувствовал себя в голосе.

"Смело, братья! Туча грянет, закипит громада волн, выше вал сердитый встанет, глубже бездна упадет!"

Они пели настоящим академическим двухголосием, Тёткин в жизни так не певал и ужасался собственной наглости. Но слышал, как густо, надёжно оправлен его баритоном гуковский тенор, и проникался чувством дерзкой удали, и прежде не слишком ему свойственным, а теперь и вовсе забытым.

Они переводили дыхание, а зал неистовствовал.

Стало темно, музыканты зажгли у пюпитров тошенькие свечи. Разглядеть что-либо с эстрады не было никакой возможности, но Тёткин всё вглядывался туда, где сидела его дама, и ему даже казалось, что различает её.

– Браво! – кричали из тёмного прямоугольника скамей.

Они спели ещё несколько песен, потом по знаку Гукова оркестр сыграл вступление, и Тёткин узнал один из тех музыкальных номеров, которые обычно завершали концерт издевательской гуковской эскападой. Он сделал движение уйти,

Гуков взял его за руку. Подполковнику ничего не стоило бы стряхнуть руку матроса и оставить его одного глумиться над ними, обломками эскадры. Но он прислушался – и вплёл свой баритон в тоскующий тенор Гукова.

"Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда..."

Гуков не оставлял времени для оркестровых интермедий, он переходил от строфы к строфе без пауз, тон был неузнаваем и закручивал нервы. Да и неожиданно было это. Лишь вчера он выпевал тот же романс с издёвкой над всем, что было дорого его слушателям и что кануло навеки, а сегодня жил в этих словах и мелодии той же скорбью, какой скорбели они, скорбели так, что для кого на годы, а для кого и на путь земной это стало содержанием всей жизни.

"Умру ли я, ты над могилою гори-сияй, моя звезда..."

Он окончил романс высокой отрывистой нотой. Стало тихо. Кто-то сдавленно зарыдал, и публика стала расходиться. Всё это неуловимо напоминало поминки.

– Мерси, – сурово сказал Гуков. – Тут, это... Словом, зайду. В Парламенте обитаешь? Угловая, на втором этаже, с окном в проулок? Полундрить не надо, это вроде как личное.

Тёткин, изумляясь осведомлённости Гукова, которого вблизи особняка даже не видел, спустился с эстрады и нашёл Елену Ксенофонтовну. Вышли из-под деревьев, стало светлее, здесь хоть дорогу можно было различить в темно-синих сумерках. Но лишь на улице, в сопровождении смирных телеграфных столбов, Елена Ксенофонтовна сказала:

– Чудовишно... Он что, отходную нам спел? Клавдий Сильвестрович, что же это такое, неужто и впрямь?..

Тёткин не ответил. Огромная голубоватая луна поднималась над кромкой садов. Елена Ксенофонтовна подняла к ней лицо и пошла, как слепая, молча.

– Что, полковник, лишился флагмана и дрейфуешь по воле волн?

Тёткин, не попадая в рукава, торопливо надевал китель. Матрос, не шаря в коридоре и не беспокоя соседей, уверенно постучался и начал этой фразой, без обиняков.

– Извините мой вид, – бормотал Тёткин. – Флагмана мы все потеряли.

– Такой уж флагман был.

– Присаживайтесь, милости прошу... Ну, такой, не такой... А сейчас какой? Голодны, есть будете?

– Ладно, не кантуйся... Апартамент у тебя сносный. Не Зимний, но шквал переждать можно. Совесть не мучит?

– А вас?

– Ишь ты... Задрай дверь, разговор есть. Как у тебя здесь, соседи не отрепетуют?

– Если негромко...

– Громко нам ни к чему. Ты, друг любезный, почему револьвер не сдал? Ладно, потом... Дело вот какое, немцы идут, знаешь?

– Д-да, были слухи...

– Не слухи. – Тяжко глянул Тёткину в переносицу: – Вот, знаю, дезертир ты, а пришел звать в мателоты. Пойдешь?

– Простите, в здешних болотах подзабыл я о мателотах...

– Короче! Помощь твоя нужна, подполковник.

– Весьма обяжете. Если смогу быть полезен...

– Воспитание... Дворяне... Можешь. Захочешь ли – иной вопрос. О графе Разумовском Андрей Кириллыче слышал? Пардон, пардон, как же-с, с кем имею дело... А что слышал?

– Ну, что он участник Чесменской победы...

– Чесменского позора. Две самых рыхлых размазни сцепились... Ещё?

– Глава российской делегации на Венском конгрессе...

– Все? Маловато для дворянина. А что дружил с Гайдном, Моцартом, что Бетховену квартеты заказывал на русские темы?

– А вы в самом деле певец, эсер, к смертной казни приговаривались?

– Я-я? Ну-ну?

– Нет, я так... Просто странно, что, вот, вы поете, о Бетховене знаете... а тут маузер, революционный пыл, матрос...

– Не семафорь зря, полковник, времени у нас вот... – Показал мизинец. – Значит, Разумовский...

Дело сводилось к тому, что где-то в полдень в город войдут немцы. Они уже знают, что город им сдан, и входить станут с любезным их сердцу парадом – для солидности и остратки. Оно бы черт с ним, города всё равно не удержать, но дело в том, что только вчера, после долгих поисков, найдена наконец и к вечеру на скорую руку доставлена к ревкому из имения Разумовских уникальная коллекция музыкальных инструментов – скрипок, альтов, виолончелей – работы Гварнери, Маджини, Добруцкого, Гроблича... Много картин. А тут дожди. Сейчас, прямо в ревкоме, рабочие сахарного завода сколачивают ящики, пакуют всё в дорогу. Времени в обрез. С упаковкой, может, и управятся, да не получилось бы, что для немцев пакуют. Надо на

клячах вывезти всё хозяйство из города верст хотя бы за двадцать. Останавливать немцев силами рабочих – зря детей сиротить. Ревком людей не даст из политических соображений. Да и нету людей. Но есть надежный "Максим", и с помощью этого инструмента матрос Гуков предлагает артиллеристу Тёткину устроить немцам небольшой бенефис.

– Нас убьют – к городу никаких претензий. Не рабочие – стало быть, рабочих и семьи таскать не будут. Я матрос, где тут матроса сыщешь... А от тебя твои обломки в два счёта откредятся. Установим пулемёт на чердаке, подпустим ихний парад поближе да как сыпанём!..

Запинаясь и побагровев, Клавдий Сильвестрович сказал, что никогда стрелять в людей больше не будет. Не из страха увёл он с фронта свою батарею. Войну и убийства больше не приемлет и не станет громоздить новые грехи...

– Кончай! – оборвал Гуков. – Война, убийства... А братьев-холов отдавать в неволю супостату – не преступление?

– Не могу! – сказал Гуков и руки к сердцу прижал. – Болиг это во мне! Не красного словца ради, поверьте...

– А револьвер зачем?

Тёткин пожал плечами.

– Привычка. Для защиты чести, если угодно... или обижают стариков, детей...

– Обидят. Контрибуцией обложат. Под юбками пошарят. Слушай, полковник, это ведь по твоей милости немцы по Малороссии болтаются. Это ты, сукин сын, родину продал. Бежал с поля боя? Бежал. Так что давай, замаливай грехи.

– Я замаливаю, – закивал Тёткин. – Свои, милостивый государь. А чужих замаливать не желаю.

– Это как понимать?

– Я, сударь, не с фронта бежал, а с развалившегося фронта, это не одно и то же.

– Присягу, значит, давал побеждать? В поражениях не участвовать?

– Я присягал государю! – рявкнул Тёткин. Гуков устрасяюще повёл глазами по стенам. Тёткин понизил голос. – Ещё и на Временное правительство хватило. А советам не присягал-с. Совесть чиста-с. Лимонную кислоту купил по случаю на свои деньги, коммерция не запрещена. Не крал, не грабил, невинных за их имущество не убивал-с! Перины по ветру не пускал, девочек не насиловал, Россию немцам не продавал, позорных договоров не заключал, с чернью не заигрывал, да-да, с чернью-с, она существует, чернь, с вашего любезного соизволения

или без, декретами её не отменить, на то поколения культуры нужны, угодно вам или нет...

– Ну-ка, ну-ка, – только и сказал Гуков.

Тёткин заспешил, он помнил, как проворно поворачивается маузер в больших руках матроса, а досказать хотелось многое.

– И теперь, сударь, я рад, да-с! Немцы? Пусть! Кто угодно, лишь бы смели вас! – Он развернул грудь и бессознательно задержал дыхание. Это уже не Тёткин, это само сердце решало: принять пулю на вдохе...

Но матрос глядел в пол.

– Эх, дурень... Не понимаешь, что собственной судьбой давимся. Веками её готовили. И вы, дворяне близорукие... – Поднял на Тёткина тоскливый взгляд. – Всё хотели сохранить – всё и потеряли. Немцы сметут... Ха! Не сметут, сами этой заразы наберутся. Она, брат, липучая. На-ро-до-властие!

– Ах-ха-ха! – Тёткин смеялся злобно, не сдерживая голоса. Впервые за годы ему было хорошо. – Что, наелись, да? Насмотрелись? Поумнели? Поздно! Поздно, сударь!

– Я поздно, а ты и вовсе... – скривился матрос. – Книжечки почитываешь, небожитель, свысока взираешь, кто победит...

– А вы? Награбить и вон из игры? Пойдите, чего-то я не понимаю. Вы же флотский... Флотский вы! Такой бой – смерть. Зачем же, кому это? Наследники? Не дойдет! Честь потеряна! Вам дали обещание доставить? Забудьте, не доставят, не дойдёт!

– Да-да-да, флотский я... Дурак ты, полковник. Дойдет моё имущество. Без меня, без тебя, а дойдет. Чтоб из черни людей делать. А делать-то из неё придется, больше не из чего. Веришь? Не веришь? Это твоя страна. Это её будущее. Ну? – Тёткин молчал. – Ну? – прошипел Гуков.

– Не могу. – Голос Клавдия Сильвестровича сел. – Не поднимется рука... Убейте, но увольте.

Гуков взял с этажерки револьвер, смерил громадную фигуру подполковника невыносимо медленным взглядом и швырнул револьвер обратно.

– А поёшь хорошо. Я подумал: человек!

Он толкнул дверь. За нею, не уступая дороги, стояла Елена Ксенофоновна и глядела полными непролитых слёз глазами.

И тут с пронзительной остротой старый вояка Тёткин понял, что весь план матроса детский лепет. Он пойдет и погибнет в короткой перестрелке, ничего не добившись. В ответ на огонь

одиночного пулемёта немцы рассыпят колонны, оцепят место и покончат со всем в мгновение ока. Они прочешут улицы и выйдут на загородное шоссе куда быстрее, чем сделали бы это, занимая город церемониальным маршем. Чтобы выиграть время, их нужно было ошеломить чем-то несусветным, заставить драпать без оглядки, а потом снова входить в город со всеми предосторожностями военного времени. И Тёткин уже знал, как это сделать. Это перечило его новообретенным принципам. Но ещё больше перечило им – отпустить Гукова на бессмысленную смерть одного. И уж вовсе ни в какие ворота не лезло – ограничиться смертельно-опасным советом. Пока Гуков перед Еленой Ксенофоновной смекал, что бы мог значить этот свидетель, а она стояла перед ним, не успев ещё разрыдаться, Тёткин решил.

– Ладно... Только всё не так, никуда не годится ваша затея... – Елена Ксенофоновна глядела с ужасом и надеждой. – Нужен автомобиль. Легковой. Есть же там у вас какое-то старье...

Обоз, четыре телеги с обшитыми рогожей ящиками, в невообразимой спешке отошел от ревкома после полудня. Спустя час с противоположной стороны в город вошли немцы. Они двигались колоннами по восемь человек в ряд. Колонны разделялись педантичными промежутками, в них вышагивали тяжеловесно-щеголеватые офицеры. Мерно вливались новые ряды, в такт шагам покачивались заплечные ранцы и головы в рогатых касках, топот коротких сапог был неотвратим. Немцы растянулись так внушительно, что от передовых колонн глаз не охватывал замыкающих. Впереди, в открытом автомобиле, развалились на подушках и оглядывали притихший город штабные чины в касках с шишаками. Две цепочки дозорных с винтовками наперевес сопровождали штабных вдоль тротуаров.

Из-за угла навстречу немцам выехал старый, но опрятный "Форд", в нем стоял во весь рост офицер в золотых погонах и в фуражке с кокардой. Одна рука его лежала на ветровом стекле, другую он держал у козырька. За рулем сидел грузный шофер, тоже в форме. "Форд" степенно трясся по булыжнику навстречу армейской колонне. Немцы в штабном автомобиле забеспокоились, один поднял руку в белой перчатке. Офицер с золотыми погонями тоже поднял руку и снова приложил её к козырьку.

Машины сближались. Офицер в "Форде" неторопливо обернулся и обеими руками поднял что-то с сидения. Со звоном разлетелось ветровое стекло, завизжало под стальными ободьями громыхнувшего по капоту "максима" – и длинная очередь

полоснула по немцам, опустошив в первый же миг штабной автомобиль.

Эффект был таким, какого и ожидал Тёткин. Передние побежали, сминая задних. Слишком неожиданным было превращение штабной машины с корректным офицером в свирепый рейдер. Казалось, что стреляют окна и подворотни. Не замечая, а, вернее, боясь дворов, немцы бежали по той же провинциальной улице, какой вошли в город, бежали по бессмысленной прямой, хотя, быть может, в них бессознательно билась память о том, что сзади – нет, теперь уже впереди – им навстречу катятся их спасительно тяжелые пушки. Они бежали, а за ними катился дряхлый "Форд", и с него вместе с пулями неслась вслед убегающим звенящая яростью песня: "Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает. Врагу не сдастся наш гордый "Варя", пощады никто не желает..."

Ни флажка, ни даже крохотного вымпела не было на "Форде", но замершим за занавесками обывателям до зрительной иллюзии мерещился в небесах над машиной реюющий бело-голубой андреевский стяг. И стояла над всем этим звезда, одна, заветная, которую, уходя, не унесешь на подошвах своих башмаков...

На повороте улицы, у заброшенного конного завода, Гуков скомандовал:

– Стой! – Тёткин послушно остановился. – Вылезай! – Тёткин вылез. – Покажи, как оно тут включается, – уже спокойнее сказал Гуков.

Ещё не понимая манёвра, Тёткин показал, и машина покатила дальше, в сторону немцев.

– Обождите! – закричал Тёткин.

Он догнал машину и пытался открыть дверцу, Гуков оттолкнул его:

– Смывайся. Дело мы сделали фартово, дали концерт, как по нотам.

– Куда вы? – кричал Тёткин, продолжая бежать рядом.

– К ним. Не то они весь город разнесут. Сматывайся огородами. А ну, живее! – вдруг бешено заорал он, и маузер знакомо повернулся в его руке.

Тёткин споткнулся, и "Форд" прыгнул вперед. Через минуту, пробираясь проулками, Тёткин снова услышал приглушённый расстоянием мерный стук "максима"...

Вечером у заброшенного конного завода двенадцать ландскнехтов под команду офицера расстреляли "комиссара Гукова за сопротивление германским властям".

Ночью Клавдий Сильвестрович, оглушив патруль, унёс тело, завернул в свою офицерскую шинель и схоронил на кладбище, у древней церквушки. А утром, когда солнце, как обычно, осветило высокую траву и берёзы за церковной оградой, он покидал город. Перед уходом сидел у Елены Ксенофоновны в штатском, с кротовским котелком в руках и с неувязным шарфом Ратнер-Консовского. Елена Ксенофоновна на кушетке напротив него с вышивкой на коленях закапывала слезами очередного рыцаря на утомлённом коне и девушку в печально-розовой амбразуре громадного и тёмного замка.

Когда умирает на чужбине одинокий пожилой человек...
Впрочем, стоит ли об этом...

1968, 1993



Александр Матлин В гости к Собачниковым



Диму Блейзера с женой пригласили в гости их друзья Собачниковы. Многих из нас такое приглашение, наверно, обрадовало бы. Для кого-то оно, возможно, было бы праздником. Но не для Димы и не для его жены Веры. Им совершенно не хотелось идти в гости к Собачниковым.

Только не подумайте, что Дима или Вера имели что-нибудь против Собачниковых. Упаси Боже. Наоборот, они с Собачниковыми были старыми, друзьями и любили друг друга прочно и бесповоротно. Просто им надоел процесс хождения в гости, который с подачи какого-то бойкого словообразователя иммигранты стали называть “гостеванием”.

Да, Дима не любил “гостевания”. Он заранее знал, кто соберётся у Собачниковых, кто о чём будет говорить, и кто какой анекдот расскажет.

Он знал, что придёт их общий друг, тусклый, неразговорчивый проктолог Коля Степанов с женой Фирой. Фира будет верещать за двоих, а Коля пить молча, закусывая редко и без страсти.

Придут, конечно, программисты Володя и Наташа Зайдманы. Володя будет остричь матом, а Наташа рассказывать про академические успехи их внука, студента Колумбийского университета.



Придёт художник Сушняк, то ли холостой, то ли разведённый, и будет всем по очереди показывать красочный, на глянцевой бумаге, проспект своей выставки, которая прошла два года назад в городе Монтиселло.

Придут ещё две-три пары, с которыми Блейзеры знакомы десятки лет и про которых знают всё, включая то, что эти люди усердно скрывают.

Дима заранее знал, что сначала будет произнесен тост за встречу (“со свиданьем!”), потом за хозяйку дома, потом за детей и внуков и, наконец, за Америку, после чего возникнет жаркая перепалка на почве политики. Эта перепалка прекратится, когда Жора Финкель, тоже старый друг Собачниковых и Блейзеров, возьмёт гитару и начнёт петь песни советских композиторов времён своей пыльной молодости. И вместе с ним все будут громко петь “Броня крепка и танки наши быстры” и хихикать. И неизвестно, чего больше будет в этом пении – сарказма или тоски по молодости. Ещё будут петь “Огней так много золотых на улицах Саратова” и “Ой, рябина кудрявая”, глядя томными глазами куда-то в несуществующее пространство.



Короче говоря, Дима заранее всё знал, ему было заранее скучно, и очень не хотелось идти в гости к Собачниковым. А его жене Вере не хотелось ещё больше, или хотелось ещё меньше, это уж – как вам будет понятнее, потому что Вера вообще не любила никуда ходить – ни в гости, ни в кино, ни даже по магазинам, чем она отличалась от всех остальных жён их круга. Но отказываться было неудобно. И это создавало мучительную ситуацию.

– Давай скажем, что ты заболела, – предложил Дима. – Допустим, что у тебя болит поясница. Все поверят.

– Нет – сказала Вера, поморщившись. – Поясница у меня на самом деле не болит. Я не хочу врать. Врать некрасиво.

– Давай со времён красиво, – предложил Дима. – Скажем, что у тебя приступ шизофрении.

– Шизофреник – это ты, – сказала Вера. – Я вообще не хочу врать. Давай лучше скажем, что на этот день уже пригласил твой троюродный брат из Филадельфии.

– Это тоже враньё, – сказал Дима. – Он нас не приглашал.
– А ты позвони ему и попроси пригласить.
– Ты хочешь поехать в Филадельфию?
– Не дай Бог – сказала Вера. – Мы скажем ему, что не можем приехать, потому что нас уже пригласили Собачниковы.
– Ага. Значит, ты готова соврать и тем, и другим. У тебя что, две неправды взаимно нейтрализуются?
– Это будет правда, – сказала Вера. – Ты скажешь, что нас пригласили, но ты же не будешь говорить, что мы приняли приглашение, правильно?

Дима задумался.

– Нет, это не годится, – наконец сказал он. – Причина должна быть настоящая. Может, поедем в Европу на этот день? Или, хотя бы во Флориду?

– Дешевле пойти к Собачниковым, – сказала Вера.

– Ты права, – вздохнул Дима. – Придётся пойти.

Весь следующий день они не возвращались к этой теме.

Вечером Вера вдруг встала со стула и произнесла:

– Ой!

В её глазах светилась значительность.

– Поясница? – с надеждой спросил Дима.

– Она самая.



– Ах, бедняга! – радостно закричал Дима и бросился к телефону звонить Собачниковым.

Узнав, что Вера заболела, и поэтому Блейзеры не придут, Федя Собачников объяснил, что он страшно огорчён. Конечно, из-за страданий Веры, но, главное, из-за того, что он в субботу не увидит у себя Блейзеров.

– Слушай, как же так! – гнусавил он в трубку, – все придут, а вы нет?

– Я сам расстроился, – охотно сокрушался Дима, наполняя свой голос искренностью. – Не из-за Верки, конечно. Ей чего – поболит и поправится, а мы с тобой из-за неё не сможем выпить по-человечески.

– Жалко, жалко, – продолжал гнусавить Федя. – Ну ладно, что поделаешь. Выпьем в другой раз. Поцелуй Верочку и скажи, чтобы поправлялась.

– Ладно, придётся поцеловать. Пока.

– Пока.

Федя положил трубку и повернулся к жене.

– Нинка, хорошая новость! – сказал он, сияя счастливой улыбкой. – Верка Блейзер заболела. Они не придут.

– Ну да! Это прямо вери гуд! – обрадовалась Нина, которая в свою речь всегда подмешивала английские слова. – Они мне прямо до смерти надоели. Кроме того, Дима жрёт прямо нон-стоп, на него прямо не наготовишься.

– Может, пригласить Шмуйловых вместо Блейзеров? – предложил Федя.

– Ты что, киддинг меня? – испугалась Нина. – Они же с Зайдманами враги. Они прямо хэйтят друг друга. Ты хочешь иметь трабл?

– А если Шмуйловы узнают, что их не пригласили, будет ещё хуже

– Надо, чтоб не узнали. Обзвони всех и предупреди.

Федя не стал спорить с женой и немедленно позвонил Жоре Финкелю.

Жора, помимо музыкального таланта, отличался чуткостью ко всякого рода интригам и секретам. Он сразу уловил деликатность ситуации.

– Не беспокойся, старик! – закричал он в трубку. – Я всё понял. Сегодня же позвоню Шмуйлову и скажу, что ты никакой компании не собираешь и никого в гости не приглашаешь. А все остальные будут?

– Блейзеров не будет. У них Верка заболела.

– Что-нибудь серьёзное?

– Не знаю. Только не звони Шмуйлову.

– Ладно, не буду.

Жора не стал звонить Шмуйлову. Вместо этого, он позвонил Фире Степановой, велел не говорить Шмуйлову, что они идут к Собачниковым, и сообщил, что Вера Блейзер заболела. Непонятно, что с ней, но, похоже, что-то серьёзное.

Фира Степанова позвонила Наташе Зайдман, велела не говорить Шмуйлову, что они идут к Собачниковым, и сообщила, что Вера Блейзер серьёзно больна.

Наташа Зайдман обзвонила всех кого могла. Про Шмуйлова она не стала говорить, потому что другое известие было гораздо важнее и трагичнее. У Веры Блейзер нашли что-то страшное, рассказала Наташа. Сколько ей осталось жить, не говорят, но, наверное, немного. Иначе бы они пришли к Собачниковым.

В конце дня Диме Блейзеру позвонил его старый друг Костя Шмуйлов. Голос его дрожал от страха и сочувствия к ближнему.

– Ну, как ты, старик? – спросил он тихо. – Держись?

– За что? – не понял Дима.

– А как она? В сознании?

– Ты про кого?

– Я про Веру. Что говорят врачи? Сколько ей осталось?

– Не много, не беспокойся, – заверил Дима. – Дня три-четыре. У неё поясница быстро проходит. Но к Собачниковым мы не сможем пойти. Так что, веселитесь без нас. Всем привет.

На другом конце провода наступило зловещее молчание. Дима понял, что сказал что-то страшное и непростительное, но было уже поздно.

В тот же вечер разразился скандал, который в течение последующих суток набирал силу, как ураган Сэнди. Костя Шмуйлов позвонил Феде Собачникову и объявил, что отныне не желает иметь с ним ничего общего. Он узнал, что в субботу все собираются у Собачниковых, а его с женой не пригласили.

– Такого я от тебя не ожидал! – кричал Костя с надрывом.

Федя Собачников позвонил Диме Блейзеру и обложил его матом за то, что Диму кто-то тянет за язык. Дима пытался оправдаться, как мог, но Федя был неумолим в своём гневе. В конце концов, Дима, в знак признания своей вины, сказал, что они с Верой готовы преодолеть боль в пояснице и прийти в субботу к Собачниковым. Узнав об этом, Нина Собачникова обрушилась на своего идиота мужа, которого вечно кто-то тянет за язык. Теперь из-за него, кричала она, надо готовить вдвое больше, потому что Димка Блейзер жрёт, как прорва.

По мере разрастания скандала, он втягивал всё больше и больше народу, как торнадо в зону пониженного давления. Стали выяснять, кто кому звонил, кто кому что сказал, и какой болван не предупредил Блейзера, чтобы тот не говорил Шмуйлову, что у Собачниковых собирается компания. Оказалось, что никто не

говорил про Шмуилова, а говорили только про Веру Блейзер, и то зря говорили, потому что она оказалась не при смерти и вообще не больна. Болвана не нашли, скандал начал затихать сам по себе, и супруги Собачниковы стали думать, что дальше делать со Шмуиловым.

– Наверно, придётся пригласить, – сказала Нина.

– Да, придётся, – вздохнул Федя. – Посадим их подальше от Зайдманов.

...В субботу, расточая улыбки и поцелуи, все собрались у Собачниковых. Пришёл тусклый проктолог Степанов с женой Фирой. Пришли программисты Зайдманы. Пришёл художник Сушняк. Пришли Дима и Вера Блейзеры. Все расспрашивали Веру о здоровье, и каждый делился своим личным опытом лечения поясницы. Последними пришли супруги Шмуиловы, которых никто не любил. Их посадили с краю, на самом дальнем от Зайдманов конце стола. Провозгласили тост за встречу, потом за хозяйку дома, потом за детей и внуков и, наконец, за Америку. До политических споров дело не дошло, потому что Жора Финкель вовремя схватил гитару, и все запели “Броня крепка и танки наши быстры”. Потом пели “Ой, рябина кудрявая” и “Огней так много золотых на улицах Саратова”. Вера Блейзер с чувством подпевала, игнорируя боль в пояснице. Под конец вечера Володя Зайдман рассказал два матерных анекдота, и все хохотали до слёз.

По пути домой машину вела Вера, потому что Дима выпил.

– Люблю я бывать у Собачниковых, – медленно шевеля языком, говорил Дима. – Хорошо, что у тебя прошла поясница.

– Поясница не прошла и не пройдёт, – сказала Вера со вздохом. – Ты что, забыл, что в следующую субботу мы званы на день рождения Зайдмана?

Иллюстрации Вальдемара Крюгера



Альберто Моравиа
Маменькин сынок¹
Перевод с итальянского:
Моисей Борода



Первую камеру проткнул не я, а моя судьба, которая, скажем так, вынудила меня принять её подарок.

Безработный, как всегда, я отправился в одно прекрасное утро в направлении *l'Acqua Acetosa*, и спускался уже к *viale Parioli*, как вдруг заметил стоящую на боковой улице машину. Заметил я её, поскольку вообще имею страсть к машинам, а тут – внесерийный гоночный люкс, иномарка! Машина до того очаровала меня, что я час с лишним как околдованный смотрел на неё, изучал её особенности.

Спортивная, вытянутая в длину, как бы разлёгшаяся на земле, тип – кабриолет с откидным верхом, капот, багажник, вся огненно-красного цвета, с никелированной решёткой впереди, напоминающей зубы тигра. Обворожённый этой как хищник выглядевшей машиной, я подошёл поближе и увидел, что одно из колёс спущено. Я подумал: "спущенная шина" – другой на моём месте этим бы воспользовался. В этот момент из одной из этих вилл вышел толстенький белобрысый молодой человек в ветровке и узких брюках, открыл дверцу, сел на сиденье, завёл мотор. Я, движимый какой-то симпатией, подошёл и сказал: Эй, постой, у тебя колесо спущено!

Он сразу выключил мотор, пошёл посмотреть, сказал мне что-то на иностранном языке – видимо, поблагодарил – и начал размонтировать колесо. Дверцу он оставил открытой, и мой взгляд случайно упал на лежащую на сидении фотокамеру. Взять её и удалиться было для меня пустяк; он в это время на другой стороне длинной машины отвинчивал шведским ключом державшие заднее колесо гайки, и меня не видел. У меня промелькнуло: Ого, вот он, шанс со спущенной шиной!

Теперь надо было спрятать украденное. Я решил отнести камеру домой и спрятать под подушку.

1 Alberto Moravia. Racconti romani. Mammарolo. DTV

Жили мы вдвоём с матерью на *via Giulia*. Мать, давно вдова, чтобы как-то прокормиться, продавала сигареты на чёрном рынке. Когда я входил в нашу тёмную, скверно пахнущую квартиру, мать уже с порога окинула меня своим острым взглядом, увидела, как я что-то с собой принёс, как я пробежал в комнату и заперся там – но не сказала мне ни слова. И только потом, когда я сел обедать, она вошла в столовую с фотокамерой в руках. Я ожидал, что она сейчас сделает мне сцену и опустит голову над тарелкой так низко как только мог. Но – настоящая мать есть настоящая мать.

Будь это чужой человек, кто знает, какие громы обрушились бы на мою голову? „Откуда у тебя камера? Как? Почему ты это сделал?“ Она же – настоящая мать – сказала мне спокойным тоном: „Послушай, не надо ничего прятать, отдай её мне. Тайник всегда может тебя выдать, а мать не выдаст тебя никогда“. Сказав это, она пошла в свою комнату – я вижу её, как будто это происходит сейчас: коренастая, низкорослая, с чёрным платком на шее, с крупной, тяжёлой, наклонённой в сторону головой – положила камеру в комод, закрыла, всё время повторяя при этом: „Мать любит тебя, никто не любит тебя больше чем мать“. У меня вытянулось лицо, и не столько из-за случая с машиной и камерой, сколько оттого, что я услышал в словах матери упрёк: как же это я мог подумать, что мать может не понять, не простить меня.

Вот так всё началось. С этих пор я каждый раз, когда мне удавалось что-то украсть, отдавал это ей, а она, не обременяя меня заботой, как это спрятать, брала на себя продажу, поскольку была опытной, ловкой, имела много знакомых и знала цену вещам намного лучше, чем служащие *Monte di Pietá*

При всех моих тридцати годах, я был привязан к матери; случай с камерой привязал меня к ней вдвойне.

2 *Monte di Pietá* - Ломбард. История этих ломбардов восходит к началу XIV в. (первый предшественник *Monte die Pietá* – ещё не носящий это имени – был создан во Флоренции в 1300 г., далее – в Лондоне в 1361 г.). В конце XVI в. по инициативе ряда монахов-францисканцев были организованы кредитные институты, предоставляющие частным лицам кредиты на выгодных условиях под залог (драгоценности, одежда, и пр.). Первым в этом ряду, уже под именем *Monte di Pietá* был ломбард, созданный в 1462 в Перуджии, за ним последовали учреждения таких банков в других итальянских городах. Интересно, что самый старый в мире ныне действующий банк – *Banca Monte dei Paschi di Siena* (создан в 1472 г.) – вырос из ломбардной основы.

Эх, о сыновьях и матерях говорят то и другое, в Риме таких сыновей, как я, называют в насмешку маменькиными сынками – но те, кто так говорит, ошибаются. Мать и сын связаны друг с другом ближе, чем жена с мужем, чем брат с братом, чем самые близкие друзья. Сын может даже и не говорить матери ничего: она, которая его родила и видела, как он растёт, понимает его уже по одному взгляду и молча, не говоря ни слова, заботится о нём – и сын без лишних слов принимает эту заботу, так как знает, что они с матерью понимают друг друга и без слов. Для матери её сын и умный, и красивый, и хороший, и сильный – пусть это и совсем не так, пусть даже все на свете думают противоположное; не говорится разве: и таракан – красавец в глазах его матери. Я уже не говорю о том, что мать видит в сыне по-прежнему ребёнка, даже если этот ребёнок уже бреется и носит пышные усы; и в этом – огромное утешение, потому что не было бы этого – людей невозможно было бы убедить стать взрослыми.

Но прежде всего, в глазах матери сын, которого она любит, прав перед целым светом, даже и тогда, когда он, как в моём случае, вор, потому что мать – единственная душа в мире, которая понимает его, понимает, почему он крадёт, и понимая это, не осуждает, а наоборот, поддерживает его в том, чтобы считать себя честным и ни в чём не раскаиваться.

Эти мысли приходили ко мне каждый раз, когда я, после целого дня, проведенного в охоте за вещами в автомобилях, возвращался домой – было такое же чувство, как когда ты, встав с постели, всовываешь ноги в уютные домашние туфли. Я отдавал краденое матери, она, заперев его в комод, шла на кухню, ставила передо мной на стол тарелку с едой, и смотрела, как я ем. Мы почти не разговаривали – как животные, которые общаются друг с другом взглядами. Понятно, что при такой жизни между матерью и охотой за автомобилями у меня не оставалось времени для женщин.

Впрочем, женщины и не значили для меня ничего, и может быть, я их даже боялся: по натуре я был любвеобильным, и понимал, что прежде чем найду ту, которая мне подходит и меня полюбит, я должен испытать бог знает скольких. И потом: у меня была моя мать, любовь которой мне доставалась без всяких проверок; она любила меня, и всё – для чего же мне нужно было искать каких-то других женщин? Но, как известно, если ты не ищешь женщину, то женщина ищет тебя, и рано или поздно найдёт.

Недалеко от нашего дома, на *corso Vittorio*, располагался маленький галантерейный магазин, хозяевами которого была

пожилая супружеская пара. Уже в позднем возрасте у них родилась дочь, Джезуина. Была она некрасивой, хромой, болезненной – может быть, оттого, что была поздним ребёнком.

Моя мать дружила с матерью Джезуины ещё с девических пор, и часто заходила к ним в лавку купить какую-нибудь мелочь. Конечно, каждый раз заходила речь обо мне, так что и отец Джезуины, и её мать были ко мне расположены, смотрели на меня как на очень хорошего сына, молодого человека, которому не везёт найти работу. Сама Джезуина, однако, казалась мне немного сдержанной.

Как-то, проходя мимо их магазинчика, я зашёл туда, чтобы купить иголку и нитки: у меня оторвалась пуговица. Джезуина была одна. Она предложила: Дай, я пришью тебе пуговицу.

Продевая нитку в иголку, она спокойным тоном сказала мне, что моя мать не такая уж хорошая мать, если выпускает меня с оторванными пуговицами из дома. Задетый за живое, я ответил, что таких женщин, как моя мать, раз-два и обчёлся во всём Риме, а может быть, таких в нём вообще нет, но Джезуина сказала на это, что может быть для некоторых дел моя мать и хороша, но не для пуговиц. Я понял, что она знает всё, но не сказал ни слова. Она подошла ко мне поближе, взяла у меня куртку, сделала первый стежок и тихо добавила: Тебе не кажется, Джиджи, что то, что ты делаешь, плохо? Слова эти привели меня в ярость. – Плохо? Что значит это твоё "плохо"? Не знаю ничего, что было бы плохо, кроме того, что плохо для меня!

Но с этого дня я, что называется, попал в сети. Я стал всё чаще заходить в их лавку, мне нравилось, как Джезуина, двигается, чуть приволакивая короткую ногу, за прилавком, как она, подтягиваясь на носках, снимает с высокой полки то или другое, или как она, мягкая и одновременно сосредоточенная, с опущенными к приходной книге глазами, подводит итоги дня. То, что она мне нравится, она, конечно, заметила, и продолжила, как в первый день, читать мне нравоучения.

Пришло лето, и мы стали встречаться и вне их магазина, после закрытия. Мы гуляли, болтая о том и о сём, и я был рад ощущать её руку под моей рукой, видеть, как она, стараясь не отстать, чуть подволакивает короткую ногу, чувствовать её бледное, оттенённое тёмными, лёгкими волосами лицо рядом с моим, когда она говорит мне что-то, наклоняла ко мне голову.

Может быть, с моей стороны это и не было любовью, а просто чувством, которое меня "приклеило" к Джезуине – чувством, состоящим из всего понемногу: из сострадания к ней, из

моей застенчивости, из желания остепениться, обзавестись семьёй, и из совсем нового для меня ощущения, что какая-то другая женщина выказывает мне такую же привязанность, какую имела ко мне до сих пор только моя мать. Конечно, я сказал об этом матери, у меня не было от неё секретов.

Я сказал ей, что Джезуина знает всё и меня осуждает, что она, несмотря на это, меня любит, что она предложила мне работать вместе с ней в магазине, потому что родители уже очень состарились и не могут больше его вести, и что я, может быть, тоже люблю Джезуину. При всей осторожности, с которой я говорил, я увидел на лице матери выражение, пронзившее меня жалостью. Такое выражение, как будто ей вдруг сказали, что она голая, и она поверила, что так оно и есть, и что у неё нет под рукой ничего, чтобы прикрыть наготу. Её одеждой была её любовь ко мне, и вот Джезуина с её моралью сдёрнула с неё одежду. Она чувствовала, что Джезуина права, что она в первую очередь осуждает не меня, а её, и со страхом думала, что, может быть, осуждаю её и я. Но потом она, опустив глаза, сказала: Родной мой сыночек, всё, что ты делаешь, хорошо для меня... если ты доволен, довольна и я.

Вдруг, не знаю отчего, мне захотелось, чтобы и мать сказала мне то, что говорила Джезуина: "То, что ты делаешь, нехорошо, нужно остепениться" – но я понимал, что требовать это от матери было бы слишком. Для неё это значило бы, что она вовсе не такая хорошая мать, потому что она меня поощряла в том, что я делал, а не осуждала за это. Этот вечер закончился в молчании – как и все прошлые наши вечера.

Я был уже помолвлен, не думал больше об автомобилях, и в один прекрасный день стал вместе с Джезуиной за прилавков их галантерейного магазинчика.

Мне нравилась Джезуина, и я старался убедить себя, что для меня было бы намного лучше продавать тесьмы, мотки ниток, и всё такое прочее, чем протыкать колёса в стоящих без водителя машинах. Но я не мог себя убедить, и стоя за прилавком маленького темноватого магазина, я как зачарованный смотрел на улицу, вдаль, вздыхая о прошлых днях, о моей жизни на улице, о том, как я, украв ту или другую вещь, убегал и приходил домой с украденным, и как мать – вся в любви ко мне – понимала меня и не говорила мне ни слова, не читала мне мораль. В общем, я начинал скучать по прежней жизни.

Магазин наш закрывался на перерыв в час и открывался в четыре.

Как-то в один из дней, около двух пополудни, я шёл по набережной *Flaminio*: хотел в перерыв немного прогуляться и заодно подумать о моих делах.

Стояла типичная для Рима в октябре погода: яркое солнце, лазурно-голубое небо, всё вокруг казалось окрашенным в голубой цвет. На улицах – ни души: обеденное время; у ворот – автомобили. Вдруг моё внимание привлёк автомобиль, вроде бы обычный, но... – да, у него было спущено одно из колёс – точь-в-точь как в тот первый раз, когда началась моя история с "эй, колесо спущено!". Я приблизился без всякого намерения что-то сделать – и в этот самый момент из дома, у ворот которого стояла машина, вышел владелец: лысый тип с сытым, как будто кровью налитым лицом, в зубах сигарета – из тех господ, что после полуденного перерыва на обед, поев, выходят глотнуть свежего воздуха и затем отправиться в свой офис.

Неожиданно для себя я сказал – как в тот самый первый раз: "Эй, вы, у вас колесо село!" При этом взгляд мой невольно упал внутрь машины, и я увидел лежащий на сиденье толстый кожаный бумажник. У меня блеснула мысль: "Возьму сейчас этот бумажник, отнесу матери, а к Джезуине уже не вернусь, и буду опять жить как жил вместе с матерью, как будто ничего у меня с Джезуиной не было". Эта мысль – или чувство – так сильно меня захватили, что я не заметил, как тип с красным лицом подошёл ко мне и сказал: Спицу сюда!

Я остолбенел: Какую спицу? – Спицу, которой ты шину проткнул. – Вы не своим уме, что ли? – Нет, голубчик, не в своём уме это ты! Тебе мой бумажник понравился, правда? Ну быстро, спицу сюда!

Я сказал: "Гляди, с кем говоришь!" – но он схватил меня за воротник и сказал сквозь зубы, не вынимая сигарету из рта: Благодарю бога, что я добрый. А сейчас смени колесо, если не хочешь, чтобы я вызвал полицию.

В общем, я смирился, и после стольких шин, которые проткнул, мне пришлось заменять не мной проткнутое колесо на нормальное. Я испачкал себе руки и одежду; он стоял вдали, наблюдая за тем, как я работаю. Я закончил работу, он сел в машину и сказал: Отлично! Но в следующий раз тебе придётся менять колесо в *Regina Coeli*3.

3 *Regina Coeli* – центральная и самая известная из четырёх главных римских тюрем. Расположена примерно в километре северо-восточнее Собора Святого Петра

Вернулся я в магазин поздно и Джезуина, ковылявшая за прилавком туда и сюда, показывая посетительнице разные ленты, бросила на меня такой напряжённый и тревожный взгляд, что я понял: она догадалась. В тот же вечер, вернувшись домой, я сказал матери, что решил и что уже в этом месяце женюсь. Она со слезами на глазах обняла меня, удовлетворённая. И я ещё раз сказал себе, что мать – это всё, и что нет ничего на свете, что было бы лучше матери.



Елена Брызгалова

О шпионах и не только...

Роман Е. Курганова

«Шпион Его Величества, или 1812 год»



Роман Е.Я. Курганова «Шпион Его Величества, или 1812 год (историко-полицейская сага в 4-х томах)» – это, несомненно, одно из лучших произведений автора, представляющее его взгляд на исторические события 1812 года и на людей, участвовавших в них.

Перед нами не просто проза талантливого писателя, но и создание ученого, исследователя, знатока культуры той эпохи, перелопатившего множество документов, мемуаров и свидетельств. Наверное, от «многого знания» и родилось у него стремление как можно точнее следовать канве реальности, но при этом создать не научно-исторический труд, а художественное произведение. Подобное желание уже таит в себе зачатки противоречия, которое может поставить автора перед большими трудностями: совместить документ и вымысел, по большому счету, не трудно, но вот сделать это органично, «без швов», так, чтобы читатель безоговорочно поверил, – гораздо сложнее.

Ефим Курганов нашел из этой ситуации необычный (добавим: и очень изящный) выход: он создал собственные документы на основе подлинных и сделал их частью художественного текста. Это одна из основ его исторической прозы. Подтверждение можно найти в каждом романе писателя. Ему слово: «Великий мусорщик» – «короткий роман, в котором начисто отсутствует вымысел»; «Бриллиантовый скандал» – «исторический роман, правдивый, но составленный из целиком вымышленных документов»; «Красавчик Саша» – роман, в котором «все чистая правда».

Автор называет свои романы «реконструкциями» и выстраивает на основе прочного документального каркаса, но при этом сам придумывает дневники, записки, воспоминания, буквально пестрящие комментариями, позднейшими вставками, сопроводительными подписями, подтверждениями или опровержениями реальных исторических лиц и прочими уточнениями. В результате получается «многоголосое»

повествование, в котором сталкиваются мнения участников, как бы полемизирующих друг с другом и заставляющих читателя серьезно разбираться не столько в хитросплетениях сюжета (что, в общем-то, логично для исторического повествования), сколько в том, чью версию происходящего стоит принять, а чью отвергнуть, заподозрив в лукавстве.

И «Шпион Его Величества...» создан по тому же принципу. В самом начале романа читаем: «Практически все описанные события имели место, а если не имели, то вполне могли бы иметь». Или: «В нижеследующем повествовании отсутствуют вымышленные факты, но зато, наряду с реальными, присутствуют и вымышленные документы, впрочем, вполне достоверные». В основе романа оказывается «подлинный» (выделено мной – Е. Б.) секретный дневник военного советника Якова Ивановича де Санглена», будто бы найденный автором в одном из провинциальных архивов Франции («Оригинал дневника хранится в муниципальном архиве города Ош, департамент Жер, Гасконь, Франция»).

Итак, на основе реальных фактов, документов и свидетельств автор рисует собственные картины, в которых реальность подвергнута художественной обработке, а документы придуманы. В результате создается иллюзия предельного правдоподобия, что и привносит в роман публицистический оттенок, поскольку повествование воспринимается читателем именно как документальное. Реальные исторические лица, обилие документов в тексте, дневниковая форма повествования – все это способно ввести читателя в заблуждение и заставить интерпретировать вымышленное как реальное.

Таким образом, уже в самом начале романа стараниями автора создается атмосфера игры, в которой читателю отводится роль отнюдь не стороннего наблюдателя, а активного участника происходящего. По мере развития сюжета эта роль усложняется и требует от ее исполнителя все более глубокого погружения и непосредственного отклика на происходящее.

Яков Иванович /Жак/ де Санглен, главный герой романа – историческое лицо, создатель русской военной разведки в эпоху наполеоновских войн, а кроме того, литератор (автор вполне реальных записок), преподаватель Московского университета, переводчик. И при всем этом человек яркий, но противоречивый, вызвавший у современников и потомков далеко не однозначные оценки. О реальном де Санглене в романе приведены отзывы его современников, среди которых А.И. Герцен, Н.И. Греч, Ф.Ф. Вигель, Т.П. Пассек и др. Современники в большинстве

своем отзывались о нем отрицательно. Е. Курганов объясняет все это так: «Вообще надобно признать, что негативная репутация Санглена во многом исходила из российского жандармско-полицейского мира николаевского времени и, может быть, даже во многом формировалась в пределах этого мира. Это, видимо, объясняется тем, что Санглен был личным шпионом Александра I, знал множество государевых тайн, и, соответственно, в царствование Николая I он оказался совершенно не ко двору. Можно даже сказать, что его побаивались, побаивались того, что он может рассказать». Но были и те, кто воспринимал Якова де Санглена положительно – эти отзывы также приведены в романе.

О реальном Якове де Санглене не забыли и сегодня: по мнению современного нам исследователя, Санглен «имел репутацию двуличного человека» (Кочуев И. Шпион его величества // Рыбинская неделя. 2012. № 40(217), от 10.10.2012). Современный военный журналист и историк А.Ю. Бондаренко считает, что «современники побаивались его... даже тогда, когда он был частным лицом» (Левкова А. Яков де Санглен: начальник русской контрразведки. Беседа с военным историком Александром Бондаренко).

Можно сказать, что в романе автор раскрывает перед читателем все многообразие личности героя сначала в его дневнике, а затем в приложениях, где он показан в восприятии других людей, настроенных к нему критически.

Каждое из приложений тоже имеет вид дневника, записок или мемуаров и принадлежит перу одного из участников событий. Это «Дневник Алины» – постоянной противницы Санглена и французской шпионки графини Алины Коссаковской, «Книга Адама (Секретные прибавления к мемуарам А. Чарторыйского)» и записки финансиста Абрама Перетца («Где соль, там и Перетц...»). Все они оказались в архиве главного героя и потому буквально пестрят его комментариями, вставками и замечаниями. Он, постоянно высказывая сомнение в правдивости написанного, оценивает, полемизирует с ними, опровергает или подтверждает их высказывания.

Дневники Якова де Санглена составляют большую часть повествования. Все происходящее мы видим его глазами, к нему сходятся все сюжетные нити всех четырех томов «полицейской саги». Но Санглен не только автор дневника, он своеобразный дирижер, руководитель оркестра, в котором у каждого из героев своя партия. Его архив – это и есть роман, в котором личностное становится одним из проявлений всеобщего. Дневники и записки героев передают жизненный опыт людей той эпохи, их восприятие

происходящего. Не случайно автор называет мемуары финансиста Перетца «своего рода исповедью, историко-психологически чрезвычайно показательной». В картине эпохи частные свидетельства обретают иной, более глубокий смысл, выражают ее суть, характер и становятся ее объективными составляющими.

Композицию романа можно назвать сложной и многоступенчатой: дневниковые записи Санглена дополняются его же более поздними вставками, официальными документами или отрывками из них, свидетельствами и проч. Фрагменты дневника, составляющие отдельные «тетрадки», предварены пояснениями публикаторов, научных консультантов и автора. Дневники и записки, вошедшие в приложения, тоже полны замечаний и оценок Санглена. Как видим, простым и последовательным течение событий в романе никак не назовешь. Но такая организация текста позволила Е. Курганову уйти от авторского диктата в освещении исторических событий: это Санглен в своем дневнике (а потом и другие персонажи в приложениях) описывает происходящее таким, каким он его видит и понимает. Это он оценивает роль того или иного деятеля или военачальника, а читатель волен соглашаться или не соглашаться с ним. Более того, автор использует своего рода провокационную стратегию: разъяснение по поводу тех или иных сюжетных коллизий он поручает одному из героев-мемуаристов, в то время как другой (чаще всего Санглен) его опровергает. Поэтому характеры героев, особенности их личностей, их позиции и взгляды на войну и эпоху так до конца и не проясняются для читателя, даже когда он переворачивает последнюю страницу произведения, потому что остается слишком много противоречий и возможностей для различных интерпретаций. И это не упущение автора, а его осознанная позиция и признание читателя как со-творца, наделенного правом иметь собственное мнение о рассказанном.

В результате роман представляет собой многомерный портрет эпохи, основанный на единстве самых разных начал и взглядов. Исходя из этого, можно сказать, что авантюрное начало, выраженное в сюжетной линии борьбы Санглена и Алины Коссаковской, естественным образом включено в сферу начала эпического, документального, основанного на борьбе государств и народов. Вымышленные люди и события вписываются в логику реальных документов и свидетельств, а само повествование облечено в документальную форму, ведь дневники и записки – это документы эпохи.

Упор на публицистичность и документальную основу текста создает особую читательскую установку на правдивость и подлинность изображения, что приводит к тому, что текст воспринимается не столько как художественный, сколько как публицистический. И автор в этом плане нисколько не стремится к тому, чтобы привнести ясность в вопрос, что перед читателем, публицистика или художественное произведение. Так, в томе третьем «Шпиона Его Величества...» (эпизод 2 «Приехал Кутузов бить французов») в главке «От автора» читаем: «Взаимоотношения фельдмаршала М.И. Кутузова и московского главнокомандующего Ф.В. Ростопчина освещены мною по возможности с максимальной точностью. Но только я позволил себе одну вольность: чтобы ввести в текст этой части как можно большее количество выразительных и показательных документов и исторических сведений, пришлось несколько сдвинуть хронологию событий». А если учесть, что все документы «составлены» самим автором так же, как и придуманы публикаторы, переводчики и научные консультанты, то создается довольно противоречивое впечатление: ощущение максимального приближения к реальности, с одной стороны, и авторской игры, правила которой раскрываются по мере развития сюжета, с другой. Таким образом, первое впечатление от прочтения «Шпиона...» (как, впрочем, и любого другого романа Е. Курганова) таково, что публицистика в данном случае – это стилистическая уловка, привлекающая внимание читателя будто бы документальностью. Но это именно первое, поверхностное, впечатление, потому что в основе повествования действительно лежит кропотливая работа с документами и доскональное знание фактического материала.

Одним из несомненных достоинств нарисованной прозаиком картины эпохи являются герои, передающие её неповторимое своеобразие. Конечно, каждый из них индивидуален и наделен ярко выраженными личностными чертами. Но при этом есть нечто, объединяющее таких разных и непохожих друг на друга персонажей: все они люди яркие, способные на самостоятельные действия, готовые к самопожертвованию, но далекие от того, чтобы выглядеть идеальными. Автор открыто говорит об этом в предисловии в одном из фрагментов «Шпиона...»: «В 1812 году и вообще в царствование Александра I происходило много фантастического, и личности на политическом небосклоне тогда были зачастую нереально яркие, крупные, оригинальные, каждая из которых обладала своей индивидуальной стилистикой, четко выраженным творческим почерком, сильной

характерологической отметиной и вместе с тем резким индивидуальным своеобразием».

Роман «Шпион Его Величества, или 1812 год» – это картина яркой эпохи, которую творили яркие люди.



Об авторах

Яков Зельдович (1914-1987) – выдающийся советский физик, академик, почетный член ряда зарубежных академий.

Яков Галл – доктор биологических наук.

Павел Нерлер – историк, географ, литератор.

Игорь Мандель – экономист, статистик, литератор.

Эдуард Гетманский – историк эскибриса, библиофил, коллекционер.

Светлана Арро – литератор, член Пушкинского общества Германии.

Ольга Янович – музыкант, педагог, художественный руководитель Вашингтонского молодежного камерного оркестра.

Вениамин Левин – историк, литератор.

Борис Тененбаум – автор исторических очерков и книг.

Ефим Курганов – доктор философии, доцент русской литературы Хельсинкского университета.

Александр Левинтов – профессиональный географ, литератор.

Александр Мелихов – математик, писатель, зам. главного редактора журнала «Нева».

Наталья Олифирович – психолог, член Европейской ассоциации гештальт терапии (EAGT), Европейской ассоциации психотерапии (EAP), Международной ассоциации семейной терапии (IFTA).

Виктор Каган – доктор медицинских наук. Член Союза Писателей Санкт-Петербурга.

Андрей Масевич – преподаватель университета культуры и искусств и факультета социологии СПбГУ.

Александр Боровой – доктор физико-математических наук. Заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии.

Дмитрий Бобышев – поэт, эссеист, переводчик, профессор Иллинойского университета в г. Шампейн-Урбана, США.

Тамара Майская – филолог, литератор.

Александра Раскина – лингвист, переводчик, автор мемуарных очерков.

Людмила Стефанчук – филолог, историк, сотрудник Института востоковедения РАН.

Иван Шеманов – окончил курсы телеоператоров при Институте современного управления, кино и телевидения.

Борис Гасс – член Союза писателей СССР и Союза журналистов СССР.

Семен Резник – писатель, историк, журналист. С 1982 года живет в США.

Валерий Скобло – поэт, прозаик, публицист.

Валерий Черешня – литератор.

Леонид Латынин – московский поэт и прозаик.

Лорина Дымова – поэт, прозаик, переводчица.

Борис Кушнер – профессор математики Питтсбургского университета, поэт, публицист.

Петр Межирицкий – литератор, член Союза писателей России.

Александр Матлин – инженер-строитель, печатается в периодической прессе.

Альберто Моравиа – итальянский писатель, новеллист и журналист.

Моисей Борода – композитор, писатель, поэт.

Елена Брызгалова – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой журналистики, рекламы и связей с общественностью Тверского государственного университета.

Журнал «Семь искусств», июнь 2014
Главный редактор Евгений Беркович

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

Компьютерная верстка и техническое редактирование
Изабеллы Побединой
540 стр. 24,3 а. л.

ISBN 978-1-291-93905-7



Семь искусств
Ганновер 2014